Борис Полевой

3

БОРИС ПОЛЕВОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

БОРИС ПОЛЕВОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕВЯТИ ТОМАХ

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

БОРИС ПОЛЕВОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ
ТРЕТИЙ

•

ЗОЛОТО

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

Р2
П49

Комментарии
Н. ЖЕЛЕЗНОВОЙ

Оформление художника
А. РЕМЕННИКА

Полевой Б. Н.

П 49 Собрание сочинений: В 9-ти т.— М.: Худож. лит., 1981 —

Т. 3. Золото: Роман./Коммент. Н. Железновой. 1982. 472 с.

В том вошел роман «Золото», в основе которого лежат подлинные факты: от самой границы, из оккупированного врагом города, советские люди вынесли значительные ценности и пронесли их на себе более 500 километров, чтобы вернуть государству.

П $\frac{4702010200-338}{028(01)-82}$ подписное Р2

ЗОЛОТО

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Мысль не покидать родного города появилась у Митрофана Ильича Корецкого неожиданно.

Последние дни были так полны горестных забот, что некогда было и думать о собственной судьбе. В городском отделении Госбанка спешно подводили последние подсчеты, инвентаризировали, упаковывали ценности, приводили в порядок текущие архивы и во всех печах жгли вперемешку с торфом старые бумаги, которые не стоило увозить. Все «дела», в том числе и текущие, были уже уложены. Днем, когда банк работал, нужные папки вынимали, а на ночь складывали обратно так, чтобы, в случае чего, оставалось только завязать мешки, забить ящики, засургучить и грузить в машины.

Хлопот было много. Но это не была та живая, даже веселая страда, какая обычно наступала в конце операционного года, когда подводили баланс. Работали молча, без страстных пререканий, без шуток в свободную минуту. Эта сосредоточенная суета напоминала почему-то Митрофану Ильичу ту, что воцарилась в домике в последние минуты перед выносом тела его покойной жены.

Митрофан Ильич внешне оставался спокойным. Трудился он с обычной сноровкой и деловитостью, но сослуживцы примечали, что с ним началось что-то неладное. Педантичная чистоплотность старшего кассира с давних пор служила предметом добродушного подтрунивания. Шутники утверждали, что он, должно быть, так и родился в накрахмаленном воротничке, с аккуратно подстриженными усиками, с четким пробором, с апельсиновым румянцем на тщательно выбритых щеках. И действительно, даже ветераны не помнили его иным. А тут он както сразу сдал, перестал бриться, забывал причесываться, ходил вовсе без воротничка, в мятом, выпачканном чем-то белым пиджаке и у всех на глазах из подтянутого человека неопределенных лет превратился вдруг в неряшливого, рассеянного старика.

Проводив на восток дочь с внуками, он перестал ходить домой даже на ночь и спал на письменном столе, подложив под голову пухлую папку со старыми бумагами, прикрыв ноги развернутым листом городской газеты. Впрочем, сотрудники, из числа тех, кто находился на казарменном положении, видели, как неспокоен сон старшего кассира. Он кряхтел, вздыхал, охал, точно от боли, ворочался с боку на бок и все что-то шептал. С лица его и ночью не сходило недоуменно-страдальческое выражение.

Иногда кто-нибудь, пожалев старика, начинал рассказывать ему все одну и ту же ободряющую новость. В город прибыла часть полковника Теплова. Начфин этой части, открывавший в банке текущий счет, намекал по секрету, что у них хватит и пушек и танков и что врага они к городу никоим образом не подпустят. Митрофан Ильич рассеянно смотрел на говорившего, и трудно было понять, слушает он или нет.

Под утро, измаявшись от бессонницы, он сползал со своего жесткого ложа, неверным шагом, задевая за стулья, стукаясь об углы столов, выбирался на балкон и, прислонившись спиной к стене, так и стоял до зари, тревожно посматривая на запад. Далеко за городом, погруженным во тьму, по небу, где еще не угасли слоистые перламутровые полосы заката, вспыхивали отсветы далеких разрывов. Губы старика, взятые в скобки двумя глубокими горькими складками, шептали:

— Что же это? Как же так?.. Что же будет?

Банковские комсомольцы — дежурные противовоздушной обороны — с участием посматривали на старого кассира. Кто-нибудь выносил на балкон табуретку, предлагал присесть. Митрофан Ильич рассеянно благодарил и продолжал стоять рядом с табуреткой...

Днем и ночью через площадь, мимо отделения банка, громыхали пыльные грузовики, нагруженные ящиками, тюками, мебелью. Тянулись усталые люди с мешками, с узлами, с молчаливыми детьми на руках. Все это двигалось к станции. И милиционер на перекрестке, раньше ловко, как капельмейстер, управлявший с помощью белого жезла двусторонним движением, теперь стоял, как пыльный монумент, в полной неподвижности: поток машин и людей двигался в одном направлении... Один за другим закрывали в банке свои счета уезжавшие на восток заводы, институты, учреждения. Появлялась новая

клиентура — воинские части, госпитали. Отделение банка должно было работать до полной эвакуации города...

Днем среди массы срочных дел, связанных с отъездом старых клиентов, Митрофан Ильич точно, но как-то автоматически выполнял свои обязанности, щелкая арифмометром, с изяществом и быстротой фокусника пересчитывая пачки денег, аккуратно выводил на счетах свою подпись с затейливым росчерком. Но иногда и в разгар работы он впадал в такую задумчивость, что не слышал ни сирен, объявлявших воздушную тревогу, ни дробного боя зениток. Массивное здание вздрагивало от разрывов, чернильницы подскакивали и плескали, люстра под потолком начинала раскачиваться, а старый кассир сидел за своим столом над раскрытой приходо-расходной книгой, уставив рассеянный взгляд в распахнутое окно, на площадь, обезлюдевшую, точно перед грозой.

Начальник отделения банка Чередников наказал комсомольцам из бухгалтерии опекать старика. Теперь с объявлением воздушной тревоги они насильно уводили его, заставляли спускаться в зигзагообразную земляную траншею, черной молнией рассекавшую клумбы скверика на банковском дворе.

— Подумать только, как быстро может сдать человек! — удивлялись сослуживцы, глядя на Митрофана Ильича...

Так, в тоскливом ожидании чего-то невероятного, настолько страшного, что трудно было даже представить, прожил Митрофан Ильич до той самой ночи, когда был получен приказ окончательно свернуть дела и как можно быстрее двигаться на восток. Последние автомобили уже нагружались во дворе банковским имуществом, когда Чередников, высокий сухой старик в полувоенной гимнастерке, с пустым рукавом, аккуратно заправленным за пояс, натолкнулся на Митрофана Ильича, бесцельно бродившего по опустевшим комнатам, гудевшим и дрожавшим от близкой канонады.

— Митрофан, ты что здесь топчешься? — спросил он.

— Что?

— Где твои вещи? Ты же что-нибудь берешь с собой? Не на рыбалку едем,— кто знает, сколько пространствовать придется.

Даже сейчас, в грустной суете последнего эвакуационного часа, управляющий не потерял своей обычной деловитой напористости.

— Вещи? Какие? Зачем вещи? — точно сквозь сон, переспросил Митрофан Ильич.— Ах да, мои вещи... У меня нет вещей... Зачем?.. Теперь все равно. Пускай...

— Ты с ума сошел! У тебя же даже смены белья не будет. Кто тебя снабдит? — Чередников посмотрел на свои серебряные часы-луковицу, знаменитые часы, которые, как все в банке знали, управляющий когда-то получил за храбрость из рук самого Василия Ивановича Чапаева.— Вот что, у тебя час времени. Сию же минуту аллюром три креста марш-марш домой! Уложишь самое необходимое — и сюда! Учти, не с бреднем на реку идешь,— что нужно, все захватывай. Учти, в десять трогаемся... Ну, ступай!

— Хорошо. Я пойду...

Митрофан Ильич покорно двинулся к выходу. Постепенно он шел все быстрее и быстрее, будто приходил в себя после долгого забытья, шел и с удивлением осматривался по сторонам, как бы не узнавая улиц, по которым одним и тем же маршрутом из дома на службу и со службы домой ходил ежедневно вот уже около двадцати лет.

На западной окраине города второй день горела нефтебаза, подожженная вражескими бомбардировщиками. Бурый дым, окутавший все, был таким густым и тяжелым, что в нем расплывались очертания даже самых ближних домов. В этом дыму, до краев наполнявшем русла улиц, двигался поток гремучих, ревущих клаксонами грузовиков, скрипучих, тяжело груженных подвод, торопливо шли люди, таща на плечах тяжелые узлы, волоча за руки испуганных ребят. Солнце едва обозначалось в небе небольшим, тусклобагровым пятном со светящимися краями. Все это было так необычно и так не походило на то, что привык здесь видеть Митрофан Ильич, что он остановился и с минуту беспомощно оглядывался кругом, пока наконец не вспомнил, как ему ближе пройти до дома.

Кассир жил на окраине, в Заречье, в собственном деревянном домике, прятавшемся за четырьмя лохматыми липками. Жена умерла лет десять назад. Трое сыновей еще с финской войны были в армии и теперь где-то, наверно, уже сражались. Дочь с внуками, приехавшую погостить, он сразу, как только город был объявлен на осадном положении, отправил на Урал к свату, работавшему там доменщиком. Проводив их в далекий путь,

Митрофан Ильич прямо с вокзала пришел в банк да так там и остался, боясь одиночества. И вот теперь, торопливо отомкнув затейливые замки входной двери, он с тоскливым страхом переступал родной порожек, в котором за долгие годы он сам, его жена, сыновья и внуки вытоптали заметное углубление.

Крепкий деревянный домик весь дрожал от близкой канонады и гудел, как коробка старой гитары. В дверях Митрофан Ильич остановился, вцепился рукой в косяк. Сердце сжалось: серая лохматая пыль покрыла за эти дни мутной вуалью картины, занавески, кресла в чехлах, всю обстановку комнат, обычно радовавших уютной чистотой. Острые желтые солнечные лучи, проникая в щели ставен, наискось прокалывали холодный полумрак и, мерцая роями пылинок, освещали трехколесный велосипед, на котором сидел потертый плюшевый мишка, и маленькую, как ореховая скорлупка, детскую туфельку, валявшуюся на полу.

Митрофан Ильич поднял эту туфельку, обдул пыль и вдруг отчетливо представил себе, как маленькая Аришка, Вовик и их мать несутся в огромном, движущемся на восток человеческом потоке, точно листья, сорванные осенней бурей и подхваченные течением реки. Он подумал, что вот сейчас буря эта сорвет и его, сорвет, закружит, понесет невесть куда по неведомым бесконечным дорогам. Старик почувствовал вдруг такую слабость, что туфелька выскользнула из рук и он принужден был опереться о стену, чтобы не упасть. Так, по стене, цепляясь за спинки зачехленных кресел, за дверные косяки, за перила террасы, выбрался он в сад.

Сад этот уже давно являлся предметом забот и гордости своего хозяина. Здесь, на тихой окраине, у неширокой реки, которая посверкивала сразу же за забором, меж темной зеленью старых, лохматых ветел, дыма почти не было. Солнце, еще не поднявшееся в зенит, щедро обливало землю теплыми лучами, и от этого листва яблонь и ботва овощей лоснились, точно отлакированные. Густо пахло влажной жирной землей, укропом, острым ароматом помидорной зелени, крепким чесночным духом. Скворцы, не обращая на старика внимания, нагло суетились в густом вишеннике, склевывая необобранную перезрелую ягоду. Пчелы деловито сновали над разноцветными домиками ульев, покачивались на ажурных зонтиках укропа, вились над лапчатыми листьями огуречных пле-

тей, перевертываясь, залезали в ярко-желтые цветочные рюмочки. Им не было никакого дела до белесых столбов дыма, подпиравших небо, до скребущих звуков чужих самолетов в солнечной выси, до печальных человеческих потоков там, на улицах. Их не пугало, что земля дрожит мелкой дрожью от грохота орудийного боя, который, как говорили, идет уже где-то в районе железнодорожной станции.

Вопреки тому страшному, что творилось кругом, тут, за дощатым забором, все было привычно, мирно, все дышало покоем. Митрофан Ильич не заметил, как очутился в заветном уголке сада, точно ноги сами принесли его сюда.

Здесь, положив на деревянные рейки узловатые локти, лоснясь на солнце ярко-зеленым узорчатым листом, тянулись лозы — первые виноградные лозы в этом городе. Из-под листьев кое-где уже виднелись матово синевшие гроздья.

Около четверти века кропотливого труда понадобилось банковскому кассиру, чтобы приручить солнцелюбивого южанина, заставить его расти и плодоносить в этих прохладных краях. Старик выписывал черенки из разных краев и, скрещивая сорта, стремился вывести новый, морозоустойчивый. И вывел. Выращенные им гроздья, пышные и сладкие, прошлой осенью демонстрировались на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке и вызвали интерес у знатоков.

Сюда, к этим лозам, в любую погоду хаживал Митрофан Ильич, до того как отправиться на службу, полюбоваться ими, как растет, как цветет, как завязывается и наливается виноград «Аринка». Так называл он свой лучший сорт в честь внучки. Вот они, эти лозы, в которые вложено столько труда! Они уже готовы выйти за забор его тесного садика, на просторы колхозных земель. И теперь он должен бросить их на произвол судьбы, во власть жестоких морозов, бросить, чтобы самому бежать невесть куда, невесть зачем.

Старик присел прямо на теплую грядку. Зелень закрыла от него все окружающее. Маленький клочок земли, превращенный его руками в самый цветущий уголок во всем Заречье, казался ему и сейчас таким же радостным, как и в счастливые дни, когда жена ходила меж яблонями с большой зеленой лейкой, когда сыновья были еще мальчуганами. Старик осторожно сорвал пожелтев-

ший виноградный листок и ласково прижал его к щеке шершавой тыльной стороной. Студенистое, прозрачное марево зыбилось меж деревьями. Возбужденно орали скворцы, ветер лениво перебирал жесткие листья яблонь, озабоченно гудели пчелы. Одна из них запуталась в седых взъерошенных волосах. Митрофан Ильич бережно освободил ее и заботливо проследил, как она долетела до своего улья.

И вдруг этот маленький, залитый солнцем сад показался старику тихим островком среди необозримых пространств, затопленных грозным военным половодьем. Вот тут-то и мелькнула у него мысль: а что, если не ехать в эвакуацию?

Мысль эта была так неожиданна, что он даже вскочил и вслух удивленно переспросил:

— То есть, позвольте, как это не ехать?

Но уже в следующее мгновение он оправдывал эту свою мысль. Ну да, ведь он уже стар, болен. Вряд ли он даже перенесет тяготы пути. Сердце так шалило все эти последние дни. Ну, а если, допустим, он и преодолеет дорогу,— какая и кому, скажите на милость, от него будет польза? Что он может сделать для войны? Кассиров там, в тылу, и без него хватит. Снаряды он точить не умеет, да и нет уже для этого сил. А тут еще, чего доброго, сердце подведет, придется отрывать от дела и без того по горло занятых людей, чтобы они его опекали. Быть обузой — что может быть хуже для человека в такое время!..

— Но все честные люди уходят на восток, даже больные, даже вон матери с грудными младенцами, с кучами ребятишек, — возразил он сам себе.

А не все ли равно, где умирать! Впрочем, умирать, конечно, лучше здесь, в родном городе, в этом вот домике, где прожита вся жизнь. Нет, ему не следует ехать, он не поедет.

Решив это, Митрофан Ильич поднялся и, осторожно переступая через гряды, стараясь не потревожить нежные огуречные плети, заторопился к калитке. По улицам он почти бежал, не замечая ни близкой стрельбы, ни зловещего гудения бомбардировщиков, ни разрывов, то и дело потрясавших город. Он замедлял шаг лишь тогда, когда колотье в сердце становилось непереносимым. Думал же он только о том, как лучше сообщить товарищу Чередникову о своем неожиданном решении.

Старшего кассира связывали с управляющим не только служебные отношения, но и давняя дружба, возникшая еще в дни их молодости на берегу речки, где они встречались у закинутых удочек. Чередников был тогда щеголеватым слесарем с маслозавода, ходил в сатиновой косоворотке, в лихо замятом картузе с лаковым козырьком. Митрофан Ильич служил младшим статистиком в местном отделении Русско-Балтийского банка и получал оклад содержания 23 рубля 50 копеек. Молодые люди часами сидели рядом, следя за тонкой зыбью, дрожавшей вокруг поплавков. Свершилась Октябрьская революция, и скромный банковский статистик с удивлением узнал в известном, как тогда говорили, «яром большевике», громившем на шумных митингах местных меньшевиков и эсеров, своего знакомого по рыбалкам. Вскоре Чередников по партийной мобилизации уехал на фронт и вернулся оттуда с серебряными часами, полученными за храбрость, и с пустым рукавом, пристегнутым булавкой к старому френчу с засаленным воротником.

Потом Чередников работал в городе на разных руководящих должностях. Уже реже старые знакомые встречались с удочками на берегу реки, но теперь, сойдясь на рыбалке, они не молчали, как прежде, а вели неторопливые беседы о жизни, спорили о городских делах. Наконец судьба свела их окончательно в городском отделении Госбанка, куда Чередников был направлен управляющим и где Митрофан Ильич работал уже старшим кассиром.

Несмотря на пустой рукав и на седые виски, в характере Чередникова стойко сохранялись черты, за которые когда-то звали его «ярым большевиком». Рассказывали, как в первый день войны управляющий бушевал в военкомате, тыча в нос усталому комиссару серебряные часы с надписью «За храбрость и отличную службу в войсках революции» и требуя немедленно направить на фронт. Потом его видели в горкоме. Он обходил по очереди секретарей и убеждал послать его в леса, в партизанский отряд, формировавшийся в те дни из партийного актива. Он осаждал телефонными звонками область и смирился только тогда, когда получил от секретаря обкома сердитую телеграмму, категорически приказывающую ему остаться при исполнении служебных обязанностей, обеспечить работу банка до последнего часа и планомерную эвакуацию ценностей, в случае если возникнет необходимость.

Теперь, спеша по задымленным улицам, Митрофан Ильич мучительно думал о том, как он скажет этому человеку о своем намерении.

«Ты пойми,— мысленно убеждал он Чередникова,— ты пойми, что в общем балансе военных усилий я — величина отрицательная, минусовая, меня в пассив записать надо... Ты меня знаешь, я не подведу, может быть, даже окажусь полезным партизанам или подпольщикам... А умереть придется — что ж, умру достойно, не обману вашего доверия, не запятнаю фамилию Корецких... Только пусть уж умру тут, дома, где родился, где жизнь прошла».

Весь охваченный ожиданием тягостного разговора с начальником и другом, Митрофан Ильич, не помня как добрался наконец до Советской площади. Поднявшийся ветер отнес в сторону дым. Странно и горько было видеть этот залитый солнцем, обычно шумный и веселый городской центр безлюдным, каким он бывал разве только после полуночи. Здания были пусты, двери и окна распахнуты. Ветер гонял по асфальту обрывки бумаг, пепел и смерчем завивал все это в столбах пыли. Отзвук своих шагов старик слышал далеко впереди.

С трудом преодолев одышку и острое колотье в боку, Митрофан Ильич пересек площадь, вбежал во двор банка — и ахнул: машин уже не было. Цепляясь за перила, он с трудом поднялся на железное крылечко. Неужели все уехали? Неужели так и не удастся повидать Чередникова, обсудить с ним свое намерение? Опоздал!.. Они ждали, а он не явился!.. Что будут думать теперь о нем люди, с которыми он работал, которые всегда так ему доверяли, избирали его в президиум на торжественных заседаниях, посылали своим депутатом в райсовет?..

Остановившись на крыльце, старик беспомощно огляделся.

«Что же теперь делать? Что?»

2

Просторное пустое помещение одинаково гулко отзывалось и на канонаду, доносившуюся со стороны станции, и на тяжелые шаги самого Митрофана Ильича.

Тишина больших высоких комнат, обычно наполненных приглушенным говором посетителей, щелканьем сче-

тов, сердитым зудом арифмометров, треском пишущих машинок, всем этим деловым шумом, который привычное ухо научилось вовсе не замечать, опять напомнила ему день похорон жены, когда он, обогнав друзей и сослуживцев, один вернулся с кладбища к себе в домик. Так же намусорено и наслежено было тогда на полах, так же непривычно раздавалось эхо в притихших комнатах, так же, боясь этого появившегося вдруг в комнатах эха, он привставал на цыпочках и шел крадучись.

Открытые дверцы несгораемых шкафов, обрывки бумаг, беспрепятственно носимые сквозняками, и этот гул пушек, врывающийся в окна, заботливо оклеенные накрест никому не нужными теперь бумажными полосками,— все это беспощадно напоминало, что привычная жизнь ушла и надвигается какая-то новая, непонятная, незнакомая, которая казалась Митрофану Ильичу даже более страшной, чем сама смерть.

— Что же теперь, как же теперь? Ох, как все гадко получилось!

Вдруг старику показалось, что в зловещей тишине обезлюдевшей конторы он слышит плач. Ну да, плач доносился откуда-то со стороны операционного зала. Будто на огонек, вдруг вспыхнувший во тьме, двинулся Митрофан Ильич на этот живой человеческий звук. В огромной пустой комнате он увидел машинистку Мусю Волкову. В пестром шелковом платье, показавшемся Митрофану Ильичу донельзя нелепым для такого печального дня, она сидела на подоконнике и, положив голову на завернутую в клетчатый платок машинку, рыдала шумно и громко, как плачут несправедливо обиженные дети. Рядом, на полу, валялся большой узел.

Скрипнула половица. Девушка вздрогнула, испуганно подняла голову. Узнав сослуживца, она бросилась к нему, схватила его за плечи и уставилась ему в лицо большими серыми глазами, гневно сверкавшими из-под темных, слипшихся кустиками ресниц.

— Вас тоже забыли? Да? — Не дав ответить, она гневно зачастила: — Уехали! Вы понимаете, уехали, бросили нас, и горя им мало! Я побежала домой за машинкой... Вы же знаете, я работала и дома, учрежденческая машинка — вот эта — была у меня. Управляющий сказал: «Ладно, наплевать на машинку, пусть остается». Наплевать на такую машинку! Ну, уж это извините! Я сказала: «Сбегаю, подождите». Они обещали ждать. Я ведь

очень торопилась, но вы знаете, какая машинка тяжелая... Прибегаю сюда. Здравствуйте! Никого. Уехали. Им не только на машинку, им и на нас с вами наплевать... Ну ладно, ну их! Пусть! Что мы, плакать будем? Да? Подумаешь! ..

Вдруг как-то сразу успокоившись, девушка спрыгнула с окна, обтерла комочком платка слезы и следы смазанной губной помады. Озорно тряхнула остриженными «под мальчишку» кудрями и решительно заявила:

— И без них расчудесно эвакуируемся. Очень мы в них нуждаемся! Вот увидите — мы еще их догоним. У них обязательно шина лопнет. И пусть лопается, так им и надо, не забывай людей!.. Вы поможете мне нести машинку?

Девушка стала хлопотливо увязывать машинку, так, чтобы ее можно было взвалить на плечо наперевес с объемистым узлом. Митрофан Ильич, смотря на суетившуюся машинистку, рассеянно думал: как могло, как только посмело это легкомысленное существо в такой день нарядиться в яркое новое платье, надеть лакированные туфельки — точно на танцульку; вот она, теперешняя молодежь... И все-таки как будет страшно, одиноко, когда исчезнет отсюда со своим узлом и машинкой и эта девушка — последний человек, последний осколок того привычного и бесконечно дорогого, что сегодня уходило на восток.

Машинистка связала наконец свои вещи и обернулась.

— Что вы на меня уставились? Зачем я так оделась? Да? А чтобы меньше нести. Я старье побросала, только лучшие платья взяла. А это вот на себя... А где ваши вещи? Берите их, и идем скорей. Я знаю, по какой дороге они поехали. Вот увидите: сидят сейчас, свесив ноги в кювет, а шофер шины клеит и ругается.

— Я не пойду,— с трудом произнес Митрофан Ильич.

— То есть как это не пойдете?.. Вы что?..

Взгляд девушки показывал, что она действительно не понимала, как это можно остаться в городе, куда вот-вот ворвутся враги. Чувствуя, как горячие волны стыда заливают лицо, Митрофан Ильич опустил глаза и, стараясь выговаривать как можно тверже, произнес:

— Я решил остаться, Муся.

— Остаться? С фашистами? Вы что?..

Девушка инстинктивно отпрянула от Митрофана Ильича и, как показалось ему, даже брезгливо повела худыми плечами. Потом серые глаза снова приблизились к его лицу, в них были и недоумение, и надежда, и мольба, и требование.

— Вы ведь шутите, да?.. Ну хватит, пора идти.

Она произнесла все это таким тоном, что у старика не хватило духу подтвердить свое намерение.

Митрофан Ильич с удивлением смотрел на девушку. Он считал машинистку Волкову самой вздорной и легкомысленной из всех банковских сотрудниц. Печатала она, правда, быстро, грамотно, но обладала таким ядовитым характером и таким острым язычком, так любила при случае «отбрить», столько прозвищ надавала сослуживцам и столько разговоров шло о ее непочтении к учрежденческим авторитетам, что Митрофан Ильич, когда доводилось ему печатать отчетные ведомости, опасливо обходил эту тоненькую, курносую, коротко подстриженную девчонку с курчавым, пшеничного цвета чубом, всегда закрывавшим ее высокий упрямый лоб.

И вот теперь этот «Репей», как прозвали девушку сотрудники, смотрел на него так, что он, старый человек, не смел произнести слова, которые с такой тщательностью подготовил для объяснения с самим товарищем Чередниковым.

— Вы меня разыграли? Да?.. Вот нашел время... Ну, пошли скорей, помогите мне взвалить эти узлы.

Митрофан Ильич покорно наклонился к Мусиным вещам, но тотчас же выпрямился и испуганно уставился в окно. По асфальту гулко разносился звук торопливых шагов. Двое мужчин в форме железнодорожников пересекали пустую площадь. На ходу они читали вывески, разыскивая, должно быть, какое-то учреждение. Вот один из них, тот, что был помоложе и повыше ростом, указал на отделение банка, и оба бросились к подъезду. У молодого за спиной мотался, подпрыгивая, черный мешок.

Тяжелые шаги простучали внизу по ступенькам. Хлопнула дверь. Издали донесся хрипловатый возбужденный голос:

— Эй, есть тут кто?

И прежде чем Митрофан Ильич успел отозваться, в дверях появился высокий смуглый парень с мешком. Его форменная фуражка, помятая и замасленная до лоска, была сбита на затылок. Вошедший оглядел Митрофана Ильича и машинистку глазами такими черными, что даже белки у него имели кофейный налет. Взгляд у него был дерзкий и настороженный, точно он взвешивал, можно ли доверять этим людям.

— Ну, признавайтесь,— спросил он резко,— где тут у вас, в банке, начальство? — Он бросил мешок со спины, подхватил его на лету сильными руками и бережно опустил на пол.— Или все уж удрали?

Тот, что был старше, левой рукой извлек из кармана носовой платок и стал вытирать вспотевшее лицо. Забинтованная правая рука висела у него на перевязи. На марле бурели пятна засохшей крови.

— Виноват, вы кто будете, товарищ? — спросил он Митрофана Ильича, с трудом преодолевая одышку и, видимо, изо всех сил стараясь говорить спокойно, вежливо.

— Корецкий... старший кассир. Но отделение банка действительно эвакуировалось. Мы с ней вот...— Митрофан Ильич запнулся, подыскивая нужное слово. И вдруг почувствовал, как вспыхнули его щеки.

Однако молодой не дал ему кончить. Подняв мешок с пола, он поставил его на стол.

— Вот ты-то нам и нужен, папаша. Раз главный кассир, принимай...

Но старший едва заметным толчком локтя остановил молодого, который принялся было развязывать мешок. Пытаясь изобразить на усталом лице вежливую улыбку, старший обратился к Митрофану Ильичу:

— Товарищ... Корецкий, ведь так я расслышал?.. Так уж простите, сами понимаете, в какой час встретиться привелось... Документик бы показали для верного знакомства...

Не понимая, в чем дело, Митрофан Ильич полез в боковой карман. Старший из посетителей просмотрел его служебное удостоверение, протянул его молодому, тот прочитал в свою очередь, взглядом сверил фотографию с оригиналом. Посетители переглянулись.

— Ну, вот и ладно, вот и отлично! — с облегчением зачастил старший.— Вы-то как раз нам и нужны.— И, повернувшись к молодому, распорядился: — Давай высыпай! Да поживее.

Сверкнув ослепительной белозубой улыбкой, парень нетерпеливым движением разорвал бечевку и, перевернув мешок, приподнял его за углы. Из брезентового, густо пропитанного мазутом черного мешка, в каких паровозные бригады возят инструмент что похуже, сверкающим потоком хлынули на письменный стол драгоценности: кулоны, браслеты, серьги, массивные портсигары, кольца, брильянтовые колье, старинные золотые табакерки, украшенные финифтью и каменьями, перстни. Все это, рассыпавшись по зеленому сукну, загромоздило канцелярский стол. Молодой железнодорожник еще раз дернул за концы мешка.

— Все! Пиши, папаша, расписку, что принял семнадцать килограммов золота и прочей драгоценной ерунды.

— И будьте добры, поскорее, пожалуйста,— прижав пухлую старческую руку к борту кителя, попросил старший; и по манере надевать картуз, и по седой щеточке аккуратно подстриженных усов, и даже по пестрому носовому платку, который он то и дело прикладывал ко лбу, в нем угадывался главный кондуктор.— Очень прошу, граждане, поскорее! Очень...

Митрофан Ильич и машинистка, пораженные, стояли у стола, молча глядя на груду сокровищ, остро сверкающую разноцветными огнями: он — со страхом, она — с любопытством.

— Откуда это у вас? — шепотом спросила девушка.

Ей никто не ответил.

— Пиши, папаша: принял семнадцать килограммов ценностей в разных штуковинах от главного кондуктора эшелона номер ноль один восемьсот десять Иннокентьева Егора Федоровича и от помощника машиниста Черного Мирко Осиповича. И все, и весь разговор...

Митрофан Ильич продолжал стоять в молчаливой растерянности.

— Я не имею права принять эти ценности,— наконец проговорил он.— Отделение эвакуировано, счета закрыты.

— А для чего же тебя здесь оставили? — вспылил молодой.— Для красы? Да тебя за саботаж в военное время... Знаешь...— Смуглый парень наклонился через стол к кассиру, коричневатые белки его глаз угрожающе сверкали.— Весы есть?

Уж одно то, что мешок с драгоценностями находился в здании советского банка, а у стола стоял человек, всю жизнь имевший дело с денежными суммами, золотом и

«прочей ерундой», казалось, должно быть молодому железнодорожнику достаточной гарантией сохранности этих богатств.

— Вешай и пиши расписку! — напирал он на Митрофана Ильича.

— Да спусти ты пары, сумасшедший!..— остановил его пожилой.— Уж, пожалуйста, примите. Нельзя нам это у себя оставить, в банк сдать велено. В ваш банк...

— Да поймите вы — не могу я, не могу...— начал сердиться старый кассир, но вдруг обрадованно вскрикнул: — Ладно, приму! А вы нас с ней возьмете в свой эшелон! Приедем в тыл, вместе все и сдадим. А?

— Как же мы вас возьмем, мил человек? Разбомбили ж ведь нас, паровоз нам разбили. А другой то ли прорвется за нами, то ли нет: фашист уж на полотно снаряды кладет... Пропасть же все это может вместе с нами. Вот беда-то.— И он с надеждой уставился на Митрофана Ильича.— Как же быть? А?

Наступило тягостное молчание. Четыре человека стояли перед грудой лежавших на столе сокровищ, не зная, как им поступить.

Вдруг Митрофан Ильич встрепенулся, в глазах его засветилась робкая надежда. Он бросился к телефону. Может быть, еще не эвакуировалось то учреждение, из которого он обычно в экстренных случаях вызывал вооруженных инкассаторов для перевозки и охраны в пути крупных банковских сумм и ценных бумаг... Может быть, их машины и люди еще в городе? Даже наверняка еще в городе! Тогда он уговорит их немедленно вывезти ценности на восток... Как же это сразу не пришло ему в голову?

Чувствуя, как бешено колотится сердце, старший кассир снял дрожащей рукой телефонную трубку. Он страшно обрадовался, услышав знакомый шум и потрескивание.

— Работает! — радостно вскричал он и, зажав ладонью микрофон, вкратце сообщил железнодорожникам, что он примет от них ценности, если ему обещают, что за ними будет прислана машина с надлежащей охраной.

— Молодец, папаша! — услышал он возглас молодого.— Действуй.

В это мгновение до кассира донесся далекий знакомый голос: «Станция». Он поднял руку, призывая к молчанию, поспешно назвал номер, и номер сразу отозвался.

Кто-то устало, но спокойно спросил, откуда звонят и что надо.

— Ну, слава богу! — воскликнул Митрофан Ильич. Он дважды повторил свою фамилию и должность, попросил немедленно выслать на машине людей для приемки очень больших ценностей, внезапно поступивших в банк. Он шепотом назвал предполагаемый вес сокровища.

В трубке удивленно хмыкнули. Потом сказали, что выслать инкассаторов трудно, так как бой идет уже на подступах к железнодорожной станции и все, кто мог, ушли на передовую. Митрофан Ильич снова назвал вес ценностей. На миг в трубке послышалось тяжелое дыхание. Потом голос сказал:

— Хорошо, товарищ Корецкий, раз такое чрезвычайное дело, людей пришлем.

— Принимать? — спросил старший кассир.

— Принимайте. Постарайтесь заготовить опись. Машина будет самое большее через четверть часа.

Тем временем Муся и смуглый помощник машиниста приволокли из буфета белые магазинные весы. Стряхнули с тарелок хлебные крошки, прикинули вес мешка, потом торопливо ссыпали в него сокровища, положили на весы.

Пока они возились, главный кондуктор, все время вытирая обильный пот, рассказывал историю сокровища. Его бригада вела последний эшелон из Прибалтики. С поездом шел почтовый вагон. Вражеские самолеты настигли поезд на подходе к городу. Среди других разбитых вагонов оказался и почтовый. В нем были два инкассатора. Они везли ценности рижской конторы Ювелирторга, которые должны были быть сданы в Госбанк. Один из инкассаторов был убит наповал, другой, когда люди из поездной бригады нашли его среди обломков, еще дышал. Весь израненный, он удивленно поводил вокруг глазами, точно не понимал, что с ним такое произошло. Потом, должно быть почувствовав, что умирает, он взглядом поманил к себе людей. Инкассатор сказал: ценности на большую сумму. Кожаный мешок разорван, все разбросано. Он просил все собрать и сдать под расписку в отделение Госбанка первого крупного города в тылу.

Перед тем как в последний раз закрыть глаза, он взял с бригады слово, что эту расписку они отошлют его начальнику.

Инкассаторов вместе с другими жертвами налета наскоро похоронили в пристанционном ровике. Ценности

собрали в мешок. Начальник станции уверил главного кондуктора, что отделение банка еще работает. И вот, пока на станции, под артиллерийским обстрелом, остатки эшелона ожидают новый паровоз, нужно выполнить волю покойных — сдать ценности и получить требуемую бумагу.

— Семнадцать килограммов двести шестьдесят пять граммов. Точно! Точнее весы не позволяют. Три раза взвешивали! — громко объявила Муся, указывая Митрофану Ильичу на длинную узкую стрелку, неподвижно застывшую на циферблате.

Старший кассир присел к столику и, разыскав на полу более или менее чистый лист бумаги, каллиграфическим почерком, тщательно выводя завитушки заглавных букв, написал приемочную квитанцию. Он расписался под ней и, так как не было у него никаких печатей и штампов, вопреки всем законам бухгалтерии, попросил Мусю скрепить этот необычный документ своей свидетельской подписью. Расписываясь, Муся от волнения поставила кляксу, и Митрофан Ильич огорченно покачал головой. Он принялся было составлять и опись ценностей, но смуглый железнодорожник схватил со стола бумажку и, даже не попрощавшись, ринулся из комнаты. Старший бросился за ним. Через мгновение хлопнула внизу дверь, и быстрые шаги затихли на площади, на которую ветер, изменивший направление, снова стал загонять клубы бурого дыма.

— Ой, какие красивые штучки! — воскликнула девушка, восхищенно рассматривая содержимое грязного мешка.— Я таких даже и не видела, верьте слову. Вот это да!

— Глупости у тебя на уме. Садись за машинку. Пока не приехали инкассаторы, надо составить хотя бы самую черновую опись, заготовить сдаточный акт,— говорил Митрофан Ильич, нетерпеливо потирая тонкие, худые руки.

Муся развязала платок. Машинка была водружена на стол.

«Ишь побежали, обрадовались. Спихнули с себя — и горя им мало... Что ж, ничего не поделаешь, надо действовать! — думал Митрофан Ильич.— Какие огромные, просто колоссальные ценности!» Ощущение ответственности вывело его из тягостной апатии. Он весь внутренне подтянулся.

— Что ты копаешься? — прикрикнул он на машинистку, вставлявшую в валик лист бумаги.— Приготовилась? Пиши: «Опись ценностей, поступивших в городское отделение Госбанка через старшего. . .» — нет, как его? . .— «через главного кондуктора железнодорожного эшелона...» — написала «эшелона»? — «эшелона номер ноль один восемьсот десять Иннокентьева Е. Ф. и помощника машиниста паровоза при этом эшелоне Черного М. О.»... Фамилии подчеркнешь... Подчеркнула?

Деловито потирая руки, Митрофан Ильич расхаживал взад и вперед, диктуя опись. Диктовал и прислушивался.

И хотя кругом гудело и грохотало по-прежнему, хотя один особенно близкий взрыв вынес воздушной волной несколько стекол, увесистый кусок штукатурки упал с потолка на стол, где стояла машинка, а Муся, взвизгнув, бросилась под защиту массивной стены, Митрофан Ильич только поморщился.

— Ах эти женские нервы! Ведь далеко ж!.. Давай скорее пиши. Вот-вот приедут...

Рокот мотора послышался, когда работа была в разгаре. Но не оттуда, откуда ожидалась машина с инкассаторами, а с противоположной стороны. И был этот рокот напряженный, стреляющий, незнакомый. Вскоре в дымную мглу площади с треском ворвались мотоциклисты. Не сбавляя хода, они один за другим пронеслись мимо банка и свернули на улицу Карла Маркса. Митрофан Ильич и Муся застыли у окна. Площадь еще не стихла, а уже рокотали, приближаясь, другие моторы. Их рев сопровождался перекатывающимся лязгом. Здание затряслось, зазвенели осколки только что выбитых стекол. Через площадь, нечетко вырисовываясь в бурой мгле, торопливо двигались приземистые танки. Они шли один за другим с короткими интервалами. То нарастающий, то стихающий шум их моторов упругими волнами вкатывался в окна.

Сначала Митрофан Ильич подумал, что это спешит через город подмога частям полковника Теплова, обороняющим станцию. Но вот две машины, вырвавшись из колонны, остановились на противоположных углах площади и начали, медленно поворачивая башни, наводить орудия на смежные улицы.

— Ой, крест! На броне крест! — прошептала девушка, прижимаясь плечом к Митрофану Ильичу.

И вдруг страшным голосом вскрикнула: — Немцы ж, немцы это!

Да, это были немцы. Происходило что-то непонятное. У железнодорожной станции, в пяти километрах от города, по-прежнему, даже с нарастающим ожесточением гремела канонада. Там шел бой. Части Красной Армии и истребительные батальоны железнодорожников, мукомолов, маслоделов дрались, защищая магистраль, а тут, в центре города, был уже неприятель.

Первой пришла в себя Муся Волкова. С трудом оторвав взгляд от чужих машин, она бросилась к телефону и принялась колотить по рычажку аппарата. Она хотела предупредить сражавшихся на станции о том, что тут, в городе, уже враг.

Но трубка зловеще молчала...

Тогда бежать, бежать отсюда, бежать, пока не поздно! Через смежные улицы, дворами, садами пробраться к восточной, еще не занятой, очевидно, окраине и догнать своих. Девушка бросилась было к двери, но сердитый окрик остановил ее:

— А золото? — Митрофан Ильич говорил новым, отвердевшим голосом, в самом тембре которого звучало право приказывать.— Мы же с тобой за это отвечаем!

Девушка смерила кассира тем задиристо-насмешливым взглядом, за который ее особенно не любили сослуживцы.

— Подумаешь!.. Очень мне надо из-за какого-то золота попадать к фашистам!.. Мне на это ваше золото — тьфу!

И она действительно плюнула себе под ноги.

— Девчонка!.. Как ты смеешь!

Митрофан Ильич смотрел сурово, гневно, и было в этом взгляде что-то такое, отчего озорная девушка притихла.

Грохот и лязг на улицах разом оборвались. Пронеслись последние машины. Развернулись и ушли за остальными и те два танка, что были выставлены для охраны колонны. Площадь опустела, и только облака пыли и дыма тихо клубились над рубчатыми следами гусениц, оставшимися на теплом асфальте. Канонада у вокзала усилилась, стала какой-то судорожной.

Митрофан Ильич завязал наконец мешок.

— За ним не приедут! Нужно выносить самим. Да, да, самим, мне и тебе.

Он вздохнул и начал, кряхтя, взваливать тяжелый груз на плечо. Но снова донесся гул мотора. На этот раз, несомненно, шла легковая машина. Может быть, инкассаторам удалось прорваться через боковые улицы? Старший кассир и маленькая машинистка с надеждой выглянули в окно.

На площадь одна за другой выскользнули три странные машины, похожие на лодки, поставленные на колеса. Шоферы и седоки торчали из этих стальных корыт по пояс. На площади машины разъехались: две направились к зданиям горкома и горсовета, а третья, сердито рокоча мотором, подкатила к отделению банка и скрипнула тормозами у парадного подъезда.

— К нам! — прошептал Митрофан Ильич, чувствуя, как похолодели и ослабли у него ноги.

И все вокруг — Муся, застывшая в проеме окна, самое окно, стол со стоящей на нем машинкой, круглые часы, висевшие на стене, и самая стена,— все это сдвинулось и вдруг стало валиться в сторону.

Случилось самое страшное из всего, что могло произойти в этот роковой день. Военные в чужой форме вылезли у подъезда. Бежать поздно, золото не унести, даже не успеть спрятать. Оно попадет к врагу, и виной этого события будет он, старший кассир Митрофан Ильич Корецкий, которому железнодорожники доверили огромную государственную ценность.

Вцепившись руками в стол, чтобы не упасть, старик растерянно обводил глазами комнату. Девушка между тем соскочила с окна. Она метнулась к мешку, схватила его обеими руками и, согнувшись под его тяжестью, отнесла к голландской печи. В последние дни в этой печи жгли ненужные документы, и перед дверцей возвышалась куча рыжей торфяной крошки, смешанной с бумажным пеплом. Девушка быстро открыла дверцы, но топот кованых сапог раздавался уже рядом. Точно разогнувшаяся пружина, девушка отскочила от мешка и в следующее мгновение уже стояла возле стола. Небрежно опершись о него, она улыбалась, как казалось, приветливо и беззаботно. Только порывисто вздымавшаяся грудь да вздрагивающие уголки губ выдавали ее волнение.

В комнату вошли трое: молодой щеголеватый военный в фуражке с очень высокой тульей, сразу напомнившей Митрофану Ильичу карикатуру Кукрыниксов из последнего номера «Правды», по-видимому, офицер; за

ним — солдат в квадратной рогатой каске, надвинутой на самые глаза, с автоматом, висевшим у него на шее на ремешке, наподобие саксофона; третий был штатский — маленький, юркий, с длинными обвисшими усами и светлыми глазами неопределенного цвета. Глаза эти так и бегали, так и шарили вокруг с испуганным, тоскливым беспокойством. Все трое были покрыты замшелым слоем зеленоватой пыли. Она лежала на лицах такой плотной маской, что трудно было рассмотреть их выражение.

Сверкание глазных белков, черный цвет губ и одинаковый оттенок густо пропыленных бровей и ресниц делали всех троих похожими друг на друга. Они показались Митрофану Ильичу людьми какой-то особой, таинственной и злой породы, неизвестной ему до сих пор. Все трое тяжело дышали — как будто, до того как войти в комнату, долго и трудно бежали.

Офицер остановился перед старшим кассиром, козырнул ему двумя пальцами и стал о чем-то спрашивать, все время нервно косясь на двери, ведущие в глубь здания.

— Пан офицер хочет слушать, что это действительно есть местный банк! — перевел длинноусый, произнося русские слова со странным выговором.

Митрофан Ильич словно не слышал вопроса. Он смотрел на этого совсем молодого офицерика с надменной, возбужденной физиономией, на солдата, который застыл у печки, расставив ноги, наподобие глиняной статуи, на длинноусого штатского в смешной детской фуражечке, смотрел и думал: так вот они какие, эти люди, объявившие себя владыками мира!.. Офицер кричит, хорохорится. Должно быть, грозит. Но разве не заметно, как боязливо косится он при этом на двери, как возбужденно дрожат большие руки солдата, напряженно вцепившиеся в автомат, как по-петушиному все время переступает штатский, точно пол жжет ему ноги, и как они все трое вдруг присели, когда звучно, будто пастушеский кнут, щелкнул у окна подхваченный ветром занавес!

И они, эти вот, хотят покорить советский народ! Старик усмехнулся зло и бесстрашно. Нервная дрожь прошла, даже сердце успокоилось. Что ж, он свое прожил — не стыдно вспомнить. Пожил бы еще, да что же делать, видно, не судьба... О чем трещит этот длинноусый, дергающий его за рукав? Что ему нужно?

— Пан офицер говорит, что ему неможно долго ждать ответа. Пан офицер сердится, пусть пан цивильный отвечает на вопрос.

Действительно, офицерик с подчеркнутым старанием расстегивал кобуру револьвера.

Что ж, чем скорее, тем лучше! Митрофан Ильич взглянул через плечо офицера в окно, на кипящую дымом площадь, гордо выпрямился, сжал губы и опустил веки. Нет, он не станет молить о пощаде. Этого они от него не дождутся. Ему захотелось перед смертью крикнуть в эти чужие, пыльные, сверкавшие белками глаз и оскалом зубов лица нечто значительное, уничтожающее, но не успел найти нужные слова.

Оттолкнув переводчика, Муся выпорхнула вперед. Загородив собой старика, она совершенно незнакомым ему, кокетливо-певучим голоском защебетала:

— Да, да, передайте, пожалуйста, господину офицеру, что это и есть городское отделение Государственного банка.— Она обернулась к Митрофану Ильичу. Лучистые озорные глаза горели отчаянным вдохновением.— Передайте господину офицеру, что это мой дедушка, мой гроссфатер. Понимаете меня? Пусть господин офицер на него не сердится. У него, у дедушки, у гроссфатера моего, сердце... вот тут, понимаете... у него сердце не в порядке, оно тук-тук-тук. Понимаете? От радости. Припадок, сердечный припадок. Болезнь... Кранк...

Она подбежала к офицеру и, схватив его за рукав клеенчатого пыльника, продолжала все с тем же вдохновением отчаяния:

— Мой гроссфатер при царе, при нашем кайзере — ферштеен зи? — он был буржуй, то есть, извините, по-вашему очень богатый человек... Переведите господину офицеру, что потом у моего гроссфатера, вот у него, у этого старика, все отняли, все, все. Вы понимаете? Ферштеен зи?.. Переведите теперь, что все уехали, а мы с дедушкой остались жить с фаши... то есть, я хотела сказать, с господами немцами... Ферштеен зи?..

Муся очаровательно улыбнулась, присела, отведя в сторону уголок юбки, и потом, вытащив из сумочки зеркальце, храбро мазнула по губам карандашом помады.

Митрофан Ильич медленно поднял на нее гневный взгляд. Что такое она там несет, скверная девчонка? К чему этот балаган? Как смеет она оскорблять гнусной

ложью последние минуты его долгой и честной, да, да, именно честной жизни!

Оранжевые пятна сердитого румянца выступили на бледном лице старика. Щеки задрожали, углы губ поползли вниз. Но в это мгновение он перехватил беспокойный взгляд Муси. Она украдкой искоса смотрела на грязный мешок, лежавший на торфяной куче у печки. Это сразу отрезвило старика. Да, да, она, конечно, права — он не смеет умереть, не исполнив своего долга! Эта девчонка умнее и ответственнее его. Правильно, нужно идти на все, лишь бы спасти эти неожиданно свалившиеся на их плечи сокровища...

Между тем, выслушав перевод Мусиных слов, офицер вытянулся, приложив два пальца к козырьку, назвал свою фамилию и, что-то вежливо бормотнув, с интересом осмотрел ее складную фигурку, от изящных туфель-лодочек, как бы подчеркивающих стройность ее маленьких ног, до серых упрямых глаз, наивно и дерзко смотревших из-под кудрявого, нависшего на лоб чуба. Он отвесил девушке поклон и с преувеличенной старательностью звонко щелкнул каблуками.

— Пан офицер просит передать, что рад познакомиться с ясновельможной русской пани. Он делает извинение, он не имеет часа. Он просит пана и пани немедленно показать ему, где здесь хранятся деньги в иностранной и русской валюте, а также ценности в вещах и золоте, займы и процентные бумаги, страховые полисы, акции, частные вклады и другие... как это... активы.

Заученно выговорив эту фразу, переводчик вздохнул и смолк. По самому его виду стало понятно, что произносил он эту фразу уже не в первый раз, что сам считает ее простой формальностью и не ждет положительного ответа.

— Ваше благородие, помилуйте, какие ж тут деньги, откуда? — неуверенно произнес Митрофан Ильич, стараясь войти в роль бывшего богача.

Он пытался и никак не мог вспомнить хоть кого-нибудь из фабрикантов, помещиков, уездных финансовых тузов, каких ему, маленькому конторщику, приходилось когда-то видеть среди клиентов банка. И хотя большая половина жизни Митрофана Ильича прошла в дореволюционные годы, все это было теперь так далеко, так прочно отгорожено четвертью века Советской власти, что вся его серенькая молодость вспоминалась ему смутно, как глава давно

прочитанной, малоинтересной книги. Так и не удалось ему хоть сколько-нибудь отчетливо представить себе кого-нибудь из уездных воротил. Вместо них в памяти возникли персонажи из пьесы Островского, которую он видел зимой на сцене городского театра, и в особенности образ старого купца, ловко вылепленный талантливым актером. Стараясь подражать еще жившим в памяти актерским интонациям, Митрофан Ильич уже несколько уверенней продолжал:

— И не ищи, батенька мой, ваше благородие, и время зря не теряй... Вот благодарю бога да вашего... как его... господина Гитлера, что поторопились вы прийти, а то вон дверные ручки да шпингалеты с окон и те с собой забирают... Ни с чем не расстаются, все как есть увозят... Какие уж тут, прости господи, активы...

Митрофан Ильич говорил все это медленно и рассудительно, точно на сцене. Слова вылетали изо рта, а все мысли его уже снова были сосредоточены на грязном мешке, лежавшем у печки. Он не смел даже взглянуть на него. Он нарочно смотрел в противоположную сторону, но как бы чувствовал присутствие этого мешка, чувствовал всеми своими напряженными нервами, будто золото и драгоценности источали какие-то магические токи. И оттого, что солдат с автоматом, стоявший у печки, находился так близко от мешка, что серый от пыли сапог с коротким и широким, как ведерко, голенищем почти касался грязной мешковины, все существо кассира было полно тоскливой тревоги.

А если он, немец, нагнется и заглянет в мешок?

Смерть? Нет, умереть не так уж страшно. Случится во много раз худшее! Фашисты обнаружат золото. А железнодорожники приедут в тыл, они найдут Чередникова, покажут ему квитанцию и расскажут, что самолично сдали ценности старшему кассиру. Чередников прочтет бумажку и, увидев знакомую подпись, облегченно вздохнет. В верные руки сданы сокровища. Раз Корецкий принял, что ни случись — не пропадут. У Корецкого за двадцать пять лет копейки не пропало. Железнодорожники уйдут успокоенные, а Чередников будет терпеливо ждать... Тем временем фашисты приобретут на это золото новые проклятые машины, и машины эти будут мять родные русские поля, стрелять в советских людей, в его, Митрофана Ильича, сыновей...

Старику стало страшно.

«Господи, спаси и сохрани, не допусти богатства во вражьи нечистые руки»,— твердил он про себя жалкие и смешные слова, почему-то вдруг пришедшие из далекого прошлого.

Между тем Муся уселась на край стола и беззаботно раскачивала стройной ножкой, искоса следя за тем, как офицер, и солдат, и переводчик, каждый втайне от другого, еле заметно поводят глазами в такт ее движениям. Девушка что-то щебечет и щебечет так естественно, что Митрофану Ильичу опять начинает казаться, что она кокетничает всерьез. Злая досада снова начинает подниматься в нем. Но тут он замечает, что села Муся как раз так, чтобы загородить мешок от взоров офицера и переводчика, и старик радуется: «Умница, молодец, вот у кого нужно учиться самообладанию! И откуда у нее это все берется? Актриса, настоящая актриса!..»

— Передайте его благородию, что я готов помочь чем могу,— торопливо, по-волжски окая, говорит Митрофан Ильич, снова вспоминая характерные интонации купца из пьесы.— Прошу покорнейше пройти в хранилище. Может, впопыхах, в сутолоке да в спешке они какие крохи и оставили...

Кассир идет впереди, сопровождаемый солдатом, напоминающим тяжелую куклу. Офицер и переводчик следуют за ними. Муся остается в операционном зале. «Может быть, этой хитрой девчонке удастся унести, спрятать мешок?» — думает Митрофан Ильич.

Он уже начинает понимать, что эти первые увиденные им фашисты, в сущности, ничего не знают о его народе, что их не так-то уж трудно обмануть, провести, повторяя выдумки их же собственной пропаганды. Все уверенней входит он в роль бывшего богача, обездоленного Советской властью, пришедшего вместе с внучкой взглянуть на этот когда-то принадлежавший ему особняк. Поначалу случайная выдумка эта показалась ему безнадежно наивной, глупой. Теперь он видит: верят... Усатый переводчик расшаркивается перед стариком и, заскакивая сбоку, величает его не иначе как «ясновельможный пан коммерсант». И еще в одном убеждается Митрофан Ильич: они боятся. Их танки, машины с пехотой, мотоциклы, снова танки непрерывной чередой, потрясая все вокруг, движутся через площадь к вокзалу. Их часовой стоит у главного подъезда. Эти трое вооруженных идут с ним, беспомощным, безоружным стариком, и все-таки они боятся,

заставляют его идти вперед, все время держат руки в карманах, опасливо оглядываются на двери, вздрагивают при каждом разрыве.

«А, уж научили вас, субчиков-голубчиков!.. Это вам не Западная Европа! У нас под ручку с дамочками по бульвару не погуляешь»,— злорадно думает старый кассир.

Они входят в помещение операционных касс. Немцы бросаются к тяжелым сейфам, вделанным в стену. Из-за громоздкости сейфы эти решено было не увозить. Митрофан Ильич опускается в дубовое канцелярское кресло на положенную поверх сиденья суконную подушечку, сшитую еще руками его покойной жены, и, подперев ладонью подбородок, смотрит на запыленные фигуры, шныряющие с крысиным проворством.

Он сидит под черной стеклянной табличкой с серебристыми буквами: «Старший кассир М. И. Корецкий», за своим столом, «на своем рабочем месте», как любил он говаривать. И ему начинает казаться, что он видит неправдоподобный, страшный сон.

Переводчик берет со стола дырокол, собственный дырокол Митрофана Ильича, который он как-то принес на службу из дому, и, удовлетворенно хмыкнув, сует в свой бездонный карман, где канцелярские мелочи исчезают совершенно бесследно. Покончив с дыроколом, переводчик вздыхает:

— Пан прав, они действительно все увезли, кроме этих, как это по-русски, шпингалетов для окон... Не будет ли пан такой любезный проводить нас в помещение... как это, ну, не элеватор, нет, ну... казнохранилище, да?

Страшный сон продолжается. Выслав вперед солдата с автоматом и вынув револьвер, офицер спускается в темное подвальное помещение, полное запахов старой бумаги, пыли и горелого сургуча. Острый луч электрического фонарика шарит в зияющих провалах пустых сейфов, выхватывает из мрака толстые стальные двери, заляпанные сургучом и воском, скользит по полу, густо покрытому шелестящим пеплом и клочками недогоревших бумаг. Дурной, тяжелый кошмар... Но где-то в глубине потрясенной души Митрофана Ильича теплится надежда: Волкова там, наверху. Что бы тут ни произошло, эта ловкая девица, может быть, что-нибудь сумеет сделать... Пусть мучают, пусть расстреляют даже, лишь бы ей удалось спасти казенные ценности, а если

не спасти, то хотя бы спрятать, чтобы не досталось этим...

Наверху звучно хлопает дверь. Фашисты, точно по команде, отскакивают к стене и с предостерегающими криками наводят оружие на слабо освещенную лестницу. Они тяжело дышат. Револьвер так и ходит в руке офицера. И снова злорадный смешок кривит губы старика: «Повадки волчьи, а души заячьи. Не будет, не будет вам ходу по нашей земле!.. Не далеко уйдете».

Уже без боязни переиграть он смело обращается к переводчику:

— Спроси-ка, любезнейший, не может ли его благородие прислать сюда саперов?

— К чему пану саперы?

— Да вот взяли они моду перед уходом минировать лучшие дома. Аль не слыхали? Ну как же, дело известное, замуруют куда-нибудь в фундамент адскую машину, а то и две и уедут. Их уж и следа нет, а часики себе тик-так, тик-так, а по прошествии времени она, бомбочка-то, как ахнет, дом-то и прости-прощай, только его и видали!.. Им чужого разве жалко? А мой отец этот дом для себя, для наследников своих возводил на долгие века...

Выслушав перевод, офицер сразу заторопился. Перепрыгивая через две ступеньки, он и его спутники выскакивают из подвала, почти бегом минуют анфиладу комнат. Митрофан Ильич, усмехаясь, плетется сзади.

Нет, Волкова не ушла. Она сидела на подоконнике и жестами что-то объясняла кому-то на улице, должно быть солдату, караулившему подъезд. Сердце старика дрогнуло. Мешок лежал на прежнем месте и даже, как ему показалось, стал больше размером.

Офицер козырнул Мусе, торопливо осмотрел комнату и указал солдату на пишущую машинку. Тот схватил ее и понес. Девушка, мгновение назад кокетливо улыбавшаяся, соскочила с окна и бросилась к солдату. Немцы остановились.

— Эта вещь принадлежит фрейлейн? — спросил офицер.

— Нет, нет, что вы, это не моя машинка, я не могу ее отдать. Понимаете, она не моя, учрежденческая!..— всполошенно кричала Муся и рвала машинку к себе что было сил.

Офицер удивленно поднял брови:

— Так почему же фрейлейн защищает чужую вещь?

Все здесь,— он обвел рукой вокруг себя,— трофеи великой армии фюрера...

— Отдай, дурак! — крикнула Муся, не выпуская машинки.

Солдат, у которого от ярости уши покраснели до свекольного цвета, старался оторвать руки девушки от своей добычи, но она держала цепко и все норовила ударить его ногой.

— Ваше благородие, Христом-богом прошу, пришлите вы поскорей саперов! — отчаянно выкрикнул Митрофан Ильич.— Ведь вот-вот взлетит мой дом на воздух, бух — и все!

Офицер исчез в двери. Солдат вырвал наконец машинку и, оттолкнув девушку, следом за переводчиком выскочил из комнаты. От толчка девушка рухнула на пол, но сейчас же вскочила, высунулась по пояс в окно и яростно затрясла кулаками. Митрофан Ильич силой оттащил ее. Муся осмотрела свои посиневшие пальцы, подула на них и вдруг заплакала сердитыми слезами.

— Ну что ты, ну не надо, важное дело — машинка! Ведь мы ж сокровища сохранили.

Девушка вскочила и царапнула старика возмущенным взглядом:

— Это ж лучшая машинка в учреждении... Как вы этого не понимаете? Я за нее отвечаю. «Трофеи армии фюрера»!.. Ах мерзавцы!..

Девушка брезгливо вытирала о платье руку, которую пожал офицер. Она терла ее с таким усердием, точно хотела содрать кожу. Глядя на нее, маленькую и сердитую, на лицо ее, мокрое от слез, Митрофан Ильич улыбнулся, наверное, в первый раз за все эти тяжкие дни.

— Если бы я еще верил в бога, я сказал бы, что само провидение оставило мне тебя в помощники, Муся,— сказал он, впервые назвав сотрудницу по имени.

Девушка удивленно взглянула на него. Никогда прежде он не называл ее так. На ресницах у нее все еще поблескивали слезинки, но она тоже улыбнулась.

— Есть время болтать о богах каких-то! Берите мешок. Не может же любящий гроссфатер из бывших лишенцев допустить, чтобы его маленькая внучка таскала такие тяжести.

Девушка без труда вскинула себе на плечи узел с вещами.

— Здорово я их поймала на старого буржуя, а? Дурни, поверили! Я думала, они хоть хитрые, а они...— Она многозначительно постучала костяшками пальцев о подоконник.

— Они нас своей меркой мерят, Мусенька,— ответил Митрофан Ильич.— Врали про нас черт-те что, сами тому вранью и поверили.

Он взвалил на себя мешок. Лицо его вдруг изобразило удивление: спина и локоть ясно ощутили куски торфа.

— Чего вы удивляетесь, товарищ гроссфатер? Не может же в таком скверном мешке быть золото. Я обложила ценности торфом, на случай если они туда нос сунут,— пояснила девушка и заторопила: — Мы пойдем черным ходом, потом через дырку в заборе во двор клуба пищевиков, а оттуда на Урицкую и на бульвар. Мы так девчонками на танцы без билета к пищевикам лазили... Очень удобно.

Она пошла вперед, показывая дорогу. Со стороны станции продолжала доноситься канонада, но город, окутанный дымом, был мертвенно пуст.

3

И точно, сам мир уже изменился. Близость человека не радовала. Она настораживала, пугала. Едва заслышав звук приближающихся шагов, спутники спешили свернуть в первую попавшуюся подворотню. Встречные, очевидно, переживали то же и торопились исчезнуть в дымной мгле. Казалось, этот древний русский город, упоминавшийся еще в старинных летописях, вдруг за несколько минут превратился в пустыню. Приходилось держаться настороже и не только ступать, но и дышать как можно тише. Так, никого не встретив, но поминутно натыкаясь на брошенные на тротуарах домашние вещи, спутники миновали несколько центральных кварталов. Улица вывела к бульвару, пересекавшему их путь.

Когда бульвар открылся их взорам, Митрофан Ильич и Муся застыли, инстинктивно прижавшись к стене дома. Не сразу поняли они даже, что́ здесь, собственно, произошло. Тенистые курчавые тополи, сомкнутые кроны которых еще утром вздымались над серединой бульвара, образуя собой как бы зеленый тоннель, валялись на земле. Среди поверженных деревьев с блестящей, еще не

успевшей завять листвой возились чужие саперы. Одни пилили, обрубали сучья, тесали бревна, другие копали продолговатые ямы, третьи облицовывали брустверы окопных ровиков кирпичом, который солдаты выбрасывали из окон ближайших домов, разбивая для этого, очевидно, печки. У солдат были усталые, безразличные лица. Какой-то массивный военный, должно быть их начальник, сидел развалясь в глубоком кожаном кресле, стоявшем посреди не существовавшего уже бульвара. Пилотка у него была засунута под погон. Розовая лысина сверкала на солнце.

Муся все настойчивее дергала за рукав своего спутника.

— Пошли, пошли! — шептала она.— Обойдем бульвар, ну их!

Старик машинально двинулся за девушкой. Он не понимал, что она ему говорит, куда его тащит. Он чувствовал только, что маленькая сильная рука, крепко державшая его локоть, дрожит, и сам дрожал, как от озноба, а в ушах назойливо звучали глухой стук топоров, звон саперных лопат.

Усиливавшийся ветер снова отнес в сторону траурный, прогорклый дым. В полную силу засияло жаркое солнце, и от этого еще страшнее стали безлюдные улицы, пустые дома с выбитыми окнами, распахнутыми дверями, серый пепел, шелестевший под окнами и тихо порхавший над городом.

Прошли несколько улиц, не встретив ни души. И вдруг на перекрестке неожиданно столкнулись с группой вражеских солдат, вывалившей из разбитых дверей большого магазина «Гастроном». Передний из них, несший целую груду винных бутылок, обернутую в пятнистый брезент, заметив штатских, было отпрянул, но, рассмотрев девушку в нарядном платье, остановился, расставил ноги и, что-то сказав, басисто захохотал. Вслед за ним захохотал и второй — румяный, очкастый. Он нес на руке, как дрова, с десяток больших коробок с шоколадными конфетами. Остальные были нагружены ящиками, плетенками, картонными коробами. Сзади всех брел без пилотки, спотыкаясь, маленький, лысый. Рукава у него были засучены. Он на ходу лил себе прямо в рот варенье из банки.

Тот, что нес коробки с конфетами, сложил свою поклажу у ног и поманил Мусю пальцем. При этом, оскла-

бившись, он показывал ей на шоколад. Девушка отшатнулась, как будто ей предлагали не конфеты, а что-то отвратительное. Солдаты снова дружно засмеялись. Они были пьяны, но находились в самом благодушном расположении.

Маленький, хватив об асфальт банкой с недоеденным вареньем, отвесил Мусе преувеличенно любезный поклон.

— Дейч зольдатен — карашо... Добрый тшеловек,— ткнул он себя в грудь алым от варенья пальцем.

— Матка, матка, тшиколат! — тонким голосом зазывал очкастый.

Он схватил Мусю за руку и стал тянуть ее к коробкам, лежавшим на панели. Обрадовавшись неожиданной потехе, солдаты обступили девушку. Митрофан Ильич очутился вне этого круга.

— Тшиколат люкус,— подмигивая товарищам, повторял очкастый, пытаясь силой заставить девушку взять конфеты.

— Муся, да возьми, отвяжись ты от них! — крикнул Митрофан Ильич, пытавшийся пробиться к ней на помощь.

Девушка отчаянным усилием вырвалась из рук немца и, гневно сверкая глазами, закричала ему в лицо:

— Уйди, уйди ты!

— Муся, бери, ну их!

Солдаты обернулись к Митрофану Ильичу. Один из них, уставившись глазами на мешок, который старик поставил на землю, свистнул сквозь зубы, обещая новую забаву. Он сделал вид, что забирает мешок себе. Неподдельный ужас, появившийся на лице Митрофана Ильича, окончательно развеселил компанию.

Очкастый опять свистнул и с преувеличенным старанием принялся развязывать веревку. Обведя рукой товарищей, он показал, что намерен разделить содержимое мешка между ними. Муся смотрела на его пальцы, неторопливо развязывавшие узел. Она готова была броситься к солдату, впиться в эти ненавистные руки, вырвать драгоценный мешок, но какое-то странное оцепенение связывало ее. Митрофан Ильич стоял, бессильно откинув голову и страдальчески полузакрыв глаза.

Наконец веревка поддалась. Предвкушая новую забаву, солдаты тесно сдвинулись вокруг мешка, театрально протягивая руки. Тот, что был в очках, вытащил из мешка горсть торфяной крошки. Он удивленно посмотрел

на девушку, на старика, подбросил торф на руке, чтобы показать товарищам, что несут и так заботливо оберегают эти смешные русские.

Солдаты снова засмеялись, жестами показывая, что им не нужно торфяной крошки. Забрав с панели свои трофеи, они шумно двинулись прочь. Девушка оцепенело стояла над раскрытым мешком, еще не веря, что опасность миновала. Проходя мимо, очкастый сунул ей коробку конфет.

— Дейч зольдатен го-го! — произнес он победно и рысцой побежал догонять остальных.

Муся и ее спутник, увязав мешок, поплелись вслед за ними. Бежать, казалось, было некуда: оккупанты, повидимому, разбрелись уже по всему городу. И опять тяжелая апатия овладела Митрофаном Ильичом. Девушка почти тащила его.

Путь их лежал мимо городской публичной библиотеки. Пришлось сойти с тротуара на дорогу. Кто-то выбрасывал из окна охапки книг. Из разбитых окон городского музея, которым так гордились местные краеведы, слышалась чужая песня, буханье все тех же тяжелых сапог, грохот, плеск бьющегося стекла. Муся с ужасом оглядывалась. Но Митрофан Ильич, казалось, ничего этого не замечал. Он покорно тащил свою ношу и смотрел на все пустыми, ничего не выражающими глазами.

— Когда читаешь в газетах, разве представляешь себе, как все это выглядит?! — вымолвил он наконец, словно очнувшись.

Муся безжалостно торопила старика.

— Слышите, стреляют у вокзала? Там наши. Скорее, скорее!

Но путь к вокзалу оказался отрезан колонной вражеских танков. Тогда спутники решили пробраться на восточную окраину города, в тихое Заречье, где жил Митрофан Ильич. Там не было ни фабрик, ни заводов, ни богатых магазинов, ни складов. Вполне возможно, что немцев там еще нет. Что им там делать? Можно будет в домике Митрофана Ильича переждать до темноты и попытаться уйти из города ночью.

Они были уже недалеко от цели, когда на тихой улочке их задержал военный высокого роста в какой-то особой, черной, еще невиданной ими форме. В отличие от тех солдат, которых они уже встречали, он был щеголевато одет, чисто выбрит. Сапоги его блестели, лаки-

рованная каска сияла, и на ней сбоку были изображены две серебряные молнии. Над карманом тужурки, там, где у остальных был вышит распластанный орел, девушка увидела серебряный знак — череп и кости. Вместе с другим, одетым в такую же форму, он стоял на плитчатом тротуаре перед маленьким деревянным особнячком, где, как все в городе знали, жил заслуженный врач Абрам Исаакович Гольдштейн.

В последнее время в городе говорили, что Гольдштейн тяжело заболел, что, может быть, ему больше уже не встать. Неужели это за ним пришли плечистые молодцы в черном, нетерпеливо посматривающие на окна, за которыми мирно покачиваются от ветра тюлевые шторы?

И вдруг из окна раздался треск чего-то разбившегося, послышался чужой гортанный выкрик и топот ног. Дверь резного крыльца с грохотом распахнулась. На пороге показался массивный старик в одной ночной сорочке. Он удивленно смотрел вокруг беспомощными близорукими глазами. Седые волосы клочьями торчали над просторным лбом. Только по этому лбу Муся и узнала знаменитого врача.

Стоя на крыльце, он смотрел на улицу с выражением болезненного недоумения, смотрел и, должно быть, ничего не видел. Третий немец в черном, появившийся у старика за спиной, подмигнул двум стоявшим на улице, поднял автомат и дал короткую очередь над самым ухом врача. Тот рванулся, оступился и, перелетев через ступеньки, упал прямо на плиты тротуара. Военный, задержавший Мусю и Митрофана Ильича, в свою очередь поднял автомат, должно быть для того, чтобы тоже стрельнуть. Но девушка бросилась к нему, схватила его за руку.

— Что вы делаете, негодяи? Это же доктор, врач!

Верзила в черном с высоты своего роста смотрел на маленькую миловидную девушку, не понимая, должно быть, чего она от него хочет. Врач, лежавший на асфальте, поднял широкое исцарапанное лицо, заплывавшее багровым синяком. Крепко вцепившись в черное сукно мундира, девушка старалась припомнить немецкие фразы из тех, что учила в школе. Ей казалось, что от того, вспомнит она или нет необходимые слова, сумеет или нет объяснить этим дюжим молодчикам, кто он, тот, над кем так издеваются, зависит жизнь этого человека.

Оторопевший верзила пришел наконец в себя. Он, все еще приветливо улыбаясь, старался не очень грубо оторвать от себя девушку, повисшую у него на руке. Но Муся уже вспомнила нужную и, как казалось ей, спасительную фразу:

— Вас махен зи? Дас ист дох айн доктор, гросс руссише доктор!

Этому в черном удалось наконец оторвать от себя Мусины руки. Девушка не устояла, упала на тротуар, но сейчас же вскочила. Все еще думая, что они не понимают, над кем издеваются, что она плохо или непонятно им об этом сказала, она снова бросилась к страшным немцам.

— Он же людей лечит... Эр хейльт ди меншен!

— Эр ист юде,— хмуро отозвался верзила и ударил сапогом лежавшего на тротуаре старика.

Митрофан Ильич кинулся было поднимать несчастного, но второй гитлеровец стукнул его самого в подбородок так, что кассир опрокинулся навзничь на свой тяжелый мешок. Над ухом врача пророкотала новая очередь. Старик вскочил, обвел всех красными, ничего не видящими, обезумевшими глазами и бросился бежать. Третий фашист новой очередью преградил ему путь.

Муся беспомощно оглянулась вокруг. На углу перекрестка она заметила группу пожилых немецких солдат в обычной серо-зеленой пыльной и потрепанной форме. Они тихо переговаривались между собой и, как показалось девушке, осуждающе смотрели на то, что происходило у особнячка. Девушка бросилась к ним, прося остановить расправу. Солдаты, переглянувшись, торопливо пошли прочь, с опаской оглядываясь на немцев в черном. Муся не отставала от них, ловила их за руки.

— Эсэсман! — злобно, как ругательство, процедил сквозь зубы один из немцев, косясь на тех, кто с хохотом продолжал гонять по улице старого, больного человека.

Муся поняла: это эсэсовцы, о зверствах которых столько писалось в газетах. Подбежав к Митрофану Ильичу, она помогла ему подняться, и, не оглядываясь, оба они бросились прочь, стараясь как можно скорее уйти от страшного места, где все еще слышались выстрелы, улюлюканье, крики, свист.

То там, то тут на улице появлялись и тотчас же исчезали какие-то личности в штатском. Все чаще попада-

лись на тротуарах брошенные домашние вещи, уже изломанные и затоптанные. Вдоль улицы тянулся по асфальту белый дымчатый след. Кто-то прошел с мешком муки, не замечая, что из дырки сыплется.

Митрофану Ильичу было страшно войти даже в собственный дом. Он постоял на крыльце, но не отпер дверь, а прошел через калитку в сад, мирно млевший от жары в спокойных лучах солнца, уже клонившегося к закату. Шагая прямо по овощам, Митрофан Ильич с трудом доплелся до солнечного уголка, где рос виноград «Аринка», и без сил опустился на грядку в тени изумрудной зелени. Муся бросилась на землю, уткнулась в нее лицом, прижалась всем телом, точно ища защиты от того необычного, непонятного, страшного, что творилось вокруг.

Так молча просидели они, пока багровые нити опустившегося солнца не задрожали над нагретой за день землей.

— Муся, а ведь я действительно хотел остаться,— тихо вымолвил наконец Митрофан Ильич.

Девушка отозвалась не сразу. Но когда она привстала, ее лицо, перепачканное в земле, горело сердитой энергией.

— Скорее отсюда! Я не могу... Меня... меня тошнит.

Она передернула плечами. Ее тряс нервный озноб. Здесь, где ничего не изменилось под ласковым солнцем летнего вечера, ей было холодно, как в погребе. Даже зубы стучали.

— Пошли, а? Ну чего, ну зачем ждать?

— Нельзя. Только когда стемнеет. Мы, Мусенька, не можем думать лишь о себе,— печально ответил Митрофан Ильич, которого теперь тоже одолевало желание бежать из города.

Оба с неприязнью покосились на бурый грязный мешок, валявшийся меж узловатых коленец винограда.

— Я думаю, всего лучше будет нам выйти на Звягинцево и пробираться на Большое урочище. Лесом придется идти: мы не имеем права подвергать ценности случайностям на дорогах. Да-да-да, не имеем права!

— Ах, какая разница! Только скорее...

Тщательно схоронив мешок в густых, оплетенных паутиной зарослях малины, росшей вдоль забора, Митрофан Ильич позвал Мусю в дом. Пора было собираться. Он отыскал в чулане два емких охотничьих рюкзака и

принялся укладываться с такой тщательностью, как будто не бежал он из занятого врагом города, а вместе с Чередниковым в очередной отпуск готовился идти на долгую рыбалку у дальних озер.

Муся в сборах не принимала участия. Она сидела у закрытого ставней окна. Нетерпение все больше одолевало ее. А старик, как нарочно, медлил, укладывал в мешок сверточки белья, зажигалку с бутылочкой бензина, солдатский котелок с крышкой-сковородкой, банки с солью, с чаем, рыбачьи принадлежности и другие, как казалось, совершенно ненужные вещи.

Под конец, когда старик достал из сундука пропахший нафталином лыжный костюм и грубые туристские ботинки с шипами, хранившиеся, очевидно, с той поры, когда были юны его сыновья, и посоветовал девушке надеть все это в дорогу, а платье и туфли оставить, как лишний груз, Муся возмутилась:

— Напялить на себя это? Чтобы завтра явиться к своим как чучело? Вы что?

Она потрясла перед носом Митрофана Ильича рыжими заскорузлыми ботинками.

— Хотите, чтобы я эти уродища надела себе на ноги? Да? Чтобы надо мной все смеялись, чтобы говорили, что Муська Волкова со страху с ума спятила?.. Нет уж, извините-подвиньтесь...— И она сердито бросила ботинки в угол.

Старик чуть заметно улыбнулся и молча унес туристскую справу.

Не долго раздумывая, девушка сунула в отведенный для нее рюкзак содержимое узла: платья, белье, туфли, трубочку нот. Ценности они разделили и спрятали на дне обоих рюкзаков меж другими вещами.

Потом Митрофан Ильич удалился, и девушка слышала, как он возится в глубине дома, кряхтит, вздыхает, что-то бормочет про себя. Оттуда он появился в старой стеганой куртке, туго перехваченной ремнем, в суконных шароварах, заправленных в высокие мягкие сапоги-торбаса, в выгоревшей широкополой шляпе. В этих охотничьих доспехах он выглядел подтянутей и моложе.

— Вот я и готов! — вздохнул он.

Но солнце еще светило. Низкие косые лучи, просачиваясь в щели ставен, резали комнату на части. Сейчас, когда идти было еще нельзя, а делать стало уже нечего, наступили самые тягостные минуты. Митрофан Ильич

сидел в старом глубоком кресле, в котором обычно, вернувшись с работы, любил подремать с газетой после обеда. Но он не развалился в привычной уютной позе, он сидел прямо и напряженно, как сидит на вокзале пассажир, с минуты на минуту ожидающий поезда. И происходило это не только потому, что одет он был по-дорожному, нет. В этом домике, где он жил, воспитывал детей, нянчил внуков, он чувствовал себя теперь уже не хозяином, даже не гостем, а случайно забредшим чужим человеком, которого каждую минуту могли вытолкать на улицу. Дом был где-то там, куда им предстояло идти.

Ловя настороженным ухом случайные звуки, доносившиеся из-за закрытых ставен, ожидая, что вот-вот сюда вломится какой-нибудь фашист, старик вспоминал о том, как в первые революционные годы Чередников, тогда еще молодой большевистский оратор, убедил на митинге горожан устроить бульвар на широкой базарной улице Жен Мироносиц, только что переименованной в проспект Карла Маркса.

Весь город собрался туда, где с незапамятных времен по воскресеньям и четвергам выстраивались крестьянские подводы. Люди снимали булыжный покров мостовой, разбивали газоны, сажали тополи, привезенные из архиерейского сада. С любовью и ревностью следили они потом за результатом этого своего первого общественного дела, по утрам поливали молодые саженцы из леек, ведер и кувшинов, как будто это были не деревья на улице, а бальзамины или герани на их собственных окнах. Как чему-то своему, радовались первым веточкам, выброшенным деревцами, первой жидкой тени, положенной ими на зеленые скамьи молодого бульвара. А сейчас... О-хо-хо!

Бульвар. Что там бульвар! Вспомнил старый кассир залитый светом кабинет в клинике городского института физических методов лечения, себя, беспомощно лежавшего на столе, врачей, которые в своих накрахмаленных халатах напоминали мраморные изваяния, и львиную голову старого доктора. Привычными, искусными пальцами выстукивал он грудь больного. Казалось, он делает это нехотя и небрежно, но и сам больной и врачи, созванные на консилиум, внимательно следили за полными старческими руками и ждали приговора. Наконец, выпрямившись, доктор столкнул очки на просторный лоб. В близоруких глазах его загорелся лукавый смешок. Он одернул

рубаху на груди Митрофана Ильича, легонько хлопнул больного по животу и сказал с ласковой сипотцой: «Он еще тонну карасей переловит, этот ваш Корецкий». И показалось тогда Митрофану Ильичу, что все вокруг облегченно вздохнули, и доктор, о котором в городе шла давняя добрая слава, представился ему живым воплощением могущества советской науки.

И вот срубленные тополи. Старый врач в ночной сорочке мечется по улице, и какие-то существа в черном забавляются, гоняя его, как мальчишки собаку. Здание института, где он спасал жизнь людям, горит. И некому и не для чего его тушить... Всюду хрустит под ногами битое стекло, на тротуарах валяются книги, масса полезных вещей, которые всего несколько часов назад были кому-то дороги и нужны... Какие-то странные тени шныряют в брошенных квартирах и, как крысы, бесшумно разбегаются при звуке шагов... Кажется, все это страшный сон. Мучительно хочется проснуться и увидеть милый, привычный мир.

— Митрофан Ильич, вы читали Уэллса «Борьбу миров»?

Старик вздрогнул, точно рядом выстрелили. Муся повторила вопрос.

— Кажется, читал, не помню... А что?

— Эти вот там,— она махнула рукой туда, где лежал город,— они похожи на марсиан из романа: все разрушают, жгут, охотятся на людей... И не понимают ничего человеческого.

— Да, да, пожалуй,— рассеянно отозвался Митрофан Ильич.— А я вот все думаю, как бы те марсиане, что машинку твою забрали, не прочитали опись, оставшуюся в ней... Ты ведь ее не вынула? Вот то-то! Прочтут, узнают о ценностях...

— Ищи ветра в поле...— отозвалась Муся бойко, но не очень уверенно.

— Тише!

С улицы слышались шаги. Это были обычные человеческие шаги, но Муся и Митрофан Ильич побледнели, замерли. Старик схватил завязанные рюкзаки, на цыпочках вынес их из комнаты, где-то спрятал. Когда он вернулся, лицо у него было болезненно настороженное.

А шаги приближались. И этот обычный житейский звук, на который утром никто не обратил бы и внимания, казался теперь страшнее нарастающего визга пада-

ющей бомбы. Поравнявшись с окнами, шаги несколько замедлились. Или только так показалось?.. Остановится или не остановится? Нет, удаляются, затихают.

Митрофан Ильич шумно вздыхает. Пот бежит по его побледневшему лицу, капает с подбородка.

— Пронесло...

Муся прижимается лбом к прохладному стеклу.

В комнатах сгущаются серые, душные сумерки.

— И ведь в этой стране родились и Маркс, и Бетховен, и Гете, и Дизель... Боже мой, боже мой! — проговорил вдруг старик, тоскливо следя за тем, как на потолке постепенно меркнут оранжевые отсветы заката, пробивавшиеся сквозь щели ставен.

— И Тельман, и Роза Люксембург,— эхом отозвалась Муся.

Митрофан Ильич первым поднялся с кресла.

— Пора,— шепотом сказал он.

Крадучись, точно и взаправду боясь, что какое-то спрятавшееся во тьме чудовище может услышать, почуять, схватить его, обошел старик свое жилье, прощаясь со стенами, хранящими дорогие запахи.

На улице была уже ночь. Когда беглецы, быстро миновав пустынную, поросшую травой улицу, сворачивали в переулок, старик вдруг охнул и остановился. Он вспомнил, что, уходя, забыл запереть двери дома и даже, как ему казалось, оставил их открытыми. Митрофан Ильич рванулся было назад, но остановился, вынул из кармана ключи, поглядел на них, позвенел ими на ладони, горько усмехнулся и, размахнувшись пошире, бросил их через забор чужого огорода. Хлестнув по лопухам и крапиве, ключи тупо брякнулись об землю.

— Чего вы там? — послышался из тьмы нетерпеливый шепот Муси.

— Так, пустяки,— ответил старик, почему-то чувствуя облегчение. Поправил лямки рюкзака, ускорил шаг.— Пустяки, Мусенька, сущие пустяки.

4

В самый глухой час ночи, когда прохладный вязкий туман, поднявшийся из речных низин, плотной пеленой одел окрестности, двое путников тихо покинули город, багровевший в зареве разгоравшихся пожарищ.

Впереди размашистым, спорым шагом, каким ходят охотники, геологи, лесники и иной странствующий люд, привыкший к длинным бездорожным маршрутам, шагал высокий сутулый старик в широкополой шляпе, надвинутой на самые уши. Он ступал пружинисто, мягко. Маленькая девушка в пестром шелковом платье, хотя и годилась своему спутнику во внучки, еле поспевала за ним. У каждого за спиной висел объемистый рюкзак, а девушка сверх того несла драповое пальто, перекинув его через руку.

Не дойдя до окраины, они пересекли булыжный большак и свернули в узенький, темный проулок, потом перелезли через забор в огороды и скрылись, точно растаяли, в белесом тумане.

Из тумана возникли они уже там, где обширные огороды кончались и начинался пологий подъем, поросший невысоким густым сосняком. Путники поднялись на взгорье и там, углубившись в темную массу молодого сосняка, остановились передохнуть.

В ясный день отсюда можно было видеть весь город, лежавший в широкой речной излучине. Теперь же за шевелящимся озером низкого тумана, посеребренного магниевым светом луны, перед путниками простиралось густое зарево, обнимавшее полнеба. Точно живое, оно медленно ворочалось, вздрагивало, дышало, подсвечивая малиновыми подпалинами высоко проползавшие облака. На фоне зарева черным по красному четко и плоско, как на старинной гравюре, вырисовывались контуры городских крыш, высоких колоколен, заводских труб. Элеватор горел, светясь всеми своими окнами, выбрасывая в небо вихри оранжевых искр.

Путники долго смотрели на эту зловещую картину. Потом старик резко повернулся, взял девушку за руку и молча потянул за собой в лес. Она покорно пошла, но вдруг, вырвав руку, еще раз оглянулась на город и простонала:

— Ведь они ж, эти, там... в наших домах... по нашим улицам ходят...

Старик не ответил. Он шел впереди, не оборачиваясь, и только тяжело дышал. Крупные слезы одна за другой бежали по желобкам морщин, по судорожно съежившемуся подбородку.

Старожил этих мест, азартный рыболов и неутомимый грибник, Митрофан Ильич уверенно вел свою спутницу

лесной просекой, по которой зимой вывозили к большаку дрова и бревна.

Девушка начала отставать. Сразу же, как только, перемахнув ветхий забор, они пошли по огородным грядкам, она убедилась, что изящные лаковые «лодочки» — предмет зависти подруг — совершенно негодны для пеших маршей по бездорожью. Муся сбросила их и, осторожно ступая, пошла в чулках. Идти почти босиком по мягкой, увлажненной росой огородной земле, по прохладной траве вспотевшего луга было даже приятно. Но как только, войдя в лес, путники вступили на колкий ковер сосновой хвои, девушка горько пожалела, что отказалась от неуклюжих спортивных башмаков.

Теперь, боясь потерять из виду спутника, напряженно следя за стальным кольцом его рюкзака, тускло посверкивавшим во тьме и как бы служившим ей маленьким маяком, она не могла смотреть под ноги. То и дело она наступала на сухие, ощетинившиеся сосновые шишки, на острые сучья, больно стукалась пальцами об узловатые корни. Боль была так остра, что щекотало небо во рту и приходилось следить за собой, чтобы случайно не вскрикнуть. А тут еще это дурацкое пальто, этот тяжелый рюкзак...

С трудом удерживая накипавшие слезы, девушка понемногу возненавидела и пальто, и мешок, и, главное, Митрофана Ильича. Хорошо ему в своих мягких охотничьих сапогах. Шагает, как по асфальту. Что ему до своей спутницы, до того, что она еле бредет, до ее страданий!

Ноги девушки тяжелели, точно наливаясь ртутью. Ступни саднило, сбитые о корни пальцы мучительно горели. Но не такова Муся Волкова, чтобы кому-то кланяться, умолять идти медленней, просить об отдыхе... Этого старая кочерыжка от нее не дождется! Девушка стискивала зубы, чтобы невзначай не застонать, и, вся напрягаясь, поспевала за спутником... Нет, уж она не отстанет, верьте слову!..

Только раз, когда они пересекли поляну, на которой, точно хлопья ваты, белели пушки каких-то болотных цветов, Муся остановилась, чтобы обмотать чулками горящие ступни. Но и тут она не запросила пощады и потом бегом нагнала спутника. А тот все шел и шел ровным, неторопливым шагом, шел молча. Хотя бы раз оглянулся, хоть поинтересовался бы, не отстала ли она,

не потерялась ли в этом страшном сыром и темном лесу.

Не было в словаре девушки ни одного бранного слова, каким она не наделила бы этого «черствого эгоиста», которого судьба послала ей в спутники. Он вот идет и, наверно, усмехается, ждет, наверно, когда она запросит пощады. Ну уж нет, извините! Не выйдет! Как он от нее ни убегай, она не отстанет, и жалобы от нее он тоже не услышит. Нет! Зато на стоянке она с ним поговорит... Ах, только бы дойти до стоянки...

Но Муся ошибалась. Митрофан Ильич не был ни черствым, ни жестоким человеком. Просто вид горящего города так ошеломил его, что он брел, ничего не видя и не слыша, машинально следуя по знакомой тропке.

Да, было время! Как жилось! Еще совсем недавно, весной этого года, на первый голавлиный лов вел Митрофан Ильич вот по этой тропе внука Вовку. Мальчик был легок на ногу, не отставал. Шли и мечтали, как будут летом ловить под берегом раков петлей на тухлое мясо, как осенью пойдут по грибы боровики на орсовские делянки... Мечтали... А теперь вот он, старый человек, крадется по родной земле, как зверь, озираясь, прислушиваясь к шорохам. Сыны где-то воюют. Живы ли они? Внуки едут куда-то на восток. В родном доме, наверно, уже шныряют эти страшные тени, роются в сундуках, ворошат гардероб, разбивают ульи, обдирают лозы винограда «Аринка», в которые вложено столько труда и надежд.

Митрофан Ильич горько вздыхает. И как это раньше он не ценил всего, что его окружало?! Нет, «не ценил» — не то слово! Ценил, конечно, но ко всем благам, какие ему дала Советская власть, он за четверть века так привык, что они казались ему обыкновенными и непреложными, как воздух, как солнечный свет. Думалось, иначе не может и быть. И вот теперь, когда родной город горит и привычный порядок нарушен, Митрофан Ильич, может быть, впервые по-настоящему осознал, как велико все созданное за годы Советской власти, куда вложена и его посильная доля, как дорога ему эта, в общем-то, нелегкая жизнь, проходившая в непрерывном борении с новыми и новыми трудностями, дорога вся, со светом и тенями, со всеми своими недостатками, на которые он любил поворчать, дорога так, что иной жизнью просто и жить не стоит. Не стоит — и все.

Весь погруженный в такие думы, Митрофан Ильич забыл о спутнице. Багровое зарево, долго просвечивавшее сквозь темные вершины сосен, давно уже исчезло. Лес редел. Впереди в прогалинах меж деревьев уже посверкивал звездами край неба. Ощутительно потянуло речной прохладой. Только тут, у места, намеченного им для первого привала, старик вспомнил о девушке, вспомнил — и весь сжался от тревоги, жалости и стыда.

Нет, Волкова не потерялась! Она шла за ним, но как только он остановился и обернулся, тотчас же остановилась и она, явно не желая к нему приближаться.

— Идешь?.. Слава богу, а я испугался: думал, отстала... Ну ничего, вот и дошли.

Муся молчала.

— Устала, да?

— Уйдите! — отозвалась наконец она слабым голосом.— Уйдите от меня.

— Дай твой рюкзак, ну хоть пальто дай.

— Отстаньте, видеть вас не могу...

Опередив спутника, девушка первой подошла к островерхим шалашам, крытым еловым лапником и бурыми пластами коры. Они темнели в тумане на самом берегу. Девушка со стоном опустилась возле одного из них, но снять рюкзак у нее не хватило силы. Она опрокинулась навзничь на свою ношу и застыла, наслаждаясь блаженным покоем. Когда Митрофан Ильич наклонился над ней, она уже спала.

Старик расстегнул ремни рюкзака, подложил его под голову спящей. Не открывая глаз, Муся поерзала, ища удобную позу, подсунула под щеку ладошку, свернулась калачиком, зябко подобрав босые ноги, обмотанные обрывками мокрых чулок. Митрофан Ильич набросил на нее свой ватник и, поеживаясь от сырой прохлады, пошел к ближайшему из шалашей.

Он перетряхнул старую солому, устроил изголовье из жухлого прошлогоднего сена, застлал все это байковым одеялом, отыскавшимся в недрах его туго набитого мешка. Затем старик бережно отвел сонную девушку в шалаш, укрывая спутницу курткой, он заметил, что маленькие, мокрые от росы ноги девушки все исколоты, исцарапаны, кровь сочится из-под сбитых ногтей. Ему вдруг стало жутко: даже не пикнула, даже не окликнула его, не попросила остановиться.

Старик почувствовал, что к жалости, которую до сих пор внушала ему эта девушка, почти девочка, оставшаяся бездомной, начинает примешиваться уважение.

Позаботившись о спутнице, Митрофан Ильич устроился сам на перетертой соломе в соседнем шалаше и долго наблюдал в незакрытый ходок, как, мерцая, дрожат в бархатном глубоком небе острые, колючие звезды; наблюдал и думал о страшном этом дне, о брошенном доме, о лозах, оставленных без призора, о горящем городе и о неожиданных качествах, какие открылись сегодня в Мусе Волковой, о том, как мы, в сущности, мало знаем окружающих и сколько из-за этого своего незнания совершаем ошибок, и еще о том, что по-настоящему человек познается только в серьезных жизненных испытаниях.

5

Митрофан Ильич и его сослуживцы, как это часто бывает в обычной жизни, действительно ошибались в оценке характера маленькой машинистки. Вздорной Муся прослыла главным образом за то, что, печатая грамотнее и быстрее других, терпеть не могла мелочной опеки и нудных наставлений, какими сотрудники постарше и поответственней любили сопровождать передачу работы в машинописное бюро. Муся отлично знала, что и как надо делать, и бесцеремонно прерывала ненужные поучения. Слава же о ее легкомыслии пошла потому, что девушка не скрывала своего равнодушия к банковскому делу и наотрез отказалась посещать курсы и семинары по повышению и приобретению финансово-счетной специальности, где занималась вся учрежденческая молодежь.

Нет, работа в банке не прельщала Мусю Волкову. У нее была в жизни своя мечта, и она стремилась к ней упорно, настойчиво, не отступая ни перед какими трудностями.

С детства, с той самой бездумной поры, когда мать водила ее в детский сад, Муся свыклась с мыслью, что может добиться в жизни всего, чего пожелает, стоит ей только этого очень захотеть. Способная, волевая, с живым, восприимчивым умом, она без особых усилий отлично училась. Однажды, заметив, что на уроках физкуль-

туры она отстает от своих одноклассниц, она стала тренироваться с таким упорством, что к концу года добилась первого места в школе по конькам, а летом стала капитаном волейбольной команды.

Но настоящее призвание открылось Мусе Волковой позже — когда ее, уже ученицу седьмого класса, обладавшую приятным, звучным голоском и успешно солировавшую в школьном хоре, выдвинули для участия в городском смотре художественной самодеятельности.

Со свойственной ей настойчивостью Муся начала готовиться к выступлению. Она выбрала два романса на пушкинские тексты: «Зимний вечер» и «Я помню чудное мгновенье». Эти вещи особенно полюбились ей с тех пор, как со школьной экскурсией побывала она в селе Михайловском, побродила по старому парку, под теми самыми ветхими липами, где мимолетным виденьем явилась к опальному поэту воспетая им красавица. Осторожно присаживаясь на скамью, на которой сиживал Пушкин, благоговейно ступая по скрипучим половицам домика няни, по которым ходил поэт, выглядывая в окошко, откуда он смотрел на зеленую долину реки и отороченные осокой озера, Муся чувствовала, как торжественно бьется у нее сердце и холодные мурашки покалывают спину.

Долго еще после этой экскурсии в памяти девочки жили нежная, задумчивая песня о старенькой обитательнице крохотного домика, делившей одиночество молодого изгнанника, и страстные его строки, обращенные к заезжей гостье, заставившей зазвучать лучшие струны поэтической души.

Когда позднее в Доме пионеров Муся разучивала романсы и когда затем пела их у освещенной рампы, со страхом смотря вниз, в таинственную полутьму зала, где неясно белели обращенные к ней лица, ее охватило то же торжественное волнение, какое она испытала в прохладной полутьме старой липовой аллеи и в маленьком домике под слоистым шатром огромного клена. На областной олимпиаде она пела так искренне и столько в ее звонком, неокрепшем голоске было нежности и тепла, что, когда она кончила, таинственная полутьма зала мгновение молчала, а потом вдруг взорвалась аплодисментами. Это было столь неожиданно, что маленькая певица испугалась, убежала и так хорошо спряталась среди пыльных декораций, что руководители олимпиады

не сумели даже ее отыскать, чтобы заставить раскланяться перед публикой.

Жюри единодушно отобрало Мусю для выступления в столице. Школьница должна была дебютировать в Театре народного творчества в числе лучших самодеятельных солистов области, в общей программе, названной «Сказ льноводов и ткачей».

Столичные зрители встретили девочку с еще большим радушием. Программа была обширная, и ей предстояло спеть только «Зимний вечер». Но зал так долго, так настойчиво рукоплескал, с таким упорством вызывал ее, что Муся, тряхнув кудрявым чубом и сияя глазами, сама, сверх утвержденной программы, объявила вдруг, что споет «Я помню чудное мгновенье». Окрыленная успехом, чувствуя, что там, в таинственной тьме зала, тысячи неизвестных ей друзей ждут и волнуются за нее, девочка смело начала трудный романс и пела его в радостном полусне, совсем позабыв о наставлениях учительницы. Аккомпанемент доносился до нее откуда-то издалека, но пленительный образ, вынесенный из старого, запущенного парка, все время маячил перед ней. Допев, она взглянула в притихший зал глазами, сверкающими от слез, и, не дождавшись волнующего шума, бросилась за кулисы.

Тут, в уголке театральной уборной, где, прижав холодные ладони к пылающим щекам, девочка переживала свой успех, и нашла ее знаменитая московская певица. Притянув к себе девочку, она крепко поцеловала ее, как мать, взволнованная первым успехом дочери. Муся сразу узнала, кто к ней пришел, так как не раз видела на снимках в журналах это красивое, ясное русское лицо, эту гордую голову с каскадом густых русых кудрей, спадающих на плечи. И вот эта женщина, всегда рисовавшаяся Мусе существом исключительным, недосягаемым, стояла рядом, в притихшей толпе участников самодеятельного концерта, и голосом, глубоким и мелодичным, как крик утренней кукушки, ласково говорила:

— Тебе учиться надо, милая... Ты можешь, ты должна стать артисткой. Непременно учись, девочка!

Растерявшись, Муся позабыла даже поблагодарить. Она только схватила большую мягкую руку певицы, притиснула ее к своей груди и прошептала:

— Я буду! Я обещаю вам... Обещаю...

Артистка улыбнулась. Со светлой грустью она сказала непонятное: «Как хорошо быть юной, товарищ!» — и, по-

клонившись всем величественно и приветливо, ушла, точно растаяла в беспорядочном нагромождении раскрашенных полотнищ, пыльных бутафорских вещей и декораций, от которых густо несло столярным клеем.

Так родилась у Муси мечта. Так появился в ее жизни идеал, к которому с того дня она стремилась всеми силами упрямой души.

Она забросила спорт, перестала ходить в кино, чтение перенесла на ночь. Все свободное время она отныне проводила в певческой комнате Дома пионеров, до одурения, до радужных кругов в глазах разучивая упражнения.

Только отличная память помогла ей успешно закончить семь классов. И когда она вернулась с последнего экзамена, у нее возникло первое серьезное недоразумение с родителями. Мусин отец, которому бедность семьи не позволила в свое время доучиться даже до последнего класса церковноприходской школы, способный командир-самоучка гражданской войны, офицерское училище кончал уже с седыми висками. Всю жизнь он тяготился недостатком образования и мечтал, что его дети по меньшей мере закончат среднюю школу. Муся же заявила, что кончать среднюю школу не станет, и, не добившись разрешения родителей, против их воли отнесла свое заявление и документы в городское музыкальное училище.

Отец был оскорблен. Несколько дней он даже не разговаривал с дочерью. Когда вскоре его перевели командовать полком на Дальний Восток, Муся, учившаяся тогда уже на третьем курсе и мечтавшая о поступлении в консерваторию, узнав, что на новом месте ни консерватории, ни музыкального училища нет, заявила, что она с родителями не поедет. Ни уговоры, ни упреки, ни даже угрозы отца, ни упрашивания и слезы матери не сломили упорства. Семья уехала, а Муся осталась. Не желая материально зависеть от отца, с которым она считала себя в ссоре, девушка изучила машинопись и, перейдя на вечернюю учебу, поступила на службу в городское отделение Госбанка.

Она тосковала по родным, плакала по ночам, писала матери пространные письма, но с училищем не расставалась. Учителя и товарищи, наблюдавшие, как развивается ее голос, сулили девушке будущее.

Время от времени знакомая певица выступала по радио. Пение ее, долетавшее из далекой Москвы, звучало для Муси как дружеское напоминание, поддерживало

в минуту усталости, когда иной раз становилось тяжело работать и трудно учиться.

И со всей самонадеянностью молодости, со всей страстью восемнадцатилетней души Муся верила, что это ее желание сбудется, сбудется потому, что она очень этого хочет, и потому, что в ее стране нет недоступных высот для смелых, трудолюбивых и упорных.

6

Проснувшись со смутным ощущением чего-то страшного, не то приснившегося, не то случившегося наяву, Муся Волкова не сразу поняла, где она и как попала в этот шалаш. Старая, незнакомая ей ватная куртка, которой она была заботливо укутана, источала жилой, уютный запах.

В треугольнике ходка виднелось прозрачное мягко-голубое небо; умытые утренней росой березки медленно покачивали длинными расчесанными космами; под ними шелковисто искрилась на солнце седая от росы трава. Было прохладно. Волосы, платье девушки, куртка, которой она была накрыта,— все кругом было влажным. Муся озябла. Но воздух был так прозрачен и чист, так аппетитно пахло травой, хвоей, землей и водой, что в сердце невольно проникла радость этого свежего утра. Ужасы вчерашнего дня, зрелище горящего города, ночное бегство, скитания по лесу, отчаяние, бессилие, боль — все это потеряло первоначальную остроту.

Взгляд девушки упал на старые, прочные туристские башмаки на толстых подошвах с большими, бульдожьими носами. Чинно, парочкой они стояли возле. И сразу жгучая боль в исцарапанных, исколотых ногах напомнила о себе. Стараясь не шуметь, Муся высвободила руку из-под куртки и потрогала ботинки. Как вчера, шагая по корням и шишкам, она жалела, что так глупо отбросила их. Откуда же они взялись здесь? Мелькнула догадка: Митрофан Ильич! Это он, должно быть, и отвел ее, сонную, в этот шалаш, его пальто укрывает ее, его рука заботливо сунула в каждый ботинок по чистенькой портянке. Неужели Митрофан Ильич?.. Чудной он, в сущности, старикан, зря она на него вчера так окрысилась.

Почувствовав прилив энергии, Муся вскочила так, что даже легонько ударилась головой о верхнюю жердь, по-

тянулась до хруста в суставах, стряхнула с себя хвою, соринки, аккуратно сложила одеяло, оправила смятое платье, прибрала волосы и, тщательно обув исколотые ноги в спортивные ботинки, вылезла на волю.

Солнечные лучи, розовыми искрящимися снопами пробивавшиеся меж древесных стволов, ударили ей в глаза. Ярким светом заливали они влажную седоватую луговину, остро посверкивали в крупных каплях росы, прятавшихся в зеленых горсточках листьев. На площадке перед шалашами горел невысокий, но жаркий костер. Закоптелый, видавший виды котелок висел над ним на обожженных козелках. Голубоватый, подернутый серым пеплом жар источал аппетитный запах печеной картошки.

Возле костра спиной к Мусе сидел Митрофан Ильич. Весь понурившись, устало опустив плечи, он молча следил за тем, как, потрескивая, подвывая, бледное пламя со свистом пожирает сушняк и хвою. Возле лежали оба рюкзака.

Под ногой девушки хрустнул сучок. Старик вздрогнул и схватился за мешки, точно хотел их прикрыть своим телом.

— Ты?.. Ой, а я испугался,— сказал он с облегчением и боязливо оглянулся кругом.— Долго сны смотришь, голубушка. Пора. Почайпием вот скоренько — да и в путь. Нам теперь ох как некогда.

Заметив на ногах у девушки злополучные ботинки, он только усмехнулся уголком губ.

— Дорога не близкая... Чу! Канонада-то уж еле слышна.

Под свежим утренним ветерком мелодично звенели вершины сосен, шелестели осинки, встряхивая жесткой листвой, тихо журчали, стелясь по ветру, длинные космы плакучих берез. Где-то очень далеко задумчиво куковала кукушка. Но никакой канонады Муся не услышала. Только раз между двумя порывами ветра до ее ушей прорвался сквозь лесные звуки едва различимый раскатистый гул, будто где-то вдалеке шел по мосту поезд. Неужели это и есть гром пушек?

— В тихую погоду канонада слышна верст за двадцать, понимаешь? — Митрофан Ильич вздохнул. Бледное лицо его, покрытое неопрятной седой щетиной, было озабоченно и печально. — Ну ничего, догоним... И еще вот что: учись хозяйничать, в лесу без этого нельзя...

Пока они пили из складных охотничьих алюминиевых стаканчиков чай, припахивавший дымком, пока с аппетитом уничтожали печеную, с ароматной, чуть подгоревшей коркой картошку, обильно сдабривая ее крупной солью, Митрофан Ильич изложил свой план выхода с оккупированной территории.

Судя по тому, как далеко продвинулся за ночь фронт, врагам удалось, по-видимому, совершить где-то большой танковый прорыв. Спутники за одни сутки оказались, таким образом, в тылу немецкой армии. Теперь нужно было как можно быстрее двигаться на восток вслед за отходящими войсками, идти лесами, болотами, глухими проселками, целиной, избегая большаков и проезжих дорог, обходя населенные пункты, уклоняясь от встреч с людьми.

Этот план показался Мусе неверным в самой своей основе. Избегать большаков — ну, это правильно: по большакам наступает вражеская армия... Но обходить стороной деревни и всю дорогу идти одним,— с какой стати? Прятаться от своих? Вот новость!

Митрофан Ильич с неудовольствием посмотрел на спутницу.

— Ну как ты не понимаешь простой вещи?.. Одним, именно одним, абсолютно одним. И никуда не заходить, ни в коем случае. Труднее, да! Но что сделаешь? С нами такие ценности! Я как вспомню, что этот фашист стоял рядом с мешком, чуть сапогом в него не упирался, у меня волосы шевелятся...

Муся даже на ноги вскочила от досады.

— Хорошенькое дело! Надо поскорее своих догнать, вот это я знаю... Но чтобы из-за какого-то золота я стала терять время?.. Очень нужно! Подумаешь!

Старик тоже вскочил.

— Именно, именно очень нужно! Наш долг — донести, сохранить все до последней золотинки... Мы не имеем прав, слышишь, не сме-ем допускать ни одного процента риска...

И тут между спутниками возник спор, сразу же обнаруживший глубокое расхождение во взглядах на сокровище.

Митрофан Ильич готов был, если это потребуется, сложить голову, но сохранить и вынести государственное добро. Муся же искренне недоумевала: для чего заведомо

удлинять и затруднять путь, чураться людей, идти какими-то звериными тропами, рисковать жизнью?

— Из-за этого золота блуждать по лесам — вот чепуха, вот чушь! — крикливо возмущалась девушка.

Конечно, и она не оставила бы врагу драгоценную ношу. Но теперь, когда сокровища преблагополучно унесены из оккупированного фашистами города, их можно отлично закопать в лесу, в каком-нибудь глухом и приметном месте и, освободившись, налегке пробираться к своим. Прогонят оккупантов, кончится война, тогда можно будет откопать все это и сдать куда следует. Просто — и никакой возни. А налегке они через два-три дня догонят Красную Армию, перейдут фронт.

Все это казалось девушке ясным и непреложным, и она совершенно искренне не понимала, почему ее проект, такой деловой и, как ей кажется, разумный, вызывает у спутника гнев и даже ужас.

Так они друг друга и не убедили. Но Корецкий, испугавшись опасного легкомыслия девушки, потребовал, чтобы она немедленно вернула ту часть ценностей, какую несла. Муся, презрительно дернув плечом, сказала:

— Пожалуйста! — и с преувеличенным старанием принялась собирать ромашку и дикую гвоздику.

Сердито косясь на нее, Митрофан Ильич разостлал на траве одеяло и принялся пересыпать все в прежнюю, пропитанную мазутом торбу.

Глухо позвякивая, остро искрясь драгоценными каменьями и сверкая полированными гранями, хлынули сокровища. У старого кассира занялся дух. Как бы стал богат, какое бы могущество, какой почет для себя и своих наследников обрел какой-нибудь немец среди себе подобных, получи он хоть малую часть того, что потоком сыплется сейчас на дно грязного брезентового мешка!

Фашисты! Да они ничего не пожалеют для того, чтобы овладеть драгоценностями. Стоит им прочесть опись, оставленную в валике похищенной машинки, они, наверно, снарядят погоню по всем дорогам, перебьют и замучают много людей, лишь бы найти сокровища. А может быть, уже прочли и снарядили.

Нет, дудки-с! Ничего вам, господа, из этого не получить. Все будет доставлено законному хозяину. Это золото еще против вас повоюет. И как еще повоюет!.. А эта вздорная девчонка возится с цветами, плетет какой-то дурацкий венок — и горя ей мало. «Закопать в землю и

идти налегке»... Каково! И это сейчас, когда в тылу консервные банки и те собирают... «Нету, нету у этих молодых уважения к ценностям. Слишком беззаботно жили, легко им все давалось! Скажите на милость: «закопать!» Поразительное, возмутительное легкомыслие!»

Сердясь и негодуя, Митрофан Ильич завязал и с трудом взвалил на спину изрядно потяжелевший рюкзак. Но Муся насильно сорвала у него с плеч лямки. «Честь» нести золото она, конечно, ему уступает. Пусть тащит его он сам, если оно ему так дорого и любо. Но остальной груз — по-товарищески пополам.

Ловко орудуя в мешках, девушка быстро переложила к себе всю хозяйственную поклажу: котелок, мешок круп, хлеб, соль, белье и рыболовные снасти. Роясь в вещах спутника, она наткнулась на туго свернутый фланелевый костюм, тот самый, от которого она вчера так сердито отказалась. Снова теплая волна поднялась в ее душе. Муся покосилась на Корецкого, безучастно сидевшего в стороне, и, ничего ему не сказав, оставила костюм на дне мешка. «Нет, он положительно хороший старикан, только вот помешался на этом золоте, и еще шляпу носит уж очень смешно — так, что похож в ней на старый гриб подберезовик».

Девушка прикинула груз. Теперь рюкзаки весили почти одинаково. Но у Митрофана Ильича мешок был маленький, плотный, удобный, а Мусин разбух и топорщился, как верблюжий горб. Девушка быстро его развязала, вынула платья, что были похуже, и забросила их в кусты. Подумала, вспомнила о теплом и удобном для пути фланелевом костюме и закинула туда же пальто.

— Вот и своего добра не жалеешь. Легко вы жили, все на лету хватать привыкли,— проворчал Митрофан Ильич.

— А чего жалеть? В войну все равно наряжаться некогда и не перед кем, а победим — заработаю, лучше, красивее куплю... Фасоны-то все равно устареют,— бездумно ответила девушка, взваливая на плечи полегчавший рюкзак.

— Как это у тебя легко — «победим». Сколько для этого воевать придется, сколько еще людей погибнет и уж погибло... Ты об этом думала?

Муся пожала плечами.

Когда тропинка, уводившая их на восток, стала поворачивать, девушка оглянулась. На темной зелени чере-

мухового куста синело драповое пальто. На какое-то мгновение стало жалко расставаться с ним. Оно было почти новое, хорошо сшито и так к ней шло. Но как его тяжело таскать! Муся подумала: «Города горят, заводы гибнут, люди жизнь отдают. Что значит какое-то пальто? Зато как легко идти-то!» И, упрямо тряхнув головой, она направилась за спутником.

До полудня шли они молча травянистой тропой, пробитой по берегу рыбаками и сборщиками ивового корья. Лесное озеро, лежавшее в зеленой чаще некрутых берегов, тихо шелестело сухими сабельками камышей, легонько покачивало красноватые листья водяных лилий и золотые купавы, с зеркальной точностью отражало в голубоватой воде сизые зубцы далекого леса, седоватые кудри прибрежных лозин и пышные позолоченные облака, торопливо спешившие в небесной сини.

В грубоватых крепких башмаках идти было гораздо легче. И все же девушка едва поспевала за стариком. Он шел размашистым неторопливым шагом, длинный, тощий, но Муся, хотя все время и нажимала, иногда даже переходя на рысцу, все же едва поспевала за ним.

Митрофан Ильич теперь то и дело оглядывался, спрашивал у девушки, не утомилась ли она, не пора ли присесть. Муся сердилась: садиться не к чему, ничуть она не устала. Сердилась, а сама все старалась разгадать: почему этот канцелярский гриб так легко ходит, почему нисколечко даже не запыхался?

В полуденный час, когда солнце, забравшись на вершину неба, точно остановилось, чтобы полюбоваться на себя в озерном зеркале, и вода заискрилась так ослепительно, что стало на нее больно смотреть, Митрофан Ильич резко повернул от берега и стал углубляться в лес.

— Тут начинается болото. Хочешь не хочешь, выбирайся на дорогу, на гать, другого пути летом нету,— пояснил он, останавливаясь и поправляя лямки рюкзака.— Будем надеяться: либо фашисты тут не были, стороной прошли, либо уж миновали эти места.

Он прислушался. Пронзительно верещали кузнечики, в тени лозняка тонко звенели комары, туго всплескивала на озере рыба.

По лесу пошли осторожно. Через каждый десяток шагов Митрофан Ильич останавливался, вытягивал шею, слушал. Разомлевший от жары лес был полон веселой птичьей щебетни. Медленно покачивали перистыми

листьями папоротники, густо покрывавшие замшелую землю. Белки возились в вершинах сосен, и с тихим шелестом падала, задевая ветви, шелуха растерзанных ими шишек. Но откуда-то спереди доносилась жадная колготня сорок. Эти резкие звуки невольно настораживали. Да еще не нравились старику два ворона, полого виражировавшие в небесной голубизне.

— Подожди здесь. В случае чего, хватай мешок, беги к озеру и прячься,— предупредил Митрофан Ильич и, сняв рюкзак, добавил, переходя на шепот: — Не по душе мне что-то этот сорочий митинг... Слышишь?

Муся пожала плечами.

Оставив девушку, старик тихо скрылся за деревьями. Он двигался тем шагом, каким опытные охотники подходят к тетеревиным токовищам. Сделает на цыпочках несколько пружинистых прыжков, остановится, замрет, послушает и бросается в следующую перебежку. Муся устало прислонилась к дереву. Истая горожанка, она ничего не ведала о птичьих повадках. Но резкий, злобный, жадный крик и эти мрачные круги, которые безмолвно вычерчивали над лесом большие черные птицы, действовали и на нее угнетающе. Услышав хруст ветки, девушка вздрогнула и припала к стволу сосны. Нет, это возвращался Митрофан Ильич. Он был грустен и как-то торжествен. Шляпу он нес в руке, и ветер перебирал его седые волосы.

— Ну? — шепотом спросила Муся.

— Нет, нас победить нельзя!.. Никто и никогда нас не победит, запомни это,— взволнованно шепотом произнес он. Взвалил на плечи рюкзак и, не надевая шляпы, пошел на звуки сорочьей колготни. У выхода на опушку старик обернулся и многозначительно пояснил: — Тут был бой... Понимаешь, тут такое... Запомни это...

Девушка рванулась сквозь кусты и, вскрикнув, застыла на месте. Перед ней, совсем рядом, стоял небольшой обезглавленный танк. Башня его, отнесенная силой взрыва, валялась поодаль, уткнув длинный нос пушки в землю. В развороченном зеве люка виднелось какое-то месиво из костей, крови и обрывков материи того самого грязно-зеленого цвета, который со вчерашнего дня казался Мусе цветом самого несчастья, что надвинулось на страну с запада.

Но не на этот обезглавленный танк, не на эти лохмотья смотрела девушка. Вдали открывалась небольшая

высотка. На песчаном холме вкривь и вкось лежали медноствольные сосны, поваленные, расщепленные и иссеченные какой-то, как казалось, неистовой, стихийной силой. И там, в путанице изодранных стволов, обрубленных ветвей, на красноватом, еще не высохшем песке темнело несколько человеческих фигур в гимнастерках родного защитного цвета.

Военный человек, оглядевшись, сразу понял бы, что произошло возле этого лесистого холма, господствовавшего над окружающей местностью и как бы запиравшего выезд на гать. Судя по не успевшей еще завять хвое, бой здесь отгремел совсем недавно. По гати — единственному пути через болото — отходили части Красной Армии. Артиллерийский дивизион получил, по-видимому, приказ окопаться на холме и задержать танковые авангарды противника. Им это, видимо, удалось. Но дорогой ценой расплатились артиллеристы за то, что дали своим частям возможность оторваться от врага, висевшего у них на плечах. Песчаная высотка была начисто оскальпирована. Среди поверженных сосен, у разбитых, изувеченных пушек, лежали защитники высотки, с головами, наскоро перебинтованными окровавленной марлей, с руками и лицами, черными от пороховой гари, в изодранных гимнастерках, белевших солью на спине и под мышками, бурых и жестких от засохшей крови.

Муся и Митрофан Ильич медленно подымались по откосу, стараясь услышать хоть какой-нибудь человеческий звук, хоть стон, хоть вздох. Но только сороки зловеще поскрипывали в кустах, отчаянно стрекотали в вереске кузнечики да трещали краснокрылые кобылки, выпархивая из-под самых ног.

— Стойте! — воскликнула вдруг Муся и бросилась вперед.

На вершине холма, в неглубоком окопчике за большим сосновым выворотнем, сидел согнувшись худенький остролицый юноша без каски, с тремя кубиками на черных петлицах. Правый рукав его гимнастерки был изодран и пуст. Левая, словно вылепленная из воска, рука опустилась на зеленый ящик полевого телефона. Плечом он прижимал к уху переговорную трубку. Каска валялась у ног.

Казалось, он дремлет или лишился сознания. Девушка прикоснулась к его лбу и, вскрикнув, отдернула руку, точно обожглась.

— Мертвый,— сказала она, бледнея.

Митрофан Ильич и Муся стояли над телом старшего лейтенанта. Оба они даже приблизительно не знали военного дела и не могли, конечно, разобраться в сути неравного боя, происшедшего здесь, у въезда на гать. Но простое, зримое и понятное даже и неискушенному глазу соотношение потерь, сами позы, в которых полегли защитники высотки,— все поражало эпическим величием.

Старик тяжело опустился на колени и благоговейно поцеловал лоб артиллериста. Потом он встал, строгий и торжественный.

— Разве таких победишь? Убить можно, а победить — нет. Нам с тобой, Муся, урок... Ох, какой урок! — Обведя рукой оскальпированную высотку, он снова сказал: — Запомни это...

Потом, сердито кашлянув, старик надвинул шляпу на самые уши и быстро пошел, почти побежал с холма к гати, подступы к которой были истолчены ногами, колесами и гусеницами. Муся пошла было за ним, но спохватилась, нарвала белых и розовых бессмертников, вернулась к окопу и положила цветы на колени артиллериста. В первый раз в жизни видела она так близко мертвого. И с изумлением убедилась, что смерть может быть не менее величественной, чем жизнь.

Своего спутника девушка догнала не сразу. Он размашисто шагал по гнилым, поросшим болотной травой бревнам, почавкивавшим под его ногами. Старик не обернулся и только вздохнул.

У девушки перед глазами стояли пестрое от веснушек лицо лейтенанта и рыжеватая прядь, которую легонько пошевеливал ветер.

Говорить не хотелось.

Так весь день, до самого заката, прошли они, погруженные каждый в свою думу. Не говорили они о виденном и еще несколько дней пути. Но однажды, когда они в сумерках остановились на ночлег в глуши елового леса, у маленькой речки, тихо курившейся реденьким туманом, Митрофан Ильич, бросив на поляне охапку сушняка, собранного для костра, вдруг подумал вслух:

— Что из того, что фашист далеко зашел! Пришел, уйдет, если останется кому уходить... С такими людьми...— он, вздохнув, посмотрел на закат,— с таким народом любого врага победим.

И Муся, которая в эту минуту мыла у речки молодую картошку, быстро вращая ее в котелке, сразу поняла. о ком он говорит.

— А вы помните, какое у него было лицо?..— отозвалась она из-под берега.

Митрофан Ильич зажег спичку, дал ей разгореться в сложенных ковшичком ладонях, неторопливо поднес к белым кудрям бересты, подсунутым под сосновые ветки. Легонько вспыхнув, береста стала завиваться, потрескивая, как сало на сковородке.

— Вот как, милая моя, долг-то перед родиной выполняют... Дай бог нам с тобой выполнить его так-то!

Все пуще скручиваясь, с треском и воем разгоралась береста, фиолетовые язычки танцевали меж сухими ветками. Костер вспыхнул разом со всех сторон и, запылав весело и бойко, осветил строгое задумчивое лицо старика.

Где-то совсем рядом, за речкой, однообразно, настойчиво кричал перепел. Тонко звенели комары. Вода чуть слышно обсасывала травянистые берега. Из теплой влажной тьмы Муся с любопытством посматривала на спутника, фигура которого четко вырисовывалась, подсвеченная сбоку мерцающим пламенем.

«А у него есть чему поучиться! Ходит-то как... А костры как разжигает!.. И о жизни мысли хорошие... Вот тебе и «канцелярская промокашка», вот тебе и «арифмометр с бородкой». Вот они как, Муська, люди-то узнаются».

7

Заснула Муся в тот вечер моментально, едва успев улечься на постели из еловых лапок, которые на этот раз она нарубила сама и для себя и для спутника.

А Митрофана Ильича опять одолевала бессонница. Чтобы огонь или запах дыма не привлек кого-нибудь к их ночлегу, он раскидал костер, залил водой головешки, затоптал угли. Собрал сушняку на завтра. Песком вычистил закоптелый котелок. Потом улегся на спину, закинул руки за голову и задумался.

Как хорошо было раньше на рыбалке в такую вот теплую зеленоватую летнюю ночь, мягко мерцающую звездами-светляками, тихо курящуюся живыми волокон-

цами прозрачного тумана, лежать вот так в душистой траве, на земле, медленно отдающей дневное тепло!..

И вот сейчас та же летняя ночь, то же тихое мерцание зеленоватого прозрачного неба, тот же волокнистый туман стелется над лугом, так же тянет с реки холодной душистой влагой, но нет ни покоя, ни радости. В лягушачьем гомоне слышится что-то тревожное, предостерегающее. Выпь плачет, как мать над потерянным сыном. В сладком запахе медуницы, доносимом ветерком из-под берега, чудится примесь тления. И даже в однообразных перепелиных криках, которые с детства понимались как «спать пора», слышится теперь: «Иди, гляди! Иди, гляди!»

Что же случилось? Ведь здесь оккупанты даже и не были, они прошли стороной. Война обтекла эти лесные чащи. Но летняя ночь не несет ни радости, ни покоя, слух насторожен, нервы натянуты. Митрофан Ильич вздыхает, нетерпеливо посматривает за речку, не видно ли там желтой полоски рассвета, скоро ли можно трогаться в путь... Ох, скорей бы уж утро, что ли!

В заводи туго плеснула большая рыба. Кряхтя, охая совсем по-стариковски, Митрофан Ильич поднялся со своего душистого ложа, сделал из сучка и бересты факел, зажег его, спустился к воде. Поймал рукой несколько пестрых пескариков, дремавших в камнях на небольшом перекате. Этими рыбками он наживлял крючки и поставил две жерлицы в заводи, у тенистого омутка, который приметил еще с вечера. Хорошая щука будет не лишней при их быстро иссякающих запасах.

Проследив за ажурными кругами, расходившимися по тихой воде, старик собрался было уже снова попробовать уснуть, но тут взгляд его упал на какую-то вещицу, золотисто сверкавшую на самой тропинке. Митрофан Ильич так испугался, что рубашка у него на лопатках сразу стала влажной. Неужели мешок лопнул и это выпало из него, когда они вечером здесь проходили?

Старик бросился на колени, дрожащей рукой схватил сверкающий предмет. Раковина речной жемчужницы. Должно быть, сорока выудила и вылущила ее. И хотя на ладони лежала всего только перламутровая створка моллюска, сердце продолжало тревожно биться. Ведь ценности приняты на вес, да и взвешивали впопыхах и, конечно, не точно. Что-нибудь может затеряться, а возможно, уже и затерялось, когда они перекладывали вещи

из мешка в мешок. И этого не учтешь, потому что все принято без описи. Даже самого грубого списка до сих пор не составлено.

Как же это он, опытный банковский работник, так оплошал? Все спешка, спешка... И еще эта девчонка, у которой ветер в голове и которая относится к ценностям, как к картошке. Впрочем, нет, к картошке она относится бережно. Вон как она сегодня пересчитала ее по штукам, прикидывая, на сколько дней хватит им запасов. И несет она картошку без препирательств, без воркотни...

«Нет, все это нужно исправить, исправить сейчас же! Но как? — раздумывал он, все еще держа в руках раковину.— Попробуй заактируй, когда нет ни чернил, ни клочка бумаги. На бересте, что ли, прикажете писать, по примеру древних? Можно бы было, конечно, и на бересте, да разве упишешь, ведь сколько его, золота-то, и разных вещиц... Полотно рубашки? Это мысль... Но какой же это, должно быть, адский труд — писать на полотне. Сколько суток на это уйдет?.. Да, задача!»

Небо на востоке уже светлело, зазолотели верхушки сосен, но непроснувшийся лес был еще полон лиловатого утреннего тумана, когда Митрофану Ильичу пришла в голову спасительная мысль: а «почетные грамоты»! Ну да, именно «почетные грамоты», «листы ударника», горсоветские аттестаты — все эти памятки долгой и честной трудовой жизни, которые он взял с собой. Их ведь много, их будет достаточно, чтобы мелко переписать на обратной чистой стороне документов все, что им сдали железнодорожники.

Старик вскочил. Умылся в реке, курившейся розоватым парком, вытерся подолом рубашки, довольно крякнул, почувствовав прилив сил. За дело! Грамоты были в мешке, лежавшем у Муси вместо подушки. Он осторожно приподнял голову девушки, извлек трубку бумаг. Муся не проснулась. Она только почмокала по-детски губами и, подтянув колени почти к подбородку, поплотнее свернулась калачиком.

«Отлично, пусть себе спит подольше, по крайней мере никто не будет жужжать над ухом». Старик укрыл девушку с головой одеялом, а сам пристроился к толстому, ровно спиленному пню, разложил на нем бумагу, извлек из кармана гимнастерки старомодное пенсне, посадил его на нос и опытной рукой принялся графить бумагу. Эту простую канцелярскую работу он делал, чувствуя тот

радостный подъем, какой ощущает художник, надолго отрывавшийся от своего мольберта, снова берясь за кисти. Даже руки у него чуть-чуть дрожали, когда он чернильным карандашом выводил ровным почерком знакомые и чрезвычайно ему симпатичные слова: «Инвентарная опись ценностей, принятых 2 июля 1941 года городским отделением Госбанка от граждан Иннокентьева Е. Ф. и Черного М. О., подлежащих сдаче в первую же контору Госбанка СССР на неоккупированной территории». Дальше привычной рукой он выводил название граф: «Номер по порядку», «Что принято», «Особые приметы», «Примечание». Пересадив пенсне с переносицы пониже на нос, он начал опись, постепенно перекладывая вещи из одной кучки в другую.

Он работал, как всегда, старательно, четко, кажется совершенно позабыв, что сидит не в конторе, а под утренним розовеющим небом, у пня с янтарно блестевшими годовыми кольцами. Никогда еще он так не наслаждался самим процессом привычного дела, как сейчас, когда был оторван от него, кто знает, на сколько времени, может быть навсегда. Лишь изредка он останавливался, отрывался от аккуратно заполненных граф, чтобы распрямить онемевшую спину да похрустеть суставами пальцев. Это было у него признаком довольства.

Ах, как работалось в это утро! Даже показывая почтительно покашливавшим колхозным садоводам свой виноград «Аринка», Митрофан Ильич, кажется, не испытывал такого удовольствия, как в эти часы, сгибаясь в неудобной позе у пня над графами, строго выведенными на бумаге.

Муся, разбуженная жарким солнечным лучом, увидела такую картину: невдалеке, без гимнастерки, в подтяжках, прищепнув кончик носа «чеховским» пенсне, Митрофан Ильич сидел перед пнем и, наклонив голову набок, старательно писал. На фоне щедро умытого росой леса все это выглядело так странно, что девушка не удержалась и прыснула со смеху.

Старик пересадил пенсне на переносицу, с неудовольствием посмотрел на проснувшуюся спутницу, мученически вздохнул и продолжал работать.

Перед ним на аккуратно расстеленном пальто горками лежали драгоценности. По ходу описи он перекладывал их из одной горки в другую.

— Доброе утро... Может быть, я чем-нибудь могу

вам помочь? — спросила Муся, с трудом сгоняя с лица улыбку.

— Можешь. Молчи и не мешай,— буркнул старик, не отрываясь от бумаг. Он выпрямился, потянулся так, что хрустнули суставы, победно пощелкал костяшками пальцев и добавил: — Ты знаешь, мне просто страшно стало, когда я рассмотрел все это тут, в спокойной обстановке... Здесь есть такие камни... редчайшие, колоссальной ценности... чудовищной...

И все-таки Муся не сумела удержать насмешливой улыбки: «Опять за свое. Кто о чем, а цыган о солонине» — как говаривал в таких случаях Мусин отец. Правильно, она даже приблизительно не представляет себе, сколько все это может стоить. Не знает и не желает знать. В книгах она, конечно, читала о могуществе золота, но никогда над этим не задумывалась, резонно считая, что роковая сила благородного металла, о которой столько написано историками, писателями и поэтами минувших веков, в нашей стране — такая же отвергнутая, устарелая и даже странная легенда, как сказка о «голубой царской крови», о «божьей благодати» и других столь же плохо укладывающихся в голове вещах.

Всего раз в жизни у Муси была золотая вещица. Может быть, она-то и подорвала окончательно в глазах девушки древний авторитет благородного металла. Это был старинный золотой перстенек с голубым глазком бирюзы. Когда Муся, при всех своих спортивных и вокальных увлечениях, все же отлично окончила седьмой класс, мать достала этот перстенек со дна комода и торжественно преподнесла ей. При этом она сказала, что это свадебный подарок отца и вообще ценность. Девушка разочарованно повертела в руках перстенек, но, уловив на лице матери тревожно-ревнивое выражение, принялась шумно восторгаться и горячо благодарить за подарок. Перстенек ей не понравился. Он казался тяжелым, неуклюжим. Чтобы не обидеть мать, она по праздникам надевала его дома, но, выйдя на улицу, снимала и прятала в карман. Ей было стыдно носить на руке эту старомодную вещицу.

Да, мрачная сила богатства была ей непонятна и чужда. Но вещи, лежавшие перед Митрофаном Ильичом, когда она разглядела их в лучах утреннего солнца, ей нравились. Они были такие красивые, так славно сверкали на ватной подкладке старого пальто. Камни переливались, жалили ей глаза острыми разноцветными огоньками.

Мусе подумалось, что ей, наверно, очень пойдут все эти безделушки, захотелось их примерить.

Иронически усмехаясь, она выбрала в одной из кучек большую, осыпанную крупными брильянтами диадему и с чисто женским инстинктом ловко приладила это незнакомое ей украшение на своих по-мальчишески подстриженных русых волосах, вьющихся мягкими кольцами. Митрофан Ильич, искоса глянув на нее, усмехнулся.

— Золушка... Только помни, откуда взяла... Не перепутай кучек.

«Бедная бездомная девочка! — пожалел он. — Все бросила. Ни хлеба, ни крова. А сколько еще предстоит перенести! Пусть потешится. Может, и ценность вещей поймет, не будет так легкомысленно относиться к нашей нелегкой миссии».

— И осторожней, посеешь что-нибудь в траве.

Муся ловко украсила браслетами тонкие, уже обожженные загаром руки, надела на высокую стройную шею сверкающее колье из брильянтовых звезд разной величины, скрепленных между собой в цепочку, прицепила к платью изумрудную брошь в виде дубовой веточки с желудем из прекрасного александрита, вспыхнувшего на солнце тревожным и мрачным зеленоватым огнем, выбрала было и серьги — две виноградные грозди, из крупных розоватых, радужно мерцающих жемчужин, но, повертев, бросила обратно. Уши у нее не были приспособлены носить это варварское украшение.

Сверкая драгоценностями, Муся задорно подбоченилась и, охорашиваясь, победно косясь на своего спутника, вдруг тихонько запела:

...У нашей ли дочки новая сорочка
Узорами шита.
А на белой шее золото́ монисто,
Золото́ монисто...

Как? А?

Старый кассир, снова было взявшийся за дело, удивленно оглянулся. Он пересадил пенсне на переносицу, и брови его полезли на лоб.

— Ого! Вон ты какая?

Муся озорно тряхнула кудрями, и драгоценные камни ударили в глаза старику снопами разноцветных лучей.

— А какая, какая, ну?

Девушка чувствовала, что в этом убранстве она должна нравиться всем-всем. Вот бы взглянуть сейчас в зер-

кало, как это делала сумасбродная Оксана в опере! Эх, беда, где его возьмешь, зеркало!

— Ну, какая же? Говорите!

— Ну, такая,— Митрофан Ильич пощелкал пальцами,— такая... ну, в общем, ничего себе...

— Стойте! — радостно крикнула Муся.

Быстро просеменив босыми ногами по росистой траве, она пересекла лужок и скрылась под откосом. И уже где-то на реке ее свежий, чистый, как у жаворонка, голос вывел:

...Говорят же люди, будто хороша я,
Как ясная зорька, как белая лебедь,
Будто в целом свете нет такой дивчины...
Эту славу про меня пустили недобрые люди.

«Ишь распелась! Да у нее же и голос...— удивленно подумал Митрофан Ильич, ничего не знавший о вокальных увлечениях маленькой банковской сотрудницы.— Определенно талант,— повторял он про себя. Но тут ему представилось увиденное ночью: что-то золотое тускло мерцает в траве.— Сумасшедшая, куда она убежала, все растеряет!»

Старик торопливо прижал каким-то сучком свои бумаги, чтобы ветер не унес их, прикрыл сокровища полой пальто и, боязливо оглядываясь на них, пошел на голос.

Речка здесь делала крутой поворот и за перекатом образовывала тишайшую заводь, обрамленную сочной зеленой осокой. С точностью отражались в ней в опрокинутом виде и серые кудри прибрежных ольх, оплетенных хмелем, и дальше сосны, высоко возносившие свои стройные янтарные стволы.

Коса мелкого серебристого песка тянулась от берега к середине заводи, точно ножом разрезая ее. По этой косе Муся вбежала в темную торфянистую воду. Мальки, как живые иголки, бесстрашно засновали возле ее ног. По воде, как посуху, толчками двигались паучки-водомерки, а возле самой девушки целая стайка жучков-вертушков принялась вычерчивать сложные восьмерки, сверкая на солнце вороненой сталью своих спинок.

Муся наклонилась. В темной глади воды, на фоне отраженного лазоревого неба, она увидела себя такой, что можно было подумать, будто русалка, сверкая волшебными драгоценностями, смотрит на нее из глубины реки большими серыми лучистыми глазами. Вся проникаясь колдовской поэзией летнего утра, следя за тем, как,

лоснясь на солнце синими целлофановыми крылышками, играют в камышах две стрекозы, девушка уже громче и увереннее продолжала арию Оксаны, разученную к первомайскому выступлению:

Нет, нет, нет, люди правду говорят!
У кого такие очи, у кого такие косы?
Очи мои — звезды, косы мои — змеи, черные, густые...

Она озорно выводила колоратурные трели, лукаво посматривая снизу на Митрофана Ильича.

Старик стоял на берегу, удивленно глядя на Мусю. Уже не первый год знал он ее, и всегда казалась она ему самой обыкновенной, а тут!.. И куда только смотрели банковские женихи! А голос!.. Не глядя сейчас на нее собственными глазами, Корецкий нипочем и не поверил бы, что поет та задиристая девчонка, которую сослуживцы звали «Репей». Сердце Митрофана Ильича наполнилось отеческой гордостью. Но тут браслеты тонко звякнули на руке Муси. Мысль, что какая-нибудь из драгоценностей может упасть или даже уже упала в воду, испугала старика. Взмахнув руками, он бросился к заводи.

— Сумасшедшая, сейчас же вылезай. Утопишь что-нибудь... Немедленно вылезай! Слышишь?

— Хороша, а? — поинтересовалась Муся, снова и снова склоняясь к своему отражению.

— Иди на берег, ветреная девчонка! — кричал старик и уже лез в воду в своих охотничьих торбасах.

Муся расхохоталась. Смех ее раскатился по реке, отдался от стены сосен.

— Господи, это же черт знает что... Можно ли быть такой легкомысленной? Вылезай, слышишь!.. Уронишь.

— Ну и подумаешь, ну и уроню!.. Кому они нужны, эти штучки, когда война идет!

Война! Девушке вдруг вспомнилась виденная на днях высотка, старший лейтенант, застывший с телефонной трубкой, прижатой плечом к уху, и все вокруг как-то сразу потускнело, померкло.

Муся быстро вышла из воды, сорвала с себя драгоценности, небрежно бросила их обратно и, чтобы искупить вину, которой она не понимала, но чувствовала, с особым усердием занялась хозяйством.

На жерлицу ночью попались два увесистых щуренка. Девушка очистила их, сварила уху и даже «накрыла

стол», разостлав на траве чистое полотенце. Горячие куски рыбы были положены вместо тарелок на листья лопуха.

Между тем Митрофан Ильич заканчивал опись. Он пронумеровал листы, в конце каждого написал «Старший кассир» и «Сотрудница банка». Потом торжественно и старательно вывел свою фамилию с витиеватым росчерком внизу. Мусе тоже было предложено расписаться. Покорно вздохнув, она поставила где следовало по небрежной закорючке, мимоходом заметив при этом, что не напрасно кое-кого в банке именовали «канцелярской промокашкой».

Довольный успешным завершением дела, старик пропустил это замечание мимо ушей.

С удовольствием хлебая из котелка припахивающую дымком уху, он снова попытался втолковать спутнице значение выпавшего на их долю испытания. Он заговорил о страшной роли благородного металла в человеческой истории, о том, как в капиталистическом мире из-за горсти золота брат убивал брата, сын — отца, как молодые женщины продавали себя за богатство старикам, как за обладание сокровищами разгорались кровавые войны. Он приводил примеры из литературы и даже отважился пропеть дребезжащим тенорком:

Люди гибнут за металл,
Люди гибнут за металл...

Муся молча хлебала уху. Старику начало казаться, что наконец-то и она проникается уважением к миссии, выпавшей на их долю. Обсасывая щучью голову, он стал убеждать девушку еще усерднее. В разговоре замелькали имена Островского и Гоголя, Бальзака и Лондона.

— Вы знаете, на кого вы походили сегодня там, у пня, среди всех этих своих сокровищ? — спросила Муся, ловко выбирая косточки из щучьего бока.

— На кого именно? — осведомился Митрофан Ильич, у которого иссяк поток литературных примеров.

— На Скупого рыцаря, верьте слову. Помните? «Я царствую!.. Какой волшебный блеск! Послушна мне, сильна моя держава; в ней счастие, в ней честь моя и слава!» Здорово, между прочим, похожи.

Митрофан Ильич вскочил и, размахивая щучьей головой перед самым Мусиным носом, закричал с плаксивыми нотками в голосе:

— И пусть! Да, и пусть! Правильно! Я дрожу за каждую золотинку, за каждый камешек... И мне не стыдно, нет-с, слышишь, ты, девчонка, не стыдно, потому что я дрожу не за свое добро, а за общественную собственность... Скупой рыцарь!.. Отлично, пусть... Да понимаешь ли ты, с кем сравниваешь меня?

— Чего вы мне в нос рыбой тычете? Подумаешь, загадка века — Скупой рыцарь! Чего тут понимать? Он просто псих был, этот ваш классический скупердяй... Ну, скажите: разве нормальный, имеющий такие деньги, станет корку глодать и ходить в рваных штанах?

Митрофан Ильич мученически и безнадежно отмахнулся.

— И руками махать нечего. Я вот все думаю: сами-то вы с этим золотом, грешным делом, немножечко не того?..

Девушка сделала винтообразное движение пальцем, прислоненным к виску.

8

С этого дня Митрофан Ильич больше уже не пытался убеждать свою спутницу. Он сам покорно тащил драгоценный груз и резко отвергал все попытки девушки помочь ему в этом.

Ложась спать, он клал мешок под голову, предварительно намотав на руку его лямки. Спал он чутко, по-охотничьи говоря — «вполглаза». Каждый шорох заставлял его вздрагивать, настороженно поднимать голову. Он не доверял теперь ни лесной глуши, ни покою летних ночей, ни безлюдью этих заповедных урочищ, которые были обойдены войной.

И сны у него стали странные, тревожные, все об одном и том же. То снились немецкий офицерик с усатым переводчиком; оба мохнатые, зеленые, неестественно плоские, точно вырезанные из картона. Наведя на него револьверы, они, пятясь, уносили заветный рюкзак. Митрофан Ильич рвался за ними, хотел догнать, отнять у них сокровища, но не мог сдвинуться с места — ноги крепко прилипали к земле... То какой-то огромный, дикого вида человек выходил из-за куста, заступал дорогу и кричал: «Отдай золото!» А Муся стояла рядом и, как фарфоровая китайская кукла, согласно кивала головой: «Да, отдай, отдай, отдай!» А раз привиделось даже, что

мешок, лежавший под головой, стал погружаться в землю. Опускался, опускался, исчез, а на месте его появился серый камень-валун, и камень этот никак нельзя было ни сдвинуть, ни подкопать.

Митрофан Ильич просыпался в поту, с тяжело бьющимся сердцем. Он хватался за изголовье и с облегчением убеждался, что рюкзак цел. Но чувство тревоги не проходило и отгоняло сон. Так и лежал старик с открытыми глазами, следя за тихим мерцанием крупных звезд, слушая тягучий звон сосновых вершин, нервно вздрагивая от неясных шорохов ночного леса. А спутница его, уже приноровившаяся к лесной жизни, спала крепким молодым сном.

Так иной раз, не сомкнув век, лежал и думал старик, пока ночная тьма не начинала редеть, пока стволы деревьев не выступали из нее, а их вершины не загорались розовым светом. Лежал и, словно медленно перелистывая страницы старого семейного альбома с выгоревшими, пожелтевшими фотографиями, перебирал в памяти полузабытые эпизоды своей собственной жизни.

Что ж, начни сначала, может, прожил бы он и лучше, меньше бы ошибок совершил, больше пользы принес людям. И все же, как там строго ни меряй, жизнь прошла неплохо, честно, и даже, пожалуй, сам Чередников не может его ни в чем упрекнуть. Вот только одно неладно: напоследок смалодушествовал — хотел оторваться от своих, чтобы умереть в родных краях.

Родные края!.. Разве это только то место, где ты родился и вырос? Его домик под липками, где прожито столько лет, где поднялись дети и росли внуки, его сад, где спеет виноград «Аринка»,— разве они не сделались сейчас для него даже более чужими и неприютными, чем зал ожидания на каком-нибудь незнакомом полустанке? Да, прожито уже шестьдесят лет, и только на шестьдесят первом по-настоящему понято, что родной дом, родной край — там, где свои люди, свои, привычные порядки.

Да, ошибся. Но сейчас эту свою ошибку он искупает, спасая ценности. Может быть, это и станет его вкладом в общее дело борьбы с врагом.

Но и этот вывод не успокаивал. Наоборот, от таких мыслей у Митрофана Ильича усиливались тревоги, росло нетерпение. Так чего же тут валяться? Идти! Скорее идти! Он вскакивал, умывался, если был рядом ручей или лесной ключ, а если не было — проводил руками по

росистой траве и влажными ладонями освежал лицо. Разводил костер, варил кашу, жарил рыбу, которая всегда попадалась на его жерлицы или переметы.

С питанием они не бедствовали. Картошку копали на дальних участках колхозных полей, местами клиньями врезавшихся в лес. На осиротевших, забурьяненных, вытоптанных нивах срезали колосья, сушили и вытрушивали зерна для каши. Митрофан Ильич, чрезвычайно щепетильный в вопросах собственности, не видел в этом ничего зазорного. Армия отошла, и они, как люди, спасавшие общественное добро и как бы находившиеся, таким образом, на государственной службе, могли считать себя наследниками оставленных богатств...

Так шли они день за днем, шли медленно, сторонясь даже проселочных дорог, обходя жилые места, уклоняясь от встреч с людьми. Уже давно миновали они границы своего озерного района, который Митрофан Ильич с удочками или с кошелкой для грибов исходил вдоль и поперек. Теперь путь их лежал по незнакомой местности, через леса и болота, через луговые пустоши дремучих урочищ. И хотя часто шли они вовсе без дорог и карты не имели, он ни разу не сбился с направления.

Компас, захваченный Митрофаном Ильичом из дому, они где-то потеряли, перекладывая вещи. Но старик отлично умел определять направление по солнцу, а в ненастный день — по мху, росшему на старых деревьях, по тому, в какую сторону были обращены венчики цветов, по утолщению годовых колец на пнях, по десяткам других признаков, известных грибникам, охотникам и рыболовам. По краскам вечерней зари, по ветерку на закате он безошибочно угадывал, какая предстоит ночь, и знал, надо ли искать для ночлега укромное место, строить шалаш или можно будет спать под открытым небом. По зеленым звездочкам борового мха, по тому, раскрыт или закрыт зев его коричневых молоточков, по этому тончайшему барометру природы угадывал он погоду на будущее и с утра безошибочно определял, нужно одеваться в путь полегче или потеплее.

За дни скитаний лицо и шею Митрофана Ильича покрыл тяжелый фиолетовый загар, лишь половина лба осталась белой под полями шляпы. Отросшие усы слились с бородой, закурчавились. Он уже совсем не походил теперь на щеголеватого банковца былых времен и больше смахивал на деревенского деда из бойких, из тех, каких

назначают в пасечники или в инспектора по качеству, выбирают в президиумы или посылают к школьникам рассказывать о старине.

Но еще более разительные перемены произошли в Мусе. Шелковое платье давно уже лежало на дне рюкзака. Она шла в фланелевом лыжном костюме, самый вид которого когда-то вызывал у нее возмущение. Девушка свыклась с лесной жизнью, переняла секрет неторопливого, спорого охотничьего шага и уже без особого напряжения поспевала за спутником. Встреть сейчас Мусю Волкову какой-нибудь сослуживец или однокурсник по музыкальному училищу, он просто не узнал бы ее. Лицо, руки, шею девушки точно покрыли коричневой ореховой моренкой. Чуб ее, выгорев на солнце, выделялся в кипе русых волос, как прядь льняного волокна. Выцветшие ресницы на загорелом лице казались еще длиннее. Девушка походила теперь на складного, ловкого мальчишку, только мальчишка этот смотрел на мир слишком уж пристально и с лица его не сходило несвойственное подросткам выражение тревожной грусти.

Даже характер у Муси стал меняться. Она могла пройти весь день, не сказав ни слова, погруженная в свои мысли.

Молчание не тяготило ее, как раньше.

А идти было все труднее. Лето круче поворачивало на осень. Ночи удлинялись, становились темнее, прохладнее. По утрам выпадали такие обильные росы, что на заре девушке приходилось чуть ли не выжимать волосы. А тут еще серенькие обложные дожди, шелестевшие иной раз по целым суткам. Идти под дождем не жарко. Но лесная почва быстро пропитывалась влагой, раскисала, и ноги вязли в ней. Сырая одежда липла, стесняла движения.

Непогода, увеличившая тяготы путешествия, заставляла путников, как о высшем благе, мечтать о ночлеге под крышей, о возможности хоть раз по-настоящему обсушиться, помыться в бане, заснуть без верхней одежды. Но когда девушка, заметив, что тропка, по которой они идут, становится более протоптанной, заслышав далекий крик петуха или уловив до предела обострившимся в лесу обонянием дымок человеческого жилья, предлагала

хоть на денек завернуть в деревню, Митрофан Ильич приходил в ужас. В деревню — никогда! Там же оккупанты! А если их и нет, вдруг среди жителей найдется фашистский прихвостень, который донесет в ближайшую комендатуру, или просто стяжатель, охотник до чужого добра. Нет, нет, о жилье даже и думать нужно бросить.

Муся с досадой перебивала старика, обзывала его Кощеем Бессмертным, Скупым рыцарем, Плюшкиным, Шейлоком, Гобсеком — словом, именами всех скупцов, известных ей из литературы. Он стоически переносил это, но был непоколебим.

Как-то раз, отдыхая на привале в стороне от лесной дороги, спутники услышали вдали шум движения. Войска? Наши? Немцы?.. Митрофан Ильич торопливо раскидал костер, затоптал головешки. Скрывшись в кустах и спрятав мешок, они замерли, стали наблюдать. К удивлению их, шли не военные. Это издали можно было определить по темной форме идущих и по тому, что двигались они не вытянутыми цепями, а густой толпой. Может быть, фашисты? Спутники затаились. Толпа приблизилась, и тогда наблюдавших удивил малый рост этих людей.

— Это же ремесленники, слово даю! — прошептала наконец Муся, рассмотрев светлые пуговицы на черных гимнастерках.

Да, она не ошиблась: это были ученики какого-то ремесленного училища. С мешочками за плечами, они устало тянулись по дороге. Впереди шагал маленький загорелый, смуглый паренек в одних трусах и форменной фуражке. Свою одежду, связанную в узел, он нес наперевес с заплечным мешком. Чуть отстав от толпы, двое под руки вели третьего, должно быть больного или обессилевшего. Позади всех двигались носилки.

Путники в скорбном молчании следили за этой ребячьей толпой, пока носилки, заключавшие шествие, не скрылись за поворотом дороги.

— А ведь совсем ребятишки, им в игрушки играть...— прошептал наконец Митрофан Ильич.

— Вот молодцы! — восхищенно отозвалась девушка, всем сердцем устремляясь за этой скрывшейся в лесу семьей маленьких дружных людей.

С тех пор картина этих бредущих через лес ремесленников не забывалась. И когда в конце дневного перехода Муся уже едва волочила ноги, она всегда старалась представить, как шли эти ребята. И становилось легче.

Однажды идти было как-то особенно тяжело. Густая духота сковывала неподвижный лес. Даже тут, под сенью деревьев, дышалось с трудом, и путники шли, мечтая о дожде, пусть даже он будет долгим, обложным. Но все точно застыло. И только комары толпились звенящими кучками и с особой остервенелостью атаковывали путников, облепляя лица, шеи и руки. На болотцах, в лесных низинах надрывно орали лягушки.

— К грозе,— сказал Митрофан Ильич, останавливаясь и вытирая рукавом вспотевший лоб.

— Скорее бы! — вздохнула девушка, облизывая соленые губы.

Но гроза все не наступала. В прогалинах меж вершинами елей низко висела однообразная седоватая хмарь. Воздух был неподвижен. Только к вечеру на востоке обозначилась наконец туча, густая и тяжелая, как дымовая завеса, выставленная над переправой. Из леса тучи сначала не было видно, но ее приближение угадывалось по тому, как забеспокоились птицы и как вдруг сразу стих надсадный комариный звон. Потом стало глухо погромыхивать, по деревьям прошел тревожный шумок, повеяло долгожданной прохладой.

Быстро сгущались зыбкие сумерки.

— Спасайся кто может! — усмехнулся Митрофан Ильич, остановившись и вглядываясь в полутьму, вздрагивающую от синеватых вспышек молнии. Впереди он заметил группу разлапистых елей и рысцой направился к ним. Уже на бегу он выбрал большое приземистое дерево.

Старик раздвинул ветви и втолкнул девушку в естественный просторный шатер, откуда пахнуло запахом смолы, мха и грибов. В это мгновение грянул такой гром, что Мусе почудилось, что где-то совсем рядом разорвалась авиабомба. Потом наступила испуганная тишина, и снова, на этот раз порывисто, с присвистом, с воем, потянул ветер, клоня непокорные головы елей, обдирая чешуйки коры с сосновых стволов, яростно вороша листву берез и осин.

Сквозь ветви пахнуло холодной влагой. Деревья застонали, зашипели хвоей, зашуршали листом, и весь лес, точно в ужасе содрогаясь перед неотвратимой бедой, наполнился тревожным, суматошным шумом.

Митрофан Ильич, прислонясь спиной к толстому стволу, устало закрыл глаза. Муся же, раздвинув перед собой ветки, сделала маленькое окошечко и высунула голову наружу. Но все скрывала плотная свинцовая полутьма, и только когда вспыхивали синеватые молнии, видела она на мгновение в прогалинах древесных вершин багровые кровоподтеки огромной тучи и ниже — тоненькую березку, стлавшуюся по ветру каждой своей веточкой, каждым своим трепещущим листом.

Потом о хвою забарабанили, как дробины, капли, и вдруг после одной ослепительно молниевой вспышки, на миг проявившей с поразительной четкостью весь окружающий лес, всю небесную глубину до самой тучи, под которой, сверкая крыльями, косо неслись испуганные птицы, хлынул такой ливень, точно молния проломила какую-то плотину и вся скопившаяся там вода ринулась на землю. Митрофан Ильич, зябко съежившись, отодвинулся в глубь шатра. Но Муся, с детства любившая грозу, приникла к своему окошку и с наслаждением ощущала на лице прохладу мельчайших водяных брызг, жадно вдыхала аромат леса.

Старая ель, содрогаясь до корней, покачивалась, скрипела. Но разлапистые ветви ее, плотно смыкаясь, образовывали собой многоярусные пологие скаты, и вода без остатка сбегала с них. Путникам, приютившимся у самого ствола, было сухо и даже тепло.

Долго сверкало и громыхало, долго плясал над лесом косой ливень. В окошко, проделанное Мусей в ветвях, тянуло мельчайшую водяную пыль. Но когда ветер пронес последние клочья иссякших туч, в лесу уже не посветлело. На свежевымытом небе горели частые звезды, и яркий ковшик молодой луны обливал притихшие деревья мягким, голубоватым светом.

Идти было поздно да и мокро. Лучшую стоянку в темноте трудно было найти. Решили ночевать тут, под шатром ели, подкрепившись на ночь земляникой, которую несли в котелке еще с дневного привала. Но промытый ливнем воздух был так густо насыщен озоном, что уставшая Муся, не съев и ягодки, крепко заснула.

Разбудили девушку посторонние, чужие лесу звуки, какие теперь ее ухо умело улавливать даже во сне. Поясница ныла. Но она сейчас же забыла об этом. Митрофан Ильич настороженно, подавшись вперед, смотрел в то самое окошко в ветвях, которое Муся проделала вчера.

Сразу перепугавшись, девушка хотела было спросить, что там, но не успела: спутник быстро повернул к ней бледное лицо и зажал ей рот рукой.

«Враги!» — решила девушка, чувствуя, как тело ее цепенеет, будто оледененное судорогой. Но в следующий момент сердце радостно ворохнулось. Донеслись голоса. Говорили по-русски, и где-то совсем рядом.

Муся глянула через плечо Митрофана Ильича. Оказывается, вчера, в грозовых сумерках, они забрались под ель, стоявшую возле малоезжей, заросшей травой лесной дороги. Кусок этой дороги был хорошо виден из елового шатра. Двумя жидкими цепями, вытянувшимися по обочинам, двигались мимо красноармейцы, загорелые до черноты, с заросшими, усталыми лицами, в побелевших гимнастерках с налетом соли, выступившей на спине. У некоторых сапоги были настолько разбиты, что подошвы они привязали проволокой и веревкой, другие были и вовсе босиком. Но при оружии. В разобранном виде пронесли ручной пулемет. Поддерживая друг друга, прошли двое раненых с повязками, почерневшими от пыли. Медленно тянулась телега, покрытая плащ-палатками. Из-под брезента виднелась забинтованная голова. Колеса мирно погромыхивали в глубоких травянистых, залитых водой колеях.

По тропинке, совсем рядом с елью, прошел молоденький, чисто выбритый и подтянутый офицер. На каждом его плече висело по немецкому автомату. Он прошел так близко, что Муся расслышала его дыхание. Потом уже издали донесся звонкий и твердый голос:

— Подтянуться, не отставать!.. Отделенные, соберите колонну! Какого черта...

Последними прошли бойцы в шинелях с заткнутыми за пояс полами, забрызганными грязью. На поясах у них позвякивали лопатки и каски. За плечами у каждого был вещевой мешок. Оружие матово поблескивало смазкой. То явно были кадровики, молодые и крепкие. Они шли четко обозначенной цепью, строго соблюдая интервалы.

А потом Муся увидела такое, от чего у нее занялся дух. Чуть приотстав от колонны пехотинцев, двигались артиллеристы. Их было немного, но выглядели они свежей и крепче. Наперевес с вещмешками они несли брезентовые торбы, из которых торчали головки снарядов. Человек двенадцать, впрягшись в лямки постромок,

волокли орудие. Колеса вязли в глубокой колее, разбрасывая воду. Пушка упрямо упиралась. Но ее толкали и сзади. Артиллеристы подбодряли себя хриплыми криками: «Марш, марш, марш!» — и орудие катилось дальше, глухо гремя колесами по обнаженным корневищам.

Из своего убежища Муся видела даже вены, вздувшиеся на висках, слышала хриплое дыхание. На нее пахнуло крепким запахом солдатского пота. Артиллеристы напоминали репинских бурлаков, но лица у них были не безнадежно-покорные, а упрямые и сердитые.

Девушку инстинктивно потянуло туда, к этим артиллеристам, дружно тащившим свою последнюю пушку. Она даже попыталась привстать, но Митрофан Ильич почти насильно удержал ее. При этом не было произнесено ни слова. Но в напряженном его лице, в крепко стиснутых зубах, в прищуренных глазах было что-то такое, что сразу перебороло то, что тянуло девушку из укрытия на дорогу. Что это было — острая душевная боль, гордость или порыв, обузданный волей,— девушка не поняла. Но подчинилась и молча пережадала, пока, как видение далекого милого мира, проплыла перед ней последняя группа со своей пушкой.

Стихло чавканье грязи под сапогами, смолкли вдали хриплые крики: «Марш, марш, марш!» — а путники все еще молчали в своем убежище.

Наконец они вылезли из елового шатра и долго смотрели в ту сторону, где скрылась колонна.

— Хотел бы я, чтобы Гитлер, вот как мы с тобой, хоть глазом бы на них глянул. Ему б, собаке, страшно стало... Ты что?

Муся плакала. Она плакала без слез, упрямо склонив голову и вцепившись губами в рукав своей куртки. Все тело тряслось от беспшумных рыданий.

— Ну, будет, ну, к чему...— растерянно бормотал Митрофан Ильич, всегда боявшийся женских слез.

— Уйдите, уйдите прочь! Ненавижу, ненавижу вас и это ваше милое золото! Кощей, Кощей Бессмертный!

Девушка выкрикивала эти слова задыхаясь, и в сухих глазах ее был такой гнев, что Митрофан Ильич невольно отступил.

Но вдруг и он рассердился:

— Ты что же думаешь, мне не хотелось к ним выйти?

— Кощей, Кощей,— упрямо повторяла Муся, но в словах ее уже не было прежнего накала.

— Я втрое старше, я больше тебя этого хотел. Да, да. Перед тобой жизнь, а я умирать к своим спешу...— Он тяжело вздохнул.— Еще когда ты сны смотрела, их разведка мимо нас прошла. Я чуть было к ним не бросился, да вовремя на себя прикрикнул: «Нет у тебя, Митрофан, на это права».

— Да почему, почему? Разве мы не люди? — Обильные слезы катились теперь по Мусиным щекам, и сквозь рыдания, которые стали шумными, она говорила: — Вместе б догнали фронт, вместе б пробились... Со своими ж вместе ж лучше ж...

— И об этом думал, Муся, пока передовые шли. И это отверг. Ну, вышли бы мы, все рассказали б командиру и комиссару. И золото отдали — нате... Ты думаешь, они б нам поверили? Откуда такое у девчонки и старика? Украли в суматохе. Или еще хуже: фашистские агенты. Ведь ты б и сама такой истории не поверила.

Муся уже не плакала. Красное и еще мокрое от слез лицо ее стало задумчиво. Она действительно вообразила себя командиром или комиссаром, слушающим необычную эту историю, и склонялась к тому, что и сама нипочем не поверила бы.

Митрофан Ильич опять вздохнул:

— То-то и оно. И расстреляли б неизвестного старика и девчонку. Не с собой же их еще таскать...

Свежие следы на дороге медленно заплывали дождевой водой. Старик бережно поднял веточку, должно быть обломанную кем-нибудь из прошедших.

— Они вон пушку целую на себе волокут, а некоторым золото, ценности народные, нести в тягость,— сказал он, гладя веточку пальцами.

— Сравнили тоже,— вяло отозвалась Муся. У нее перед глазами все еще стояли артиллеристы со своим орудием. Не хотелось спорить — разве такого убедишь!

Около часа шли молча. Каждый по-своему обдумывал встречу, недавнюю ссору и весь разговор.

Сияло солнце, весело шумел вымытый грозой лес. Полутьма, ютившаяся под деревьями, была полна тучных запахов позднего лета... Вдруг Митрофан Ильич остановился, резко повернулся к Мусе. Близорукие глаза его хитровато щурились.

— Ты никогда в Ювелирторге не интересовалась, сколько стоит грамм золота? — спросил он.

Этот вопрос был так неожидан, что девушка даже с некоторой опаской покосилась на спутника.

— А чего ж тут удивительного? Могла, скажем, найти и купить ну хоть пластинку для зубной коронки.

— Это для чего ж такое? — Девушка, оскалившись, показала два ряда очень ровных белых и мелких, точно беличьих, зубов.— Если и понадобится, золотые не поставлю, их за версту видно и быстро стираются.

Митрофан Ильич решил не сдаваться.

— А тебе все-таки полезно было бы знать, что грамм золота стоит...— Он назвал цифру.— А сколько мы с тобой несем? Грубо говоря, семнадцать килограммов с четвертью, так? Но ценность-то разве в золоте? Там есть такие камни, что иной и за целую шапку золота не купишь. Уникальные!

Девушка вздохнула.

— Если б я нашла кусок золота в конскую голову, как в сказке, я бы его подарила вам, лишь бы вы мне не надоедали этими разговорами. Пошли уж лучше, товарищ Скупой рыцарь!..

И она двинулась было дальше, но старик решительно схватил ее за руку:

— Стой!

— Слово даю, я уже по крайней мере сто раз слышала, какая я легкомысленная. Для того чтобы услышать это в сто первый, по-моему, можно и не задерживаться. Скажете на ходу.

Близорукие глаза Митрофана Ильича вдохновенно сияли. На этот раз он не собирался отступать. В голове его точно отщелкивали колесики арифмометра. Цифры складывались, множились, менялись местами и наконец выстроились в шеренгу итога. Старик торжественно сообщил Мусе ориентировочную стоимость драгоценностей, которые они несли. Потом он сказал, сколько примерно, по его мнению, можно приобрести на такую огромную сумму пушек, снарядов.

Девушка остановилась. Впервые она серьезно, без обычной иронии, слушала слова Митрофана Ильича о драгоценной ноше. Конечно, она и сама иногда задумывалась над тем, какую пользу может принести делу победы доверенное им сокровище. Но ее мысли об этом всегда были туманны и неопределенны. Поэтому Мусю так поразили подсчеты, сделанные старым кассиром. Перед глазами ее вновь встала виденная утром картина.

Если эти люди, отделенные от своей армии линией фронта, усталые, голодные, с такой самоотверженностью тащат на себе по лесному бездорожью снаряды и единственное свое орудие, как же нужно хранить и беречь этот не слишком уж тяжелый мешок, содержимое которого равно по цене не одному, а многим орудиям, не десяткам, а тысячам артиллерийских снарядов!

С этого дня у путников не возникало больше споров. Мешок несли теперь по очереди, и девушка стала относиться к ценностям, пожалуй, даже не менее бережно, чем старик.

11

Только в одном спутники по-прежнему не могли сговориться.

Митрофан Ильич продолжал тщательно обходить жилые места, даже лесные сторожки, даже пустые поселки лесорубов, прятавшиеся в чаще урочищ.

Это возмущало Мусю до глубины души. Осторожность Корецкого была Мусе непонятна. Эта, как казалось ей, досадная старческая причуда усложняла и удлиняла их и без того нелегкий путь. Поняв, что спорить со стариком по этому поводу бесполезно, девушка махнула рукой и ограничилась тем, что переименовала Митрофана Ильича из Скупого рыцаря в Рака-отшельника.

Но и сам Рак-отшельник, стоически переносивший нападки, вынужден был в конце концов признать, что пробираться без дорог, вслепую, не зная точно, где находишься и куда идешь, становится все труднее. После того как однажды они двое суток проплутали в болотистом лесу, он принужден был согласиться, что без разведки теперь не обойтись.

Обрадовавшись, Муся тут же изложила давно уже созревший у нее план. На подходе к деревне старик вместе с ценностями спрячется где-нибудь в укромном месте. Она повесит за плечи холщовый мешок на веревочных лямках, возьмет в руки можжевеловый посошок Митрофана Ильича и в таком виде побредет до первой избы. У нее уже сложилась и жалостная история, которую она станет рассказывать колхозникам: муж повешен фашистами, изба сожжена и вот теперь, она пробирается к матери, живущей в городе. При этом она всякий раз будет

называть ближайший город, лежащий на их пути, и выспрашивать к нему дорогу.

Митрофану Ильичу план понравился. Когда на вторые сутки блуждания по болотам они наткнулись на жердяную изгородь и четко обозначившаяся, хотя уже и затравеневшая, колея указала им на близость жилья, решено было сделать первую разведку. Остановились в густом леске. Муся быстро приняла соответствующий вид и даже для пущего правдоподобия натерла золой костра лицо, шею и руки. В стареньком лыжном костюме, в растоптанных башмаках, с головой, по-старушечьи повязанной грязным полотенцем, с буро-коричневым лицом, которое выглядело теперь давно не мытым, она действительно стала походить на одну из бездомных беженок, которые тысячами бродили по дорогам оккупированной территории в ту лихую пору.

— Ради бога, осторожней, не рискуй! Если малейшая опасность, сейчас же назад. Помни, мы с тобой себе не принадлежим. Нам рисковать — преступление! — напутствовал Митрофан Ильич, даже задыхавшийся от тревоги.— Обещай, что не будешь рисковать.

— Слово даю! — торжественно произнесла Муся. Серые глаза ее, возбужденно сверкавшие из-под низко повязанного полотенца, являли предательский контраст с темным и действительно как бы постаревшим лицом. Можжевеловый посошок Митрофана Ильича с торчавшими бугорками сучков мелко дрожал у нее в руке.— В случае чего, ждите меня сутки, не больше. Не вернусь — ступайте один.

— Только не лезь на рожон, умоляю...

Вся согнувшись, опустив плечи, тяжело опираясь на палку, Муся, стараясь уже тут, в лесу, войти в роль немолодой, усталой женщины, выбралась из зарослей ольшаника на дорогу. Она с досадой чувствовала, что волнуется. После стольких дней лесных скитаний ей впервые предстояло встретиться с людьми, узнать новости о войне, выведать, далеко ли фронт.

Когда дорога побежала просторным массивом исхлестанной ветрами, местами уже совершенно полегшей и проросшей ржи и вдали обозначились темные драночные крыши деревеньки, в сердце девушки против воли закралась новая тревога: а есть ли там люди? Не ушли ли они все оттуда? А если и есть, что стало с ними за недели оккупации?

Муся решила идти в деревню не дорогой, а через луг, чтобы попасть на сельскую улицу задворками.

В стороне от колхозных служб, у ручья, который угадывался по густой зеленой выпушке росшей здесь осоки, курился дымок. Дым — это люди. Не лучше ли встретиться с ними тут, в стороне от жилья?

Стараясь держаться как можно спокойнее, Муся двинулась прямо на этот дым, тянувшийся откуда-то снизу, из-под берега. С чувством человека, бросающегося в холодную воду, почти не дыша, сделала последние шаги и в изумлении остановилась над обрывом. Она не сразу даже поняла, что за зрелище предстало перед ее глазами.

Луг рассекала короткая, но глубокая траншея. Горб свежего песку тянулся вдоль нее, а снизу, со дна траншеи, невидимые Мусе люди продолжали бросать землю. Возле, на соломе, были навалены пузатые, туго набитые чувалы и какие-то громоздкие металлические предметы, завернутые в мешковину. Горел костер. Над ним, фыркая, кипел чайник. Человек средних лет, широкоплечий, грузный, в сатиновой рубахе, без пояса и босой, спал на мешках в неудобной позе, широко разбросав руки. Он тяжело, надрывно всхрапывал.

Немного поколебавшись, Муся стала спускаться к ручью. Из-под ног ее сорвался комок земли. Человек проснулся и ошалело огляделся. Увидев девушку, он уставил на нее тяжелый взгляд.

— Кто? Откуда?.. Паспорт с немецкой штампой имеешь? — ошалело закричал он глухо, точно из бочки.

Муся молчала, стараясь угадать: кто же этот человек, кто работает там, на дне траншеи, и для чего ее копают? «Спокойно, спокойно. Главное, не показать, что я боюсь, не волноваться».

— Здравствуйте,— медленно и певуче произнесла она, собираясь с мыслями.

— Ты, тетка, кто такая? Отвечай сейчас же, кажи бирку либо паспорт с комендантской штампой,— настаивал человек. Он уже шагал к ней через ручей, разбрасывая воду большими, нетвердо ступавшими ногами.

«Пьян»,— определила про себя Муся.

Из ямы вылетели два заступа, потом показалась седая голова; кряхтя, вылез старик, который тут же принялся вытаскивать за руку худого, болезненного парня. Вместо одной из ног у того была деревяшка.

«Тетка. Он сказал «тетка», значит, держусь правильно»,— соображала Муся, смотря на приближавшегося к ней человека. «Бежать? Нет, рано. Он безоружный и выпивши, убежать успею... Ах, неужели же прав Рак-отшельник и нужно теперь опасаться даже своих людей?»

Пьяный остановился перед Мусей, тяжелая ладонь легла на ее плечо.

— Беженка я, милый, хлебца бы мне,— сказала девушка, стараясь сообщить своему голосу старушечьи интонации.

— Хлебца?.. Видали, ребя, ей хлебца захотелось! Ишь чего... Вон он, хлебец-то, под дождем гниет, осыпается. Бери, тетка, сколько хошь, бери все, не жалко, все тебе жертвуем. Ничего теперь нам не жалко. Все одно кончилась наша жизнь. Видишь, могилу копаем? Счастье свое хороним. Все! Конец света!

— Степан, Степан, лишнее мелешь! — оборвал его безногий парень.

Тот, кого называли Степаном, насторожился, сильно встряхнул девушку и вдруг, осерчав, занес над ней тяжелый кулак.

— А ну, кажи фашистску бирку, а то сейчас как тюкну вот! — Он скрипнул зубами, дыша ей в лицо запахом старого перегара.

Мусю всю передернуло от омерзения.

— Чего ты ее пугаешь? Что ей надо? — спросил через ручей старик.

— Вот беженка... Шляются тут, а бирки не кажет... Вишь — хлебца ей.

— Ну и дай. Что тебе, жалко? Нарой ей вон мучки в торбу.

— Ей нароешь.. А она как раз и докажет! Может, она из гестапы? А ну, стерва, кажи бирку или паспорт со штампой!

— Нет у меня паспорта, сгорел, вместе с домом сгорел, все сгорело,— забормотала Муся и начала было выкладывать свою жалостную историю.

Степан оттолкнул ее:

— Хватит, ступай! От своего горя тошно, а тут еще с чужим... Стой! Снимай торбешку.

Муся поспешно сбросила и протянула ему заплечный мешок. Степан снова перешел ручей, развязал один из чувалов и горстями стал бросать в него ржаную муку. Мука сыпалась меж пальцев, падала на песок, ветер сеял

ее по траве, пес к ручью. Воду заволокло белесым налетом, точно пылью древесного цветения в вешнюю пору.

Расхрабрившись, девушка перешла по камням ручей.

— И чего добро раскидываешь, клади как следует! — ворчал старик, сердито наблюдая, как трава белеет от мучной пыли.

— А тебе жалко? А? — рявкнул Степан.— Фашиста кормить собрался?.. Так не будет, не будет ему, паразиту!

И он стал яростно пинать босой ногой куль, пинать со все нарастающим остервенением. Куль не поддавался. Это окончательно взбесило пьяного. Он рванул куль с земли, пыхтя, поднял и нацелился бросить в воду, но безногий парень с неожиданной цепкостью и силой схватил его за руки.

Старик осторожно, пригоршнями собирал муку с земли.

— Ты б не с кульком, с немцем бы шел воевать,— ворчал он.

— Отвяжись! — устало огрызнулся Степан. Он заметно трезвел. Растерянно поглядел на Мусю и сказал, точно оправдываясь: — Ну, пью. И правильно, третью неделю сосу ее, проклятую. Душа горит, дышать нечем... Был колхозник гражданин Степан Котов, а стал рабочий мерии Степка за номером... Тягло... Лошадиная сила...— Он сорвал какую-то дощечку, висевшую у него на гайтане, и, бросив на землю, стал бешено втаптывать ее в песок.

Безногий парень, все время искоса поглядывая на Мусю, выковырнул дощечку палочкой и, подняв, показал ей. Это была небольшая, уже изрядно затертая фанерка с выжженными на ней распластанным немецким орлом, вцепившимся в свастику, и цифрой «1850».

— Ай не видала еще бирки-то, гражданочка? — горько усмехаясь, сказал старик.— Полюбопытствуй, полюбопытствуй, чего на нас теперь понадевали... Откуда ж это ты, не с неба ль, часом, свалилась, коль этих ихних штук не знаешь, а?

Старик теперь тоже смотрел на незнакомку, и от взглядов этих, испытующих, настороженных, девушке становилось жутко.

Вкладывая в свои слова какой-то непонятный для Муси особый смысл, старик сказал:

— А может, и верно с неба? А? Может, послана кем глянуть, как тут оккупированные люди горе горюют?..

А люди-то вон, видишь,— он кивнул на присевшего на мешках Степана,— а люди вон звероподобствуют.

— Постой, Наумыч,— многозначительно перебил безногий парень и вдруг, переходя на «вы», спросил: — Может, расскажете нам, как оно там, на фронте, а?

У него было умное лицо, у этого безногого. На незнакомку он смотрел теперь уже с надеждой.

Муся поняла, что ее считают не за беженку, а за кого-то другого: за кого — она не знала, но поняла, что бояться ей этих людей нечего.

— Ничего я не знаю, товарищи. Сама хочу узнать, где фронт,— сказала она уже смелее.

— Ну, дело ваше, не знаете так не знаете,— грустно отозвался безногий.

— Говорят, километрах в сорока он, фронт-то. На реке будто его остановили, третью неделю будто лупят, и крепко, говорят, лупят,— ответил Степан. Он сидел на земле и, покачиваясь, стискивал ладонями хмельную голову.— Лупят его, лупят, а он к фронту все новые и новые войска тащит... По всем дорогам... Нет, не иссяк еще он, силен, собака... И где только он войско берет?

— А довольствием мы тебя, милая, обеспечим,— перебил старик.

Бережными горстями он начал пересыпать муку из чувала в Мусин мешок, пересыпал и приговаривал, виновато поглядывая на девушку:

— А ежели ты, девонька или бабонька, что-то тебя и не поймешь, оттуда,— он показал заскорузлым пальцем на небо,— скажи там: тяжелую политграмоту мы проходим.— Старик покосился в сторону пьяного, что, изнывая от хмеля, сидел в той же унылой позе, и добавил: — И на пользу наука идет иным, кто войну в кустах пересидеть хотел.

Все еще не понимая, почему с ней так доверительно разговаривают, и опасаясь осложнений, в случае если собеседники поймут, что она не та, за кого ее принимают, Муся, захватив свой потяжелевший мешок, торопливо поблагодарила и, перебежав по камням ручей, быстро пошла к лесу. Перелезая изгородь, она оглянулась и увидела, что к траншее, выкопанной на берегу, тянется от деревни вереница женщин. Они несли на себе какие-то тяжести.

Впечатления девушки были противоречивы, и она все старалась угадать, за какую «небесную посланницу» при-

няли ее эти люди и что имел в виду безногий, когда на прощание сказал: «Ежели что, передавайте там кому поглавнее, что согнуться-то мы согнулись, а сломаться — нет, не сломаемся». Вспоминая об омерзительном запахе перегара, о громадном кулаке, занесенном над ее головой, о жалком отчаянии пьяного Степана, девушка содрогалась от отвращения. Но весть о том, что враг остановлен в нескольких десятках километров отсюда и несет потери, что путь к своим измеряется днями, поднимала в ее душе бурную радость, и она чувствовала, как кровь весело бьется в висках.

Забыв про старушечью походку, девушка, напевая, бодро шагала по лесной дороге.

12

С того дня Митрофан Ильич уже не боялся отпускать Мусю в разведку.

Девушка смело приближалась к деревням, добиралась до крайних изб, стучала в оконницу и, если в окне показывалась женщина, просила подаяния и рассказывала свою жалостную историю, которая с каждым новым повторением обрастала все более красочными подробностями. Ей верили. Да и как было не верить, если каждый дом в те дни был полон горя! Сочувствовали беженке, вздыхали, показывали дорогу и подавали по мере достатка. Иной раз пускали в избу, а некоторые предлагали даже переночевать, хотя и знали, что за общение с неизвестными, не имевшими паспорта с комендантской отметкой, у гитлеровцев было одно наказание — виселица.

После каждой такой вылазки Муся возвращалась к Митрофану Ильичу тихая, задумчивая. Передав нужные для дороги сведения, она надолго смолкала, смотря на угли догоравшего костра или наблюдая, как в небе плывут торопливые облака.

Чем пристальней приглядывалась она к жизни оккупированных селений, тем крепче убеждалась в одной истине: ужас оккупации сплотил людей. Еще ревнивее соблюдали они советские законы, объявленные оккупантами аннулированными, и хранили прежние порядки в своих формально распущенных, а на деле лишь до поры до времени как бы ушедших в подполье колхозах. Случалось, конечно, и иное, но не как правило, а как исключение.

Двигались путники теперь уже не вслепую и все же шли медленно, очень медленно. В деревнях никто по-настоящему не знал, на каком рубеже задержано немецкое наступление. Однако, и не имея точных сведений, нетрудно было угадать, что линия фронта уже близка и что бои на ней идут упорные.

По большакам чередой тянулись на восток машины, машиночки, машинищи, целые транспорты с пехотой, саперные парки с катерами, лодками, частями понтонных мостов, моторизованная артиллерия, автоколонны с оружием и боеприпасами. А второстепенные проселки, идущие с востока на запад или хотя бы приблизительно в этом направлении, были забиты обратными потоками госпитальных автофур, подвод с ранеными, транспортов искалеченной техники.

Даже зимние лесные дороги, недавно зараставшие травой, становились день ото дня накатанней и шумней. Раненых, должно быть, уже нельзя было вместить в комфортабельные автобусы, согнанные сюда, в лесной край, из оккупированных европейских столиц. Их везли на открытых грузовиках, даже на колхозных подводах. Иные брели пешком по обочинам дорог, ухватывались за тягачи, тащившие искалеченные танки, цеплялись за задние щитки автомашин, набитых их более удачливыми товарищами.

Идти теперь можно было только через лесные чащи, да и то приходилось оглядываться, прятаться при каждом шорохе. Однажды путники около часа пролежали в луже меж болотных кочек, слушая, как кто-то бродит поблизости, тяжело дыша и ломая ветви. Потом выяснилось, что это, пощипывая траву, бродит высокий, гнедой в яблоках конь без седла, но с остатками кавалерийской уздечки. Он одиноко пасся, поминутно поднимая голову с настороженными ушами. Заметив людей, он сердито фыркнул и бросился прочь, ломая кусты, как лось. Он уже успел одичать.

В часы скитаний по нехоженой лесной глуши среди сушняка и бурелома одно теперь указывало дорогу, вдохновляло путников, поддерживало в них силы: это были невнятные звуки канонады, порой доносимые до них восточным ветром. И они шли навстречу далекой канонаде, мечтая поскорее достичь фронта...

Однажды утром они заметили, что лес на их пути начал редеть. Курчавые кроны сосен уже не загораживали

солнца. Оно освещало зеленые поляны, видневшиеся то тут, то там. Среди сумеречной хвои появился лиственный подлесок. Мягкий влажный мох, в котором бесшумно тонули ноги, сменился твердой почвой, устланной скользким ковром палых сосновых игл. Засинел вереск, там и сям стали видны проплешины, заросшие сухими бессмертниками, то белыми, то розовыми, то лиловыми. Потом ели совсем исчезли, сосняк стал мельчать, и наконец за его лохматыми вершинами открылась болотистая равнина, просторная и пустая.

Путники остановились. Звуки канонады слышались теперь совершенно четко и уже не затихали, когда ветер менял направление. Вдалеке, справа и слева, монотонно, точно шмели, гудели машины.

Митрофан Ильич отступил в соснячок, сел на кочку и, рассматривая свои точно пергаментом обтянутые, сухие руки, сказал:

— Все. Лес кончился.— И, помолчав, добавил: — Засветло выходить на болото нельзя. Нас тут, как грача на снегу, за пять километров заметят. И машины... Слышишь, как машины гудят?

Путники вернулись в лес. Не раскладывая костра, улеглись среди вереска и, прислушиваясь к канонаде, задумались о последнем и, по-видимому, самом трудном отрезке пути.

13

Канонада не стихала всю ночь. С вечера, когда зажглись первые звезды, на востоке по всему горизонту стали видны непрерывные желтоватые вспышки, похожие на те зарницы, что, по народному поверью, «вызоривают овсы». Но скоро из низин надвинулся такой туман, что не стало видно ни вспышек, ни звезд, ни луны. Все скрылось. Осталась только белая густая шевелящаяся мгла, точно ватой облепившая все. Она поглощала звуки.

В такую пору идти болотом нечего было и думать. Решили ждать рассвета. Но и с зарей мгла не стала прозрачной. Лишь ближайшие деревья неясно вырисовывались в молочном тумане. Осторожность подсказывала — ждать, пока прояснится. Но близость фронта звала вперед, и путники решили рискнуть.

— Ведь это подумать только: завтра мы можем быть

у своих!.. С ума можно сойти,— сказала Муся отсыревшим и глуховатым в тумане голосом.

Митрофан Ильич только вздохнул. Не было слышно ни канонады, ни воя машин. Тишина стояла такая, что звенело в ушах.

Выйдя на болото, где туман был еще гуще, путники пошли прямо на восток. Они то и дело спотыкались о кочки, наталкивались на приземистые узловатые березки, на мелкий корявый соснячок. Митрофан Ильич, руководимый охотничьим чутьем, двигался все же уверенно. Он успокаивал себя: туман — это даже хорошо, своеобразная дымовая завеса. Болото — тоже неплохо. Именно болото, куда чужеземец нипочем не полезет, казалось ему наиболее подходящим участком пути на этом последнем десятке километров, отделявшем их от фронта. Он понимал, как опасно бродить почти вслепую по незнакомому болоту. Но что значила эта опасность по сравнению с той, которой они подвергались бы, держась проезжих дорог!

Старик шел осторожно: то и дело он останавливался, вытягивал шею, прислушивался. Но то ли артиллерийская стрельба прекратилась, то ли звуки вязли в тумане, как в перине,— кругом стояла тишина.

Так, прыгая с кочки на кочку, увязая по щиколотку в глубоком мху, двигались они, пока солнце, войдя в силу, не начало поедать туман. Почва становилась все более зыбкой. Кочки под ногами вздрагивали и пружинисто оседали.

Вот тут-то Митрофан Ильич потребовал остановки. Вымокшие по пояс, измученные бесконечными прыжками, спутники уселись друг против друга и стали ждать, пока мгла совсем рассеется. Душно пахло болиголовом. На соседних кочках Муся отыскала жесткие заросли гонобобеля. Как медвежонок, она горстью сдаивала в ладони обильные матово-синие ягоды и отправляла их в рот. Ягоды были крупные, переспевшие, но водянистые; они пахли болотной прелью.

По мере того как туман редел, лицо Митрофана Ильича становилось все более озабоченным. Он то и дело поднимался с земли и беспокойно оглядывал очищавшийся горизонт. Всюду, куда достигал его взор, он видел однообразную, унылую, кочковатую низину, поросшую редкими чахлыми сосенками да мелким березняком. Точно не смея поднять голову, хилые деревья гнулись, льнули

к перенасыщенной влагой унылой земле, судорожно впиваясь в нее обнаженными подагрически-узловатыми корнями.

В посветлевшем воздухе снова стала слышна канонада. Она звучала уже совсем близко. Болото было совершенно безлюдным. Ни одной тропинки не виднелось на пышном беловатом мху, затянутом красными ниточками, забросанном белыми ягодами неспелой клюквы. Следы путников, уходившие назад, к далекому лесу, едва синевшему на горизонте, уже заплыли густой коричневой водой.

Митрофан Ильич, осторожно сойдя с кочки, попробовал грунт ногой. Почва мягко подалась, нога проваливалась в мох, из-под подошвы брызнули мутные струйки.

— Вот что, милая моя,— встревоженно сказал старик,— иди за мной шаг в шаг, только не наступай в самый след. Понятно? И соблюдай дистанцию метра в три, ближе не подходи.

— Что случилось? — Волнение спутника передалось Мусе.

Он молча ударил ногой в кочку. Кочка пружинисто вздрогнула, и Мусе показалось, что вслед за тем чуть заметно вздрогнули и соседние кочки.

— В худое болото зашли... Вот что. Тут шутки плохи... Держи ухо востро.

Старик на миг задумался... Опыт подсказал ему, что надо повернуть назад, возвращаться обратно по собственному следу. Но канонада казалась теперь совсем близкой... Все проезжие пути, конечно, забиты вражескими транспортами. Встреча с фашистами казалась ему опаснее самых ужасных случайностей, какие только могут произойти на болоте. Нет, нет, вперед, вперед во что бы то ни стало! Теперь недалеко.

На унылом фоне кочкарника он заметил белые султанчики высохшей травы, той, что в родных его местах называли «лисий ус». Росла эта трава на болотах, но выбирала наиболее сухие, твердые места и поэтому часто отмечала среди зыбучих трясин след, проторенный когда-то человеком или большим зверем. В былые времена, отправляясь с сыновьями за клюквой, Митрофан Ильич по травке этой безошибочно находил среди опасных мест хоженые тропы, совершенно неприметные для неопытного глаза.

Увидев, что светленькая сухая стежка «лисьего уса» ведет как раз в сторону, откуда слышалась канонада,

Митрофан Ильич, осторожно прыгая с кочки на кочку, добрался до стежки и пошел по ней, стараясь не отклоняться от этих естественных вешек. Поднявшееся солнце палило нещадно. Болото густо дышало гнилостными испарениями. От приторного запаха болиголова начинало кружить голову.

Муся, не раз убеждавшаяся в охотничьем опыте спутника, покорно тянулась за ним, избегая, однако, наступать в его след, сейчас же заплывавший бурой водой. Нога иной раз уходила в коричневую грязь по колено, так что ее трудно уже было и вырвать. Но страха не было, и думать девушка ни о чем не могла, кроме канонады, которая, как ей казалось, звучала совсем рядом.

Теперь уже недолго, ну день, ну, много, два — и они у своих! Как же это здорово! Вымыться в настоящей бане, подстричь волосы, сбросить этот костюм, который совсем залубенел от грязи, переодеться в чистое, снова стать похожей на самое себя...

Ей казалось, что стоит только перейти фронт, и они без труда отыщут своих сослуживцев. Неожиданно заявившись к ним подстриженная, прибранная, хорошо одетая, она как ни в чем не бывало скажет: «Здравствуйте!» Все всполошатся: «Как, это вы, товарищ Волкова? А мы думали, что вы остались у немцев». И она ответит им как можно небрежнее: «Нет, что вы! Помилуйте, при чем тут немцы! Мы просто выполняли ответственное государственное задание». Все удивятся, даже, наверно, и не поверят, а они с Митрофаном Ильичом развяжут мешок и вытряхнут на стол сокровища: «Примите, пожалуйста. Слово даю, нам с товарищем Корецким страшно надоело это таскать». Все так и присядут: «Ах, ох, ух!» А Чередников обязательно скажет: «Молодцы, я всегда думал, что товарищ Волкова и товарищ Корецкий — это наши лучшие товарищи...»

Вдруг словно кто тяжелой доской шлепнул по грязи. И тут же короткий, дикий, нечеловеческий вскрик разнесся над болотом, согнав стаю каких-то пестрых птиц, оклевывавших с кочек ягоду. Оторвавшись от приятных мыслей, Муся и сама чуть не вскрикнула. Митрофан Ильич вдруг стал наполовину короче, будто ноги ему обрубили. Он был от нее метрах в трех и делал судорожные движения, стремясь, должно быть, повернуться к ней лицом. Но это ему не удавалось, и казалось, что кто-то злой и сильный там, под землей, вцепился ему в ноги.

Случилось что-то непонятное и очень недоброе. Там, где Митрофан Ильич провалился, кочкарник, поросший корявым березняком, точно бы расступился, открыв маленький изумрудно-зеленый лужок. Над пышной травой, в которой белели пушки болотных цветов, вибрирующим столбом толклись комары. Старик увяз по пояс в этой траве как раз под зыбким темно-прозрачным столбом. Возле него пузырилось кольцо бурой воды. Наконец ему удалось повернуться к Мусе, и она увидела его лицо, густо облепленное комарами, ставшее от этого почти черным, с широко раскрытыми глазами.

Девушка бросилась было к спутнику на помощь, но он пригвоздил ее к месту хриплым окриком:

— Назад! Чаруса!

Девушка не знала значения этого красивого слова, но поняла: болото засасывает старика. Поняла и удивилась, почему же это он стоит в такой неподвижной позе, почему не стремится вырваться, не сбросит с плеч тяжелого мешка.

Она снова рванулась к нему.

— Стой! Не наступай на траву! — Митрофан Ильич застыл неподвижно, широко раскинув руки. Он даже говорил как-то сдавленно, точно сдерживая себя.

Теперь Муся заметила, что каждое сделанное им движение, даже каждое произнесенное им слово точно бы вталкивало его в трясину.

— Возьми в рюкзаке топорик, руби кусты, бросай мне,— с неестественным спокойствием вымолвил он наконец, почти не разжимая губ.

— Мешок! Скиньте мешок! — умоляюще крикнула девушка.

Митрофан Ильич покачал головой.

— Руби!

Муся начала рубить чахлые деревца и кусты, росшие кругом. Работая, она все время оглядывалась на спутника. Он становился все короче и короче, словно таял в сочной изумрудной зелени, как кусок масла на сковороде.

— Бросай сюда, живее! —поторопил он вдруг. Голос его был тих и хрипл. Старик провалился уже выше пояса, и трясина давила ему грудь.

Подобравшись к самому краю чарусы, Муся стала бросать ветки и деревца. Митрофан Ильич осторожными, плавными движениями, точно эквилибрист, работающий в цирке на свободно стоящей лестнице, укладывал их

перед собой. Сделав настил, он оперся о него грудью, руками. Ветви тотчас же вмялись в жидкую массу, исчезли в бурой пузыристой воде, но все же, видимо, создали какую-то опору.

Поодаль стояла тоненькая березка, более длинная, чем другие.

— Минуту еще продержитесь? — спросила Муся.

Митрофан Ильич кивнул. Комары облепили его лицо плотной маской. Выражение нельзя было уже рассмотреть, но по глазам Муся видела, что он понял и одобряет ее план.

— Осторожней,— едва слышно прошелестели его позеленевшие губы.

Девушка бросилась к березке. Деревце было гибкое, как удочка. Под ударами топорика оно только встряхивало листвой да немножко прогибалось, и на матово-белой коре обозначались лишь слабые зеленые следы. Зато каждый удар отдавался в почве, и она упруго вздрагивала под ногами. Девушка поняла, что и сама она стоит над трясиной, только покрытой более крепким слоем торфа. Нет, так провозишься до завтра. Осторожно подпрыгнув, Муся охватила ствол березки повыше первых ветвей, наклонила к земле и двумя ударами по самому сгибу срубила деревце. Уже и руки Митрофана Ильича потерялись в густой траве. В глазах, смотревших из-под страшной комариной маски, были ужас и тоска.

— Сейчас, сейчас! — бормотала Муся.

Выбрав кочку поустойчивей, она крепко ухватилась левой рукой за ствол росшей тут сосенки, а правой протянула спутнику березовую жердь.

— Хватайтесь! Крепче!

Она потверже укрепилась на кочке. «Ну что он там делает, сумасшедший? — с изумлением и страхом подумала она, глядя на старика.— Вместо того чтобы обеими руками ухватиться за спасительное деревце, он зачем-то возится в грязи! Кажется, растегивает лямки рюкзака... Ага!.. Он хочет от него освободиться. Правильно! Без тяжести легче вылезти».

— Да хватайтесь! Хватайтесь! Ну чего вы там копаетесь?

«Нет, он привязывает мешок к концу жердочки. Слово даю, с ума сошел!»

— Не смейте, вы ж утонете! — отчаянно кричит Муся.

— Тяни! — повелительно шепчет Митрофан Ильич. Уже и плечи его скрылись в болотной траве, грязь вяжет ему руки.

«Какой ужас! Неужели конец?» Муся быстро подтягивает к себе тяжелый мешок. По пути мешок соскребает тонкий дерновый покров, и на зеленом травянистом ковре остается след бурой воды. Теперь девушка действует со всей быстротой, на какую только способны ее маленькие ловкие руки.

Отвязав мешок и утвердив его на кочке, Муся снова тянет жердочку тонущему. При этом она наклоняется вперед, сама повисая над трясиной. Старик обеими руками хватает деревце. Наконец-то! Теперь только бы не сорвались руки, не обломилась жердочка, а главное, не вырвалась с корнем сосенка, за которую она держится.

— Не упади! — слышит она шелестящий шепот.

«Он еще там разговаривает! Да что же это такое? Его совсем засосет!»

— Да вылезайте же, вылезайте!

Жердочка натягивается. Повиснув над трясиной, девушка дрожит от напряжения. Ей начинает казаться, что старика засосало слишком глубоко. И чего он там медлит? Она пытается тянуть сама. С глухим хрустом лопается один из корней сосны. Муся, вздрогнув, вся холодеет и зажмуривается, но не выпускает жердочки.

— Терпение,— слышит она сдавленный шепот.

Нет, сосенка выдержала! Корни ее, должно быть, прочно вцепились в рыхлую торфянистую почву. А старик? Ага, он правильно делает, что не торопится. Подтягиваясь по жердочке, он сантиметр за сантиметром выдирается из провала на настил из хвороста. Вот уж и плечи показались. «Ура! Еще немного! Только бы не выпустить! — В глазах Муси темнеет от напряжения.— Еще, еще!» Ага, он уже лег грудью на хворост, упирается в него коленями. Еще усилие — и Митрофан Ильич, тяжело дыша, лежит на вдавленном в грязь помосте из прутьев и веток.

Теперь девушка, наклонившись, достает до него рукой.

— Беритесь! Чего же вы? — кричит Муся.

Но старик даже не поднимает головы. Зыбкий комариный столб толчется над ним. Трясина зловеще булькает и пузырится, будто злясь на то, что у нее вырвали

жертву. А он все лежит ничком в грязи, и плечи его тяжело вздымаются.

— Митрофан Ильич, голубчик, родненький! — кричит девушка.— Да очнитесь же вы...

Наконец он, видимо, с трудом поднимает голову, стирает с лица комариную маску, с удивлением смотрит на серо-кровавую кашу, оставшуюся у него на ладони.

Он улыбается одними губами...

14

...Приходится повернуть обратно.

Путники долго бредут по своим следам, четко обозначившимся на беловатом мху болота, и, добравшись наконец до твердой земли, разводят костер. Августовский день тепел, даже зноен. Костер горит так жарко, что кругом него коробятся и вспыхивают сухие травы, начинает парить и тлеть мокрый торф. Но Муся и Митрофан Ильич дрожат и никак не могут согреться.

Потом девушка стирает в луже одежду спутника. Завернувшись в одеяло, Митрофан Ильич сидит у костра в сухом чистом белье, осунувшийся, похудевший и как-то очень постаревший за эти несколько часов. Он старается казаться спокойным, но зубы выбивают зябкую дробь. В глазах у него тоска, смятение.

— Мне не дойти...— шепчет он, но, взглянув на Мусю и, видимо, пожалев ее, добавляет: — Пожалуй...

Девушка развешивает на сосенках его тужурку, гимнастерку, шляпу. Услышав эти слова, она резко оборачивается:

— Это еще что? Выдумает тоже! Велика беда — в грязи искупался... Грязью вон даже лечат.

Но шутки не получается. Старик грустно смотрит на Мусю, и взгляд у него такой усталый, такой тусклый, что девушке становится еще холоднее.

— За ценности я не боюсь, донесешь и без меня... Я ведь о себе. Там, в чарусе, все стрельбу слушал: ведь это наши ж бьют. А я вот не у своих помираю... Худо.

— Да будет вам, вот наладил... Слышать не могу! — вскрикнула Муся срывающимся голосом и быстро отошла от костра, будто затем, чтобы собрать ветки.

Перед ней опять замаячило видение: человек уменьшается, точно тает, погружаясь в клокочущую, пузыря-

щуюся грязь. «Да, страшно, наверно, умирать вот так — медленно, сантиметр за сантиметром погружаясь в болото. Тот лейтенант-артиллерист... он умер в бою, даже, вероятно, не успев и подумать, что приходит конец».

Когда красное, точно налившееся кровью солнце уже склонялось к закату и над болотом низко, почти касаясь вершин корявых сосенок, тяжело свистя крыльями, потянулись утки, Митрофан Ильич облачился в высохшую одежду, и спутники опять шли назад, сопровождаемые звенящими облачками комаров.

Болото они решили обходить.

Но беда тащилась за ними по пятам и настигла их на ночлеге.

Муся проснулась оттого, что солнце било ей прямо в глаза. Ей сразу стало тревожно. Обычно спутник ее, поднявшись на рассвете, кипятил воду, заваривал сухой брусничный лист, который они употребляли вместо чая, пек картошку и только потом, управившись со всем этим, будил девушку.

А тут Муся проснулась сама. Солнце стояло высоко. Почувствовав недоброе, она выскочила из-под одеяла. Митрофан Ильич спал поодаль, как всегда, положив под голову мешок и намотав на руку его лямки. Он лежал на спине, рот его был полуоткрыт, сухие губы потрескались, лицо и руки были неестественно красны и лоснились от пота. Обычно старик спал чутко, при малейшем шорохе открывал глаза и приподнимался. Теперь он не проснулся, даже когда Муся позвала его завтракать. Он только пошевелился и пробормотал что-то невнятное.

Девушка испугалась и принялась трясти его:

— Что с вами? Проснитесь же, ну!

Наконец он открыл глаза, пощурился и приподнялся с таким трудом, точно ему приходилось отрывать свое тело от земли. Сев, он осмотрелся, болезненно сморщившись, потряс головой, стер со лба пот ладонью и слабым голосом виновато произнес:

— Кажется, захворал малость... Простыл, что ли?

От еды он отказался и все торопил в дорогу. Теперь им овладел приступ лихорадочной деятельности.

Он заявил, что они обязаны как можно скорее — если удастся, уже сегодня — обойти болото, попасть к своим. Шел он в этот день даже быстрее, чем всегда. Но что-то новое, неуверенное появилось в его обычно ровной, ритмичной походке. Был он теперь и менее осторожен, не

так боязливо прислушивался к отдаленному рокоту моторов вражеских машин.

Когда он останавливался, чтобы поторопить едва поспевавшую за ним Мусю, грудь его порывисто вздымалась, дыхание было хрипло, пот ручьями тек по лицу, тяжелыми каплями падая с усов и всклокоченной бороды.

Предчувствие надвигающегося несчастья не оставляло Мусю. Она была рассеянна, то и дело спотыкалась о корни и даже раз упала, оцарапав себе щеку. Обычно в полдень они останавливались где-нибудь в тени деревьев у лесного ручья или дождевой лужицы и в дреме пережидали самые жаркие часы. На этот раз привал был сделан на солнцепеке. Митрофана Ильича колотил озноб. Есть он опять отказался и только жадно выпил чуть ли не целый котелок воды.

Их путь лежал через молодой борок. Полянки, открывавшиеся то там, то тут, густо зеленели низкорослым блестящим брусничником. Большие гроздья ягод багровели в зелени бочками, обращенными к солнцу.

Заметив, что Митрофан Ильич с жадным хрустом ест ягоды, сорванные на ходу, Муся вызвалась наполнить ими котелок.

— Нет, нет!.. Идем, идем скорее! — испуганно ответил он, рванулся вперед, но тут же наткнулся на куст. Походка старика становилась все более неровной. Ноги, волочась, загребали землю.

— Давайте отдохнем,— предложила Муся.

Старик не ответил и продолжал идти, дыша шумно, хрипло, как загнанная лошадь.

На ровных местах он пытался даже переходить на бег.

На следующем привале Муся освободила его от груза. Лихорадочно блестевшие глаза старика, в которых со вчерашнего дня прочно угнездилась печаль, нетерпеливо смотрели все в одну сторону — на восток. Цепляясь руками за сучья сосны, он медленно поднялся и с минуту стоял на месте, бессильно и жалко улыбаясь.

Муся испуганно подумала, что он уже не сможет идти. Первые шаги ему и впрямь дались с трудом, но дальше он пошел довольно ходко и шел до самого заката. Он отказывался от привалов, должно быть боясь, что вновь подняться у него уже не хватит сил. Сгибаясь под тяжестью удвоившегося груза, Муся почти бежала. Кровь билась у нее в висках так шумно, что она ничего не слышала. Только перекладывая мешки с одного натруженного

плеча на другое, она улавливала ясно различимый звук артиллерийской дуэли. Этот все отчетливей слышимый грохот и был, должно быть, той силой, что влекла старого, совершенно уже расхворавшегося, измученного человека.

Неся двойной груз, девушка так устала, что вовсе не помнила, как прошли они последние километры. Когда солнце, превратившись в огромный багровый круг, медленно опускалось за пламенеющий горизонт, они вышли из леса, и перед ними открылся просторный луг с длинной чередой стогов сена. Как заколдованные богатыри, поднимались стога, и в то время как подножия их уже тонули в сизоватой мгле густеющих сумерек, вершины еще золотели в лучах заката.

Совсем обессилевшие, путники доплелись до ближайшего стога и почти без чувств повалились в болотное, до головокружения пряно пахнущее сено. Митрофан Ильич пробормотал:

— Ценности! — и тут же забылся в тяжелом сне.

Муся же долго не смыкала глаз. Зарыв мешок поглубже, она выкопала себе по другую сторону стога норку и улеглась в ней, с наслаждением чувствуя, как отходит усталость, отдыхает каждый натруженный мускул.

По восточной, еще темной кромке горизонта неясно вспыхивали и гасли тревожные огни разрывов. Они были отчетливо видны. Там были свои.

Яркий серп луны, косо висевший в небе, напоминал елочную игрушку. И вдруг захотелось Мусе, захотелось «до ужаса», силой какого-нибудь сказочного волшебства, перенестись отсюда, из этого страшного мира, где она чувствовала себя зверем, травимым охотниками, туда, где живет ее семья, снова стать маленькой и, как в детстве, уткнуться в теплые материнские колени. В эту минуту она была готова все отдать, всем пожертвовать за радость бездумно прижаться к матери, за прикосновение теплых родных губ.

— Мама, мамочка, мамуся! — прошептала девушка и вдруг, как-то сразу успокоившись, забыла о ноющих мускулах, о болезни Митрофана Ильича, о ценностях, свернулась клубочком и заснула крепко, без снов.

...Проснулась она, как и накануне, с тем же неясным ощущением тревоги. Утро уже розовело над каемкой молочного тумана и заметно сушило отсыревшие и потемневшие за ночь стога. Пронзительно чирикали не-

большие пестрые птицы, густой дружной стайкой перелетавшие с места на место. Надсадно надрывались в сене кузнечики. Но чего-то не хватало среди этих привычных звуков, и, не угадав, чего именно, Муся тревожно соскользнула со стога.

Митрофан Ильич еще спал, постанывая и тяжело всхрапывая. На соседней опушке девушка быстро набрала брусники, сделала из нее густой взвар, от одного аромата которого во рту появилась обильная слюна, наварила картошки и только после этого разбудила спутника. Он, слегка приподнявшись на локте, прислушался. Потом разом сник, глаза его наполнились слезами.

— Что с вами?

— Опоздали,— сказал он хрипло.

— Кто опоздал? Куда?

— Мы, мы опоздали... Канонада... Не слышно канонады.

Только тут догадалась Муся, чего с утра не хватало ей среди привычных звуков погожего утра.

— Может, затишье... снаряды вышли...

Митрофан Ильич мотнул головой:

— Нет. Ночью били часто. Сегодня день ясный... Мусенька, я так и не дошел...

За ночь Митрофан Ильич точно высох. Глаза у него то неестественно сверкали лихорадочным блеском, то гасли и мутнели совсем уже по-старчески. Нос заострился, раздвоился на конце. На щеках сквозь седую щетину проступил такой яркий румянец, что было тяжело смотреть.

— Вот выдумывает!.. Слово даю, брусничного чая напьетесь — и полегчает. А ну, чай пить — и никаких разговоров! Прохлаждаться некогда, идти пора.

Муся решительно усадила спутника, подбила ему под спину сена, заставила съесть две картофелины и ломоть пресной лепешки, испеченной ею накануне на раскаленном камне.

— Попробуйте только у меня не есть! Сказано: все силы на разгром врага. Так? Мы с вами важное дело делаем. Наши силы нужны? Нужны. Так вот и питайтесь, извольте поддерживать себя...

Муся трещала без умолку, хлопотала, пробовала даже шутить, но расшевелить спутника ей так и не удалось. Он лежал неподвижный, безучастный ко всему. Есть он больше не мог и все тоскливо поглядывал в сторону, откуда еще вчера слышалась канонада.

Митрофан Ильич знал, что повторяется приступ той жестокой болезни, избавиться от которой в прошлом помог ему доктор Гольдштейн. Знал он также, что, если не достать лекарства, прописанного ему тогда, он уже больше не поднимется. Но где в лесу достанешь это лекарство? Ах, как сплоховал, забыв захватить его из дому. Все спешка, все спешка!

Больное тело требовало покоя. Хотелось улечься поудобнее, закрыть глаза и ждать смерти. Это было бы избавлением от мук... Но ценности!

Мысль о том, что он может умереть, не выполнив долга, не давала ему покоя.

Столько уже пережито! Вчера еще так отчетливо слышал он каждый выстрел пушек. И вот из-за глупой случайности не может идти. Никогда чувство собственного бессилия так не ужасало его.

Старик попытался подняться, но, застонав, рухнул на сено.

— Товарищ Волкова! — торжественно обратился он к Мусе минутой позже, впервые за всю дорогу называя ее по фамилии.— Товарищ Волкова, мне уже не подняться... Нет, нет, молчи, я знаю... Забирай ценности и ступай, пока фронт не успел далеко отодвинуться. Забирай и иди... Это долг... Ступай, обо мне не беспокойся... Я умру, как надо.

Мусю поразили даже не сами слова, а тон, каким они были произнесены.

— Хорошенькое дело — ступай! Да как вы смеете?.. Выкиньте это из головы, слышите, сейчас же!

Серые губы Митрофана Ильича тронула ласковая и печальная улыбка.

— Да, да, ступай... Вот ты действительно не смеешь задерживаться...

— Глупости! — отрезала Муся.— Я вас подниму, слово даю. Что у вас такое? Чем вас там лечили?

— Есть лекарство... Гольдштейн прописал... Оно хорошо помогало. Но оно,— он горько усмехнулся,— оно не растет на деревьях.

Митрофан Ильич устало закрыл глаза. От света их саднило, будто кто песку насыпал под веки. Говорить было тяжело. Задумчиво сдвинув брови, Муся молчала. Потом, трижды повторив вслух трудное название лекарства, она мотнула головой и начала действовать. Сварила в котелке остаток картошки, размочила в кипятке

твердую лепешку, набрала брусники. Завернув все это в полотенце, она положила узелок с пищей возле Митрофана Ильича.

— Вот вам еда на сегодня, обязательно скушайте,— наставительно сказала она и продолжала кропотливо готовиться.

Достала из своего рюкзака платье, сунула его в холщовый мешок, с которым ходила на разведку, повязалась полотенцем, взяла суковатый посошок. Старик с ласковой грустью следил за всеми этими приготовлениями.

— Дойдешь... Расскажешь там... товарищу Чередникову: мол, не смог, не судьба...

Две большие мутные слезы вытекли из запавших глазниц и запутались в бороде.

— Скажи: пусть худого не думает... Скажи: мол, старый Митрофан... не запятнал...

Занимаясь приготовлениями, девушка с недоумением оглядывалась на спутника: «К чему это он, бредит, что ли?» И вдруг поняла, что это не бред. Она не на шутку рассердилась:

— Да вы что, Митрофан Ильич? За кого вы меня принимаете? Чтобы я больного товарища в пути бросила? Да? Так вы обо мне думаете? Я же комсомолка.

Взгляд старика остановился на можжевеловом посошке, который она держала, на холщовой торбочке, висевшей у нее за плечами.

— Чудак, я же за лекарством! Может быть, у кого-нибудь найду, выпрошу, выменяю... Здесь везде госпитали... Вот только где деревня? Далеко ли?

С сердитой заботливостью она стала внушать спутнику: без нее не подниматься, а если появятся на поляне люди, не подавать голоса и ни в коем случае не доставать мешка с ценностями, который она зарыла глубоко в сено. Старик попробовал было снова сказать, что ей надо торопиться перейти фронт, но Муся так расшумелась, что он сконфуженно умолк. Она уложила его поудобнее, придвинула еду, замаскировала его сеном. Потом собрала натрушенные вокруг стога очески, отошла в сторону и, убедившись, что стог ничем не отличается от остальных, сказала тоном козы-мамаши из детской сказки:

— Ну, я пошла. Вы тут без меня не скучайте, не шалите, дверь никому не открывайте, в дом никого не пускайте... Пока.

Митрофан Ильич проводил ее взглядом, а когда шаги девушки стихли, вздохнул и устало закрыл глаза. На душе у него полегчало, даже появилась надежда на невероятное.

15

Дни лесных скитаний оказались для Муси Волковой отличной школой.

Она научилась разбираться в лесных тропах, примечать, как едва заметные, заросшие папоротником и брусникой, стежки, приближаясь к людным местам, стекаются в тропинки, как тропинки, в свою очередь, вливаются в лесные дороги, которые обязательно выводят на бойкие проселки. Там уже близок путь и до какого-нибудь жилья.

Распутав таким образом сплетение лесных троп, Муся довольно быстро выбралась на проезжую дорогу, и дорога эта привела ее к развилку, на котором стоял столб с указателем. На хорошо оструганной доске четкими, аккуратными готическими буквами было выведено по-немецки «Ветлино» и изображен маленький красный крест, а чуть пониже чернильным карандашом по-русски: «Гитлер — гад».

Приписки девушка не разглядела. Она шарахнулась от указателя, как будто это был не деревянный столб, а вражеский солдат, который мог ее схватить или послать ей вслед очередь из автомата. Но красный крест — это как раз то, что ей нужно. Пустившись бегом по направлению, указанному стрелкой, она вскоре наскочила на вторую неожиданность. Пригорок, с которого открывался красивый вид на просторное неубранное поле, на деревеньку, прятавшуюся в кущах курчавых ветел, ощетинился ровными шеренгами аккуратных крестов, сколоченных из березовых жердей с белой неободранной корой. Это были добротно сделанные кресты. К ним прибиты таблички с именами. На них были изображены тщательно выведенные ордена и медали.

Кресты сбегали с пригорка такими ровными рядами, что меж ними наискось просвечивали как бы сквозные просеки. Несколько унылых ворон сидело на плечах крестов. Было что-то страшное в этих молчаливых, по шнурку выстроенных деревянных шеренгах, в аккуратности, с

которой они были расставлены, в продуманной планировке кладбища.

Девушка рванулась было прочь, но, оправившись от неожиданности, злорадно усмехнулась и пошла по тропинке наискось через все это кладбище чужеземцев, провожаемая удивленными взглядами ворон, не улетавших при ее приближении, а только поворачивавших ей вслед свои унылые носатые головы...

Сбегая с пригорка, березовые кресты доходили почти до задворков деревушки, до самых сараев, обнесенных изгородью из жердей. Муся перелезла через изгородь и прислушалась. Деревенька тихо млела под полуденным солнцем в тени старых ветел. Вместе с сонным пением петухов, с ленивым брехом собак до Муси доносились торопливое попыхивание мотора, писк губной гармошки, а из-за ближайшего сарая слышались рыдающий звон ручной пилы и звуки чужой речи.

В деревне немцы! Муся задержалась. Как же быть? Она почувствовала, как слабнут у нее ноги. Самой идти к врагам? Но Митрофан Ильич там, в стогу... Девушка боязливо оглянулась. Пригорок ощетинивался березовыми крестами, как спина дикобраза. Вид кладбища почему-то ободрил. Подумав, Муся озорно мотнула головой и, оставив у изгороди можжевеловую палку, уверенным шагом подошла к ближайшему сеновалу. Стараясь действовать неторопливо и спокойно, она на глазах у двух немцев, плотничавших невдалеке, распахнула скрипучие ворота.

Немцы эти работали в одних трусах у соседнего сарая. Аккуратно сложенное их обмундирование лежало на травке в стороне. Делая вид, что не обращает на них внимания, девушка вошла в душную прохладу чужого сеновала, осмотрелась, заметила огромную ивовую корзину с веревкой и доверху набила ее сеном. Взвалив плетушку на спину, она по-хозяйски закрыла ворота, подперла их валявшимся рядом колышком и, согнувшись, двинулась в прогон меж плетнями огородов.

Она заставила себя идти по кратчайшей прямой, мимо немцев в трусиках. Продолжая плотничать, они о чем-то переговаривались. Оба были уже не молоды, загар не брал их кожу, и дряблые тела странно белели на солнце. У сарая стояли прислоненные к крыше тонкие березовые жерди с неободранной корой, а вдоль стены аккуратным штабелем были сложены готовые изделия — новые белые кресты, точь-в-точь такие, какими ощетинился пригорок.

Муся очень волновалась, но заставляла себя идти неторопливо. Миновав прогон, она так же медленно прошла мимо двух других пожилых солдат, стоящих возле плетня с трубочками в зубах. Девушка чуть не задела их своей корзиной, и в нос ей даже ударил запах плохого табака. У ворот открытого двора сутулая и очень худая женщина стирала в деревянной лохани. Завидев Мусю, она распрямила спину, вытерла рукавом лоб и стала хмуро следить за незнакомкой, приближавшейся к ней с сеном за плечами. Девушка храбро, точно бывала здесь по нескольку раз в день, прошла мимо женщины в раскрытые ворота двора. Стоявший в нем полумрак был пронизан наискось резкими солнечными лучами, пробивавшимися сквозь обветшавшие дранки крыши. Сердце девушки неистово билось. Ей казалось, что все кругом: и этот пятистенный крестьянский дом, и жмыхающая под ногами солома подстилки, и мыльный пар, поднимающийся над лоханью,— все отдает прогорклым чужим запахом, каким пахнуло на нее от солдат с трубками.

Женщина стряхнула с рук пену и, вытирая их о подол, двинулась во двор вслед за незнакомкой. Муся остановилась, устремив на нее умоляющий взгляд.

— Куда понесла? Сюда, сюда давай!.. Вот мы сейчас бяшкам корм и зададим,— неоправданно громко, явно для немцев, а не для Муси, сказала женщина и, цепко схватив девушку за локоть, потащила ее в глубь двора.— Бяш! Бяш! Бяш!..

И когда в ответ ей заблеяли овцы и острые мордочки, смешно дергая черными шагреневыми носиками, показались между жердями загончика, женщина дернула Мусю за рукав так, что куртка затрещала.

— Да чего вы там, с ума посходили? Своих голов не жалко, мою пожалели б, не одна я, сын у меня... И третьеводнись, и вчерась, и, нá вот, сегодня... Словно, кроме меня, и людей в колхозе нету? Насели, как слепни на корову.

Муся все еще держала на плечах корзину. Черные мордочки овец просовывались меж жердей. Быстро перебирая губами, овцы ловко выдергивали шматки сена. Девушка поняла, что, как и те люди у ручья, женщина эта приняла ее за кого-то другого.

— Совесть совсем потеряли, ночи им мало. Нате вот, средь бела дня лезут! — сыпала хозяйка Мусе в ухо сердитый торопливый шепоток.— И тоже моду взяли — все

в Ветлино да в Ветлино. А «Первое мая», а «Красный кут», а «Ворошилова»?.. Там, слышь, тоже немецкие госпитали, по всей округе госпитали, а вы все к нам да к нам! Только и свету в окне, что разнесчастное наше Ветлино. Хотите, чтоб нас спалили?..

— У вас тут госпиталь? — спросила Муся, радуясь, что попала как раз туда, куда надо.

— Здравствуйте... А ты и не знаешь? — сердито усмехнулась хозяйка. — Ишь незнайка какая! Да что ты передо мной-то притворяешься? Тут везде госпитали. Наши на реке столько их намолотили, что в избах для раненых уж и места нет. В «Первом мае», говорят, уже и сенники заняли, и на свиноферме вповалку лежат... Ты, милая, не финти, говори, зачем прислана... Поставь мастино-то, чего держишь...

Муся опустила плетушку на подстилку двора, смачно хлюпнувшую навозной жижей. Овцы неистово толкались за забором загончика, блеяли, шуршали сеном. Женщина шептала, жарко дыша девушке в ухо и щекоча ей щеку космами седоватых волос, выбившихся из-под косынки:

— Ведь отнесли же вам сегодня куда договорено и флягу молока, и мешок с хлебом. Чего ж еще? Все мало?

Не понимая, о чем ей говорят, и опасаясь, как бы женщина, узнав, что Муся не та, за кого ее приняла, не прогнала ее или не кликнула немцев, девушка тихонько произнесла:

— Тетечка, мне лекарство нужно. Есть такие таблетки... У меня батя в дороге заболел, умирает... Помогите, тетечка.

Боясь, что женщина сразу откажет, девушка торопливо вытащила из торбы свое платье и комом сунула его хозяйке.

— Я не даром, возьмите, пожалуйста... Только помогите...

Хозяйка сердито оттолкнула платье узловатой, со вспухшими венами рукой, распаренной и белой от стирки.

— Убери! Не на базар пришла. За тряпки голову в петлю не суют. — И вдруг рассердилась: — Это кто же тебя научил меня тряпками прельщать? У меня у самой трое воюют. Тебе это не известно?

— Тетечка, меня никто не учил, я ничего не знаю, я сама по себе. Мне лекарство для отца нужно.

На худом некрасивом лице хозяйки задрожала невеселая улыбка.

— Упорная. Инструкция у тебя, что ли, такая!.. Ну для отца так для отца, мне все едино. Идем в избу... Нá вот захвати, чтоб не с пустыми руками мимо этих иродов проходить.

Она сунула Мусе таз, в котором лежало влажное, жгутами скрученное, крепко отжатое белье. Со двора они поднялись в сени, и Муся хотела уже было взяться за ручку обитой клеенкой двери, ведущей в избу, но хозяйка отдернула ее назад и втолкнула в маленькую низенькую клеть, приспособленную теперь под жилье.

— Куда лезешь? Ай она тебе и верно не сказала, что в избе-то ихние раненые? Или ты и впрямь не от нее, а от других каких... Ну, говори. Ко мне пришла — чего меня таиться?

— Тетечка, слово даю, не знаю, о ком вы говорите.

— Да сестричка ж милосердная, она тут с нашими ранеными в лесу возле ольховой опушки схоронилась... Кормим вот ее колхозом уж третью неделю. Старые немецкие бинты да марлю для нее стираем.— Должно быть спохватившись, что сболтнула лишнее, женщина запнулась и, приблизив свое худое лицо вплотную к Мусе, угрожающе спросила: — А ты из каких, кто будешь? Ну! Говори!

Во взгляде хозяйки появилось что-то такое, отчего девушке стало жутко.

— Беженцы мы с отцом,— протянула она растерянно.

— Заладила сорока Якова и твердит про всякого... «Беженцы, беженцы»!.. Ну ладно, молчи. Только мой тебе совет, девка: раз ты за такое дело взялась, волков стерегись, а людям доверяйся... Ну, вот что, беженка, лекарства твоего достать попробую. У меня в одной горенке раненые, а в другой их фельдшер стоит, авось выпрошу.

Теперь, когда Мусины глаза свыклись с прохладной полутьмой клети, стены которой еще хранили сытные запахи зерна, она разглядела, что на полу, прикрывшись большой старой шубой, спал мальчик лет двенадцати, такой же худой и некрасивый, как мать.

Женщина заботливо поправила у него в изголовье подушку, потом достала откуда-то из-под окна кринку молока, большой ломоть несвежего, подсыхающего хлеба и молча положила перед гостьей. Сама она села напротив и, искоса следя за тем, как девушка ест, только вздыхала. Когда Муся, собрав пальцами последние

крошки, отправила их в рот, хозяйка поднялась, отрезала еще изрядный ломоть и так же молча положила перед ней. Выражение тревоги и тоски ни на миг не покидало ее усталых глаз.

— Что это пушек второй день не слыхать? Не ушли ли наши с реки, а? — Не дождавшись ответа, она продолжала: — Молчишь? Опять инструкция иль верно не знаешь! Ну, молчи, молчи. Так я сама тебе рассказывать стану. Может, кому там у вас,— она неопределенно махнула узловатой рукой на восток,— может, для чего и сгодится болтовня-то моя. Слушай! Тут вся округа ранеными забита, а новых все волокут — и день и ночь, и день и ночь. Большой урон тут Гитлер терпит.

Хозяйка помолчала, прислушалась к глухо доносившимся сквозь стену мужским голосам и продолжала:

— Набито их тут немало. Кладбище на горушке видала? Ну вот, под каждым крестом — по двое. А были дни и навалом валили. А оттуда,— она махнула рукой на запад,— все свежих на машинах гонят. Что, у вас не слыхать, часом, надолго ли их там хватит?

Теперь Муся уже понимала, что хозяйка принимает ее не то за партизанку, не то за разведчицу — из тех, кого, как говорили в деревнях, по ночам сбрасывают на парашютах на оккупированную территорию. Общаясь теперь с людьми, Муся уже знала, что в тылу у немцев разгорается партизанская война... Ее принимают за партизанку — пусть. То, что они делают с Митрофаном Ильичом,— это тоже важно, и они имеют право и на сочувствие и на помощь, которые эта женщина адресует лесным воинам. Рассудив так, Муся напрямки спросила хозяйку, где в этих краях лучше перейти фронт.

— С этим делом, видать, обождать придется. Очень много натащили они к берегу всяческой всячины. И еще...— хозяйка вздохнула,— и еще там ли фронт-то, где вчера был, не ушел ли? Я ж говорила — тихо что-то. Пушек уже с вечера не слыхать, не пришлось бы тебе его догонять.

Хлопнула дверь. В сенях застучали шаги, гулкие, тяжелые, будто по деревянному помосту шагала чугунная статуя. И Муся, и хозяйка, и проснувшийся мальчик, поднявши голову, замерли, прислушиваясь. Скрипнула дверь избы. Шаги стали глуше.

— Вернулся, идол!.. Лекарства-то тебе взаправду надо или только для разговору придумала?

— Нет, нет, нужно! Обязательно,— встрепенулась Муся. Она назвала лекарство и спросила: — Хотите, я с вами пойду?

Хозяйка окинула критическим взглядом худенькую фигурку в лыжном костюме.

— Где тебе! Молода еще, и врать-то, поди, путем не научилась. Одна схожу. А ты приляг вот тут рядом с Костькой под тулуп, будто спишь. А в случае чего — ты моя племянница Нюшка, из «Первого мая». Брат мой Федор — твой отец, значит,— болен. Вот ты сюда за лекарством и пришла... Я и сама вовек не врала, а вот на старости лет учусь. Эти не тому научат!.. Ну, сидите тут.

Женщина вышла. Через минуту откуда-то, должно быть из закута во дворе, где вздыхала и шуршала соломой корова, донеслись истерические куриные крики. Потом босые ноги хозяйки прошлепали по помосту. Глухо скрипнула обитая мешковиной дверь.

Муся прилегла на пол рядом с мальчиком и, стараясь подавить в себе нервный озноб, прислушивалась к мужскому и женскому голосам, глухо доносившимся из-за стены. На своей щеке она чувствовала дыхание мальчика. Рядом в полутьме мерцали его белесые глаза.

— Не дрожи, обойдется... Мамке не впервой их обдурять,— сказал он ломким мальчишеским голосом.

— А ты не боишься?

— Поначалу боялся. А как же? Комендант четырех наших у пожарного сарая повесил... А теперь ничего, уж поболе двух недель под топором живем, привыкли.

Муся придвинулась к мальчику. В соседстве с этим маленьким мужичком не такой уж страшной казалась близость непонятных пришельцев иного мира. Голоса, мужской и женский, казалось, о чем-то спорили за стеной.

— А мама твоя, видать, их тоже не боится?

Мальчик поднялся на локтях. На худеньком длинном личике появилась гордость.

— Про мать один ваш сказал — стальная она, вот! Ее сейчас весь колхоз слушается.

Опять скрипнула дверь. Наконец! Муся сжалась, зажмурилась. Бухающие чугунные шаги простучали по помосту, по заскрипевшим ступенькам крыльца и стихли на улице. В двери клети показалась хозяйка. Она была бледна. Одна щека у нее была обрызгана кровью.

В узловатой руке она держала пузырек с белыми таблетками.

— Дал. Курицу зарезала, курицей ему поклонилась. Дал. Ты там скажи кому надо: фриц-то, он тоже не одинаковый. Одному война — мать родная, а другому, вот хоть, к примеру, нашему,— видать, не по зубам. И война — не гут, и Россия — не гут, и жизнь — не гут. По вечерам достает из кармана карточку — с женой, с ребятами да с внуками, что ли, он на ней снят,— смотрит на нее и все вздыхает. А сам пасмурный такой... Я как-то расхрабрись да и спроси: а Гитлер, мол, может быть, тоже не гут? Он даже побелел весь, оглядывается кругом, за дверь высунулся, а потом только рукой махнул: тоже, мол!.. Есть, есть у них такие. И хорошие люди есть... Только Гитлера этого страх как боятся.— И вдруг без всякой связи с предыдущим женщина сказала: — Ты вот ответь нам: скоро ли немцев назад завернут?..

Это вырвалось у нее как выкрик. И столько было в нем горя, такая боль прозвучала в нем, что Мусе стало не по себе.

— Скоро, наверное скоро.

— Уж поскорей бы, что ли! Терпенья нет. Слез-то вон реки льются... Ну, ступай, ступай! А то врач как бы не заскочил — этот настоящий фашист, ни одной девки молодой не пропустит.

Муся спрятала пузырек за пазуху и на прощание попыталась еще раз сунуть хозяйке свое платье. Но та всерьез осерчала:

— Убери! Не такое время, не за картошкой приходила. Слышишь? Дай-ка я тебя провожу, а то не сгребли бы они тебя, голубушку.

Хозяйка накинула старую, порыжевшую жакетку, повязалась платком, повесила на веревке через плечо бруснику, взяла косу, а Мусе дала грабли. Сделала она все это неторопливо, обдуманно — видно, провожать незваных гостей таким способом приходилось ей уже не раз.

— Ну, а бинтиков, марли не надо? — спросила она, уже взявшись за ручку двери.— А то мы тут на помойке старые их бинты собираем, в щелоке вывариваем. Вчера много кому нужно отдала, но маленько еще есть.

— Нет, нет! Спасибо вам, тетечка.

Муся бросилась к хозяйке, крепко поцеловала ее в обветренную, шершавую щеку.

— Нашла время...— сурово отстранилась та.— Ну, иди давай!

Они прошли мимо часового в каске, с автоматом, механически вышагивавшего вдоль палисадника перед избой, встретились и смело разминулись с двумя давешними старыми немцами, тащившими теперь на носилках чье-то покрытое простыней тело, прошли мимо госпитальных фур, запряженных толстозадыми короткохвостыми конями. Из-за брезентов слышались приглушенные стоны. Только что привезли раненых. Миновав двух молчаливых часовых, охранявших въезд в деревню, вышли в поле.

Девушка жадно вдыхала вечерний воздух, густо настоянный запахами подсыхающих трав.

— И еще передай там: беспечные они, фрицы-то. Не стерегутся, особенно ночью. Залягут в избе и храпят на весь колхоз, аж печь трясется.

Когда прощались у лесной опушки, Муся вернула хозяйке грабли. Та сунула ей взамен узелочек, от которого шел аромат кислого деревенского хлеба, печенного на поду.

— Опять за свое,— проворчала хозяйка, когда девушка принялась ее благодарить.— И моим там кто кусок подаст.— А потом шепнула: — А может, знаешь: скоро ль вернетесь? Долго ль нам, горьким, вас ждать?

— Скоро, скоро, тетечка,— отозвалась Муся с такой уверенностью, будто ей были известны все планы советского командования.

— Нет, неправда. Мы листовку читали с речью Сталина. «Скоро» он не сказал,— сурово ответила хозяйка.— Партия народ никогда не обманывает... Ну, ступай.

И долго еще, уходя полевой заросшей дорогой, девушка видела сквозь шеренги березовых крестов, которыми ощетинился пригорок, белый платок и косу, розовато сверкавшую в лучах заката.

16

Там, в деревне, близость неприятеля, острое чувство опасности как-то заглушали в Мусе тревогу за судьбу спутника. Теперь, очутившись одна, она со страхом думала, что потеряла слишком много времени. Она шла все

быстрей, порой переходя на бег. Прижимая к себе пузырек с таблетками, она чувствовала, что сердце у нее колотится так, будто за пазухой бьется, пытаясь вырваться, живая птица. А солнце уже садилось за лес; вершины елей буйно пламенели, подсвеченные огнем заката, по ветвям сверкала золотистая пыль.

Тьма накрыла девушку на лесной дороге где-то вблизи от места, у которого она должна была свертывать на тропу. Место это Муся давеча отметила, заломив две ольхи по обе стороны этой малозаметной тропки. Но сейчас, когда сумерки сгустились так, что кусты и деревья стали сливаться в сплошную темную зубчатую стену, девушка никак не могла отыскать своих заломов. Как птица, гнездо которой разорил ветер, кружилась она, вглядываясь во тьму, ощупывая руками придорожные кусты. Заломленных ольх не было. Вдруг ее поразила мысль: а что, если кто-нибудь случайно срубил их, что, если она безнадежно заблудилась и не найдет дороги обратно?

От такого предположения она сразу ослабела и без сил опустилась на землю.

Ей ясно представилось, как больной Митрофан Ильич мечется, как он зовет ее. Стало страшно. Она вскочила и, спотыкаясь во тьме, царапая о кусты лицо и руки, снова принялась искать исчезнувшую тропинку. Серпик тощей луны, выскользнув из-за леса, медленно забрался в самый зенит, а девушка, всхлипывая, с мокрым от слез лицом все еще бродила вдоль дороги. Наконец, совершенно обессилев, она упала в кустах и сразу же уснула, сломленная отчаянием и усталостью.

В первый раз в жизни она спала в лесу одна. Ночь была беспокойная. Тревожно шумел в ветвях порывистый ветер. Тоскливо постанывала невдалеке надломленная сосна. Где-то рядом совсем человеческим голосом подвывала выпь. Маленькие тучки торопливо бежали мимо луны, точно спасаясь от какой-то опасности. Муся ничего этого не видела и не слышала. Предутренний туман заволок всю окрестность, но девушка не чувствовала ни сырости, ни холода.

Муся спала без снов, как спят очень усталые, вдоволь наплакавшиеся дети. Но первое же дуновение предутреннего ветерка разбудило ее. Она сразу вскочила. К свежему аромату влажного от росы леса ощутительно примешивался кисловатый хлебный дух. Девушка почув-

ствовала спазмы в желудке. Но лес уже выступил из густо-серой рассветной мглы, и есть было некогда.

Муся выбежала на дорогу и почти рядом увидела раздвоенную в виде рогатки сосну. Недели скитаний заострили зрительную память. Девушка сразу узнала эту сосну и, двинувшись по дороге, заметила знакомый камень, напомнивший ей вчера собачью голову, наконец, в нескольких шагах от этого камня две уже покрасневшие по надлому ольхи, по которым она заметила поворот на тропинку.

Весь остальной путь она бежала.

Стояло чудное августовское утро, одно из тех, когда умытая росой природа выглядит особенно яркой, а воздух так прозрачен и чист, что пейзаж теряет перспективу и кажется как бы плоским. Мотыльки покачивались на веточках уже подсыхающего вереска. Басовито, словно тяжелые бомбардировщики, гудели шмели. Все звенело, переливалось яркими красками. Но в воздухе чувствовалось уже что-то такое, что говорило о конце лета.

Девушка бежала, не замечая и этой мягкой грусти, разлитой в природе. Она останавливалась лишь на миг, чтобы передохнуть, утихомирить бьющееся сердце, и вновь пускалась бегом, перескакивая через пеньки, продираясь сквозь кустарник. «Только бы не опоздать, только бы застать его живым!» Она даже не заметила, как переменилась погода, как небо заволокло серой хмарью, как все померкло, точно бы полиняло, и начал сеять мелкий дождик.

Совсем выдохшись, как бегун на последних метрах дистанции, Муся выскочила на поляну. Кровь неистово стучала в висках. Все качалось и плыло. Вот он, ряд стогов! Наконец-то! Из последних сил девушка рванулась к крайнему стогу, подбежала, огляделась — и, вскрикнув, упала лицом в сено, точно кто-то сильно ударил ее в затылок.

Митрофана Ильича не было.

Передохнув, Муся принялась за поиски. Девушка быстро обшарила сено, обежала стог вокруг, осмотрела соседние. Старик исчез.

Позабыв об осторожности, она принялась громко звать его по имени. Эхо, раздельно и звучно отвечавшее ей из леса, усугубляло ее одиночество. Тогда девушка бросилась обратно к стогу и вновь начала перерывать

сено. Она докопалась до сырой побелевшей травы. Мешок тоже исчез.

Может быть, это все же не та полянка, не тот стог? «Ах, если бы так!» Нет, вот уголь от костра, который она разводила, вот сереет в траве шелуха молодой картошки, которую она выплеснула вместе с водой.

Отчаяние овладело Мусей. Она бросилась ничком в растерзанный стог и застыла в полной неподвижности, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой, будто внутри лопнула пружина, все время державшая ее на крутом заводе.

Все! Все усилия, все жертвы, все надежды рассыпались прахом. Стоит ли дальше жить?.. Но куда, куда он мог исчезнуть? А все оттого, что она, Муська Волкова, ушла и оставила больного, беспомощного спутника и не сумела его даже как следует спрятать.

Девушка застонала, точно от физической боли...

Легкий шорох, раздавшийся где-то вблизи, заставил Мусю насторожиться. Тем особым чутьем, которое вырабатывается у человека в долгих лесных скитаниях, она почувствовала, что не одна: кто-то следит за ней. Но она не испугалась. Нет. Тягостное безразличие парализовало ее волю. Опять хрустнула сухая ветка.

Муся вскочила и отпрянула, прижалась к стогу.

Неподалеку, шагах в десяти от нее, среди мелкого и редкого березнячка стояла высокая молодая женщина в низко повязанном белом платке. Она смотрела на Мусю спокойно, испытующе. Поборов в себе предательскую дрожь, девушка выпрямилась, тряхнула выгоревшими кудрями и вскинула голову:

— Вы кто? Что вам здесь надо?

Апатии как не бывало. Вся внутренне ощетинившись, Муся снова готова была бороться.

— Что вы на меня так уставились?

— Здравствуйте вам,— проговорила незнакомка низким грудным, но приятным голосом.— Вот гляжу и удивляюсь: чего это вы ищите тут, в стожках? Потеряли, что ли, чего?

— А вам какая печаль? Может быть, я ваше сено смяла?

— Да нет, моей печали тут никакой нету. Гляжу вот только — чего это девушка в стожках шарит? Дай, думаю, спрошу, может, помощь человеку какая нужна...

Говорила незнакомка неторопливо, говор у нее был цокающий, каким говорили не в здешних, а в западных краях, откуда шла и Муся. Женщина сказала «цего», «целовек», а вместо «стожки», «шарит» — «стоски», «сарит». Цоканье напомнило Мусе родной город, родные места.

Между тем незнакомка неторопливо вышла из кустов, широкой ладонью заправила под платок каштановые пряди, а самый платок сдвинула со лба, и Мусе открылось все ее продолговатое, красивого овала лицо, с черными глазами и бровями, такими бархатными, что казалось, будто они искусно нарисованы тушью на смуглой шелковистой коже. Лицо это показалось Мусе знакомым. Она сразу решила, что где-то уже встречала эту женщину, но где и когда — вспомнить не смогла.

Незнакомка была в темном, хорошей шерсти костюме, голова ее была повязана пуховым платком. Так одевались знатные колхозницы из богатых артелей, приезжавшие в город на разные конференции и слеты. Но на ногах у женщины были полотняные онучи и аккуратные лапти, причем прихваченные лыковыми бечевками онучи были обернуты с таким изяществом, что не скрывали линий сильных икр. Такую обувь Муся видела только раз, да и то не в жизни, а в опере «Иван Сусанин».

Была в облике незнакомки и еще одна необычайная черта, сразу же бросавшаяся в глаза. Что-то — но что именно, девушка сразу не могла понять: может быть, бодрый, свежий вид, может быть, открытый и прямой взгляд, полный достоинства и уверенности,— делало эту женщину не похожей на всех, кого Мусе уже доводилось встречать на оккупированной территории.

Девушка решила, что незнакомку, пожалуй, бояться нечего.

— Вы не видели тут больного? Он здесь вот, в стогу, лежал? — спросила она, мучительно стараясь вспомнить, где она уже видела это красивое чернобровое лицо.

— Молодой, белявенький такой? — спросила незнакомка дружелюбно, но не без хитрецы посмотрев на Мусю.

— Да нет же, старик, высокий, сутулый, с бородкой... Он уж идти не мог, заболел.

— А фамилию, имечко знаете?

Женщине явно было что-то известно о судьбе Мусиного спутника, а может быть, и об исчезнувших ценностях. «Не фашисты ли ее подослали? — мелькнуло в уме

девушки.— Да, нет, не может быть, у нее такое хорошее лицо и глаза ласковые... Жалеет... И что из того, если даже фашисты и узнают его имя! Мешка-то все равно нет».

— Корецкий... Митрофан Ильич,— устало сказала девушка.— Мы с ним пробира... То есть, я хочу сказать, побирались по деревням.

Муся мотнула холщовой торбой, висевшей у нее за плечами.

— Так вы, стало быть, Катя и есть?

При этом вопросе незнакомка в упор посмотрела на девушку. «Ну да, и эти вот красивые глаза с поволокой, конечно, знакомы. Когда и где я ее видела? И она наверняка что-то знает... Но если знает, зачем она назвала другое имя?»

— Да нет же, меня звать Марией, Мария Волкова... Мы с товарищем Корецким хотели перейти фронт и пробирались к своим,— твердо ответила Муся и с вызовом посмотрела в глаза женщины.

Незнакомка улыбнулась, улыбнулась открыто, широко, так, что смуглое лицо ее точно бы все осветилось влажным блеском крупных ровных зубов.

— А я Матрена Рубцова из колхоза «Красный пахарь». Может, слышали? Вашего же района. Он у нас громкий, колхоз-то... был.

Она привлекла к себе Мусю большой сильной рукой и, прижав, сказала тихо и задушевно:

— Приказал он, Корецкий-то Митрофан Ильич, нам с вами долго жить... Помер... Вчера на закате помер. Хоронить вот собрались, да вас поджидали.

Муся сразу почувствовала себя маленькой, беспомощной и такой усталой, будто все тяготы и страхи последних недель разом навалились на нее. Она прижалась к этой незнакомой женщине, и оттого, что та была рядом, ласковая, большая, и по-матерински гладила ее по голове, слезы неудержимо хлынули из глаз, и девушка забилась в судорожных тоскливых рыданиях.

— Поплачьте, поплачьте, Машенька, слезой любое горе исходит,— проговорила Матрена Рубцова.— Хорошо он помер, Митрофан-то Ильич, с открытыми глазами, в ясном уме. Перед смертью волю свою нам сказал... Вас все поминал, беспокоился...

Муся вскинула на Матрену Рубцову большие серые глаза, которые от наполнивших их слез казались еще

больше. Во взгляде ее были одновременно и тревога, и испуг, и мольба, и надежда.

— А мешок? Где мешок, который мы с ним несли?

— Паспорт-то у вас, девушка, сохранился?.. Или еще какой документик,— спросила Матрена, и чувствовалось, что ей неловко, даже стыдно задавать этот вопрос.

Муся вытащила из-за пазухи клеенчатый мешочек, в котором хранились у нее паспорт, комсомольский билет и справка, свидетельствовавшая о том, что отделение банка «выплатило Волковой Марии Николаевне двухнедельное пособие, причитавшееся ей в связи с эвакуацией учреждения». Матрена Рубцова деловито посмотрела на бумаги. Сравнила худенькую, задорную девчонку с подведенными сердечком губами, что изображена была на фотографии документов, с загорелым, обветренным, возмужавшим оригиналом и протянула бумаги обратно.

— Ясно. Вы на меня, девушка, не обижайтесь, сами понимаете, где и когда встретиться-то пришлось... Фашист, он хитер, кем только не прикинется.— И, наклонившись к Мусе, она шепотом сказала: — За *то* не беспокойтесь, *то* сейчас в верных руках. Ни соринки, ни пылинки из *того* не пропадет. Идем-ка с телом простимся, зарывать пора... Ценный, видать, был человек...

Тело Митрофана Ильича, завернутое в старенькую латаную простыню, лежало в леске, в тени берез. Из белого савана видна была только голова, покоившаяся на свежих березовых ветках. Лицо старика, исхудавшее, просвечивавшее восковой желтью, было спокойно и строго. Казалось, вдоволь потрудившись, он крепко уснул.

Под высокой сосной была вырыта могила. Два заступа торчали в отвалах темно-желтого влажного песка. У могилы стояли незнакомые женщины. Они сочувственно и с любопытством посматривали на Мусю. Матрена Рубцова подошла к ним и стала шепотом что-то рассказывать. Женщины вздыхали, кивали головами.

Но Муся не слышала их приглушенного говора, не видела этих понимающих взглядов. Она вообще ничего не видела, не слышала в эту минуту. Молча стояла она у тела своего товарища по скитаниям и не могла оторвать глаз от его спокойного лица. Глаза у нее были сухи, но все в ней плакало, бурно и безутешно. Ей было страшно оттого, что этот человек, заменивший ей отца, товарищей, весь привычный мир, из которого ее вырвала война, больше не встанет, не будет торопить ее, не побранит за

легкомыслие. Некому больше приобщать ее к тайнам лесной жизни, которую он так хорошо знал, не с кем продолжать путь. И это нельзя исправить.

Легкое покашливание вывело ее из оцепенения. В стороне молчаливой группой, в извечной позе бабьего горя, сцепив на груди руки и подперев щеку ладонью, стояли незнакомые женщины. И опять, как и при встрече с Матреной Рубцовой, подумалось Мусе: что-то отличает их от всех, кого она встречала в эти последние недели.

С низко нависшего, тяжелого неба сеяла тонкая изморось. Сеяла она бесшумно, но в лесу, не смолкая, стоял грустный шелест. «Откуда он, этот печальный шелест?» — почему-то подумалось девушке, и она посмотрела кругом.

Влага скапливалась на сучках и хвое высоких сосен. Мелкие капли падали на березовый подлесок и, встряхивая мокрый лист, сбивали с него капли покрупней, а эти тяжело стукались об узорчатые лапы пышного папоротника. Листья папоротника вздрагивали и покачивались. С них, как с крыш, по желобам стебельков сбегали тонкие сверкающие струйки, сбегали и падали на брусничник, на зеленый мох и потом уже впитывались в землю.

Это движение водяных капель и порождало непрерывный печальный шелест, стоящий в лесу. Лес плакал.

Точно поняв, о чем думает сейчас девушка, Матрена Рубцова отделилась от группы женщин, подошла к ней и, легонько обняв, как подружку, как младшую сестру, шепнула:

— А вы поплачьте!.. Легче будет... Немало слез сейчас земля принимает. А жить-то надо, надо жить, девушка!

«Где же, где я ее видела?» — снова подумала Муся, смотря во все глаза на свою новую знакомую.

1

Муся никогда не встречала Матрены Никитичны Рубцовой до того самого дня, пока судьба военного лихолетья неожиданно не столкнула их на лесной поляне у раскрытой могилы Митрофана Ильича. Но первое впечатление не обмануло девушку. Она действительно не раз видала это красивое, строгое лицо, дышащее спокойной энергией, но видала не в жизни, а на фотографиях. Если бы Муся в минуту их встречи не была так потрясена, она, несомненно, вспомнила бы и фамилию и имя незнакомки, так как знатная животноводка Матрена Рубцова была известна не только в тех краях, где жила Муся, но и по всему Советскому Союзу.

Фоторепортеры местных и столичных газет, частенько навещающие «Красный пахарь», любили ее снимать. Фотоэтюд, на котором Матрена Никитична, прижимавшая к себе две пестрые телячьи мордочки, была снята в развевающейся по ветру пестрой шали на фоне тонких берез, радостная, вся точно искрящаяся молодым весельем, получил золотую медаль на международном конкурсе. Снимок этот в увеличенном виде был издан приложением к иллюстрированному журналу, и с той поры портрет колхозной красавицы с телятами, образ которой как бы символизировал собою новую деревню, можно было видеть в предвоенные годы и в крестьянском доме, и в рабочей квартире, и в клубе, и в избе-читальне.

К своей громкой трудовой славе Матрена Никитична пришла не сразу. Не прост и не легок был ее сравнительно еще короткий жизненный путь.

Мать Рубцовой, крестьянская сирота, воспитанная сердобольными соседями, была почти девочкой против воли сосватана за пожилого бобыля, батрачившего у помещика. У нее не было ничего, кроме молодости, красоты да двух не очень сильных рук. У ее мужа была ветхая пустая избенка с поросшей зеленым мхом крышей, догнивавшая у околицы большого торгового села. Это был горюн-неудачник, не злой, но хмурый, неразговорчивый

человек, давно отчаявшийся выбиться в люди. Матрена отца не помнила. Он замерз в поле, захваченный метелью в своей ветхой, рваной одежонке на пути из барской усадьбы в село. Матрене минуло тогда три года, а ее братишку мать кормила еще грудью.

Не избалованная жизнью крестьянка стойко перенесла и это горе. Летом она неутомимо копалась на маленькой усадьбе, за своей избой, помогала людям на сенокосе, на жнивье и молотьбе, а зимой ходила поденно трепать чужой лен, вязала на продажу варежки и этим кое-как кормила своих малышей. С трех с половиной лет Матрена оставалась нянькой при маленьком, а пяти лет уже помогала матери прясть и мотать шерсть. Земли у них не было. И долго, до самых зрелых лет, вспоминала Матрена, как в те далекие зимы, когда над заиндевевшей деревней в желтом морозном воздухе высоко поднимались неподвижные хвосты дымов, их избу совсем заметало. Сугробы надвигались на окна, наваливались на крыльцо, припирали дверь. Через дырявую крышу снег сеялся в сени, проникая в избу, и узкой полоской ложился у входа. Ни один живой след не бороздил эти сугробы. Их никто не разгребал, не протаптывал.

Мать ютилась на печке, закрывая детей заплатанной, вытертой, лоснящейся шубой. От зари до глубокого вечера, а то и за полночь, при мерцающем свете чадной лучины, она все вязала, вязала, вязала, как казалось маленькой Мотре, все одну и ту же варежку с коричневым узором, наведенным пряжей, окрашенной в луковой шелухе. Дыхание вылетало у нее изо рта белым паром. Она отрывалась от кропотливой работы только затем, чтобы переменить лучину, засунутую меж кирпичами печной трубы, погреть у себя под мышками заледеневшие пальцы, да еще тогда, когда ее схватывал хриплый кашель, такой тяжелый и надсадный, что детям казалось, будто что-то лопается у матери в груди.

Весной, когда снег сгоняло и под окнами смолкала тяжелая капель, а на старой вербе, что росла на огороде, начинали отчаянно гомонить грачи, Мотря помогала матери копаться на усадьбе во влажной земле, отдающей теплом, сыростью и острым запахом прелого навоза. Это была самая счастливая пора. Мать, помолодевшая, с неестественно ярким румянцем, разлитым по смуглым щекам, ловко действовала старой лопатой. Мотря и маленький Колька разбивали слежавшиеся комья земли, выби-

рали коренья сорняков с высоких гряд, взбитых, точно пуховики. Возбужденно, по-весеннему орали грачи, восстанавливая свои поврежденные вьюгами гнезда, солнышко грело, прозрачная дымка колебалась над черной влажной землей. И вдруг мать принималась кашлять, лопата вываливалась у нее из рук, и она бессильно опускалась на землю, покрытую бурой прошлогодней травой. Откашлявшись, мать сплевывала кровью куда-нибудь подальше в сторону.

Девочке становилось жутко.

Иногда, поднявшись на заре, когда их сверстники еще спали, Мотря с Колькой, захватив ведерко, отправлялись по селу собирать навоз для огорода. Они старались управиться до того, как погонят стадо. Но навозу было нужно много, приходилось ходить и днем, и тогда крестьянская детвора бегала за ними, кидала в них сухие конские яблоки и кричала на все лады: «Навозные собирушки, чахоткины дети».

«Навозные собирушки» — это еще куда ни шло, но «чахоткины дети» — это уже касалось матери. И тут иной раз тихая, застенчивая Мотря не выдерживала обиды, хватала первый попавшийся под руку камень-голыш, осколок кирпича или палку и с плачем бросалась на своих мучителей. Из дневных вылазок за навозом дети часто приходили с пустым ведром, в синяках, исцарапанные, в слезах. Мать утешала их, смывала у колодца кровь, вздыхала и грустно повторяла все одну и ту же пословицу: «С сильным не дерись, с богатым не судись».

В иной погожий летний вечер, когда вместе с ленивым пением разомлевших на жаре петухов и веселым стуком отбиваемых кос в избу через открытые крохотные окошки просовывались золотые снопы солнечных лучей, мать принималась расчесывать старым деревянным гребнем свои длинные волнистые косы, затем выкладывала их широким венцом и подолгу смотрела на свое отражение в радужно отливающем темном стекле. При этом она всегда пела одну и ту же грустную песню:

Хороша я, хороша,
Плохо лишь одета,
Никто замуж не берет
Девушку за это...

Мотря усаживалась у ее ног и мечтала. Странные, неребячьи были у нее мечты. Вот вырастает она большая,

идет работать к господам. Работая от зари до зари, она наживает много денег. Они покупают козу, и будет у них молоко, которое так нужно для здоровья матери. Мать поправится, все вместе станут трудиться, поднимутся, починят крышу, купят стол, скамейки, будут жить как люди, и никто не посмеет больше дразнить ее и Кольку «чахоткиными детьми» и бросать в них конским навозом. А мать будет всегда такая же красивая, веселая, какой она бывает в эти редкие летние вечера. Главное — собрать денег и купить козу. Соседка тетка Агафья все толкует, что жирное козье молоко «в два счета» поставит мать на ноги. Эта коза, казавшаяся избавительницей от всех бед, превратилась для девочки во что-то сказочное, как перо жар-птицы, как цветок Ивановой ночи...

Мать умерла весной, в половодье, когда Матрене шел двенадцатый год. Сельский сход решил назначить сиротам опекуна. Но девочка, помня рассказы матери, наотрез отказалась, проявив при этом недетскую решительность. Она заявила, что никому до них с Колькой дела нет; они сами себя как-нибудь прокормят. Дети упорно работали дома и у соседей, работали днем, а часто и ночью. Умирая, мать наказывала девочке кормиться от огорода. И Мотря с прежним старанием растила овощи, носила их на базар в волостное село, помогала на сенокосе и уборке зажиточным соседям, зимой, по примеру матери, пряла и сучила шерсть, красила пряжу луковой шелухой, вязала варежки.

Так прожили дети несколько лет.

Мотря стала рослой, крепкой, не по годам серьезной девочкой, ловко управлявшейся с жалким хозяйством. Она была смышлена, расторопна, молчалива и вынослива. Заприметив в подростке эти качества, сельский богатей Егоричев «сжалился» над ней и взял ее батрачить на все лето. По неписаным сельским тарифам тех лет ей положено было при хозяйских харчах за сезон куль муки, два мешка картофеля да платье или полусапожки с резинками — на выбор. Но девочка взамен этого попросила у хозяина телку. Егоричев, спрятав ухмылку в реденькой бороденке, согласился. У него во дворе стояло восемь коров симментальской породы, и такой способ расплаты его вполне устраивал.

Ох, как работала это лето Мотря на чужих полях! Без хозяйской побудки она подымалась задолго до того, как начинало белеть в щелях ворот сенного сарая, где спали

батраки, а ложилась с первыми петухами. И на скотном дворе, и на хозяйских огородах, и на лугах в сенокос, и на полях в жнивье она трудилась наравне со взрослыми. Надежда на хозяйскую благодарность подстегивала девочку. Мечта о красной телке с белыми пятнами, с бархатистой шерстью и круглыми задумчивыми глазами помогала ей переносить непосильный труд, насмешки кое-кого из батраков и батрачек, невзлюбивших ее за чрезмерное усердие на хозяйском деле. Лишь урывками, по пути на луг или на поле, она забегала проведать Кольку, оставить ему короткие распоряжения по дому и огороду. Впрочем, хмурый, молчаливый мальчик, тоже захваченный мечтой о собственной скотине, ухитрялся поспевать не только с огородными делами. Упросив соседа отбить ему старую косу, отыскавшуюся на чердаке, он сам насадил ее на косовище и по утрам отправлялся с ней в соседний казенный лес. Там он тайком выкашивал травянистые проплешины меж деревьев. Сено затемно перетаскивал в мешке к себе и набивал им пустующую половину избы.

И вот мечта сбылась. Поздней осенью, когда в просторном, крепком хозяйском сарае дотрепывали последний лен и развешивали на жердях под крышей шелковистые кулитки, в сутулой, подслеповатой избенке появилась телка. Дети, не сговариваясь, сразу назвали ее Козочкой — в память той козы, что в мечтах должна была спасти, да так и не спасла их мать. Эту телку сам Егоричев привез сиротам в плетеном своем шарабане. Вела себя телка странно, ни за что не хотела стоять и вяло отворачивалась от пойла. Почуяв недоброе, Мотря побежала к соседям. Осмотрев телку, сосед только погрозил кулаком в сторону высокого егоричевского дома, плюнул и, стараясь не смотреть на оторопевших сирот, вышел из избы. А соседка, всплакнув вместе с Мотрей, объявила, что у телки понос и не жилица она на этом свете, что лучше, пока не поздно, прирезать ее, по крайней мере хоть мясо можно будет продать.

Бросилась девчонка с братом к Егоричеву, ворвалась в дом на чистую половину, где тот за самоваром торговался со скупщиком льна, и объявила, что телка околевает. Егоричев, маленький, тщедушный человек с морщинистым, в кулачок лицом, на котором бегали живые ласковые глазки, сначала было завздыхал, заохал, принялся сочувствовать и соболезновать. Когда же Мотря сквозь

слезы стала его стыдить и спрашивать перед гостем, разве она плохо, разве мало она работала, Егоричев только руками развел. Работала, слов нет, хорошо, рук не жалела, но ведь и он своему слову господин. Рядились за телку — телку и получила, да не какую-нибудь деревенскую замухрышку — отборных кровей, чистой породы. Верно, не лучшую дал, но уговора о том и не было,— да и кто же себе враг? Стало быть, и шуметь и людей почтенных попусту ревом беспокоить нечего...

Посоветовали Мотре дойти до председателя комбеда, хромого матроса Игната Рубцова, недавно вернувшегося с гражданской войны. Выслушал Игнат девчонку, сжал волосатый кулачище, так что на натянувшейся коже заблестели вытатуированные на нем якори и русалки, посулил мироеду такого, что девочка чуть не сгорела со стыда, а потом сказал хмуро:

— Ничего, брат девка, не поделаешь. Форму, чертова гидра контрреволюционная, соблюл! Его ни судом, ни комбедовской резолюцией не подковырнешь. Разве вот только в «Бедноте» или в «Лапте» его продернуть или набить ему, пауку, морду в праздник под пьяную руку за такие его дела, за сиротскую обиду.

А телка уже и головы не поднимала, хирела с каждым днем. Мотря и Колька сбились с ног, не спали возле нее по ночам. А когда телка начала уже и вовсе закатывать глаза, девочка снова кинулась к соседу, выпросила у него ручные салазки, настелила на них сена, уложила на него Козочку, и, впрягшись в веревочное ярмо, дети отвезли ее за семь верст в Ключи, в сельскую больницу. Они подтащили салазки к больничному крыльцу, подняли телку на руки и на глазах обомлевших от удивления больных пронесли ее прямо в докторский кабинет.

Врач сначала пришел было в ярость, затопал ногами, стал звать сторожа и требовал, чтобы ребят вместе с их паршивой скотиной вышвырнули из храма медицины. Но сироты так плакали, так горячо просили, что он почувствовал наконец за всей бестолковостью этого странного визита лихую беду. Сменив гнев на милость, врач приказал перенести телку в теплое стойло больничной лошади, после приема осмотрел необыкновенного пациента и, проконсультировавшись по телефону с уездным ветеринаром, приказал провизору приготовить микстуру, которую сам и влил Козочке в рот с помощью резинового баллончика.

Весной, когда тощая и грязная скотина, вся облепленная навозной коростой, с пьяным, возбужденным ревом хлынула из прогонов на еще полную непросохшей грязи, но уже прорастающую зелеными сабельками свежей травы сельскую улицу, Матрена и Колька выгнали в стадо свою Козочку, предварительно окурив ее, по обычаю, духмяным дымом богородицыной травы.

Летом Мотря опять батрачила у Егоричева. Это была длиннорукая девочка-подросток с ребячьим пушком на щеках и с круглыми черными глазами. Но рядилась на работу она уже вместе со взрослыми и работала не меньше иного мужчины. И какой бы страдный не выдавался день, как бы ни ломило от работы кости и ни клонило в сон, отказав себе в отдыхе или урвав времени от ужина, всегда ухитрялась забежать домой, позаботиться о братишке, взглянуть на свою любимицу, погладить ее лоснящуюся шерсть, дать ей густо посоленную хлебную корку, утаенную при батрацком ужине, или хрустящий ранний огурец, унесенный в рукаве с хозяйских парников.

Из всех многообразных дел, которые Мотре приходилось с утра до ночи выполнять в хозяйстве Егоричева, любила она лишь работу в коровнике. И хотя царствовавшая здесь Егориха была известна как самая сварливая баба в волости, хотя она не давала девчонке ни минуты покоя и не скупилась на пинки и подзатыльники, Мотря безропотно переносила их, стараясь подсмотреть, как хозяйка обхаживает своих славившихся на весь уезд коров, чем кормит, как поит их, и все это запоминала для своей Козочки.

На зиму девочка перевела телушку в избу. Они с братом за семь верст возили на санях в бадье из больницы помои, которые доктор, растроганный сиротским горем, приказал собирать для своей бывшей «пациентки». Дети отказывали себе во всем, порой просто голодали, но Козочка питалась не хуже, чем егоричевское стадо. И вскоре у Матрены была лучшая телушка в селе. Зажиточные мужики, даже сам Егоричев, подбивали девчонку продать Козочку или поменять на другую корову с щедрой придачей.

Мотря вспыхивала гневом. Разве Козочку можно продать? Это была осуществленная мечта, это был неразменный рубль, надежда на сытую жизнь. Козочка была любимым членом сиротской семьи.

Мотре некогда да и не в чем было ходить в школу. Но брата она заставила учиться и с его помощью, по его учебникам сама потом понемногу выучилась читать и писать.

В год, когда Козочка, впервые отелившись, принесла маленького, крепкого, лобастого бычка и начала давать такую уйму отличного молока, что Мотря стала постоянной поставщицей волостной больницы, случилось событие, сразу перевернувшее жизнь сирот. По селу прошел слух, что колченогий Игнат Рубцов, тот самый, к которому бегала когда-то девчонка с жалобой на Егоричева, организовал какую-то сельскохозяйственную коммуну «Красный пахарь». Говорили, что под эту затею волисполком отвел помещичью усадьбу с парком и даже самый барский дом. У Егоричева, где все еще батрачила Мотря, коммуну эту сразу перекрестили в «Красного калеку», потому что первыми, как посмеивался хозяин, вошли в нее калеки: кроме самого Рубцова, кривой шорник Зозулин Никита, сухорукий подпасок Женька, а за ними уже потянулась всякая голь-беднота из окрестных деревень, будто бы обрадовавшаяся возможности без труда отщипнуть кусок от дарового пирога.

Мотря слушала хозяйские кривые шуточки и не верила им. Несколько батраков, самых дельных и самых работящих, сразу же, не дожидаясь уплаты за отработанное, подались от Егоричева в «Красный пахарь». Да и самого Игната Рубцова, широкоплечего, дюжего человека, в дни революционных праздников ходившего по селу с большим красным бантом на старом форменном бушлате, девочка привыкла уважать уже за одно то, что его не любил Егоричев.

И вот в воскресенье она вместе с братом явилась в бывший господский дом, меж колоннами которого на натянутых веревках сохло теперь латаное-перелатаное белье. Дети зашли в разгороженные тесом на маленькие каморки покои, гудевшие и гомонившие, как растревоженный улей, где-то под самой крышей, в крохотной комнате с косым потолком, нашли колченогого матроса и спросили:

— Сирот в коммуну берут?

Матрос басовито захохотал. Как же не брать? Сироте в коммуне — красный угол! Сам увлекаясь, он начал рассказывать ребятам, как коммуна оградит людей от кулацкой сволоты, с азартом доказывал, что работать совместно куда спорее, и кончил тем, что принялся рисовать кар-

тины необычайной и светлой жизни, которая ждет коммунаров впереди.

Недаром, должно быть, говорили по деревням, что был Игнат Рубцов в октябрьские дни любимым оратором на своем корабле.

Мысль о справедливой жизни крепко запала ребятам в сердце. И как ни грозился Егоричев, как ни шипела Егориха, накликая беды на беспутного матроса, морочившего головы несчастным сиротам, как ни советовали детям степенные соседи подождать да поглядеть, как и что будет, Мотря с Колькой, поверив Рубцову, записались в коммуну, решив, что жить хуже, чем они жили, все равно нельзя! Вместе со своими пожитками, для которых и воза не потребовалось, отдали брат с сестрой в коммуну единственное свое настоящее имущество, свою радость и надежду — Козочку и ее первенца, длинноногого головастого бычка красной масти, со звездочкой на лбу.

В те дни случалось, что люди перед вступлением на неведомый еще коллективный путь тайком распродавали свой инвентарь, а скот ставили во дворы к своим родичам: дескать, посмотрим, как оно там повернется, и, если падать придется, стоит соломки подослать на всякий случай... Козочка была введена в огромный пустовавший двор коммуны второй по счету, вслед за собственной коровой Рубцова. И хотя всем землякам было известно, что матрос человек геройский, что за империалистическую войну имел он полный бант Георгиевских крестов, а в гражданскую получил от командования за храбрость кожаную куртку и шаровары да саблю с эфесом серебряного чекана, прошел по деревням слух, будто прослезился он при всем народе, принимая от сирот их вклад, а потом будто сверкнул влажными глазами и сказал коммунарам, столпившимся во дворе по случаю необычайного события:

— Назовите гадом Игнашку Рубцова, в глаза ему плюньте, если через десять лет не зацветет наша коммуна и не будет у нас столько скота, что, когда наше стадо вечером с лугов пойдет, пыль из волости видна будет!

А на следующий день приходили к Рубцову делегаты сельского схода, корили, урезонивали матроса и взяли с него обещание, что, если коммуна прогорит, не продаст он Козочку и вернет ее сиротам.

«Красный пахарь» не прогорел. Были в нем на первых порах и дармоеды, хватало бестолковщины, неурядиц,

пережил он приливы и отливы, всеми болезнями переболел. Но вокруг матроса-большевика постепенно образовалось ядро людей, веривших в правду коллективной жизни, не унывавших при невзгодах, не поддававшихся ни на чьи провокации. И хотя виски матроса поседели до срока, а по широкой скуле прошел синий шрам от кулацкой пули, выпестовал он вместе с коммунарами новое хозяйство и, перестроив его потом из коммуны в артель, вскоре сделал самым богатым колхозом в районе.

Хороши были в «Красном пахаре» и поля, и пчелы, и льны, и пруд, где отгуливались зеркальные карпы. Но славой его, предметом гордости и особых забот артельщиков была племенная скотоводческая ферма. От чистопородной Козочки, приведенной сиротами в первые дни коммуны, и от могучего племенного производителя Чемберлена, выросшего из маленького красного бычка с белой звездочкой на упрямом лбу, пошли два рода потомства, превратившиеся со временем в отборное племенное стадо новой породы скота, улучшенной в «Красном пахаре».

Вместе со своей артелью выросла, поднялась, встала на ноги, приобрела трудовую славу и Матрена. Брат ее Николай, летом помогая сестре на ферме, зарабатывая трудодни на сенокосе и уборке хлебов, окончил школу. Затем он уехал учиться в Ленинград и больше уже не вернулся в родной колхоз. Он стал ученым-лесоводом работал где-то далеко, в субтропиках.

Матрена уже взрослой училась в вечерней школе крестьянской молодежи. С годами она стала образованным человеком, пристрастилась читать животноводческие журналы и брошюры и все, что находила в них интересного и ценного, старалась применить у себя на ферме. Она изматывала правленцев постоянными требованиями новых и новых усовершенствований оборудования скотных дворов, ставила зоотехнические опыты, вела записи своих наблюдений, состояла в переписке с животноводческим институтом.

А когда лучших животноводов страны пригласили на совещание в Кремль, была туда приглашена и Матрена Никитична.

Лет за десять до войны, когда настоящая слава «Красного пахаря» только еще начиналась, Матрена Никитична вышла замуж за Якова Рубцова, колхозного конюха, сына того самого матроса Игната, которому она когда-то

так беззаветно доверила свою Козочку. Свадьба их стала в районе событием. На нее приехали даже представители газет, следивших за трудовыми подвигами молодой колхозницы. Но сельские кумушки, отдав дань обильному угощению, вздыхали и предсказывали, что долго молодые вместе не проживут: очень уж «неравная пара».

Вопреки всем этим предсказаниям, в новом, по типовому архитектурному проекту построенном доме, куда въехали молодые Рубцовы, царили совет да любовь. Многообразные колхозные дела, растущая слава не помешали Матрене Никитичне стать матерью трех ребят.

Фотографии Матрены Никитичны то и дело мелькали на страницах газет и журналов. Почтальон ворчал на то, что устал он носить ей письма со штемпелями разных городов. Игнат Рубцов, бессменно руководивший «Красным пахарем», шутил, что он уже в пиджаке дырку просверлил для золотой медали за животноводческие экспонаты своего колхоза и рамку заказал для диплома Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Все к тому и шло.

Но Гитлер сломал все эти радостные планы, всю с таким трудом налаженную жизнь.

2

Уже в первую ночь войны над «Красным пахарем» в зеленоватой предутренней мгле пролетела на восток вереница чужих самолетов, направлявшихся бомбить мирные советские города. Бабка Прасковья Нефедова, возвращавшаяся в ту пору из телятника после бессонной ночи, проведенной возле хворой телки, божилась потом, что разглядела на их крыльях какой-то чудной «антихристов знак». А под вечер Матрена Никитична вместе с другими женщинами уже стояла у околицы, смотря сквозь слезы, как, багровея в золоте заката, оседает на дорогу пыль, поднятая подводами, на которых колхозники призывных возрастов ехали в районный военкомат.

Был среди них и Яков Рубцов. А на следующий день отец его, Игнат, усевшись в плетеный кузов своей двуколки, сам отправился провожать на мобилизационный пункт колхозных рысаков с конефермы. Перед отъездом он как-то подозрительно долго и торжественно прощался со снохой и целовал внуков. Матрена Никитична заме-

тила в повозке туго набитый вещевой мешок и поняла, что не в конях тут дело.

Так оно и оказалось. Сдав коней военным приемщикам, председатель колхоза отправился в райком. Стараясь не хромать, вошел он в кабинет первого секретаря, заявил о своем намерении идти на фронт и потребовал, чтобы за него, как за члена пленума райкома, походатайствовали перед комиссией военкомата. Годы не в счет, нога не помеха. Уж что-что, а военное дело бывший георгиевский кавалер и красный моряк знает!

Вернулся Игнат Рубцов из города сильно под хмельком, туча тучей. В армию его не взяли. Секретарь райкома, рассердившись, даже шумнул на старого друга и приказал ему немедленно убираться в колхоз и хранить как зеницу ока знаменитое племенное стадо «Красного пахаря». Весь день, запершись в своем доме, Игнат пил водку, пел старые красногвардейские песни да с кем-то круто бранился, хотя и был в избе один-одинешенек. Даже внуков к себе не пустил. Но под вечер успокоился, и вновь видели колхозники грузную фигуру своего председателя, ковылявшего возле колхозных служб. Он снаряжал людей с подводами по разверстке куда-то на запад: копать оборонительные рубежи.

Матрена Никитична работала теперь за себя и за мужа, поспевала и на скотном дворе и в конюшне, дежурила по ночам с ветхой осоавиахимовской винтовкой на посту народной охраны и урывками занималась на курсах медсестер. Людей в колхозе стало вдвое меньше, в армию ушли и уехали рыть окопы самые сильные и работоспособные. Но оставшиеся, преимущественно женщины, хотя порой и засыпали где-нибудь над подойником или над грядой, сломленные усталостью, все же более или менее управлялись с делами, и появилась у них вслух не произносимая, но любимая мечта — что когда мужья и братья, разбив Гитлера, вернуться домой, будет чем их удивить, чем и угостить.

Между тем сообщения Совинформбюро становились все тревожнее. В них назывались пункты, занятые врагом, обозначались новые направления. Люди сейчас же находили на карте эти пункты. Линия фронта быстро приближалась. И все же жила надежда, что, может быть, это только хитрость командования, что фашисту готовятся какие-то стратегические ловушки, в которых он будет захлопнут, как волк в капкане. И вдруг, точно обу-

хом по темени, весть, привезенная Игнатом Рубцовым из города, с районного актива: начинается эвакуация.

В тот же день были отправлены на восток с тракторной колонной МТС многочисленные машины колхоза. Вторым эшелоном должен был двинуться скот — богатство и гордость «Красного пахаря». Из области пришел приказ не допустить потери ни одной племенной коровы. Ответственность за целость и сохранность знаменитого стада была возложена на самого Рубцова, которому были вручены особые полномочия для получения фуража в любом месте по всему пути следования.

Старый балтиец, убедившись, что со своей шумной для этих краев биографией и слишком приметной хромотой он действительно не годится ни для подполья, ни для партизанских дел, со свойственной ему энергией принялся за подготовку к эвакуации. Он решил поднять в поход не только племенную элиту, но и все чистопородное стадо, а на подводы погрузить весь необходимый инвентарь фермы: фляги, бидоны, подойники, сепараторы, легкие ручные маслобойки — словом, все, что можно было увезти и что могло пригодиться на новом месте. Сопровождать стадо были выделены лучшие колхозницы. Для отъезжающих отвели по подводе на две семьи. Колхозницы сами настояли, чтобы Матрене Никитичне была отведена отдельная подвода.

Ночь прошла в печальных хлопотах. Заплаканные женщины метались среди построек фермы. Тревожно мычали коровы. Будто чуя беду, выли псы. Матрена Никитична сбилась с ног, укладывая и увязывая инвентарь, охрипла, бранясь со скотницами и доярками, успокаивая плачущих. Приготовления к отъезду приходилось вести в темноте, при свете зеленоватых июльских звезд. Где-то над недалеким большаком, невидимые с земли, все время надрывно выли вражеские разведчики. Изредка то там, то здесь вздрагивала на горизонте тьма, проколотая красным репьем взрыва. Землю встряхивало. Звенели в рамах стекла, скрипели петли ворот и дверей.

Только под утро, когда уже надо было трогаться, вспомнила Матрена Никитична, что у нее самой ничего еще не уложено. Передав руководство последними приготовлениями краснощекой и шумной Варваре Сайкиной, она бросилась через все село к своему дому, черепичная крыша которого уже отчетливо темнела на фоне светлевшего на востоке неба. Пустая подвода стояла возле тер-

раски, лошадь дремала, привязанная к резному столбику, над охапкой раструшенного по земле сена.

Матрена Никитична бросилась в дом и стала, не разбирая, увязывать в узлы мягкие вещи. Все было дорого, все покупалось с любовью, каждую тряпку было жаль. На подводе не укладывалась и половина того, что обязательно хотелось увезти. Заплакав от обиды, женщина сбросила на траву узлы и принялась было снова перекладывать их, но тут прибежала бабка Прасковья. Она бранилась и причитала. Двух чистопородных маленьких телят, на которых животноводы возлагали особые надежды, праправнучек знаменитой Козочки, придется оставить: в спешке забыли отвести для них места на подводах. Слушая заплаканную, сердитую старуху, Матрена Никитична задумалась. Вспомнила почему-то, как она с братом везла на санках Козочку в волостную больницу, и вдруг с непонятным даже ей самой ожесточением начала сбрасывать с телеги узлы. Она оставила только чемодан с самым необходимым да мешок с ребячьими пожитками, усадила на телегу детей, бабку, ударила вожжами, и на рысях они подъехали к телятнику.

— Стели соломы и тащи телят!

— Мотрюшка, бог с тобой, ведь невесть куда едем. С чем останешься? — испугалась бабка Прасковья, слывшая старухой очень скупой и прижимистой.— Дети ж у тебя. Разве в этакое окаянное время кто что тебе даст?

— Говорят, стели соломы да брезентом покрой, чтобы они ножки о грядки не помяли! — рассердилась Матрена.

Так она и оставила свои узлы на поляне возле дома. И теперь, оторвавшись от них, как это ни странно, почувствовала даже вдруг какое-то облегчение...

3

...Уж немало дней двигался на восток скот «Красного пахаря», сопровождаемый длинным обозом.

На первых же километрах Игнат Рубцов отошел от заданного маршрута; уведя гурт в сторону от шоссе, он направил его по проселкам и малоезжим лесным дорогам, избегая таким образом встречных потоков военных машин, заторов на переправах, спасая людей и скот от огня фашистских штурмовиков, висевших от зари до зари над большаками.

Сидя в плетеном кузове своей рессорной двуколки, Рубцов ехал впереди гуртов. Он искал луговые поймы для стоянок, договаривался с колхозами о выдаче «под расписку» овса и фуража. Когда гуртам приходилось пересекать шоссе, он выставлял поперек дороги коридор из телег и через него прогонял скот. Потери пока были небольшие — трех годовалых телок сбила встречная машина да нескольких захромавших коров из плохоньких сдали двигавшимся к фронту частям Красной Армии. Даже удой не пропадал: молоко отдавали медсанбатам, а чаще всего просто разливали по солдатским котелкам.

Но хотя гурты двигались целые дни, а иногда и ночами, хотя в последнее время стоянки на выпасах сокращались до крайнего предела, хотя и люди, и стадо, и кони от непрерывного движения исхудали и пропылились, как казалось, до самых костей и дело доходило порой до того, что та или другая погонщица вдруг, точно споткнувшись, валилась с ног, заснув на ходу,— фронт догонял колонну «Красного пахаря», затерявшуюся на пустых, малоезжих дорогах. Позади все слышнее погрохатывала канонада. К ней привыкли, как привыкли и к вражеским самолетам, пролетавшим иногда над головами.

Однажды канонада загрохотала не сзади, а где-то справа. Игнат Рубцов остановил свою двуколку, прислушался к близким раскатам, повернул назад и, нещадно настегивая лошадь прутом, помчался навстречу гуртам, крича погонщикам:

— Давайте самый полный! Не спать, коли живы хотите быть!

Однако и этот тревожный день, казалось, завершится благополучно. Ускорив движение, гурты продолжали тянуться в прежнем направлении.

Но под вечер сзади, в облаках пыли, поднятых проходившим стадом, послышался напряженный рев моторов. И это было уже знакомо. Обоз, как обычно, стал сворачивать с дороги, освобождая ее для приближающихся танков. Погонщицы с криками и бранью хворостинами сгоняли на обочины коров и телят. Уж сколько раз гуртовщикам случалось вот так очищать путь для танков какой-нибудь перегруппировывающейся части, поить чумазых танкистов парным молоком, выспрашивая у них фронтовые новости. Поэтому появление машин не вызвало никакой паники. Все споровисто делали свое дело. Усталое стадо краснобелой волной скатывалось с дороги.

Но на этот раз танки, несшиеся во всю мочь, приближаясь к гуртам, не сбавили хода. Головной походя ударил телегу, на которой тряслись на узлах внучата бабки Прасковьи, подмял ее и ринулся дальше, оставив позади груду искореженной щепы и окровавленных тел. Едва не передавив самих погонщиц, сумевших отскочить в последнее мгновение, танк врезался в хвост стада.

Все — ревущий скот, подводы, дети, с воплем ищущие своих матерей, женщины, мечущиеся в страхе,— все смешалось в панике. Только когда передние машины уже проскочили и скрылись в пыли и по дороге мимо стада катила уже вторая и третья волны, люди разглядели на броне незнакомые белые кресты, пиковые тузы и мечи, разглядели и поняли, что это вражеские машины несутся вперед, что они опережают гурты, закрывая для них путь на восток.

И тогда к воплям бабки Прасковьи, к плачу перепуганных ребят присоединились панические крики погонщиц. Волнение людей передалось животным: надсадно, взахлеб заревели коровы, заметались, тоскливо завыли собаки.

В сущности, гурты «Красного пахаря» довольно легко отделались от первого вражеского налета. Оккупантам, совершавшим, по видимому, один из глубоких танковых обходов, было не до скота. Ущерб гуртам они нанесли лишь для острастки или и вовсе впопыхах. Да и что значили эти потери по сравнению с тем, что стадо вместе с обозом, со всеми сопровождающими его людьми оказалось в тылу врага, отрезанное от своих линией фронта!

Некоторое время Игнат Рубцов ошеломленно смотрел на свежие ступенчатые следы вражеских машин, изорвавших зеленый дерн лесной дороги, потом поднял кнутовище и дал знак людям собраться к его двуколке. Женщины бросились к нему, как бросаются овцы к пастуху при первых порывах ветра, предвещающего приближение бури. Хмуро оглядев столпившихся вокруг него, он просто спросил:

— Что будем делать?

Колхозницы молчали, жались друг к другу, переступали с ноги на ногу, вздрагивая от каждого далекого выстрела. В подавленной тишине было слышно, как на дороге голосила бабка Прасковья.

— Что же станем делать, граждане? — повторил Игнат Рубцов тем задумчивым тоном, каким спрашивают самого себя.

В ответ он услышал только вздохи.

Лучшая доярка Варвара Сайкина, обычно разбитная, острая на язык бабенка, шмыгнула носом и размазала ладонью слезы по запыленному лицу.

— Домой возвращаться надо, Игнат Савельич, раз такое дело, раз захлопнули нас, как мышь в мышеловке!.. Что же еще? — тихо сказала она, неуверенно оглядываясь на притихших подруг.

Толпа вздрогнула, шевельнулась. Еще громче, еще надрывнее запричитала на дороге старуха. Сайкина вздохнула тяжело, шумно.

— Сколько голову ни ломай, больше ничего не придумаешь. Фашист нам путь перешел,— выходит, такая уж судьба.

Сайкина заплакала, запричитала, и вслед за ней заплакали на разные голоса стоявшие возле нее доярки, скотницы, телятницы, заплакали, приговаривая, как в былые дни на похоронах:

— Горькие мы, разнесчастные... Куда мы теперь, кому мы теперь нужны? Закатилось наше солнышко, не видать нам бела света...

Рубцов молчал, играя скулами. Старый шрам, оставленный кулацкой пулей, надулся и побагровел, что всегда служило у председателя признаком крайнего волнения.

Много сложных поворотов в артельной жизни пережил старый колхозный вожак. Казалось, не было трудности, которая поставила бы его в тупик: всегда он знал, что сказать народу. Но такой беды, такой ответственности никогда еще не сваливалось на его плечи.

Как поступить, что посоветовать всем этим испуганным женщинам, потерявшим голову?

В нем проснулся старый балтиец, времен штурма Зимнего. Опыта нет, сердце подскажет. Он обвел ястребиным взором всю эту плачущую, стонущую толпу.

— Смирно! Не реветь! В лесу и без того сыро.

И сразу слышно стало, как шумят под ветром сосны, как вздыхает и щиплет траву успокоившаяся и разбредающаяся по поляне скотина и как вдали кукушка задумчиво отсчитывает кому-то годы. Рубцов посопел незажженной трубкой. Час назад ему помешало закурить появление вражеских танков. С тех пор он и держал

трубку в кулаке, время от времени машинально посасывая ее.

— Так, стало быть, домой? Со всем скотом, чтоб на наших чистопородных коровушках фашист отъедался? Чтоб на нашем молоке-масле он сил набирался, чтоб твоего Федора, твоего Лукича, твоего Николая Степановича бить? Этого вы хотите?

Игнат уставился в широкое круглое лицо Сайкиной.

— Да пропадай он и скот в таком разе! — закричала, протолкавшись к председательской двуколке, бабка Прасковья. Черная от пыли и слез, простоволосая, с седыми распущенными космами, с исплаканным, исцарапанным лицом, стояла она в притихшей толпе, как живое олицетворение всеобщего горя.

Увидев Варвару Сайкину, старуха бросилась к ней.

— Это ты сказала, чтоб домой скот вести?

— А что делать? С этими вон рогатыми танками разве сквозь фронт продерешься? — отозвалась Варвара и тут же отпрянула, закрывшись руками.

Старуха плюнула ей в лицо.

— Вот тебе за такие слова, тварь бесстыжая! Они вон что, ироды, делают,— бабка Прасковья показала на остатки раздавленной подводы,— а мы их нашим колхозным добром кормить станем? Так? Ну, кто еще за то, чтоб домой стадо вести?

Женщины вздыхали, опускали взоры.

— А что поделаешь? К своим ведь не пройти. Что ж, коровам через фронт летом лететь? Не птицы! — тихо ответила Сайкина, предусмотрительно пятясь и прячась за спинами подруг.

— Резать скот — вот что! Пусть лучше вороны склюют, чем этим иродам германским нашим добром пользоваться! — выкрикнула бабка Прасковья.

Женщины даже отшатнулись от нее. Вот так, ни за что ни про что переколоть чудесное стадо, в которое каждая из них вложила столько трудов, забот, стараний! Разом уничтожить давнюю гордость и славу колхоза?! Самая мысль об этом показалась кощунственной.

— Ополоумела старая, такую скотину под нож!

— Кормили, холили, ночи не спали, как детей, вынянчивали.

— Матреша, Матреша, где ты? Слышишь, что она тут каркает?

Женщина бросилась к Матрене Никитичне.

— Хоть ты скажи ей!

Матрена Никитична не принимала участия в этом митинге. Когда танки налетели на гурт, она сорвала с телеги своих маленьких Иришку и Зою, отбежала с ними в сторону, прижалась к березе да так и застыла — бледная, окаменевшая. И теперь она не видела взоров, с надеждой обращенных к ней, не слышала вопросов. Она точно потеряла зрение и слух... «Фашист настиг!» Эта короткая страшная мысль подавляла в ней все. Ей казалось: жизнь кончилась. И она стояла в оцепенении, прижав к себе испуганных, притихших ребят.

Игнат Рубцов порывисто сипел незажженной трубкой. Ему, как и всем здесь, было страшно от мысли, что эти вот холеные коровы, с выменем тяжелым, как куль пшеницы, рекордистки, которых еще с весны с особой заботой готовили к Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, этот громадный курчавый бык Пан с красивой, надменной мордой, за которого колхоз получил уже две медали, эти тонконогие смешные телята — все это превосходное и славное стадо будет лежать вот тут, на опушке какого-то леска, добычей ворон и волков. Но что же, что можно сделать, если немецкие танки перешли дорогу?

Рубцов видел, как гнев, растерянность, ужас появились на лицах женщин от одного предположения, что скот придется уничтожить. Столько лет он сам терпеливо и упорно прививал всем им святую любовь к общественному добру! Сумел привить и гордился этим.

Сколько трудов, сколько благородного человеческого волнения, скольких светлых надежд заключено в этом стаде! И все — прахом, без всякой пользы! Душный клубок подкатывался к горлу председателя. Здесь, в лесу, ему не хватало воздуха. Он рванул ворот гимнастерки, и пуговицы, как переспевшие ягоды, посыпались на траву. Но как же быть? Нет, старая права! Партия приказала при вынужденном отходе войск не оставлять противнику ни килограмма хлеба.

— Так что же, фашистам отдадим скот? — крикнул он, стараясь придать своему голосу гневную твердость.

Колхозницы притихли. На Рубцова были обращены вопрошающие, молящие, испуганные глаза. От своего испытанного вожака ждали все эти женщины, девушки и подростки решения, ждали с надеждой, что он найдет какой-то иной, менее страшный выход. С трудом проглотив

подступавший к горлу горячий ком, Игнат Рубцов крикнул как можно громче и злее:

—Так нет же, не станет «Красный пахарь» фашиста кормить! Забить! Всех забить — и никакая гайка!

Вот тут-то точно проснулась от тяжелого сна Матрена Никитична. Она опустила на траву своих ребят, подошла к толпе, и женщины расступились, давая ей дорогу, с надеждой глядя теперь уже на нее. Она стала рядом со свекром, провела рукой по лицу, словно снимая с него невидимую паутину.

— Валяй, сношка, огласи, какое у тебя мнение по данному вопросу,— хрипловато выговорил Игнат и звучно щелкнул прутом по тугому хромовому голенищу. Он тоже с тайной надеждой смотрел на Матрену Никитичну.

Женщины тесно обступили ее, жадно задышали ей в лицо.

— Давай, давай говори!..

— А мое мнение такое: скот не забивать,— тихо, но очень твердо сказала женщина.

— И правильно... Ишь надумал, колченогий дьявол, забить! Мы этих телят только что не с рожка кормили... Забивать... У кого это рука подымется!

— А что делать? Кругом проклятый фашист,— тоже тихо, одними губами, прошептала бабка Прасковья и снова принялась всхлипывать и причитать.

— А мое мнение такое...— продолжала Матрена Никитична.— Сколько уж дней мы по лесам идем? Вон какие здесь леса-то — нехоженые, нерубленые, в иное место и солнышко луч не просунет. Мое мнение: угнать скот в леса подальше и ждать, пока наши вернутся. Ведь вернутся же они... Верно? Вот какое мое предложение будет.

Удовлетворенный шепот прошел по толпе. Как просто! Почему же это раньше никому не пришло в голову?

— Верно! — обрадованно воскликнул кто-то.

— Что верно? Где жить, что есть, чем скотину кормить будем? Еловы шишки грызть? Пеньками закусывать? — спросила по обыкновению во всем сомневавшаяся Варвара Сайкина. Но по ее сразу оживившемуся лицу было видно, что и она рада новому совету и возражает только по привычке противоречить.

Предстоящие трудности никого не пугали. Только бы сохранить всех этих коров, телок, бычков, лошадей, что, не ведая нависшей над ними угрозы, разбредясь по поляне, спокойно щипали траву.

— При коровах с голоду не помрем!

— А хлеб, а картошка? С берез сымешь? Чай, не телята — на одном молоке...

— На молоко и иной продукт у людей выменяем. Не пустыня.

— Правильное предложение, принимаем на все сто.

— Отсидимся в лесу, фашисту тут не век вековать.

— Ну, чего ты молчишь, председатель? Сношка-то вон умней твоего рассудила... А то — забивать!.. Придумал!

Рубцов хмурил лохматые брови. Предложение снохи открывало выход, не предусмотренный никакими инструкциями по эвакуации. Ничего не ответив, он вынул из-за голенища старую военную карту, выпрошенную у врача санбата, которому колхозники сдавали недавно очередной удой, разложил ее на сиденье двуколки и стал внимательно изучать. Дорога, на которой настигли их немецкие танки, прорезала на карте сплошную зелень лесного массива с редкими, заштрихованными голубым пунктиром пятнами болот.

А что, если и в самом деле послушать сноху?! Чем черт не шутит, может, и удастся сохранить стадо. Не удастся, найдет фашист — перебить скот можно в любую минуту. Благо на прощание секретарь райкома расщедрился и выдал на табор знаменитого колхоза несколько гранат да три старые английские винтовки из трофеев финской войны. На инструктаже в райкоме правда, строго-настрого, под ответственность коммунистов, наказывали, чтобы ни одной колхозной овцы противнику не оставлять. Но того, что случилось с табором «Красного пахаря», инструктаж не предусматривал. Да и что там говорить: не люди для законов, а законы для людей. А партия всегда учила большевика: дерзай!

Игнат Рубцов посмотрел на тех, с кем ему предстояло выдержать самое тяжелое испытание во всей его большой и сложной жизни. Разные это были люди. Почти все они в последние годы, когда в колхоз пришел достаток и трудодень стал полновесный, работали с огоньком, но не обходилось, конечно, без того, чтобы не пошуметь, не поссориться, не покричать. По плечу ли им перенести небывалые тяготы лесного сидения? И тут, в момент, когда старый большевик собирался впервые в жизни сознательно нарушить партийную инструкцию, увидел он на лицах всех этих скотниц, доярок, телятниц такое единодушие, что чутье организатора и массовика подсказало

ему: выдержат, любое испытание перенесут, костьми полягут, только открой перед ними надежду сохранить стадо!

Он еще раз взглянул на карту. Места подходящие, хотя немецкие танки, несомненно, засекли гурты, стадо и люди могут бесследно исчезнуть в лесах, как горсть муравьев в стогу сена.

— Давай сворачивай в лес, чего там бумагами затылок чесать, не в правлении сидишь!

— Резолюции писать некогда.

— Аль охота еще немцев дождаться?

— Председатель, исполняй, раз народ требует.

Колхозницы торопили. И хриплым от волнения голосом отозвался народу Игнат Рубцов:

— Воля ваша. Скот бить не будем!

Поручив нескольким женщинам помочь бабке Прасковье похоронить останки внучат, Игнат тронул гурты и на первом же перекрестке свернул на другую дорогу, перпендикулярно той, на какой их обогнали вражеские танки. Отойдя по ней километров десять, он перегнал скот через неглубокую речку и прямо с брода по просеке повел в глубь леса.

Сначала гурты двигались по заросшей травой зимней дороге, потом и вовсе по бездорожью. Все глубже и глубже уходили они в чащу заказника, отмеченного на карте сплошным размывом зеленой краски. Шли от зари до зари, но продвигались медленно, с трудом.

Пять дней тянулись люди и скот по лесу, по руслу высохшей речки, по бедным, тугим пескам, печально стонавшим под колесами телег. Иногда прорубали путь сквозь кусты, иногда гатили хворостом мочажинки, порой чуть не на руках перетаскивали телеги, скарб и телят через ручьи с неудобными крутыми берегами.

На шестой день они забрались в такую глушь, куда в мирное время заходили лишь охотники, да и то только в зимнюю пору. В глубоком овраге с крутыми скатами, густо поросшими кустарником, Игнат Рубцов выбрал место для лагеря.

4

Здесь, на необычном лесном новоселье, колхозники имели возможность еще раз убедиться в хозяйственных талантах и предусмотрительности своего председателя.

Собирая табор в путь, Игнат Рубцов постарался захватить с собой все, что могло понадобиться для жизни на новых местах в трудных военных условиях, когда гвоздь и тот стыдно просить у государства. На подводах оказался не только инвентарь фермы, необходимый для ухода за скотом, не только косы, грабли, серпы, нужные для заготовки кормов в пути, как того требовала райкомовская инструкция, но и сепараторы, маслобойки, формы для сыров, котлы, плотничий и слесарный инструмент, ящики с гвоздями, мотки проволоки и многое другое, что необходимо было для организации жизни на новом месте. Уже в последнюю минуту Рубцов бросил в одну из телег оборудование легкой походной кузницы, какую обычно давал в дорогу бригадам, отправлявшимся на косьбу на дальние пустоши.

Все это было теперь кладом. Как только остановились, подводы и гурты были собраны в овраге, председатель сменил суконную гимнастерку и военные шаровары на брезентовый комбинезон тракториста, в котором дома ковылял обычно в страдную пору по токам да по машинным сараям. Он был хорошим хозяином и считал, что раз решено зимовать в лесу, то благоустраиваться надо прочно и обстоятельно, что бы там ни происходило кругом.

Для начала он организовал работы. Создал бригады скотниц, доярок. Бабку Прасковью назначил главной телятницей, отрядив ей в помощь всех мало-мальски пригодных ребят и девчонок. Из старших мальчиков сколотил звено конюхов и поставил во главе его пятнадцатилетнего брата Варвары Сайкиной. Десять самых сильных и самых сметливых женщин назначил в строительную бригаду. Старшей над всеми животноводами и конюхами определил сноху; строителей возглавил сам.

Старый балтийский матрос, не имевший в доколхозные времена клока земли и перебивавшийся в родном селе то плотничьим, то столярным, то слесарным делами, Игнат Рубцов слыл мастером на все руки. Бывало, в первые дни «Красного пахаря» увидит он в поле, во дворе или на колхозной службе лентяя либо неумеху, вырвет у него инструмент да, поплевав на руки, такую покажет работу, что лентяю тоскливо станет от стыда и унижения. И будет лентяй под насмешки окружающих неловко толкаться возле своего председателя, смотреть на него жалким взглядом да робко тянуть руку к инструменту. И что бы то ни было — топор ли, пила ли, коса, ручка сепара-

тора или лопата... даже баранка трактора или тонкая стеклянная пипетка в хате-лаборатории,— все это как-то очень ловко ложилось в большие руки председателя, и, что бы он ни делал, работа шла у него легко, споровисто.

За несколько дней были устроены в овраге загоны для скота, накопаны в левом крутом его берегу землянки, их покрыли накатником из тонких бревен, а поверх еловыми ветвями, землей и дерном. Каждая семья получила по такой землянке. Для удобства разместились побригадно, гнездами. Справившись с этими неотложными делами, строители начали валить лес и копать в откосе оврага хлевы на зиму.

С первых же дней жизни в лесном овраге был восстановлен учет трудодней, и строго по трудодням отпускала Варвара Сайкина молоко, творог и сметану со склада, разместившегося в тени огромной шатровой ели. Это возрождение в столь необычных условиях привычных порядков сплачивало людей, заряжало их уверенностью, помогало переносить тяготы и невзгоды необычного бытия.

После первых хлопот по лагерю Матрена Никитична занялась своим жильем. Она сама расширила землянку, выкопала в стенах широкие ниши, поставила туда козлы и на них из жердей и елового лапника устроила постели для себя и ребятишек. Чтобы стены, высохнув, не осыпались, она укрепила их плетнем из веток. Ящик, в котором везли отруби для телят, приспособила вместо стола, застлала его скатеркой, поставила вокруг кряжистые чурки. Когда благоустройство землянки было завершено, она стала разбирать чемодан и очень обрадовалась, обнаружив на дне его старый номер «Огонька», в котором был помещен очерк о «Красном пахаре». На первой странице журнала был портрет Михаила Ивановича Калинина. Она вырезала портрет и прикрепила на стене землянки. Отошла к входу, довольным взглядом окинула свое новое жилье. Все стояло на своих местах и даже выглядело уютно. И от странного этого уюта у женщины сразу полегчало на душе.

На следующее утро, когда семья уселась за импровизированный стол пить чай, вскипяченный в закоптелом котелке, маленькая Зоя заявила, что в лесу ей больше нравится, а старший Володька пожалел только, что нет радио...

Матрена Никитична вспомнила свой золотистый, еще

пахнущий смолой и свежим деревом дом и вздохнула. Но горевать было некогда. Хозяйство в необыкновенных лесных условиях непрерывно требовало рук и глаз.

5

Дела в лесном таборе шли в общем-то неплохо. Только корма вызывали постоянное беспокойство Матрены Никитичны. В свободные часы, когда стадо паслось на лесных выгонах, доярки и скотницы косили сено на болотных лужках. Ребята сушили его, метали копны. Но кос было взято с собой всего девять штук, лето шло на убыль, и при самом самоотверженном труде косарей нельзя было надеяться, чтобы удалось заготовить сена, сколько нужно на зиму для такого стада да еще для изрядного табуна коней.

Над той же заботой ломал голову и Игнат Рубцов. Иной раз, когда лагерь уже спал и тишина в овраге нарушалась только звоном сосен да писком комаров, он сползал с лежака, устроенного им из пружинистых ореховых жердочек, зажигал светец, сделанный из насаженных на палку скрученных highлбересточек, и при чадном, неярком пламени подолгу изучал карту.

Да, место для лагеря было выбрано ловко. Тут не в чем себя упрекнуть. Безлюдье, дорог близко нет, овраг разве только с неба заметить можно, да и на этот случай приняты меры: землянки копали под соснами в зарослях кустов, и кусты эти трогать было запрещено. Но есть уязвимая сторона: далеко от жилья. Ни новостей узнать, ни обменять молочные продукты на хлеб, картошку, крупы. Взятое из дому у людей кончалось, и как ни изобильно выдавались со склада молоко, творог, масло, русская душа начинала тосковать по хлебу, по котелку щей, по чугунку свежей, рассыпчатой, дымящейся картошки. Но и это, в конце концов, не страшно. Люди не то готовы были перенести, когда решили прятать стадо. Корма, корма. Вот главное! Страшно подумать, что зимой береженый скот начнет на глазах падать и сохраненное от стольких опасностей стадо погибнет от бескормицы.

Рубцов смотрел на карту. Сплошная зелень да голубая штриховка болот. Даже и намека нет на близость человеческого жилья. Но так ли это? Не врет ли карта? Колхозному вожаку не верилось, что все эти огромные

лесные массивы с поемистыми речками, с хорошими лесными выпасами могли пустовать. Однажды, глянув на обрез карты, он заметил дату топографической съемки, напечатанную мелким шрифтом, и даже свистнул: «1929 год»! Явно: врет карта! Сколько воды с тех пор утекло!

И он решил обследовать близлежащие места, удобные для выпаса и покосов. Они не могли не привлечь внимание местных колхозных хозяев. Он наметил на карте несколько таких мест. Осматривать одно из них, лежавшее километрах в семи от лагеря, он отправился на следующий день вместе со снохой на своей двуколке. Они долго тряслись по лесному безлюдью, вдоль песчаного русла высохшей речушки. Когда речка повернула на запад, из-за поворота вдруг открылся перед ними вид на просторный заливной луг. Как гигантские муравьиные кучи, стояли на нем стога сена, порыжевшие от дождей. Рубцов нетерпеливо дернул вожжи. На рысях выкатил на поляну, по-молодому выскочил из двуколки и стал довольно раскуривать обгорелую трубку.

— Сорок два стога. Целое «Заготсено»! Живем — не тужим.

Матрена Никитична сунула руку в стог. Из-под верхнего слоя она вынула горсть глубинного сена, помяла, понюхала, даже куснула травину. Сено было хоть и не свежее, прошлогоднее, но хорошее, луговое, не пылило и не трусилось. Умелый хозяин, должно быть, метал эти стога.

— Ничего, правильное сено. И его, пожалуй, нам хватит. Только с кем за него рассчитываться, чье оно?

На опушке заметил Игнат Рубцов просторный, крепко рубленный из толстых бревен сарай под крышей из драни, и уже родилась у него мысль: сарай этот разобрать, поднять да перевезти в овраг.

— Все наше, советское,— ответил он снохе, хозяйственно осматривая пронзенную солнечными лучами полутьму просторного сеновала.— С Советской властью и квитаться станем. Раз немец сюда пришел, мы с тобой, поскольку мы неоккупированный колхоз, всех богатств наследники. А наши придут — посчитаем, кто кому что должен.

Игнат бойко ковылял по лужку, с довольным видом сосал трубку, щупал сено, прикидывал, как лучше к нему из леса на телегах подъезжать, и все бубнил:

— Дело, дело!..

Это был, должно быть, глубинный сенопункт какого-то совхоза или воинской части, глубокий резерв большого хозяйства, забытый при эвакуации. Даже колеи дороги, ведущей к стогам откуда-то с юга, уже успели зарасти подорожником, муравой, тмином. Это особенно радовало Игната; значит, враг дороги сюда не найдет: «Добре, добре, граждане! А пока они обнюхаются да прознают от кого-нибудь о сене, оно уже будет тю-тю! И сарайчик тоже. И самый след дождем смоет».

Хвост голубоватого едкого махорочного дыма неотвязно тянулся за Рубцовым. В голове роились всяческие интересные планы. Не любя откладывать дела в долгий ящик, он хотел уже садиться в двуколку и спешить звать людей, но его остановил взволнованный шепот снохи:

— Папаня, кто-то там, в стожке... Слышите?.. Ворошится.

Встретиться с кем-нибудь здесь, у сенных запасов, не входило в планы Рубцова. Он молча подтолкнул сноху к таратайке и жестом приказал ей садиться. Но тут до них со стороны ближнего стога явственно донесся стон. Жалость к неизвестному, которому, вероятно, требовалась помощь, победила хозяйственные соображения. Женщина подбежала к стогу и в глубокой яме, выдавленной в сене, увидела худого старика. Он лежал на спине и тяжело, порывисто дышал, тоскливо глядя перед собой воспаленными, лихорадочными глазами.

— Муся, Муся же! — нетерпеливо звал старик, принимая Матрену Никитичну за кого-то другого.

— Папаня, тут человек!..— крикнула женщина свекру, который, стоя возле таратайки, настороженно посматривал на сноху.— Он помирает.

Игнат Рубцов поспешил к стогу.

А старик дышал уже с трудом. Он то звал Мусю, то принимался заклинать ее что-то куда-то доставить. Он был в бреду и на вопросы не отвечал. Молча стояли над ним сноха и свекор, понимая, что этому человеку в их положении ничем уже не поможешь.

Заметив в сене котелок, Матрена Никитична высыпала из него ягоды, сбегала на речку за водой. Тем временем Игнат расстегнул старику ворот гимнастерки, распустил ремень. Помочили умирающему вспотевший лоб, положили мокрую тряпку ему на сердце. Больной

очнулся, слегка приподнялся на локте и жадно прильнул к воде. Он глотал шумно, острый кадык его двигался под заросшей жесткими волосами кожей.

Оторвавшись наконец от котелка старик открыл глаза, увидел над собой два незнакомых лица и испуганно отпрянул.

— Кто? Вы кто? — хрипло спросил он и дрожащей рукой стал судорожно шарить подле себя.

— Все мы люди, все человеки,— неопределенно ответил Игнат, которому этот жест не понравился.

— Вам бы лежать спокойно, а не за оружие хвататься,— добавила Матрена Никитична, следя за руками незнакомца.

Умирающий грустно улыбнулся и сложил руки на груди.

— У меня нет оружия, — сказал он так тихо, что слова эти не столько были услышаны, сколько угаданы по движению губ.— Вы не знаете... где Муся?.. Худенькая... русая девочка... на ней костюм... лыжный...

Матрена Никитична отрицательно покачала головой. Старик опять захрипел, заметался, руки его точно пытались разорвать грудь. На лице выступили крупные капли пота. Он задыхался и, должно быть, последним усилием уходящего сознания успел прошептать:

— Воды.

Когда он снова пришел в себя и в его помутневших глазах забрезжило осмысленное выражение, он посмотрел по очереди сначала на Матрену Никитичну, которая, по-видимому, внушала ему больше доверия, потом на Игната Рубцова. Умирающий словно изучал этих незнакомых людей. Потом еле заметным кивком головы он попросил колхозницу наклониться. Та опустилась на колени, почти приникла ухом к его посиневшим, шелушащимся губам.

— Муся Волкова где-то...— чуть слышно шептал старик.— Мы шли к своим... Сено, сено... Мешок, там ценности... огромные... городского банка... государственные... вот не донес...— Вдруг каким-то последним усилием воли он приподнялся на локте и ожившими на миг глазами опять посмотрел на сноху и свекра.— Поклянитесь... донести туда,— он повел глазами на восток,— сдать... словом честного человека поклянитесь... Скажите: «Клянусь!»

Пораженная вспышкой страстной, упрямой воли в этом полумертвом, холодеющем теле, Матрена Никитична взволнованно прошептала:

— Клянусь!

— И вы! И вы! — настаивал умирающий, требовательно смотря на Рубцова. Видно было, что он расходует последние силы, чтобы удержаться на локте.

— Что ж, коли так, дело святое: клянусь! — ответил старый балтиец и даже вытянулся по-матросски, произнося это слово.— Чьи ценности?

— Государственные,— прошептал умирающий, бессильно падая на спину.

Жизнь уже ушла из его глаз, но рука все еще шарила в сене. Матрена Никитична взяла эту уже холодеющую руку, и ей почудилось, что еле ощутимым, как вздох, движением пальцы старика пожали ее ладонь. Женщина наклонилась к губам умирающего и скорее угадала по их движению, чем услышала, что он хочет, чтобы они подождали какую-то Мусю.

— Где она? Куда она ушла?

Но старик уже вытянулся и лежал прямой, строгий, с успокоенным выражением на лице. Игнат медленно стащил с головы свою заскорузлую кожаную фуражку.

6

Рубцовы молча отнесли тело в сторону, в тень молодых березок, прикрыли ветвями.

— Приняли волю, надо исполнять, как приказано,— сказал наконец Игнат Рубцов.

Вид у него был задумчивый.

— Видать, деньги казенные нес,— шепотом, точно боясь потревожить покой лежащего на траве старика, предположила Матрена Никитична.

— Пойдем наследство принимать,— тоже тихо ответил свекор.

Они остановились у растрепанного стога.

— О мешке каком-то говорил. И все рукой шарил. Уж не его ли искал? Только чего-то не видно никакого мешка: вот ведерко, вот картохи в тряпице. Больше, похоже, ничего нет.

— Надо в сене пошарить,— посоветовал Игнат Рубцов каким-то несвойственным ему глуховатым голосом.

Бывалый человек, немало видел он смертей на своем веку. Умирали у него на руках в империалистическую и в гражданскую войну боевые товарищи, принимал он последнюю волю от дружка своего, сельского активиста, сраженного в 1927 году пулей, пущенной из кулацкого обреза. Колхозники из «Красного пахаря», да и из соседних артелей, когда подходил их смертный час, часто посылали за Игнатом Рубцовым, человеком верным и справедливым, чтобы ему сказать свое завещание. Но смерть этого незнакомого старика потрясла даже и Игната.

Молча разрыли Рубцовы стожок, откопали сначала рюкзак со скудным запасом еды, походной посудой да девичьими пожитками, а потом, уже на самой земле, покрытой редкой, желтой, без солнца выросшей травой да гранатово блестевшими земляными червями, нашли тяжелый, крепко завязанный мешок.

Стали развязывать. Матрена Никитична, помогавшая зубами растащить неподатливый узел, первая заглянула в мешок. Заглянула и отскочила, будто увидела там клубок змей. Игнат нагнулся и только головой покачал. Подняв мешок, встряхнул на руках, прикидывая на вес, поставил на траву и с удивлением посмотрел в сторону березок, под которыми лежало тело старика.

— Да на это два таких стада, как наше, пожалуй, купить можно, — выговорил он наконец, рассматривая какой-то кулон, сверкавший крупными, с добрую горошину, брильянтами.— Ну и ну!.. Ай да старик!.. И как он волок такую тяжесть!

Матрена Никитична, присев на траву, с удивлением перебирала драгоценности. Ее поражал не только самый клад, найденный ими в стогу, но еще больше — человеческая сторона, видимо, необычайной истории этого сокровища. Не могло быть сомнения, что неизвестный старик и какая-то девушка Муся уносили эти драгоценности с занятой врагом территории. Ничего другого тут нельзя было предположить. Но как такое богатство попало в руки этого немощного человека? Откуда оно взялось? Кому он обещал, что сохранит и донесет эти ценности?

Роясь в мешке, Матрена Никитична наткнулась на какие-то бумаги, свернутые в тугую трубочку, перевязанную шнурком от ботинок. Игнат развернул сверток, прочел вслух заглавие описи, перелистал страницы, нашел

дату, и только тут, вполне уразумев, что два неведомых человека хранили и несли сокровище, которое им никто не поручал, о существовании которого там, за линией фронта, быть может никто даже и не знает, понял он все величие бескорыстного подвига этих людей.

— Папаня, это ж наши, из нашего городского банка. Они столько же, сколько и мы, прошли,— задумчиво произнесла Матрена Никитична.

Игнат опять стащил с головы порыжевшую, потрескавшуюся кожаную фуражку.

— Настоящая большевистская душа! — торжественно сказал он, глядя на покойного Митрофана Ильича Корецкого.— Крепкий большевик был.

Так после своей кончины назван был беспартийный человек, всю свою долгую жизнь скромно, незаметно проработавший у банковских касс.

7

Уложив мешок с сокровищем в плетеный кузовок двуколки и оставив сноху у тела покойного дожидаться неизвестной, неведомо где пропадавшей Муси, Игнат Рубцов уехал в лесной лагерь за колхозницами. Под вечер явились женщины с лопатами. Могилу вырыли на краю поляны под самой высокой сосной, пышная зеленая вершина которой первой в лесу принимала лучи восходящего солнца и последней освещалась угасающим закатом. Тело обернули в старенькую простыню, на грудь покойнику положили полевые цветы.

Игнат Рубцов не утаил от колхозниц, кем был этот старик, что нес он с собой и какую волю выразил в свой смертный час. Обряжая перед погребением его тело, женщины поглядывали на покойника с уважением, к которому примешивалось удивление.

Наступила ночь, а Муси все не было. Похороны решили отложить на завтра. Колхозницы, поужинав, устроились на ночлег в одном из стогов.

Но плохо спалось им в эту ночь. Острый серпик молодого месяца, поднявшийся над лесом, наклонившись над поляной, щедро осыпал холодным серебром потемневший лес, смолкший луг, шапки стогов, и все это лоснилось под его лучами. У деревьев улеглись черные тени. Кузнечики пиликали так старательно и самозаб-

венно, что казалось, будто звенит сама эта летняя душистая ночь.

Невдалеке под березами белел полотняный саван непогребенного старика. Женщинам невольно думалось об этом человеке, потом мысль перекидывалась к мужьям, что дрались с врагом где-то там, на фронте. Вспоминали о своих гнездах, оставленных без призора далеко позади, тягуче вздыхали. Может быть, для того чтобы отогнать тревожные думы, рассказывали разные истории о кладах, о крови и преступлениях, с которыми всегда связывалось в народном представлении приобретение богатства. Под рассказы эти стали уже понемногу засыпать, но кто-то завел речь о сене, и все сразу оживились. Эти стога казались всем куда более ценными, чем неожиданно найденный мешок. Золотом скот не прокормишь, а тут уйма сена. Теперь не страшна табору и самая лихая зима. А там, глядишь, и родная армия вернется, выручит из беды. Хозяйственные разговоры затянулись за полночь и все уснули уже перед рассветом.

А утром, когда заморосивший на заре дождик прохладным своим дыханием разбудил женщин, появилась Муся и от незнакомых этих людей узнала тяжелую весть. Но лишь когда над свежей могилой уже поднялся рыжий холмик и влага, капавшая с ветвей высокой сосны, покрыла песок прихотливым тисненым узором, девушка по-настоящему ощутила всю глубину утраты, поняла, кого она лишилась, почувствовала себя беспомощной, одинокой, и крупные слезы беззвучно побежали наконец по ее загорелым, шелушащимся щекам.

— Поплачьте, поплачьте, милая, слезой любое горе исходит,— говорила Мусе Матрена Никитична, и в ее черных с темной поволокой глазах тоже блеснула влага.

Остальные женщины со скупой деревенской чинностью вытирали слезинки кончиками головных платков.

Муся посматривала на них, стараясь угадать, с кем столкнула ее судьба. Особенно поразил девушку коренастый пожилой мужчина в старой, порыжевшей, потрескавшейся кожанке. Он стоял у могилы вытянувшись, как солдат на часах, держа фуражку в согнутой левой руке.

— Кто вы, товарищи? Партизаны? Да? — спросила Муся.

Ее впечатление, что эти неизвестные ей люди так участливо разделившие ее горе, чем-то отличались от

всех, кого до сих пор встречала она, бродя по тылам немецкой армии, укреплялось, вырастало в уверенность. Это была не внешняя, а внутренняя, незаметная для глаза и в то же время очень ощутительная разница. Сама еще хорошенько не зная почему, Муся после долгих недель постоянной звериной настороженности чувствовала себя среди этих людей хорошо и легко.

— Как вы сюда попали? Что вы здесь делаете?

— У здешнего лешего трудодни зарабатываем,— усмехнулась Варвара Сайкина.

Вот тут-то, еще раз взглянув на пригожее, умное лицо своей новой знакомой, Муся наконец вспомнила, что незадолго перед самой войной видела она в журнале кинохроники, как эта статная красавица в белом халате, похожем на докторский, водила по каким-то длинным помещениям, где стояли сытые пятнистые коровы, экскурсию крестьян и агрономов из соседней, только что присоединившейся к Советскому Союзу прибалтийской республики.

Историю лесного табора Муся узнала от Матрены Никитичны уже по пути в лагерь. Женщины шли тесной стайкой, говорили что-то совсем обычное о найденном сене, о том, чем заменить отруби в телячьих рационах, о каких-то коровьих болезнях с неведомыми Мусе названиями, и вид у них был будничный, деловой, как будто двигались они не дремучим лесом в глубоком вражеском тылу, а в летнюю страду возвращались вечером с поля. И девушка наслаждалась давно забытым чувством покоя.

Должно быть, оттого, что разрядилось наконец постоянное нервное напряжение, Муся почувствовала, как она устала. Она еле волочила ноги и мечтала поскорее добраться до места, лечь и заснуть, заснуть, ничего не остерегаясь, заснуть среди своих.

Девушка плохо помнила, как они дошли. Только серые, прямые, пушистые, как лисий хвост, дымы, вставшие вдруг перед ней по краям затененного деревьями оврага, запали почему-то в память. Не успела она удивиться, что люди здесь не боятся жечь костры, как послышался лай собак, и целая стая их, сопровождаемая мелкой ребятней, вырвалась из-за деревьев, с шумом покатилась за лошадью и таратайкой, в которой ехал хромой человек в кожанке.

Почувствовав себя совсем дома, Муся присела под деревом завязать шнурок на ботинке. Потом не заметила,

как прилегла на мягком, сыроватом, отдававшем лесной прелью мху, и больше уже ничего не видела, не слышала ни в этот, ни на следующий день.

8

Проснулась Муся только на третьи сутки в полдень, проснулась бодрая, с легкой, отдохнувшей душой. Где она? Жаркие солнечные лучи, бившие в узкий ходок, освещали в глубине землянки небольшой портрет Калинина, укрепленный на задней стене. На столе в банке из-под консервов стояли голубые крупные лесные колокольцы, казалось еще хранившие влагу в своих узорчатых раструбах. Девушка вспомнила: «Я у своих!» Некоторое время она лежала неподвижно со счастливым сознанием, что наконец-то окончился ее тяжелый и опасный путь, что уже не нужно настораживаться при каждом шорохе.

А снаружи вместе с мягким шепотом сосновых вершин, к которому ее ухо уже так привыкло, что воспринимало его как тишину, доносились самые обыденные, но такие дорогие ей теперь звуки деревенского полдня: ленивое мычание сытых коров, озабоченное блеяние овец, звон подойников, ритмичный стук молотка, отбивающего косу, удары топора, повторяемые звонким эхом.

Под потолком гудела большая синяя муха.

Муся неподвижно лежала на застланных хвоей нарах. Сердце билось от радостного ожидания, грудь жадно вдыхала жилые запахи землянки. Девушке думалось, что вот так должна, наверно, чувствовать себя рыба, полежавшая на песке и возвращенная волной прибоя обратно в родную стихию.

Вдруг она услышала приглушенный детский шепот:

— Глядит! Проснулась.

— Иришка, беги скажи мамане.

По ступенькам ходка быстро протопали легкие ножки. Потом совсем уже тоненький третий голосок спросил:

— Тетенька, ты верно проснулась?

Только тут поняла Муся, что «тетенька» — это она и есть. Ей стало весело. Она пружинисто села на своем лежаке. Ребята, как вспугнутые синицы, шарахнулись в противоположный угол землянки. Оттуда, из полутьмы, смотрели на Мусю две пары продолговатых черных с по-

волокой детских глаз, очень напоминавших глаза ее новой знакомой.

— Тетя, вы больше спать не станете? — спросил, осторожно выходя из угла, смуглый мальчик лет семи.

— А что? Тебя как зовут?

— Володя. Мать велела вам, как проснетесь, садиться есть.

Володя хозяйственно снял полотенце, закрывающее что-то на столе, и перед Мусей оказались миска с желтым варенцом, котелок молока и маленький ломтик хлеба. Она жадно принялась за еду. Девочка, которую звали Зоей, тоже вышла теперь из своего угла. Она была упитанная, розовая, походила на морковку-каротельку.

— Ты теперь у нас жить будешь? — осведомилась Зоя.— Тетя, а верно, ты клад нашла?

Наслаждаясь едой, Муся вяло подумала, что даже вон малыши и те уже знают о существовании ценностей. Но сейчас же отогнала зародившееся в ней опасение. Здесь все свои! Зачем от них что-нибудь скрывать?

По земляным ступенькам снова затопали босые ножки. Вслед за быстрой Иришкой, отличавшейся от сестры и брата своей курносой, некрасивой, густо поперченной веснушками рожицей и белизной волос, туго заплетенных в две тоненькие косички, спустилась в землянку сама Рубцова.

— Разбудили они вас, бесстыдники... Ведь говорила же им! — произнесла она своим звучным грудным голосом.— Да уж и верно — пора. Ох, и спали же вы! Даже не слышали, как мы вас сюда перенесли... Гляжу на вас — спит, хоть из пушек пали... Как это вы по дороге груз-то свой не проспали?

Муся хотела было сказать, что все недели блуждания по лесу она ни разу всласть не выспалась, но, вспомнив все, только прижалась к Матрене Никитичне и, зарыв лицо у нее на груди, заплакала шумно, по-детски.

— Ну вот те и раз! — удивилась та.— А ну, повертывайте барометр на «ясно» да управляйтесь с едой. Председатель наш, свекор мой, все вон возле землянки кружит, не терпится ему о кладе вашем потолковать.

Девушка быстро оделась. Хозяйственная Матрена Никитична заблаговременно достала из ее мешка одно из платьев, и оно успело проветриться и отвисеться.

Но, странное дело, в этом собственном своем платье, которое несколько недель назад было ей как раз впору, Муся чувствовала себя теперь неловко, непривычно; оно точно стало ей мало и связывало движения. Робко выбравшись на воздух, Муся зажмурилась от брызнувших ей в глаза сверкающих красок ясного полдня. Потом она увидела уже знакомого ей мужчину со шрамом на щеке. Он стоял в нескольких шагах у костра с раскаленным железным прутом в руке и с любопытством смотрел на нее из-под серых кустистых бровей, похожих на клочки древесного мха. На нем был старенький комбинезон.

Не выпуская из правой руки раскаленного прута, он левой крепко пожал руку Мусе и точно со дна бочки пророкотал:

— Игнат Рубцов из «Красного пахаря».— И добавил: — Может, слыхали? Земляки ведь вроде...

Ладонь у него была жесткая, как подошва.

Не дождавшись ответа, он наклонился к треугольной пирамидке, не без искусства вытесанной из крупного дубового чурбана, и, видимо продолжая прерванное занятие, стал выжигать на ней надпись. Муся прочла: «Здесь погребен советский гражданин Корецкий М. И., геройски погибший на посту в борьбе за со...» Мужчина продолжал выжигать буквы, пока прут не остыл. Тогда он сунул его в костер, подбросил сушняка и вдруг улыбнулся широкой улыбкой, неведомо откуда появившейся на крупном, обветренном лице.

— Отоспалась странница? Чай, о мешке своем беспокоишься? Не беспокойся, у меня мешок, ни порошинки не пропадет... Ну, пшено, брысь отсюда! — цыкнул он на внуков. Потом, подождав, пока стихнет топот босых ножек, показал на дубовое бревно, от которого был отпилен кусок для обелиска.— Садитесь, товарищи женщины.— И когда они сели, добавил тоном, по которому стало ясно, что он привык и умел командовать: — Мы с Матреной — члены партии. Садись и докладывай нам все по полной форме.

Муся принялась рассказывать историю скитаний, а Рубцовы слушали и сочувственно кивали головами. Когда девушка честно поведала им о спорах с покойным из-за того, стоит ли нести сокровище и не лучше ли его зарыть в укромном месте до возвращения Красной Армии, и дальше описала, как по настоянию ее спутника

шли они, сторонясь людей, через лесные чащи, затрудняя тем самым свой путь, Игнат Рубцов, усмехнувшись, перебил:

— Вот и сразу видать, кто из вас когда родился... Что ж, по первому делу он прав. В военное время гайка и та не должна на дороге валяться. А тут такие ценности! Да на то, что вы тащили, сейчас столько оружия купить можно! А ты — зарыть... А по второму делу дал промашку старик. Ты права. Советского человека и в фашистском тылу обходить нельзя. Наш человек в честном деле всегда помощник... Ну, говори, говори, перебил я тебя...

А когда рассказ девушки дошел до того, как, утопая в болоте, Митрофан Ильич сначала привязал к протянутой ему жерди мешок, старый балтиец победно поглядел на собеседницу, будто речь шла о его собственном поступке.

— Вот оно как у нас! — И обратился к снохе: — Расскажи о нем своим телятницам да дояркам, пусть знают, как социалистическую собственность-то блюсти.— Рубцов задумчиво пошевелил в костре железный прут.— Да, добрый дядька был! Только вот напрасно людей чурался... Это зря,— должно, с царских времен дрожжи еще бродили. Тогда только тот и жил, кто зубы умел скалить. Один человек, красавицы мои,— дерево в поле. Чем оно выше поднялось, тем скорее его ветер повалит... А колхоз — бор. Част бор — любой шквал остановит, любая буря его облетает...

Он встал, вынул из костра зардевшийся на конце прут и принялся оканчивать на грани обелиска слово «социализм». Потом, когда железо опять посинело и из-под него перестал виться острый дымок, Игнат выпрямился и вздохнул:

— Ну что ж, красавица, отдохни тут у нас малость, молочком отпейся, а там дадим тебе верного напарника — да и в путь. Старику твоему слово дано как можно скорее ценности Советской власти доставить.

Муся невольно прижалась к Матрене Никитичне. Как?.. Неужели опять в этот страшный путь, опять чувствовать себя травимым зверем, спать вполглаза, быть вечно настороже?

— А может быть, война скоро кончится?

— Нет, конца не видать. Далеко до него. Не настал, видно, еще наш денек,— вздохнул Игнат Рубцов.

— И когда он только наступит? — с тоской проговорила Матрена Никитична. Как подумаю, что они уже за рекой и еще чьи-то поля топчут, чьи-то дома жгут... Что же мы их пускаем, что ж это армия-то делает?.. Подумать страшно, сколько земли, сколько людей наших под ним!..

Часто задышав, она закусила губу и отвернулась. Снова сунув в костер железный прут и задумчиво глядя на то, как перебегают искры по синей окалине нагревающегося металла, Рубцов забасил:

— Был я в прошлом году на Октябрьскую в гостях у шефов наших на паровозоремонтном заводе. Видел, как там в одном цехе из стали здоровенную пружину для паровозных рессор гнули. Добела брусок раскалят и завивают. Если сталь хороша, чем больше пружину гнуть, тем упруже она, тем больше в ней силы. И такую мощь она в конце концов набирает, что паровозище — вон он какой, а она его держит. А уж если ей разогнуться — все кругом разнесет.

— То пружина... Ты это, папаня, к чему?

— А все к тому: чем больше я о войне думаю, тем больше мне та пружина вспоминается. Вот Наполеон нас жал, гнул, мы сжимались, сжимались, а как разжались, от Наполеона одна вонь пошла. Вот и думка у меня о пружине. Чую я в отходе нашем великую хитрость и победу нашу вижу. С боями отходим. Кровью исходит враг. Сколько его уже перемололи! Сжимается, сжимается пружина, а разожмется — и нет гитлерии, и от Гитлера грязных порток не сыщешь. Вон у нас какие люди! — Игнат показал корявым пальцем на незаконченную надпись на обелиске.— Вот помянете мои слова, разогнется пружина — и полетят фашисты от нас, уж так полетят! Только вопрос — будет ли кому лететь-то? Уцелеют ли?

— Скорей бы! — воскликнула Муся.

Слова этого сельского коммуниста как-то по-новому осветили для девушки страшные картины: горящий родной город, трупы на дорогах, толпы бескровных беженцев, уничтоженные деревни.

— А может, еще и союзники хоть сколь-нибудь подсобят,— сказала Матрена Никитична.— Этот... как его... ну, Черчилль-то... до победы ведь воевать обещал... Сильная нация.

— Обещал! Черчилль!.. Да знаешь ли ты, кто он такой есть? Ага, не знаешь, а я знаю, я с восемнадца-

того года помню, какой он мне друг.— Рубцов хлопнул себя по хромой ноге.— Вот он мне памятку на всю жизнь под Мурманском подарил. Нет уж, сношка, туда не гляди, ворон ворону глаз не выклюет. Рук своих не жалей; вот на что у нас надежда — на руки на наши да на большевистскую партию... Больше никто нас не спасет: ни бог, ни царь и ни герой.

Рубцов набил трубку и закусил ее желтым крепким зубом. Потом занялся выжиганием и молчал, пока не окончил дела. Тогда он отложил железный прут, раскидал костер и, довольно посмотрев на законченный обелиск, сказал:

— Ну, заболтался я с вами. Прощай, красавица, отдыхай тут да о пути подумывай.

Прихрамывая, он проворно сбежал по склону на дно оврага и скрылся в кустах. Вскоре издали донесся его рокочущий бас, по интонациям которого угадывалось, что председатель кого-то распекает.

— Опять идти...— с тоской сказала Муся, поглядывая на еще курившуюся дымкой гарь раскиданного костра.— Как подумаю... Лучше б мне тут, среди вас, умереть...

— И когда все это кончится? — отозвалась Матрена Никитична, аккуратно затаптывая каждую дымящуюся уголинку.— Может, мой Яша уже лежит где-нибудь на поле мертвый, солнце его печет, ворон над ним кружит и мух с него согнать, глаза ему закрыть некому... Я б этому Гитлеру горло зубами перегрызла!

Матрена Никитична почти выкрикнула последние слова. Странно было видеть эту женщину взволнованной. Что-то напоминало в ней сейчас большую плавную реку, которая, переполнившись дождями, вдруг изменила своему спокойному течению, забурлила и вышла из берегов.

— «И куда он ушел, фронт?.. Сколько за ним идти придется?» — думала свое Муся.

— А то, слышь, иной раз видится мне: сидит он под кусточком раненый, кровь из него хлещет, губы запеклись, зовет... А кругом люди сражаются, не до него; а он все зовет, зовет, а над ним только злые мухи жужжат... Нет, скажи мне сейчас: брось все, Матрена, ступай на войну в сестры! Все бы бросила — детей, хозяйство — и пошла бы... Не своему, так другим помогла бы... И еще...

— Мотря... Никитична! — позвал откуда-то сверху высокий женский голос.

Женщина встрепенулась, вытерла ладонью глаза и стала обычной, точно прошел поток поднятых дождями вод, вошла река в свои берега и по-прежнему плавно стало ее течение.

— Иду, иду! Минуты без меня не можете... Понадоблюсь вам, Муся,— возле коров ищите. А то Володьке или Иришке накажите, они найдут...

Матрена Никитична легко взбежала вверх по дорожке, пробитой меж кустами ольшаника, и уже оттуда, из-за гребня откоса, донеслись ее слова, обращенные, по-видимому, к Мусе:

— А он верно говорит, свекор, разогнется пружина... Ох и разогнется ж!..

9

Пока Игнат Рубцов одному ему ведомыми путями завязывал связь с внешним миром, добывал сведения о положении на фронтах и обдумывал маршрут, жила Муся Волкова в «Коровьем овраге», как прозвали в лагере колхоза «Красный пахарь» свое новое поселение.

Она быстро перезнакомилась со всеми жителями землянок, научилась отличать знаменитых коров-рекордисток и, на удивление всем скотницам, была мирно встречена маститым быком Паном, мрачный характер и злые повадки которого были в лагере так известны, что даже собаки обходили, поджав хвост, его огромную, мускулистую, налитую до краев дикой силой тушу.

Колхозный табор, осевший в глуши векового леса, произвел на Мусю поначалу странное впечатление. Удивительно было не то, что в этих нехоженых местах, где столетиями тишина нарушалась только птичьим писком, воем ветра да звериным ревом, жили теперь люди. Поражало Мусю, как быстро обжили они глухой овраг, как ревниво сохраняли здесь, в лесных пущах, свои привычки, принесенные с полей «Красного пахаря».

Утром, когда весь лес был еще полон розоватых сумерек и первые солнечные лучи, пробив древесные кроны, как золотые копья, пронзали туманную полумглу между деревьями, бригадиры поднимали людей. Суетня

умывающихся слышалась со дна оврага, где в камнях бежал небольшой родник. А на крутом берегу, где уже поднимался серый прямоугольник перевезенного сарая, как дятлы, долбили дерево топоры строительниц. Слышался дробный мелодичный звон. Это у дубового пня, к которому были пристроены тисочки и наковальня, Игнат Рубцов, зажав клещами малиновую железную полосу, ковал какую-то нужную в хозяйстве вещь, ковал лихо, с пристуком, с перебором. Ребятишки, по двое взявшись за ручки, крутили колесо походного горна.

С лужайки возле ручья, где в чугунных котлах варился общий завтрак, тянуло сытным духом. Подвывали центрифуги сепараторов, громыхали поршни маслобоек. В большой прохладной пещере под елью, где уже прочно поселились запахи молока, Варвара Сайкина, облаченная в белый халат, принимала у доярок пенистый, еще теплый удой. Особенно радовало Мусю, что в деловой суете лесного лагеря ничто не напоминало о грозной опасности. То был крохотный островок обычной советской мирной жизни на территории, где фашисты уже пытались вводить свои порядки.

Матрена Никитична, посмеиваясь, рассказывала както своей новой подружке, что только теперь, здесь, она по-настоящему узнала всех этих женщин, с которыми вместе выросла и работала столько лет. Люди тут стали рачительней, сплоченней, требовательней к себе. Должно быть, именно то, что здесь они с особой тщательностью соблюдали обычаи колхозной жизни, и помогало им переносить тоску по дому и тяготы лесного бытия.

Вскоре Муся перестала всему этому удивляться и сама втянулась в эту жизнь. Сначала она помогала кому придется, но скоро это ей надоело. Тем и крепок был созданный Игнатом Рубцовым лагерный уклад, что каждый здесь знал и делал свое дело. Поразмыслив, Муся пришла к председателю, который в этот момент с помощью старших ребят у походной кузницы нагонял обручи на рассохшуюся колесную втулку, и заявила, что не хочет быть дармоедом и желала бы по мере сил работать на каком-нибудь определенном деле.

Рубцов одобрительно глянул на девушку и, не бросая молотка, распрямил спину.

— А что нравится?.. Приглядись и приставай к любой работе, к какой сердце лежит. Руки везде нужны.

Дело себе Муся уже присмотрела. Ей нравились телята маленькие, пестрые, веселые, на длинных ногах и, как казалось ей, «все на одно лицо».

— Что ж,— сказал Игнат, критически оглядывая только что окованную и слегка еще дымившуюся втулку,— что ж, телята — дело тонкое. Передай бабке Прасковье, что председатель определил тебя под ее крыло. Богатое, между прочим, дело — телята... Глядишь, пока что — трудодней на приданое заработаешь... У нас в «Красном пахаре» знаешь какой был трудодень?

10

Так Муся Волкова, умевшая увлекаться любым заинтересовавшим ее делом, начала под «командой» опытнейшей телятницы колхоза бабки Прасковьи Нефедовой свою новую карьеру.

Быстро научившись различать телят не только по кличкам, но и по «характеру», она вскоре уже сама готовила для них пойло, меняла подстилку, кормила, чистила, даже лечила их. Особенно нравился ей закуток для самых маленьких — «ясли», как называла бабка уютный уголок, где еще при своих «мамашах» были размещены телята «овражного отела»: Березка, Сосенка, Елочка, Полянка и Дубок — головастый игривый молодчик, впрочем едва еще державшийся на длинных, разъезжающихся в разные стороны ногах.

Прасковья Нефедова славилась на весь колхоз сварливым нравом. Но девушка быстро разглядела под хмурой личиной вечно всем недовольной ворчуньи привязчивую и верную душу. Бабка начала с того, что выгнала девушку из телячьих закутков за то, что та явилась туда в пестром платье — «бычка пугать»,— а кончила тем, что собственноручно перенесла рюкзак с пожитками «горемычной странницы» в свою землянку, вырытую возле телятника, и уступила девушке нары, устроив себе постель на полу.

Муся с радостью переехала на жительство к своей начальнице. Ей тягостно было стеснять Матрену Никитичну с ее тремя ребятишками. Телятница напоминала девушке ее собственную хроменькую бабушку, беззаветно любившую и баловавшую внуков. Прасковье же новая сожительница помогала переносить одиночество. К тому

же у бабки была одна известная всему колхозу необоримая страсть — она любила поговорить и ей обязательно нужен был слушатель.

Впрочем, этот бабкин недостаток не очень угнетал девушку. Бывалая старуха рассказывала интересно и никогда не повторялась. Когда же речь касалась излюбленных ею «телячьих» тем, бабка становилась просто поэтом, и Муся не уставая слушала всяческие ее наставления по уходу за маленькими питомцами.

По бабкиным рассказам выходило, что каждый теленок на свой манер и требует соответственного обращения. Старуха без устали тараторила о веселых шалостях игривой Полянки, о капризах балованной Елочки, которая никогда без фокусов за еду не примется и которой для аппетита перед кормежкой надо шейку пощекотать, о прожорливости простушки Сосенки, неудавшейся почему-то породой «ни в мать, ни в отца» и норовившей бесцеремонно оттереть своих соседей от пойла, о подлом характере маленького Дубка, в сонных глазах которого, сверкавших, как два озерца, среди бархатистой шерсти, бабка склонна была видеть притворную меланхолию и ехидство необычайное.

Старуха всерьез, должно быть, считала, что работа ее в телятнике — самое хитрое дело на земле. Когда в ходе лагерной жизни случалось какое-нибудь «ущемление телячьих интересов», бабка вытирала руки о фартук, потуже завязывала под подбородком платок и отважно шла сражаться с Матреной Никитичной и самим Игнатом Рубцовым, которого, впрочем, втайне побаивалась. Более горячо, чем о собственных удобствах, мечтала она о каких-то особых стойлочках и кормушках, какие видела в прошлом году на сельскохозяйственной выставке.

— Помереть мне без причастия и отпеваний, без креста мне в земле лежать, если я из этого жилы Рубцова такие же кормушки не вырву. Уж он у меня, хромой леший, не отвертится, нет, не таковская я.

— Разве сейчас до кормушек? Война, фашисты кругом.

Старуха спохватывалась, задумывалась, но тут же уверенно возражала:

— Фашист, верно. Так, боже ж мой, навек, что ль, он пришел? Фашист, девонька, как болезнь холера: всех косит, а потом фу-у — и нет ее. И куда только господь

бог смотрит? Этакой пакости позволил на земле наплодиться!

В углу Прасковьиной землянки темнели доски старых, засиженных мухами икон, изъеденные жуками-древоточцами. Иконы эти бабка не захотела оставить в деревне «на поругание антихристам». Она была верующая, но бог у нее был свой, простецкий. Сидел он у нее где-то немного повыше колхозного председателя, можно было при надобности у него что-нибудь попросить для себя или для телятника, а при случае даже и поругать малость, в порядке критики...

— Ведь я, Машенька, как война-то началась, за пятнадцать верст, грешная, в церкву побежала, да в самую горячую пору; считай, полтора трудодня верных пропало. Да на свечку, да на тарелку клала, да попу... Ничего не пожалела. И уж как я у него просила: «Господи Сусе, не допусти окаянных атихристов до нашего колхоза, не приведи теляткам моим в путь-дорогу подниматься!» И ведь что ж, не услышал. Видишь, куда занесло,— в лес, в буерак... Как звери какие... И внуков малых, младенцев чистых...— Бабка скривилась, часто задышала, захлюпала носом и подняла к иконам свои сердитые глаза.— И куда ты глядишь только, совести в тебе нет! Допустил, чтобы ироды эти младенцев своим танком проклятым...

В свободное от работы время она дребезжащим голоском напевала старинные грустные деревенские песни, и Муся, схватив мелодию, без слов вторила ей.

Голос новой телятницы — звонкий и чистый, как вода в ключе, что бил на дне оврага, окончательно покорил бабку Прасковью, бывшую когда-то, до замужества, первой певуньей на своем конце села. Узнав, что ее помощница даже учится «на певицу», старуха прониклась к ней такой преданной нежностью, точно Муся была самым породистым, самым беспомощным из всех ее поднадзорных телят.

По вечерам, когда в овраге уже сгущались тихие сумерки, и только на вершинах старых сосен, стоящих на гребне, еще пламенел закат, девушки и женщины помоложе усаживались на двух бревнах, меж которыми была вытоптана и утрамбована небольшая площадка. Эти бревна, уже залоснившиеся от частого сидения, заменяли им скамейки, что были на лужайке перед зданием колхозного клуба в родных местах.

Варвара Сайкина принималась играть на балалайке, и под нехитрый перезвон струн девчата надсадными голосами выкрикивали:

Только два крылечка
В памяти осталися:
На одном крыльце влюбилась,
На другом расстались...

Куда смотрит председатель,
Куда смотрит сельсовет:
Сколько раз мы заявляли —
Ухажеров у нас нет.

Частушки сыпались одна озорнее другой, крепче, громче били каблуки, и босые пятки утрамбовывали землю. Резкие, крикливые голоса, звуки балалайки будили лесную ночь, поднимали уснувших птиц, и они срывались с веток, свистя крыльями, уносились в теплую темень.

Чем любить его такого,
Пойти лучше в темный лес,
Встретить зайца там косого,
И то будет интерес.

Но вдруг в разгар веселья какая-нибудь из женщин вздыхала:

— А где они сейчас, наши залетки-то?

И сразу срывался голос балалайки, кончалась песня, смолкал разговор. Женщины и девушки сдвигались на бревнах, стараясь теснее прижаться друг к другу, и начинались скорбные разговоры о том, что может фашист творить сейчас в «Красном пахаре», о мужьях и суженых, воюющих неизвестно где.

Вот в такую-то тихую минуту бабка Прасковья, обязательная посетительница этих «гулянок», и упросила Мусю спеть.

Разгорались на августовском небе россыпи звезд. Еще не поднявшаяся луна обрисовывала своим светом черную волнистую стену леса. Таинственно и тревожно шумели сосны. В прохладной ночи нет-нет да трогал ветер листья ольхи и орешника, и они что-то тихо бормотали спросонья.

Среди лесного безмолвия как-то по-особому зазвучала песня о зимнем вечере, о снежных вихрях, об одиночестве поэта-изгнанника.

Нет, даже в Москве перед затаенно притихшим залом, в самый счастливый день своей жизни, девушка не пела

так, как тут, перед этими женщинами, стойко переносившими необыкновенные тяготы жизни в лесной глухомани. Песня, казалось, заполняла весь бесконечный простор, долетала до самых звезд. И когда с неподдельным волнением Муся тихо вывела:

Выпьем с горя: где же кружка?
Сердцу будет веселей... —

тут она услышала, именно услышала в ответ такую тишину, что отчетливо обозначилось в ней и дальнее уханье филина, и затаенные вздохи, тихое всхлипывание уже почти невидных во тьме слушательниц.

Потом до уха Муси донеслись сдавленные рыдания. Девушка разглядела, что плачет, опираясь на гриф балалайки, толстая, румяная и обычно такая веселая и озорная Сайкина. Она плакала, не стесняясь подруг, шмыгала носом, прижимая ко рту тыльную сторону руки.

В эту августовскую ночь девушка особенно крепко поверила, что когда-нибудь, может, и не скоро, и наверно еще не скоро, но обязательно станет она такой же певицей, как та, что поцеловала ее когда-то за кулисами московского театра.

11

Однажды рано утром, когда Матрена Никитична, уже одевшаяся, чтобы идти в коровник, наскоро кормила своих ребят, в землянку спустился Игнат Рубцов.

Он басовито сказал с порога:

— Здравствуйте вам! — поиграл с внуками, потолковал о незначительных каких-то делах и, попыхивая зажатой в кулак трубкой, пустился вдруг вспоминать старую историю о том, как при обмене мичуринских саженцев на пчелосемьи пытался его однажды объегорить председатель соседнего колхоза «Борец» и как ловко он, Рубцов, вывел хитреца на чистую воду.

Матрена Никитична, хорошо знавшая свекра, все с возрастающей тревогой посматривала на него. Она чувствовала, что, болтая о пустяках, этот деловой, обычно скупой на слова человек, должно быть, умышленно тянет, не решаясь начать какой-то трудный разговор. На сердце у нее становилось все беспокойней.

— Ай беда какая, папаня? Не томи, говори,— попросила она наконец.

Председатель колхоза нахмурил лохматые брови и, старательно извлекая занозу из жесткой, как подошва, ладони, ответил:

— Зачем беда, дело... Ну, пшено, марш на волю, у нас с матерью разговор по партийной линии будет.

Когда внуки, отстукав босыми ногами по земляным ступенькам, покинули землянку, Игнат, примочив ранку от занозы слюной, сказал:

— Мы с тобой, Матрена, тут, в Коровьем овраге, двое коммунисты. Партийное собрание открыто... Давай решать, кому из нас золото нести.

Матрена Никитична и сама уже не раз задумывалась о судьбе их необычайной находки, не раз появлялось у нее опасение: не пришлось бы самой отправляться в путь с кладом. Но всякий раз она отгоняла эту мысль, как назойливую и злую осеннюю муху.

— Маша — крепкая девчонка, да девчонка ж. Разве ей одной такую ценность доверить можно? Не миновать одному из нас ее провожать.

На мгновение Матрена Никитична представила себе ужас, который она пережила, когда фашистская колонна нагнала гурты. Машинально схватив тряпичную Иришкину куклу, валявшуюся на детской постели, она прижала ее к себе.

— Папаня, у меня ж дети! Я разве могу? — едва слышно прошептала она.

— О хозяйстве не толкую. С табором ты не хуже моего справишься,— загудел, как майский жук, Игнат. Он с досадой хлопнул себя по искалеченной ноге.— Она, окаянная, не пускает. Знаешь, какой я ходок? А тут — леса, буераки... На таратайке по фашистским тылам не покатишь.

Игнат волновался и не мог этого скрыть. Он то клал в карман, то снова вытаскивал свою трубку. Большие руки его при этом дрожали. Шрам на лице побагровел и, как казалось, даже вспух. Видно было, что разговор этот старому балтийцу тяжел. Каждое слово он точно выталкивал.

— Я, сношка, об этом уже сколько дней раздумываю... Формально, конечно, наше дело сторона — своего горя под завяз. Не жируем. Легче всего так-то: вот тебе, красавица, твой мешок, вот харч на дорогу — и счастли-

вого тебе пути. Можно так сделать? Можно. Не упрекнут нас за это? Не упрекнут. А по совести? Имеем мы с тобой право девчонку одну в такой риск пускать? Ценности-то какие.

Матрена Никитична молчала. Ее напряженные пальцы охорашивали куклу, с преувеличенным старанием расправляли складочки на кукольном платье. Игнат вскочил. Лавируя между столом и чурками, заменявшими табуреты, заковылял по землянке взад и вперед.

— У меня перед глазами все этот старик... Холодеет уж, и на́ тебе: «Поклянитесь!..» А ведь Маша говорила, беспартийный был. А мы с тобой кто? То-то и оно...

Женщина опять прижала к себе куклу, как будто у нее хотели ее отнять.

— Зойке-то три годочка только,— чуть слышно прошептала она.— Ведь за ней глядеть надо.

Игнат сел за стол и долго молчал, сипел трубкой, густо чадил дымом. Лицо его напряглось, покраснело, на висках обозначились синие вены, будто поднял он с земли и старался унести непосильную тяжесть.

— Тебе идти, Матрена Рубцова,— сказал он наконец, и голос его был хрипл, а дыхание прерывисто.— Другого ничего не придумаешь. Тебе! За внуками сам пригляжу, я за них и перед тобой и перед сыном, перед вами обоими, в полном ответе.

Матрена вскочила и круто повернулась к свекру спиной.

— Когда выходить? — спросила она резким, злым голосом.

12

А тем временем в землянке, что была возле телятников, миской простокваши и ломтями сухого хлеба из отрубей завтракали бабка Прасковья и Муся.

Найдя наконец человека, слушающего ее с охотой, без насмешек и даже без иронических огоньков в глазах, которые бабка особенно не любила, старая телятница распространялась на любимую тему:

— ...И верно, верно ты говоришь. Клад этот твой что? Тлен, суета сует. В телятнике — вот где клад свой,

девка, ищи! А ты что думаешь! На наших скаредных суглинках только с хорошим скотом богатство и дается. Вон несерьезный элемент Варька Сайкина трешит: бабка Прасковья — «телячья богородица» и прочее такое... А я ей, краснорожей, на это скажу: дура ты, дура набитая, твои рекордистки где выросли? Ну? У бабки Прасковьи в телятнике — вот где! Стало быть, горлопанка ты эдакая, где твоей славы корень, а? То-то и есть!

Старуха победно глянула на Мусю, как будто перед ней сидела ее постоянная супротивница Варвара Сайкина, потом изобразила на лице таинственную улыбку и, наклонившись через стол, доверительно зашептала:

— А знаменитая наша Матрена, думаешь, с чего начала? А? С телки, милая, с телки Козочки, вот с чего. До телки этой кто такая Матрешка была, а? Самая последняя нищенка-побирушка, вот те Христос...

Послышались шаги по земляным ступенькам.

— Чу, несет к нам кого-то? Уж не она ли сама? Так и есть, легка на помине.

Вошла Матрена Никитична. Муся хотела было расспросить у нее о Козочке, но девушку остановило какое-то необычное, строгое выражение лица Рубцовой.

— Ступай-ка, тетя Прасковья, до телят,— сказала Матрена Никитична, нервно перебирая пальцами бахрому белого платка.— Мне с Машей один на один поговорить надо.

— И верно, заболталась я тут,— отозвалась старая телятница, и, засуетившись, она опрокинула над миской глиняный горлач, из которого жирными желтыми кусками со шлепаньем вывалилась холодная простокваша.— Садись, Никитична, кушай, веселей разговор пойдет... И что это заболталась я нынче! Ну просто диво. Никогда этого со мной не бывало.

Матрена Никитична продолжала стоять у входа, свивая и развивая косички из бахромы шали. Казалось, что она вся ушла в это пустое занятие. Но Муся почувствовала, что женщина явилась с недоброй вестью, и даже догадалась с какой. Сердце ее сжалось.

— Идти, да? — спросила она едва слышно.

В голосе ее звучала надежда на то, что она обманулась, что не затем пришла Матрена Никитична. Но та утвердительно кивнула головой:

— Да. Завтра.

Девушка опустилась на скамью, тело ее вдруг стало бессильным, руки непослушными.

— Вместе пойдем.

Муся встрепенулась:

— Как? Вы тоже?

Матрена Никитична медленно кивнула головой. Она была задумчива и печальна. Но Муся не сразу это заметила. Идти вместе с этой женщиной, к которой она уже успела привязаться, казалось ей не таким уже страшным.

— Ой, как я рада! Значит, вместе? Вот здорово! — Вся сияя, девушка бросилась к Рубцовой, прижалась к ней.— Ведь я трусиха, я тут видела во сне, что иду одна с золотом, и проснулась в холодном поту... Спасибо вам, спасибо!

— За что же спасибо? — вздохнула женщина, рассеянно гладя тугие, жесткие кудри девушки.

Со смуглого лица Матрены Никитичны не сходило выражение озабоченности. Где-то в самой глубине ее глаз углядела Муся тоску и тревогу, и только тогда пришло ей в голову, что у будущей ее спутницы — дети, которых придется оставить тут, в лесу. Она не только рискует собой, ей придется надолго, может быть навсегда, оставить трех ребят.

«Скверная эгоистка! — с отвращением подумала про себя Муся.— Обрадовалась, что мать уходит от детей. Только о себе, только о себе и думаешь!»

— Матрена Никитична, милая, отпустите меня одну. Я дойду, я донесу, не беспокойтесь! — торопливо и вполне искренне прошептала она.

Женщина вздохнула, улыбнулась, и мимолетная улыбка эта была как те солнечные лучи, что иной раз, на миг проскользнув меж туч, коротко сверкнут в струях падающего дождя, сверкнут и погаснут.

— Разве можно одной? Дурочка. Это же такие ценности...

Думая о чем-то своем, Матрена Никитична стала вертеть в руках деревянную ложку. Потом, обняв Мусю, прижав ее к себе, Матрена Никитична сказала, впервые обращаясь к ней на «ты»:

— Что ж, Маша, давай собираться. «В путь-дорогу дальнюю», как в песне поется.

И они долго стояли обнявшись, думая каждая о своем.

Сборы на этот раз были тщательные.

Игнат Рубцов понимал, в какой опасный путь отправляет новых подружек, и старался предусмотреть каждую мелочь.

Прежде всего он решил, что ни во внешности, ни в одежде путниц не должно быть ничего, что могло бы привлечь фашистский глаз. Он заставил сноху, которая, даже в коровник идя, одевалась всегда чисто и аккуратно, расстаться со своим костюмом, с пуховым платком. Матрена Никитична надела юбку из бумазеи, одолженную для такого случая у одной пожилой коровницы, повязала голову старушечьим платком бабки Прасковьи, обулась в берестяные лапти, сплетенные ей свекром и как нельзя лучше подходившие для предстоящего похода. Муся облачилась в свой лыжный костюм из бумажной фланели и башмаки.

Если бы не пышные, отросшие за дорогу волосы да не тонкая девичья шея, в этом костюме она вполне могла бы сойти за мальчишку-подростка. Игнат и посоветовал было ей для пущей безопасности подстричь кудри. Но девушка пришла в такое негодование, что он только махнул рукой.

По замыслу Игната Рубцова, путницы должны были выдавать себя за голодающих горожанок, отправившихся менять пожитки на съестное. Он уже знал, что фашистская саранча, уничтожающая продовольственные запасы в городах, ничего населению не выдает. Сотни людей, подгоняемые голодом, двинулись по малоезжим дорогам в дальние села добывать себе пропитание. Поэтому в мешках спутниц не должно быть ничего, что могло бы разоблачить их. По смене белья, пара байковых одеял, взятых будто бы для обмена, да что-нибудь трикотажное понеказистей, что можно было бы в случае надобности надевать для тепла. Ценности он решил положить в мешок, а мешок этот сунуть в другой, больший по размеру, а между ними насыпать прослойку ржи. В случае если кто пощупает мешок или заглянет в него — ничего особенного, ржицы наменяли себе бабоньки на кашу.

Игнат советовал путницам также ввиду приближения осени в лес глубоко не забираться, от села к селу идти проселками, избегать только занятых противником

деревень, а свободных не чураться, на ночлег располагаться у добрых людей запросто. Так лучше.

Решив на дорогу выспаться, Муся с вечера простилась со всеми своими новыми подругами, но уснуть не смогла и всю ночь пролежала с открытыми глазами, слушая тонкий комариный звон да вздохи и всхлипы бабки Прасковьи, не желавшей отпускать новой помощницы и на чем свет стоит ругавшей обоих Рубцовых.

Едва занялась заря, бабка подняла девушку, всплакнула у нее на плече, осыпала мелкими крестами, по невидной еще в тумане стежке проводила до землянки Матрены Никитичны.

Там не спали. Потрескивая, горела лучина.

— Вовка, гляди, за старшего в доме остаешься,— доносился снизу взволнованный голос Рубцовой.— Все, что дедушка велит, исполняй. Ему за вами некогда смотреть, у него на плечах вон какая махина! Ты, Вовка, сам маленьких корми. Понял? Вместе с Аришкой Зоеньку нянчайте.

Муся спустилась в землянку. Мать на коленях стояла перед постелью детей. Володя лежал с открытыми глазами. Должно быть боясь разбудить сестренок, мирно посапывавших во сне, он лежал неподвижно, закусив край одеяла. По лицу бежали слезы.

Заметив Мусю, Матрена Никитична вскочила. Она была уже одета в дорогу и стала поспешно обматывать голову темным платком, который сразу прибавил ей лишний десяток лет.

— Мама, не уходи! — зашептал мальчик, глотая рыдания, и все его худое тельце затряслось под одеялом.— Не надо, не уходи!..

— Не плачь. Ну чего плачешь? Большой уж!.. Восьмой год... Кабы не война, в школу б пора,— торопливо говорила мать, отвернувшись. Она все возилась с платком, должно быть боясь поднять глаза на детей.

В землянку сошел Игнат Рубцов, необыкновенно хмурый, казалось не выспавшийся. Он кивнул с порога путницам и легко протянул холщовый латаный мешок, так легко, точно набит тот был не золотом и зерном, а сеном.

— Ну, Матрена, велика была до войны твоя слава, послужи народу еще раз!.. Сохрани, сдай в верные руки.

Отдав мешок, он подошел к Мусе. Тяжелая, горько пропахшая табаком рука опустилась на плечо девушки.

— А ты, красавица, во всем на нее надейся. Большевичка, не подведет... Ну, ступайте, что ли.

Не оглядываясь, он проворно вышел из землянки.

Матрена Никитична вскинула тяжелый мешок на спину, поправила лямки, сделанные из льняного полотенца, и решительно двинулась было к выходу. Пронзительный детский крик остановил ее. Она встрепенулась, ахнула, как раненая, и бросилась назад, упала на колени перед постелью и обняла две черненькие и одну белую с косичками головки; задыхаясь, зашептала:

— Детушки мои, детушки! Как же вы теперь?.. Маленькие вы мои, хорошие!.. Кровиночки мои!

Володя как повис у матери на шее, так и замер весь, точно оцепенев. У Аришки и маленькой Зои были сонные, испуганные, ничего не понимающие личики.

Потрясенная этой сценой, Муся бросилась из землянки и чуть не сшибла Игната Рубцова, стоявшего у входа. Тут же были встревоженные, необычно молчаливые бабка Прасковья, Варвара Сайкина и еще жительницы лесного лагеря.

Матрена Никитична поднялась наверх, прямая и решительная. Низко надвинув на глаза платок, она почти приказала женщинам:

— Присмотрите за ребятишками.

Женщины, переступая с ноги на ногу, опустили глаза, точно им было стыдно, что они вот остаются тут, а их подруга отправляется в опасный путь. Игнат Рубцов крепко пожал спутницам руки. Матрена Никитична низко всем поклонилась:

— Ну, простите меня, ежели я кого... Прощайте, граждане!

Выпрямилась, поправила лямку мешка и, не оглядываясь, пошла по тропке, вившейся меж деревьями и петлями поднимавшейся из оврага. Муся двинулась за ней. И еще долго из сероватой полупрозрачной мглы звучали им вслед слова прощания, напутствия и захлебывающийся детский плач.

Когда голоса стихли и дымы колхозного табора, напоминавшие в затишье лисьи хвосты, затерялись меж древесными стволами, девушка вдруг всем телом, почти физически ощутила, что она уходит из родной, близкой ей среды, где легко дышалось, привычно жилось, и снова вступает в иную, враждебную, где все — и зрение, и

слух, и чувства — как-то само собой напрягалось и настораживалось.

С час путницы шли молча, потом Матрена Никитична замедлила шаг, дала себя нагнать и взяла Мусю под руку.

— Вот и остались мы с тобой, Машенька, одни, как две щепки в ручье: несет нас куда-то.— Она поправила за плечами мешок.— Не горюй, не может того быть, чтоб мы с тобой пропали. Не пропадем.

Еще с вечера уговорились они, что дойдут до деревни Ветлино, где Муся добывала лекарство для Митрофана Ильича, Матрена Никитична с ценностями подождет в леске, а девушка сходит к знакомой женщине. Они знали, что где-то невдалеке придется им переходить большую реку, на которой недавно бушевало многодневное сражение, и хотелось им у верного человека вызнать все о переправе и о положении на фронте.

К рассвету они дошли до могилы Митрофана Ильича. Дубовый обелиск возвышался над невысоким холмиком, заботливо обложенный дерном. Убаюкивающе покойно шумела сосна. Ветер, покачивая ее вершину, точно кистью водил по небу. Чернела надпись, выжженная Игнатом Рубцовым. Голубенький мотылек, поводя крылышками, грелся, припав к одной из обугленных букв. Озабоченно гудел в траве шмель.

Муся хотела только постоять над могилой, но колени как-то сами подломились, и она припала к бугорку, пахнущему землей и молодой травкой. Все эти дни, увлеченная работой в телятнике, новыми впечатлениями и заботами, девушка как-то мало думала о погибшем спутнике. Только сейчас, когда нужно было навсегда проститься с этой могилой, Муся по-настоящему почувствовала, как сильно привязалась она к старому ворчуну, навсегда сложившему свои кости под этой звенящей сосной.

— Идем. Поклялись мы ему все до места доставить, исполнять надо! — сурово сказала Матрена Никитична и решительно подняла девушку на ноги.

14

Как и уговорились, Рубцова осталась в леске, а Муся крадучись добралась до знакомого ей сенного сарая и, не найдя на этот раз ивовой корзины, выбрала охапку сена поухватистей и пошла в деревню тем же

прогоном, что и в первый раз, когда приходила сюда за лекарством. Хотя сердце у нее при этом тревожно колотилось, она чувствовала себя куда увереннен, чем тогда.

Но ни одного немца по дороге не встретилось. Улица казалась пустой, проводов на плетнях не было, флаги с красными крестами исчезли с коньков крыш. Даже рубчатых следов машин не было на дорогах. Их, должно быть, смыли дожди. Только необычная для жаркого полдня тишина деревни пугала и настораживала.

Муся, не выпуская из рук охапки, смело повернула дверное кольцо и шагнула через порог в прохладный полумрак сеней. На звук шагов из избы вышла знакомая женщина. Разглядев Мусю, она не удивилась, ни о чем не спросила и только грустно усмехнулась, взглянув на сено.

— Брось его здесь. Ни к чему оно теперь... всю скотину забрал фашист проклятый. Как госпитали снялись, наехали интенданты, на весь колхоз паршивой овцы не оставили. Наш-то фельдшер-то «не гут», помнишь, что лекарство-то давал,— он тут свой шурум-бурум в машину грузил,— хотел было за меня вступиться... Где тут! Чуть самого, беднягу, к коменданту не потащили... Ну, входи, что ли...

Хозяйка распахнула дверь. В избе к запаху жилья еще примешивались острые ароматы медикаментов, но уже ничто не напоминало о том, что в ней жили чужаки.

Хозяйка села у окна и, сплетя на коленях узловатые пальцы жилистых рук, молча смотрела на Мусю. Ее морщинистое, покрытое тяжелым загаром лицо за эти дни стало еще суше, строже.

— Вот уж и пушек наших не слыхать которую неделю. Одни мы остались.— Она вздохнула.— Ну, а лекарство-то пригодилось?

— Умер он. Опоздала я.

— Что ж, будь ему земля пухом! Не один он... Смерть теперь везде урожай снимает,— отозвалась хозяйка. И вдруг в ее суровых, усталых глазах затеплился на миг ласковый огонек.— А сестричка-то та молодец, выходила-таки в лесу своих раненых... Поднялись, третьего дня за реку пошли на выход. До армии хотят пробиваться.

Ободренная этой вестью, девушка стала просить хозяйку помочь и ей пробраться за реку.

— Трудно теперь, все мосты наши перед отступлением взорвали. Немцы один навели, да охраняют его, как казну какую. А где хоть малость подходящий бродок, там ихний глаз круглые сутки смотрит. Ох и зорко следят, пугливые стали! Вдоль большаков да железных дорог леса сводить начали. Все партизаны им мерещатся. Видать, здорово вы их щекочете...

Сидя все в той же неподвижной позе, хозяйка метнула испытующий взгляд на Мусю. Девушка густо покраснела. Опять ее принимают за кого-то другого, опять приписывают ей несуществующие заслуги.

— А что про партизан говорят? — спросила она уклончиво.

— Да какие у нас разговоры, так, сорочий гай... Лихо будто бы на дорогах работать стали, поезда под откос летят. Один вон паровоз тут, недалеко от нас, вниз по реке, из воды торчит. Фрицы с него рыбу удят... С моста сбросили...

— И большой ущерб несут?

— Да чего ты меня спрашиваешь? Ваша прибыль, вы и считайте.

— А как же раненые реку переходили?

Хозяйка вздохнула.

— Есть один такой бродочек. Трясина там к самой реке подходит, сколько коров в ней перетонуло. Там, верно, немцы почти не показываются. Только ходить там опасно — болото, знающий проводник нужен.

Трясина... Чаруса... Вспомнилось Мусе, как утопал в трясине Митрофан Ильич, как на глазах уменьшался он, будто таял. Холодок прошел у нее по спине.

— У нас важное дело. Вы должны нам помочь,— сказала она, стараясь произносить эти слова с той силой убежденности, с какой умела говорить Матрена Никитична.

— «Должна, должна»... Никому я, милая, ничего не должна. Все мне должны, а я свои долги давно выплатила,— раздраженно ответила хозяйка и, отвернувшись, стала смотреть в окно на пустую, точно мертвую, улицу, залитую солнцем.

Заблудившаяся большая муха с тоскливым упрямством билась в тусклое стекло. За печкой раз-другой, точно настраиваясь, пиликнул сверчок.

— Раз надо, чего ж говорить? — произнесла наконец хозяйка.— Не иначе опять моему Костьке вас вести.

Сестричку-то ту с ранеными он провел. А до этого окруженцев провожал, еще мальчишек каких-то целый табун... Опытный!

Хозяйка поднялась, долго смотрела в окно. Когда она обернулась, лицо у нее стало печально.

— И что только я, дура, делаю? Муж на фронте, невесть где, ни одного письма с самой оккупации не получила. Старший воюет, а я сына последнего, поильца-кормильца на старости, под вражью пулю уж который раз посылаю.

Муся вскочила, хотела было заговорить, но женщина осадила ее суровым взглядом.

— Не агитируй... сагитирована.

Она вышла из избы и через минуту вернулась со знакомым Мусе мальчиком, вытиравшим о рубаху руки, испачканные в земле. Он чинно поздоровался, сел, по-видимому, узнал девушку, но виду не подал и только изредка исподтишка бросал на нее любопытные взгляды.

— Ты дорогу на брод знаешь?

— На который, на Каменный? А то нет! Мы там весной острожками щук колем,— по-мальчишески пробасил он.— Мне капитан Мишкин, раненый, когда я их на ту сторону доставил, сказал: «Ты, брат Коська, разведчик настоящий...» А то не знать! Эко дело.

Между тем хозяйка завернула в узелок несколько вареных картофелин и кусок хлеба. Сунув узелок сыну, она, опустив глаза, сказала Мусе:

— Вам не даю. Нечего. Все наши трудодни под метлу их интендант вымел... Ты там осторожней, сынок, под пулю не лезь. В случае чего, схоронись и лежи.

— Уж знаю,— отозвался Костя и, покосившись на Мусю, резко отвернулся от матери, когда та хотела его поцеловать.— Пошли, что ли?

15

Молча дошли до околицы. Солнце, перед тем как спуститься за лес, разметало багровые лучи по долине. В прощальном свете догоревшего дня открылся вид на немецкое кладбище. Теперь оно занимало не только пригорок, но и равнинку до самой железнодорожной насыпи, видневшейся вдали. По-прежнему строгими рядами стояли березовые кресты. Стая воронья осела на них, точно

пеплом их осыпала, и пепел этот розовел в последних закатных лучах. Девушка невольно остановилась. Маленький колхозник по-взрослому усмехнулся.

— Ай не видела? Посмотри, полюбуйся! Это еще не все, там вон, за насыпью, еще есть. Целую березову рощу на кресты свели.— Он потянул девушку за руку.— Пойдем, пока ветер от крестов не дунул. Дух оттуда тяжелый. Мелко хоронили.

Когда кресты остались позади, Костя остановил Мусю.

— К вам в партизаны таких, как я, записывают?

— Ну, а вы как, ждете партизан? — уклонилась она от ответа.

— А то нет! Ждем. После того как они поезд с моста в реку свалили, староста наш Жорка Метелкин — его, говорят, фашисты где-то, в Великих Луках, что ли, в тюрьме откопали да к нам в начальство посадили,— так вот он вроде сам не в себе... Днем ходит по колхозу, охальничает, грозится, а как солнце на закат, напьется, сядет на крыльцо — и ревет: «Пропала буйная головушка...» Тетя, а у вас много оружия?

Мальчик был так разочарован и огорчен, что вместо предполагаемого партизанского отряда ему придется провожать за реку двух теток, смахивающих на беженок, что сначала было вовсе молчал, односложно отвечая на вопросы: «Ну да», «А то нет», «Была охота».

Спутницы тоже молчали, прислушиваясь к тишине. Ночь была, несмотря на луну, темная. Землю, точно пуховым одеялом, покрывал низкий молочно-белый плотный туман, доходивший до колен. Луна светила сбоку, а впереди, на густо посоленном неяркими звездами небе шел такой частый звездопад, будто там, за кромкой горизонта, был передний край и над ним стреляли трассирующими пулями.

За болотистой равниной заросли камыша стали гуще. Дорожка перешла в узкую тропу. Фигурка мальчика, по пояс погруженная в туман, точно плыла впереди, и Муся, шагавшая второй, старалась не упускать его из виду. Вода смачно жмыхала под ногами. Справа и слева, то расступаясь, то сдвигаясь в сплошную стену, шелестел высокий камыш с темными, еще не запушившимися кисточками. Заросли дышали болотной прелью и дневным сохранившимся в них теплом.

А высоко над головами путников все время, не затихая, слышался шум самолетов. Они шли мелкими груп-

пами. Их не было видно, но звук их моторов, то пропадая, то нарастая, господствовал в прохладной ночи и как бы растворял в себе и вопли лягушек, и шелест камыша, и чавканье шагов.

— Наши... На Берлин идут,— обернувшись, проговорил наконец Костя.— Вот уж которую ночь над нами ходят... Ох, наверно, и дают они фрицам жизни!

Путницы невольно остановились. Моторы в эту минуту звенели как раз над их головами. Мусе показалось даже, что она различает темный силуэт машины. И как-то сразу полегчало на душе, будто в прохладной ночи среди болотных испарений и предостерегающего бульканья пузырьков, поднимавшихся из трясины, услышала она далекую песню друга.

— Темно, туман — много ли сверху разглядишь? А они летят себе и с пути не собьются,— задумчиво произнесла девушка.— Прежде я считала, что летчики ночью дорогу находят по звездам.

Мальчик покровительственно усмехнулся:

— Скажете тоже...

— Эх, Машенька, вот они в Берлин слетают, гостинец Гитлеру свезут, а к утру уж дома, у своих. А нам с тобой сколько идти! — отозвалась Матрена Никитична, вздохнув, но сейчас же, точно спохватившись, добавила: — А что тут говорить, дойдем! Не можем мы с тобой не дойти. Права не имеем. Верно?

Мальчик уловил в этих словах скрытый смысл. Нет, это не беженки, как подумалось ему сначала. Зачем, скажи на милость, беженкам пробираться ночью по болотам, рискуя головой? Ясно, эти тетки выполняют какое-то особое задание. Может быть, они партизанские разведчицы? Может быть, несут какие-то важные вести? Может, у них в мешках боеприпасы или взрывчатка? И, желая показать спутницам, что он тоже не так себе колхозный парнишка, а тоже кое-что смыслит в военных делах, мальчик заявил, что он по дороге этой уже немало перевел на тот берег разного вооруженного люда. Выяснилось, что эта незаметная, вьющаяся в камышах тропа, протоптанная когда-то деревенскими рыболовами, стала тайной магистралью, по которой неведомо для оккупантов население поддерживает связь между двумя берегами реки, что только позавчера прошли по ней тридцать два раненых, которых в дни боев за переправу медицинская

сестра спрятала в лесу левобережья, с помощью колхозниц вылечила и подняла на ноги.

Эта история особенно заинтересовала Мусю. Ведь когда-то мать Кости приняла ее за посланную от той отважной девушки. Впрочем, сестра оказалась, по словам Кости, вовсе и не девушкой, а пожилой женщиной, которую раненые именовали «маманя». Раздобыв крестьянскую одежду, она смело заходила в занятую оккупантами деревню, и по ее просьбе женщины выменивали у немецких фельдшеров и санитаров на кур и овец лекарства, собирали старые бинты и марлю, а Костя вместе с другими ребятами носил медикаменты и еду в лес.

Мальчик с гордостью сообщил, что, когда он перевел раненых на тот берег, капитан Мишкин с незажившей раной на ноге, которого несли на носилках, сказал ему, что, вернувшись к своим, они обязательно напишут о колхозе Ветлино самому главному военному начальству.

— Напишут, а колхоза-то и нет. Разорил фашист колхоз. Председательшу нашу, тетю Глашу Филимонову, повесил и заместо нее этого рви-дери Жорку Метелкина в старосты на три деревни посадил. Тот, как глаза продерет, так и орет: «Вы теперь инди-ви-дуалы!..»

Мальчик с трудом выговорил это слово и, прикусив язык, покраснел. Оно казалось ему бранным, и он сомневался, можно ли вообще произносить его при женщинах.

Матрена Никитична сразу точно очнулась. Она принялась выспрашивать, что творят оккупанты в колхозах. В разговоре замелькали туманные для Муси слова: неделимые фонды, семярезерв. Девушка поняла только, что колхозникам все же удалось как-то обмануть старосту, разобрать по рукам и попрятать ценное из артельного добра. Постепенно разговор перестал интересовать девушку. Чуть приотстав, она слушала шелест точно бы накрахмаленных стеблей камыша, надрывные вопли лягушек, бульканье пузырьков и гудение моторов, время от времени властно врывавшееся в первобытную тишину.

Девушка так задумалась, что не заметила, как вышли к изгибу неспокойной реки, с ворчливым плеском перебиравшейся через каменистый перекат. От берега к берегу, пересекая посеребренную, всю точно фосфоресцирующую, взлохмаченную водную поверхность, тянулся колеблющийся лунный столб. Золотая его дорожка ложилась

прямо к ногам девушки. Холодный парок задумчиво расплывался над рекой.

Муся зябко вздрогнула: б-р-р!

— Что же, раздеваться надо? — нерешительно спросила Матрена Никитична.

— А то как? Здесь глыбко. Мне в ином месте по шейку, а в ином и донышка не достать,— ответил мальчик.

— Я плавать не умею,— упавшим голосом сказала женщина, прислушиваясь к торопливому клокотанью воды среди камней.

Костя критически смерил глазами ее высокую фигуру.

— Ничего, ты большая, перейдешь... Тебе по шейку, глыбче не будет. Только смотри, как бы водой с камней в омут не сбросило. Там омутище — ух! Сомы кил на двадцать водятся.

— А если сбросит? — Матрена Никитична тревожно смотрела на беспокойный поток, терявшийся в редком тумане.— Я девчонкой тонула раз, пастухи вытащили. С тех пор в воду заходить боюсь.

Мальчик насмешливо фыркнул:

— Большая, а боится. Точно курица. Я тут ребят провожал, ремесленников. На окопах они где-то работали у старой границы, так фашист их танками отрезал... Ух, ребята! Все вместе из окружения и выходили. Так вот у них многие и вовсе не плавали — и не боялись.

— Перешли?

— Пятерых в омут скинуло.

— Утонули?

— Троих вытащили... У них там один — они его Елка-Палка зовут, а он по-настоящему Толька — лихой парень! Здорово плавает. Он и вытащил.

— А двое?

— В воронку завертело... Этот Елка-Палка нырял, аж посинел весь, сам воды нахлебался, а не достал... Вот парень, ни черта не боится! Одного из них, Сашку, беляненького такого, так того он на кашлах перенес... Он у них за командира, этот Елка-Палка, даром что там ребята больше его есть...

— Черный, худой такой? — оживляясь, спросила Муся.

Ей вдруг вспомнилась лесная дорога, толпа ребят в черных гимнастерках с ясными пуговицами. Носилки, на которых кого-то тащат. А впереди загорелый смуглый паренек в одних трусах и форменной фуражке.

«Неужели они, эти мальчишки, все еще идут на восток?» И почему-то Мусе стало от этого так радостно, что она как-то даже забыла, что им сейчас придется войти в холодную, клокочущую воду. В трудные минуты она столько раз думала об этих ремесленниках, что ей начинало казаться, будто видела она их во сне. А теперь добрая весть об их маленьком отряде показалась ей хорошим предзнаменованием.

— Так этот черняевенький у них и сейчас за вожака?

— Во-во-во... Он все «елки-палки» говорит. Его за это они и прозвали... Ты его знаешь? Он тоже ваш? — спросил, оживляясь, Костя и вдруг спохватился: — Так что же, идти так идти, чего языки зря трепать! Затемно вам от берега подальше отойти надо... Там у фашиста везде глаз.

Костя деликатно отошел за кусты и скоро, уже голый, выглянул оттуда, дрожа от холодной ночной сырости. Увидев, что спутницы раздеваются, он спрятал свою одежду в траве, бегом проскочил поляну и, звучно пристукнув у берега босыми пятками, с разбегу плюхнулся в воду. Раздался шумный плеск.

— Ух, холодна! — послышался внизу вскрик.

Раздевшись, путницы, по совету мальчика, уложили свои пожитки в мешки. Укрепив мешок за плечами, Матрена Никитична решительно спустилась под берег, попробовала ногой воду и, тихо ахнув, отпрянула, точно вода обожгла ей пальцы.

Стоя наверху, Муся залюбовалась спутницей. Высокая, несколько грузноватая, но не потерявшая стройности, с тяжелыми косами, венцом уложенными на голове, она в задумчивой нерешительности стояла у сверкающей водной кромки. Сильное, строго очерченное тело белело и серебрилось в лунном свете.

— Давай, давай, чего ежиться! — послышался крик маленького проводника.

Матрена Никитична решительно вошла в реку. Стараясь не отставать, Муся, которой было и холодно и боязно, мелко семеня ногами, сбежала вниз и, стиснув зубы, пошла вперед по скользким камням переката. Вода, бурлившая и с силой бившаяся об ее ноги, была обжигающе холодна. Казалось, она умышленно стремилась столкнуть девушку с каменного гребня в тихие водовороты таинственно курившегося омута. Муся представила, что двое из тех ребят, которых она когда-то видела на лесной до-

роге, может, и сейчас еще лежат вот тут рядом, на дне, где водятся усатые, головастые сомы. Ей стало страшно.

Но впереди она видела прямую, стройную шею, покатые, как у античных статуй, плечи спутницы. Матрена Никитична, не умевшая плавать, двигалась к середине реки, раздвигая упрямые кипучие струи. Вода была ей уже по грудь. Мусе, которая плавала как рыба, при виде того, как храбро идет ее подруга, стало стыдно своих страхов. Она ускорила шаг и, всем телом напирая на воду, приблизилась к спутнице, чтобы в случае надобности помочь ей. Тревога за подругу сразу убила ее собственный страх. Костя, не достававший уже до дна, плыл впереди, отчаянно гребя наискось течению. Время от времени он оглядывался и, задыхаясь, кричал:

— Левее, левее! На меня держись!

Наконец вода пошла на убыль, и спутницы, взявшись за руки, вышли на мягкую песчаную косу. Значительно ниже их выплыл отнесенный течением проводник. Ежась, как выкупанный щенок, он прыгал на одной ноге, вытряхивая из уха воду. Все тело его было покрыто пупырышками, зубы клацали. Потом он, отвернувшись от спутниц, стал давать им последние советы:

— Как подниметесь на берег — прямо в лес. Тут тропка вправо будет, это на мельницу. Туда не ходите: сказывают, там у фрицев пост. Вы берите влево, через лес на Кадино, потом на Малиновку... Это все колхозы по опушке. Поняли, что ли?

— Замерзнешь ты совсем, на́ вот платок, погрейся. Дай, я тебя оботру,— забеспокоилась Матрена Никитична, уже облачившаяся в длинную полотняную рубашку.

— Замерзну!.. А раньше-то я мерз? — И, отскочив от спутниц, мальчик побежал по косе, заплескал по мелководью.— Прощайте!

Вскоре русая голова, охваченная расходившимися искрящимися водяными полудугами, замаячила уже посредине переката. Против лунного света она казалась черной.

— Эх, война и таких вот в покое не оставляет! — вздохнула Матрена Никитична.— Один ведь пойдет...

— Мы его так и не поблагодарили,— пожалела Муся.

— Благодарить тут не за что, одно дело мы, Машенька, делаем. Все — одно. И спасибо нам некому говорить, и наград нам за это не будет.

От реки, долгое время служившей Красной Армии рубежом обороны, путь странниц шел через район, где неприятель продвигался медленно, с тяжелыми, упорными боями. Не только села, лежавшие вдоль большаков, но и те, что были в стороне от пути наступления основных сил, оказались разрушенными и сожженными. Не только берега рек, ручьев, скаты оврагов, не только высотки, лесные опушки и иные удобные для обороны места, но и равнины, поля и луга были густо исклеваны снарядами, минами, изъезжены гусеницами танков. Порой Мусе казалось, что здесь пронесся, все вытаптывая и сокрушая, взбесившийся табун каких-то доисторических животных. Даже леса за рекой не пощадила война. Целые массивы оказались выломанными, вековые сосны, ели, березы валялись среди расщепленных пней и казались богатырями, поверженными в гигантской сечи.

Девушка со страхом смотрела на зеленые и серые туши танков, видневшиеся то тут, то там, на скелеты сожженных машин, поднимавшиеся из черной обгорелой травы, на бесформенный алюминиевый хлам погибших самолетов.

Матрену Никитичну, которая спокойно относилась к этим памятникам войны, больше сокрушали черные пятна и пепел на месте сгоревших стогов и скирд, раздувшиеся трупы коров и лошадей, валявшиеся в придорожных канавах, перестоявшиеся, сохнущие травы, истоптанные, перепутанные, приникшие к земле хлеба с уже осыпавшимся или уже проросшим в колосе белыми усиками корешков зерном.

Земляные холмики с крестами и без крестов, с касками, насаженными на палку, или вовсе без всяких отметок, точно большие кротовые кучи, виднелись то тут, то там.

Обеих спутниц одинаково подавляло необычное безлюдье этого края. Земля здесь казалась даже не покинутой, а вымершей. Встречая на каждом шагу следы человека, плоды его трудов, подруги не слышали ни одного живого звука: ни мычания коров, ни бреха собак, ни далекого петушиного пения, которое всегда так радует сердце путника, истосковавшегося по жилью.

Идти по этому безлюдному краю, где все говорило о недавней жизни, было страшнее и тягостнее, чем проби-

раться по самому глухому лесу. Однажды, когда они шли через побуревшее льняное поле, тяжело переливавшееся под ветром, Матрена Никитична нагнулась, ухватистыми движениями надергала несколько горстей льна, ловко перевязала их в аккуратный снопик, любовно подкинула его на руке.

— Вот ленок! Уродился же такой... Самым высоким номером пошел бы! — сказала она необыкновенно глухим голосом и, как ребенка, прижала к себе желто-бурый сноп с костяными, шелковисто шумящими коробочками.— Ой, Машка, какой урожай, какие хлеба! И все прахом!

А под вечер они пересекли ржаное поле. Тугие, тяжелые колосья больно стегали по ногам, теряя тяжелые зерна. Густо веяло запахом спелых хлебов. Тучные, обленившиеся перепела неторопливо взмывали из-под самых ног, всякий раз заставляя Мусю испуганно вскрикивать.

Внезапно Матрена Никитична, шедшая впереди, остановилась. Во ржи, уткнувшись лицом в землю, лежал немецкий солдат. По-видимому, он замаскировался здесь, на пригорке, среди хлебов, и отсюда вел огонь по дороге, пока кто-то не приколол его штыком в спину. Каска валялась среди целой россыпи уже позеленевших гильз. Ветер, шелестевший во ржи, теребил рыжие волосы солдата, прямые и сухие, как перестоявшийся лен, и перемешивал сытый дух переспевших хлебов со сладковатым запахом тлена.

Матрена Никитична, зло усмехнувшись, пошла прочь. Только когда поле скрылось уже за деревьями, она задумчиво обернулась к спутнице.

— Себя прямо не узнаю. У этого кольцо на пальце... Видела? Жена, чай, и детишки. Мать, может быть, ждет. А мне его вот ни столечко не жалко...

17

Идти теперь Мусе было значительно легче, чем раньше, и легче не только потому, что в лесном таборе «Красного пахаря» щедро снабдили их с Матреной Никитичной продуктами, даже сахару дали в дорогу, а оттого, что Игнат Рубцов наказал им не чураться в пути своих людей, верить в их посильную помощь.

После того как спутницы миновали приречный, начисто опустошенный долгими боями участок, на проселках стали попадаться беженцы, и подруги присоединялись к ним. Вместе с попутчиками они заходили в селения, расположенные в стороне от дорог, если там не было комендатур, а староста не успел прослыть своим рвением и прислужничеством оккупантам, ночевали на сеновалах и даже в избах.

И радовало путниц то, что тут, за спиной фашистской армии, советские люди не только не падали духом, но даже шли на риск, стараясь сохранить прежние порядки.

В одном селе видели путницы длинную виселицу. Неестественно вытянувшись, скосив набок головы, тихо покачивались на ней казненные. «За саботирование уборочного труда»,— поясняли надписи на картоне, пришпиленном булавками к одежде повешенных. Часто попадался на глаза пестрый плакат, расклеенный на стенах изб, на воротах сельских пожарных сараев: румяный жизнерадостный немецкий офицер показывал розовой пухлой рукой на груду туго набитых чувалов живописному бородачу в лаптях, вышитой косоворотке, в высокой поярковой шляпе-грешневике, какие носили крестьяне в некрасовские времена. «Что соберешь — себе возьмешь» — гласила надпись. Но на плакате этом виднелись обычно и другие надписи, сделанные от руки углем или мелом: «Врешь», «Не обманешь», «На-кось выкуси», а чаще всего такие, что Мусе неудобно было их и читать.

И везде тянулись вдоль дорог исхлестанные дождями, полегшие, прорастающие хлеба, косматая побуревшая путаница осыпающихся горохов, заросшие бурьяном, поваленные ветром льны, напоминавшие издали поверхность старых, запущенных прудов, да бурые травы, высохшие на корню.

А потом стали попадаться вырванные из тетрадей листки, исписанные разными почерками и приклеенные кем-то к телеграфным столбам, к дощечкам немецких дорожных знаков. Они призывали не подчиняться приказам, не выходить в поле, бойкотировать фашистские ссыпные пункты. И все они оканчивались одной фразой: «Смерть гитлеровским захватчикам!»

Эти скромные, наспех исписанные тетрадные листки, так же как гудение ночных бомбардировщиков, летавших

на бомбежку далеких вражеских тылов, подбадривали путниц в тяжелые минуты.

— Вы знаете, Матрена Никитична, когда я вижу листовки, мне хочется совершить что-нибудь особенное, героическое! Не знаю что — взорвать их поезд, убить кого-нибудь, самого большого фашистского мерзавца, сжечь военный склад,— все равно. Но только что-нибудь такое, чтобы узнали там, дома,— мечтала Муся.— Пусть умру, пусть, но пусть потом все говорят: «Вот так Муська Волкова, а! Слыхали? Ведь простая девчонка была, обожала танцульки, песни пела. Кто бы мог подумать?»

— Чудачка! Да разве мы с тобой малое дело делаем?

Матрена Никитична прижала девушку к себе...

...Иногда с утра на Матрену Никитичну находило задумчивое настроение. Лицо становилось неподвижным, замкнутым, в глазах появлялась тоска, тревога. Муся знала, что в эти минуты спутница думает о муже, о детях, и старалась приотстать, чтобы не мешать ей.

— Я... со своим десять лет прожила,— неожиданно проговорила Матрена Никитична как-то в одну из таких минут.— Всяко бывало — и пошумишь и поссоришься. Я ведь, грешная, дома-то покомандовать люблю... Раз, когда он на курсы в район меня не пускал из-за того, что я Зойкой тяжелая была, так я даже уходить от него собралась, честное слово! Подумаешь, начальник сыскался! А вот сейчас кажется: лучше нашего и жить нельзя... Нет, верно... Где-то он, мой Яшенька?.. Сыро вот по ночам становится, а у него после финской ревматизм. Кто ему малину сварит, как суставы опухнут?.. А у тебя, девонька, так-таки никого на сердце и нет?

Муся сконфузилась, горячий румянец проступил даже сквозь густой загар щек.

— Ну вот еще! Конечно, нет. И не будет! Подумаешь, добро — мальчишки. В семилетке в меня не только из нашего класса, но и из параллельного «Б» все влюблялись, а я на них — тьфу, очень они мне нужны!

Лицо женщины подобрело, в нем появилось выражение материнской ласки.

— Так-таки тебе никто сердечко и не занозил?

Муся честно припоминала всех своих былых поклонников: и долговязого Арсю —монтера городской электростанции, обещавшего ей сконструировать какой-то необыкновенный радиоприемник, и младшего лейтенанта пограничника Федю, певуна и гитариста, рассказывавшего

ей на свиданиях о романтике пограничной службы, и взбалмошного Борьку, студента педагогического института, математика, всегда все везде забывавшего, путавшего места свиданий... Все они, меняя голоса, неутомимо звонили ей в банк по телефону, то вместе, то порознь ходили с ней в горсад и преподносили ей в дни открытых концертов в музыкальной школе букеты сирени и жасмина, а осенью — астры и георгины, уворованные в садиках у соседей... Верно, хорошие были ребята и даже немножечко нравились, но «занозить» ей сердце — боже сохрани! И поцеловать себя она никому из них ни разу не позволила.

— Я, Матрена Никитична, наверно, никогда замуж не пойду. Нет, верно, верно. Чего вы улыбаетесь... Зачем? Очень надо!.. Ну, а если уж когда-нибудь и встанет этот вопрос,— во-первых, это будет после войны, во-вторых, когда я стану знаменитой, ну, не совсем знаменитой, а хотя бы известной певицей, в-третьих, он должен быть не каким-нибудь там мальчишкой, а во всех отношениях выдающейся личностью, умен, красив собой... Понимаете, Матрена Никитична? Ну, тогда, может быть, еще подумаю. Может быть...

— Э, Машенька, не на лице красоту ищи! Мой Яша с лица не очень... а мне он лучше всех. Верно, верно. Знала бы ты, как я о нем стосковалась! Вот случится горе какое или устану так, что все из рук валится, глаза закрываются, ноги не идут, а начну о нем думать — откуда только силы берутся. Точно живой воды испила...

Так, беседуя о своем заветном, воскрешая в разговорах милое прошлое, вспоминая дорогие теперь мелочи довоенной жизни, шли по захваченной земле на восток женщина и девушка. А вдали над большаками все время маячили столбы пыли: там день и ночь непрерывным потоком двигались на восток вражеские машины, машинищи, тракторы и тягачи, утюгообразные броневики, большие и малые танки, самоходные орудия, вся эта бесчисленная техника, изготовленная гитлеровцами на заводах завоеванной Европы и нареченная человеческими именами и звериными кличками.

В дни гигантской битвы, напряжение которой, как было очевидно, росло с каждым днем, оккупантам было не до двух бедно одетых женщин с котомками, что плелись по малоезжим дорогам то в одной, то в другой тол-

не лишенных крова людей, согнанных с родных мест. Только однажды остановил их на перекрестке немецкий патруль. Но солдаты, брезгливо осмотрев их рубища, нащупав в мешках всего лишь немолотую рожь, погнали их прочь.

Обмотанные черными платками, с вымазанными золой лицами и руками, спутницы походили на истощенных скитаниями старух. Они научились на людях ходить сгорбившись, опираясь на палки. Понемногу они так вошли в роль, что и между собой уже говорили нараспев. И ни попутчикам, ни хозяевам ночлегов не приходило в голову, что одна из этих двух согбенных, насквозь пропыленных беженок, как бы являвших собой живое олицетворение бед оккупации, на самом деле и есть та колхозница, портрет которой и по сей день украшал иные избы, а другая — молоденькая девушка, почти подросток.

18

Однажды в сумерки Муся заметила на горизонте странный багровый отсвет, окрашивавший облака в тревожный малиновый цвет.

Матрена Никитична предположила, что это поднимается за лесом луна, предвещая на завтра ветреную погоду. Но луна вскоре взошла, а горизонт не померк. Наоборот, отсветы становились ярче, они как бы расползались и вскоре уже охватили на востоке все небо.

— Зарево?

Спутницы обрадованно посмотрели друг на друга. Неужели близок фронт? Но спросить было не у кого. Встреченные люди, такие же, как и они, бездомные скитальцы, ничего толком не знали. Захватчики утверждали в своих листовках, что их войска успешно движутся на Москву. Партизанские афишки, написанные от руки, сообщали, что враг задержан.

Что же могло означать это зарево?

В следующий вечер зарево стало видно еще до того, как сгустилась тьма. Оно возникло сразу в нескольких местах и повисло над землей, густое, зловещее. Канонады слышно не было.

Ночь спутницы спали плохо. То одна, то другая из них поднималась и молча смотрела на тревожный багрянец ночного неба, гадая, что это такое могло означать.

А наутро все выяснилось. Навстречу путницам хлынул густой человеческий поток. По малоезжим проселкам, по лесным дорогам люди двигались на запад. Шли с детьми, вели под руки стариков, тащили на спине, везли на велосипедах и в детских колясках пожитки. Некоторые, впрягшись по четверо, по шестеро в оглобли, тянули телеги, груженные мешками и баулами. Лишь немногие тянули на веревке корову или козу.

От беглецов спутницы и узнали правду. Здесь, в тылу своих армий, фашистское командование начало создавать для защиты от партизан «мертвую зону». Специальные карательные отряды жгли подряд деревни, села, выселки. Населению было приказано за шесть часов покинуть родные места и двигаться на запад за реку. Все живое — и люди и скот, все, что останется здесь после указанного срока,— будет уничтожено, говорилось в приказе. Исключение предоставлялось только мобилизованным на работу, снабженным специальными пропусками военных комендатур и металлическими бирками особого образца.

Посоветовавшись, подруги решили продолжать путь. Они только прибавили шагу, стремясь проскочить через обреченный район, еще до того как он окончательно обезлюдеет. Теперь не нужно было ждать сумерек, чтобы видеть зарево. Впереди, справа и слева — везде поднимались к небу облака серого дыма. Они походили на далекие горные вершины, но вершины эти жили, шевелились и перемещались по горизонту, меняя формы и очертания.

— Эй, куда, куда вас несет?!

— Что, жить надоело? — кричали беглецы двум женщинам, упрямо шагавшим на восток, и, оглядываясь им вслед, горестно качали головами и строили догадки:

— Должно быть, разумом помутились.

— А что в том дивного, такой ужас...

— Хотя бы остановил их кто.

— Кому тут останавливать?

К полудню толпы беглецов увеличились. Спасавшиеся из «мертвой зоны» уже не шли, а бежали, бежали налегке, без вещей, таща на руках притихших, как бы онемевших ребятишек. На подруг, продолжавших упорно идти навстречу этому людскому потоку, мало кто обращал внимание.

Это были уже те, кто, не поверив в угрозы приказа, не покинули к назначенному часу насиженных гнезд. Они

сбивчиво рассказывали, как в указанный срок в села врывались на мотоциклетках солдаты в черных, не виданных еще в этих краях мундирах, с мертвыми костями на фуражках. Не интересуясь, остался ли кто в доме, солдаты заколачивали двери, из ранцевых опрыскивателей, похожих на те, какие применяются при борьбе с садовыми вредителями, обрызгивали стены какой-то жидкостью, и через мгновение изба вместе со всем, что в ней было, превращалась в пылающий костер.

Солдаты в черном! Муся вспомнила тех рослых, откормленных молодцов, что в родном ее городе, забавляясь, издевались над старым врачом. Она схватила спутницу за руки.

— Матрена Никитична, милая, повернем!

— Что ты, что ты, девушка! Как это повернем, столько уже пройдено... Разве можно? — Голос у Матрены Рубцовой, за которую все еще держалась Муся, звучал твердо, даже повелительно.

Мелкая дрожь охватывала девушку.

— Вы же не знаете этих в черном. Вы их не видели, а я видела... Это такие, такие...

Девушка не нашла подходящего слова.

— Фашисты, девонька,— тихо подсказала Рубцова, отнимая у спутницы свою руку.— Все они одинаковые, какой нации ни будь, какой мундир на них ни напяль. Идем скорее, некогда нам тут... Да гляди в оба. А то отсекут нас, дороги запрудят,— что станешь делать?

И они шли, шли навстречу бегущим людям, заставляя себя не обращать внимания ни на крик, ни на слезы, ни на одиноких детей, потерявших родителей, ни на обессиленных стариков, безразлично сидевших у дороги. Какой-то лохматый человек в обгорелой одежде, с обожженным лицом, увидев их, двигающихся прямо туда, в ад, откуда он едва вырвался, пытался заступить им путь. Но они торопливо разминулись с ним.

Подруги шли, стиснув зубы, движимые одним стремлением — скорей прорваться сквозь этот ужас. В конце концов непосредственность восприятия у них притупилась, и они двигались как в кошмаре, утеряв реальность ощущений.

И с той же непоследовательностью, какая бывает в кошмарах, у какой-то невидимой границы поток беженцев оборвался. Дорога, лежавшая впереди, опустела.

Путниц окружила первобытная тишина. Ни один живой звук не нарушал ее. Казалось, земля пустынна, мертва.

Это было особенно страшно.

Вдруг вдалеке зарокотал мотор. Не сговариваясь, подруги перепрыгнули через канаву и что было духу побежали прочь через картофельное поле, спотыкаясь о грядки, путаясь в ботве. Они бежали, пока хватило сил. Наконец, не выдержав, Матрена Никитична простонала:

— Маша, не могу больше,— и опустилась на землю, держась за грудь и хватая воздух открытым ртом.

Муся свалилась рядом. Кровь, пульсируя, билась у нее в висках. Но напряженный слух продолжал улавливать в тишине отдаленные голоса, рокот и пофыркивание моторов, чьи-то крики, редкую стрельбу. Потом Матрена Никитична поднялась и подняла Мусю.

— Пойдем! — шепотом сказала она.

Дальше подруги шли уже без дороги, боясь наткнуться на заставы карателей, выставленные, как предупреждали беженцы, на перекрестках. Шли молча, поминутно останавливаясь и прислушиваясь. Но опять ни одного живого звука, даже птичьего пения, даже треска кузнечиков не раздавалось вокруг.

Это была уже действительно мертвая зона.

Заночевали в небольшом березовом леске. Костра не разводили. Обе не смыкали глаз. Они сидели, прижавшись друг к другу, и, машинально вытрушивая зерна из колосков, бросали их в рот. А кругом, точно танцуя какой-то медленный страшный танец, колыхались хороводом зарева больших и малых пожаров. Говорить не хотелось. Хотелось плакать, но слез не было.

И оттого на душе было особенно тяжело.

19

Когда забрезжил рассвет, подруги покинули лесное убежище и, оглядываясь, вышли на ржаное поле, кое-где покрытое черными пятнами воронок.

Низко нависшее серое небо тихо сочилось мелким обложным дождем. Глинистая почва, звучно чавкая, крепко цеплялась за подошвы.

Кругом, насколько видел глаз, не было ничего живого.

— Как последние люди на земле,— сказала Муся, томимая тем же жутким чувством одиночества и ожида-

ния чего-то необычайного, которое она уже однажды испытала в первый день оккупации в домике Митрофана Ильича.

— Что? — нервно спросила Матрена Никитична, замирая на полушаге.

— Страшно.

— Ну что ты. Никого ж кругом нет. Пусто.

— Вот оттого-то и страшно...

— Идем, девонька, идем...

Здесь, среди поля, они говорили шепотом да и ступать старались так, чтоб ветка не хрустнула под ногой.

К полудню спутницы увидели справа длинную колонну людей в штатском, вытянувшуюся по дороге. По обочинам шли конвоиры. Позади, грузно покачиваясь на ухабах, двигался остроносый утюг старомодного броневичка.

Переждав во ржи, пока колонна не скрылась за пригорком, подруги продолжали путь. На них уже не было сухой нитки, а серенький дождь все сеял и сеял. Впереди туманно вырисовывалась зубчатая кромка леса. К нему-то и устремились путницы, мечтая скрыться, затеряться среди деревьев и по-настоящему выспаться и отдохнуть там от пережитого в последние дни.

Лес был уже близок. Сквозь колеблющуюся кисею дождя можно было различить курчавый березняк опушки, а за ним — восковые свечи сосновых стволов. Оставалось пересечь край поля да перелезть через изгородь. И вдруг резкий окрик, точно выстрел, раздавшийся сбоку, пригвоздил путниц к месту:

— Хальт!

Подруги оцепенели, боясь оглянуться. Опомнившись, Муся рванулась было прочь, но спутница удержала ее за руку:

— Стой! Пуля догонит.

Девушка с недоумением взглянула на нее: что же, сдаваться? Матрена Никитична, уже ссутулясь, опираясь обеими руками о палку, спокойно, будто ничего не соображая, смотрела вперед. Тут и Муся увидела двух немцев в мокрых черных пилотках и куцых, знакомых ей курточках с эмблемой смерти над левым карманом. Выйдя из кустов за изгородью, они перескочили через жерди и, не опуская автоматов, шли к подругам.

Один из них, старший, как сразу определила Муся, плечистый, крутогрудый, с пестрым, как яйцо кукушки,

лицом, приблизившись, презрительно осмотрел их старушечьи рубища, потрогал мешки и, брезгливо поморщась, отер пальцы о мокрую траву. Он что-то приказал второму, а сам упругим прыжком гимнаста опять легко перескочил изгородь и скрылся в своей засаде.

Конвоир больно ткнул Мусю в спину стволом автомата, показал на опушку леса и тонким, бабьим голосом выкрикнул:

— Вег! Вег!

Спутницы стояли, не решаясь тронуться. Муся успела разглядеть лицо конвоира, еще молодое, но уже отечно-полное, с коровьими, бесцветными ресницами и близорукими, тоже бесцветными глазами, которые казались неестественно большими из-за толстых стекол очков в золотой оправе. У него был пухлый и яркий, как ранка, рот и совсем не было видно подбородка. Нижняя губа как бы переходила в жировые складки шеи. В этом близоруком, бледном, нездорово пухлом лице не замечалось ни суровости, ни злости, но было что-то такое, что внушило Мусе леденящий страх, какой она не раз испытала в лесных скитаниях, увидев рядом ядовитую змею.

— Вег! Вег! — угрожающе командовал солдат.

Верхняя губа у него поднялась, обнажила ровный ряд тускло блестевших стальных зубов. «Нет, этот не пощадит. И не надо его пощады, не надо... Нельзя идти в лес с той гадиной». Муся почувствовала, как внутри у нее похолодело и словно что-то оборвалось. Потеряв контроль над собой, вся трясясь, она крикнула:

— Убивай здесь! Убивай, фашист проклятый... Убивай!

Бесцветные глаза удивленно поднялись на маленькую черную старушонку, что-то кричавшую молодым голосом. Солдат снял и протер запорошенные дождевой пылью очки, а потом беззлобно, как-то механически ткнул Мусю кулаком в лицо.

— Вег, вег...

Девушка не сразу даже поняла, что, собственно, произошло. Сознание ее отказывалось верить, что кто-то мог ее ударить. Мгновение она удивленно глядела на врага и ничего не видела, кроме его очков с необыкновенно толстыми линзами. Потом до нее дошло наконец, что этот без подбородка все-таки действительно ее ударил. В ней поднялась волна неукротимого бешенства.

Но прежде чем Муся успела что-нибудь предпринять, сильные руки, схватив ее сзади, сковали движение.

— Не смей! — сказал ей в ухо властный голос.

Муся рванулась еще раз, но Матрена Никитична не выпустила ее.

— Он меня ударил... Дрянь... Фашист... Пустите!.. Он меня...

— Опомнись, не собой рискуешь,— сказала ей в ухо с отрезвляющим спокойствием спутница.— Остынь.

Вспышка уже прошла. Муся как-то вся обмякла, почувствовала опустошающую слабость. Солдат без подбородка одобрительно кивал Матрене Никитичне:

— Гут, майне фрау, гут,— и снова квакал, показывая автоматом в сторону леса.— Вег, вег...

— Жаба! — вяло ругнулась девушка. Ей было все равно, куда идти, все равно, жить или умереть.

Она не помнила, как доплелась до опушки, как очутилась в молчаливой толпе таких же оборванных, грязных женщин. Ее даже не заинтересовало, откуда они взялись, для чего их тут всех собрали. Кровь продолжала сочиться из разбитого носа, густые бурые капли падали на байку куртки. Кто-то сказал ей:

— Сядь, утрись.

Девушка села на землю, обтерла лицо рукой и, увидев на ладони кровь, провела ею по влажному мху. Вспышка ярости унесла все силы. Муся сидела, привалившись к дереву, смотрела перед собой пустыми глазами, равнодушная к товарищам по несчастью, к собственной судьбе, ко всему на свете.

Между тем Матрена Никитична, всегда умевшая быстро сходиться с людьми, уже завела с женщинами беседу и исподволь выспрашивала, кто они, почему сюда согнали, что их всех ждет.

Все это были случайные люди, задержанные патрулями на границе «мертвой зоны». Для чего их задерживали — никто не знал. Одни говорили, что их ловят только затем, чтобы вывести за пределы запрещенной зоны; другие добавляли, что пойманных будут не уводить, а расстреливать; третьи предполагали, что всех погонят на ремонт взорванного вчера партизанами моста; четвертые уверяли, что мост немцы сами чинят, а женщин заставят расчищать минные поля, оставленные частями отступившей Красной Армии. Но большинство склонялось к тому, что их поведут строить блокгаузы и доты для защиты

дорог от партизан. Местные жительницы рассказывали, что такие работы уже начаты по всему этому обезлюдевшему району, что на опушках лесов оккупанты воздвигают из кирпича, бетона и рельсов целые маленькие крепости.

При этих разговорах слово «партизаны» не сходило у пленниц с уст. Его произносили вполголоса, опасливо косясь на охранника. И столько вкладывалось в это слово надежд, что Матрена Никитична поняла: за немногие недели оккупации партизаны в этих краях успели уже досадить вражеской армии.

— Этот-то наш сторож, видать, в здешних краях новичок. Спокойный. А немец, что тут побыл, тот пуганый. Того сразу отличишь, тот точно на муравьиной куче без штанов сидит: все вертится да озирается,— сказала, усмехаясь, пожилая дородная женщина в стареньком форменном железнодорожном кителе, не сходившемся у нее на груди.

Конвоир, тот самый, что ударил Мусю, действительно спокойно сидел на пеньке. На коленях у него лежал автомат. Изредка взглядывая близорукими глазами на женщин, он старательно строгал перочинным ножом какую-то щепочку.

Постепенно выйдя из состояния тяжелой апатии, Муся уже с любопытством, которое не могли побороть ни страх, ни гадливость, внушаемые ей этим типом без подбородка, стала наблюдать за ним.

Он выстрогал щепочку, огладил ее полукруглый кончик лезвием ножа, пополировал о сукно штанов, неторопливо убрал ножик в замшевый чехольчик, сунул в карман куртки, а щепочкой стал ковырять в ухе. Поковыряет, понюхает кончик, вытрет о штаны и опять лезет в ухо. Он весь ушел в это занятие, и вид у него был такой, какой бывает у человека, оставшегося наедине с самим собой.

— Ишь, и за людей, должно быть, нас не считает,— сказала за спиной Муси Матрена Никитична.

— Сам-то он человек, что ли? — ответил густой, низкий женский голос, и кто-то смачно сплюнул.

Девушка оглянулась. Матрена Никитична сидела на своем мешке, окруженная группой женщин, и рядом с ней — та толстая железнодорожница.

— Эх, налетели бы партизаны! Они б ему ухи проковыряли,— вздохнул кто-то.

— А они здесь есть? — оживилась Матрена Никитична.

— Есть, да не про нашу честь.

— А где они, много их?

— А кто их в лесу считал! Стало быть, немало, раз фашист лютует... Села вон подряд, как лесосеку какую, выжигает.

— Вдоль большаков да шоссеек чуть не крепости строит. Для красы, что ль?

— Вот бы кто гукнул им, партизанам: дескать, томятся бабы, как ягоды в кринке,— усмехнулась железнодорожница.

Эта немолодая полная женщина особенно приглянулась Матрене Никитичне и своим сердитым спокойствием и зорким взглядом маленьких заплывших глазок, которые точно все что-то искали, и особенно тем, что поглядывала она на конвоира без страха и даже с усмешкой.

20

Неслышно сеялся мелкий дождь. Порывистый ветер холодил промокшую одежду. Сырость прохватывала до костей. Женщины шепотом передавали слухи о партизанских делах, и во всех их рассказах звучала надежда, что партизаны нагрянут, выручат, спасут от вражеского надругательства.

Матрена Никитична не разделяла этой надежды. Не так-то все просто! Сидя на своем мешке, она не забывала о его содержимом, и деятельный мозг ее неустанно бился над тем, как спасти или, в крайнем случае, хотя бы спрятать ценности.

«Отвлечь бы внимание этого очкаря да зарыть мешок хоть вот тут, во мху? Не годится, а вдруг увидит... Незаметно оставить в кустах, когда погонят в путь? Или, может быть, безопаснее уже в пути бросить куда-нибудь под приметный куст, а потом бежать. Вернуться и найти?..»

Все эти проекты она браковала, но тотчас же начинала обдумывать новые...

— Ну, а ежели б случилось бежать, как их найти, партизан-то? — спросила она железнодорожницу.

— Кабы я знала, так бы я тут и сидела с вами, как мухомор под елкой! — насмешливо фыркнула та.

— А ты, милушка, встань, ладошки ко рту приложи да покричи: «Партизаны, ау! Где вы?» — насмешливо прозвучал за спиной Матрены Никитичны дребезжащий тенорок.

Женщина вздрогнула и оглянулась. Позади нее стоял седой кривой старикашка со сморщенным, как высохший гриб, лицом — единственный мужчина в этой большой толпе полонянок.

Матрена Никитична приметила его сразу же, как только очутилась здесь. Одет он был в поношенную куртку железнодорожника, на голове у него форменная выгоревшая фуражка с захватанным козырьком. «Вот, пожалуй, с кем стоит пошептаться насчет побега»,— подумалось ей тогда. Но старичок сидел под кустом, глубоко засунув руки в рукава, свернувшись, как еж, и, казалось, дремал. Большая фуражка была надвинута на уши, как бабий чепец. Выглядел он таким нахохленным и беспомощным, что Рубцова, понаблюдав за ним, отказалась от своей мысли.

Теперь он незаметно возник за спиной собеседниц, и его единственный глаз, узкий, по-кошачьи зеленый, смотрел на них с затаенной и недоброй хитрецой. В левом углу рта у него темнело коричневое никотиновое пятно. От старика густо несло табаком. Запах этот, напомнивший Матрене Никитичне мужа, заядлого курильщика, как-то, вопреки всему, расположил ее к незнакомцу.

Она покосилась на конвоира. Тот кончил ковырять в ушах и занялся своими ногтями.

— Эх, знать бы, где эти партизаны, как пройти к ним! — сказала Матрена Никитична, косясь на старика, который, как ей начинало казаться, был не так-то уж прост и беспомощен.

— А кто ж их ведает,— задребезжал тенорок кривого. Его единственный зеленый глаз впился в Рубцову.— А тебе на что они, милушка? Что, ай муж с ними по лесам лазит? Иль дело к ним есть какое?

От недоброго взгляда старика женщине стало не по себе. Она не ответила. Старик опять свернулся, как еж, под можжевеловым кустом, еще глубже напялил фуражку на уши и, как послышалось Матрене Никитичне, даже стал тоненько, с присвистом, похрапывать. Но, неожиданно повернувшись, она уловила на себе изучающий взгляд его прищуренного глаза.

«Нет, с кривым каши не сваришь, его остерегаться надо»,— решила она и придвинула свой мешок к толстой железнодорожнице. Не упоминая больше о партизанах, она стала тихонько убеждать ту попробовать организовать побег. Судьба их всех и без гадалки ясна. Так что ж, сидеть и ждать? Лучше уж напасть вон на этого очкаря, а потом бежать разом, врассыпную. Конечно, кое-кто, может быть, и голову сложит, но остальные спасутся...

— С голыми руками на автомат? А ты умная...— усмехнулась железнодорожница.— А у него вон еще и гранаты. Бросит —и куча лому.

Солдат чистил ногти, старательно обкусывая заусеницы.

— Да лучше уж от гранаты помереть, чем как скоту на бойне.

Матрена Никитична отвернулась от железнодорожницы и подвинулась к Мусе. Девушка совсем оправилась. Она искоса посматривала на охранника, занятого своим туалетом. Под левым глазом у нее наливался синяк. Матрена Никитична ласково окликнула спутницу. Муся не сразу отозвалась.

— Прикосновение гадины отвратительно, но не может оскорбить человека,— сказала она, отвечая на какую-то свою мысль.— Гадину, если можно, следует раздавить, сердиться же на нее глупо.

— Раздавить, но с умом. От гадючьего яда помереть не велико геройство,— отвечала Рубцова, радуясь, что ее спутница рассуждает уже спокойно.

Железнодорожница, покосившись на Мусю, спросила у Матрены Никитичны.

— Ай подружки?.. Эта с тобой, что ли?..

— Со мной, не стесняйся.

— Я стесняться не умею.— Толстуха развалилась на земле в самой безмятежной позе.— Я вот о чем. Просто так вот, как курам от ястреба, разлететься нельзя. Не выйдет. Тут, бабоньки, нужно что-то придумать, чтоб он шум поднять не успел, подмогу с поля не вызвал. Их ведь там, поди, немало в засадах схоронилось... Вот заманить бы его сюда, в толпу, да навалиться б на него всем общим собранием, чтоб он и стрельнуть не успел.

— Много он убьет с перепугу...

— Много не много, а я, бабоньки, помирать не согласна... Тут тихо-смирно надо все разыграть. Как в театре.

Конвоир встал, отряхнул с колен настриженные ногти; не выпуская из рук автомата, сделал несколько гимнастических упражнений. Потом он, чтобы согреться, походил по поляне и, вернувшись к пеньку, возле которого лежали гранаты, сел и стал довольно рассматривать ногти на пухлых белых руках. Что-то бабье было в его фигуре с узкими покатыми плечами, в его рыхлой, отечной физиономии.

Муся уже давно подметила равнодушное любопытство, с которым он смотрел порой на оборванных, голодных, вымокших под дождем полонянок. Этот оскорбительный интерес к чужим страданиям больше всего бесил девушку. Ее почему-то так и подмывало показать ему язык.

— Знаете что...— вдруг прошептала она, вся оживляясь, и отчаянное вдохновение засветилось в ее серых озорных глазах.

Обе женщины придвинулись к ней, и все трое долго шушукались, осторожно косясь на охранника...

Моросил дождь. Тяжелые капли звучно падали с деревьев. Холодный ветер пробирал до костей. Пленницы сгрудились, жались друг к другу, стараясь согреться. Вдруг в центре этой молчаливой продрогшей толпы вспыхнула ссора. Никто не успел заметить, как она возникла. Две женщины в рубищах, вцепившись, в какой-то мешок, тянули его каждая в свою сторону, зло, визгливо браня друг друга.

Конвойный, сначала было насторожившийся и даже переложивший гранаты поближе к себе, приподнялся, вытянул шею, стараясь увидеть, что же такое происходит там, внутри круга, образовавшегося около дерущихся. Потом, не выпуская из рук оружия, забрался на пенек, приподнялся на цыпочки...

Дрались две женщины. Они уже оставили мешок и вцепились друг другу в волосы. Пухлые губы часового сложились в улыбку. Кирпичный румянец разгорался на его щеках. Он был доволен этим неожиданным развлечением.

Вот высокая опрокинула маленькую навзничь. Не обращая внимания на окрики, отталкивая руки, которые тянулись к ней со всех сторон, она, по-видимому, душила противницу. В драке наступал самый интересный момент. Но круг полонянок, все теснее замыкавший дерущихся, не позволял видеть подробности. Конвоир соскочил с пенька, вошел в толпу и стал рукояткой автомата прокладывать себе путь...

Что произошло дальше, никто не успел рассмотреть. Послышался звук, короткий и вязкий, как треск разбиваемого яйца. Сначала брякнулся о землю автомат. Конвойный мягко, будто его тело сразу стало дряблым, осел на мох.

Наступила тишина. Раздался низкий, приглушенный женский голос:

— Эй, бабы, давай беги во все стороны!.. Да не на поле! В лес, в лес!

Железнодорожница стояла над телом конвойного с увесистым камнем в руках. Она отбросила камень, осмотрелась и, мелькая тяжелыми икрами, что есть духу пустилась в чащу. Толпа разлетелась с полянки, как семена одуванчика, на который дунул ветер. Через минуту здесь было пусто, и, как позабытая разбежавшимися детьми кукла, в смятой какой-то позе валялось тело конвойного с раскроенным черепом.

Муся и Матрена Никитична бежали в глубь леса. Выпачканные землей, исцарапанные в недавней схватке, они торопились что было сил, пока не свалились на густой, влажный мох. Их обступал частый ельник.

Они были одни...

21

Запасы, которые уложил в мешки путниц Игнат Рубцов, давно уже иссякли. Когда, переночевав в лесу, подруги принялись готовить завтрак, у них была только молодая картошка, накопанная накануне на брошенном поле. Они сварили ее и, поев, оставили немного про запас. При самой жесткой экономии картошки могло хватить на день. И все-таки они решили идти напрямки лесом, избегая селений и дорог.

Глушь лесных урочищ с завалами буреломов, с диким зверьем, болота с коварными чарусами не казались им страшными после обезлюдивших, выжженных пространств, которые они прошли накануне. Маршрута у них не было, но Муся уже умела теперь по десяткам признаков правильно определять направление на восток.

В это ветреное, непогожее утро они впервые почувствовали приближение осени. Еще недавно лес издали казался сплошь зеленым, а теперь среди вечной зелени елей

нежно желтели курчавые вершины берез, серела, а местами уже начинала багроветь трепетная листва осин. Кусты орешника, буйно и ярко зеленевшие в лесных чащах, на пригорках и открытых местах, загорались снизу золотым пламенем.

Низкие тучки, спешившие под сердитыми ударами порывистого ветра, казалось, цеплялись за вершины елей. Деревья то и дело стряхивали на путниц целые пригоршни тяжелых холодных капель. И все же как хорошо было в этом уже по-осеннему прохладном лесу.

После удачного побега подруги чувствовали душевный подъем.

— Ну вы мне вчера и дали жару, сейчас все болит! — весело вспомнила Муся.

— А ты мне все волосы спутала — не расчешешь теперь. Придется тебе мои косы разбирать,— смеялась Матрена Никитична.— Ловко это ты придумала, как его заманить... хитрая ты, Машка. За тобой будущему мужу глядеть да глядеть...

Они посмотрели друг на друга, перемигнулись и захохотали. Эхо лесных чащ робко, как-то недоверчиво отозвалось па этот звонкий, веселый смех.

— А я, как затеялась вся эта кутерьма, вдруг вспомнила: «А мешок?» Батюшки-матушки! Даже похолодела вся: а ну кто под шумок стянет? Гляжу краем глаза: лежит мой милый, лежит, валяется,— затоптанный, никому не нужный.

Обе глянули на мешок, висевший, как всегда, за спиной Матрены Никитичны, и опять рассмеялись, и даже небо словно бы ответило на их смех. В голубое окно меж торопливых редеющих туч выглянуло солнце, яркое, ласковое; на траве, на деревьях, на паутинках, протянутых меж ветвей, весело заискрились, засверкали дождевые капли.

— Разогнется, разогнется пружина, Машенька... Помнишь, свекор-то мой говорил? Туго свернулась — крепче ударит.

Глаза Матрены Никитичны так же искрились и сияли, как и все кругом. На лице ее, омытом дождевой влагой, сквозь шелковистую смуглоту кожи проступил темный румянец. Улыбка обнажила два ряда крупных зубов. Женщина как-то сразу необычайно помолодела. Муся с восхищением смотрела на спутницу.

— Красивая вы...

А та, целиком захваченная своими мыслями, даже и не слышала.

— ...И жить станем по-прежнему. Вот приезжай тогда Машенька, к нам в «Красный пахарь», как сестренку приму... Ох и хорошо ж у нас в колхозе!..— Рубцова вздохнула, сдвинула брови и тихо добавила: — Было...

— Я учиться пойду... Но приеду я, вот увидите, обязательно, только уже когда стану певицей. Ладно? Приеду, соберутся все— бабка Прасковья, Варя, Игнат Савельич,— все знакомые, а я выйду в вечернем платье, в длинном, белом... нет, не в белом; белое, говорят, толстит, а в голубом, мне больше голубое к лицу. Правда?..— И вдруг предложила: — Спеть?

И, не дожидаясь приглашения, девушка запела вполголоса свой любимый «Зимний вечер».

Но допеть ей не удалось: песня оборвалась на полуслове. Послышался хруст валежника, торопливые шаги, и из зарослей мокрого, щедро осыпанного черными, воронеными ягодами можжевельника, прямо наперерез путницам, вышло двое мужчин.

— Быстрее и не оглядывайся,— успела шепнуть Матрена Никитична, меняя направление и ускоряя шаг.

Они двинулись, не разбирая дороги, прямо сквозь можжевельные заросли, сквозь кусты волчьих ягод и орешника. Они шли торопясь, не смея обернуться. А позади трещали сучья и слышались шаги. Незнакомцы явно стремились их нагнать.

Тогда Матрена Никитична еще раз изменила направление: авось все-таки разойдутся на, может быть, лишь случайно совпавшем пути.

Но преследователи не отставали. Уже слышны были не только шаги, но и их дыхание.

— Бежим! — сказала Матрена Никитична, поправляя лямки тяжелого мешка.

Вдруг кусты затрещали впереди, и, тут же раздвинув ветви, навстречу подругам вышел белокурый немец, высокий и такой плечистый, что военная тужурка вся на нем натянулась, как трикотажная, обозначив сильный, мускулистый торс. Форма на нем была обычная, армейская, серо-зеленая.

— Здравствуйте! — сказал он вдруг на чистейшем русском языке.

Он снял пилотку, отер ею пот с крупного загорелого лица. Негустые курчавые белые волосы были тоже мокры

и липли ко лбу крутыми завитками. Карманы его шаровар оттопыривались. Под тесной тужуркой с распластанным орлом, нашитым над карманом, вырисовывалась рукоять револьвера, заткнутого за пояс.

Спутницы обменялись быстрыми взглядами и остановились. Бежать было некуда.

Вслед за белокурым сквозь кусты продрался на поляну тот самый кривой старик в форменной тужурке железнодорожника, которого спутницы приметили еще вчера в толпе задержанных. Фуражку свою он держал в руках. Она была полна маленькими отборными боровиками. Голова у него была яйцом, и просторная сверкающая лысина поросла по краям курчавым пухом. За спиной висел немецкий автомат.

— Замучили, окаянные бабы! Кто ж так по лесам ходит? Гонят, как курьерский на последнем перегоне. Того гляди, сердце через рот выскочит.

Он уставил на путниц свой единственный глаз, в котором, теперь уже не таясь, сверкал насмешливый, недобрый огонек, и тоненьким тенорком издевательски продребезжал:

— Чего же бежите, чай, не волков — людей встретили!.. Да, кажись, мы маленько уже знакомы. С добрым, как говорится, утречком! Как спалось?

Старик подмигнул Матрене Никитичне и победно глянул на своего высокого спутника, рядом с которым он напоминал старую ветхую хибарку, еще ютящуюся возле вновь отстроенного высокого дома. Положив картуз с грибами на землю, он принялся насыпать табаком короткую трубку-носогрейку с сетчатой крышкой, какие обычно курят люди, работающие на воздухе.

Высокий, нерешительно покусывая нижнюю губу, бросал на спутниц короткие изучающие взгляды. Его лицо, совсем еще юное, загорело так густо, что брови, и длинные бесцветные ресницы, и тонкий пушок еще не загустевших усов выделялись на нем, как высохшая трава белоус на буром мху болота. Вид у этого немца был диковатый, и спутницы опять тревожно переглянулись, взглядом предупреждая друг друга, что хорошего им ждать нечего.

— Ну, поздоровались и попрощаемся. У каждого своя дорога. Доброго пути вам! — с подчеркнутой деревенской певучестью сказала Матрена Никитична и тихонько дернула Мусю за руку.

Они пошли было прочь от незнакомцев, но те тронулись следом за ними.

— Во! Везет нам с тобой, Никола, благодать-то какая, и нам туда же,— задребезжал позади стариковский тенорок.— А то идем на всех парах, а кругом одни пенья-коренья. Скукота. А тут, пожалуйте, две дамочки попутные. Вот и отлично, вот и превосходно! Глядишь, опять песенку какую сыграют, вроде бы дивертисмент перед кином.

— Полицаи,— тихо шепнула Матрена Никитична, вспомнив, как старичонка притворялся вчера спящим, как, незаметно подкравшись, подслушивал женские разговоры, как из-под прищуренного века неотвязно следил за ней его глаз.— За нами посланы.

Муся молчала. Было страшно подумать, что даже сюда, в этот девственный лес, где так вольно дышалось, где ничто не напоминает ни о враге, ни об оккупации, уже дотянулись фашистские лапы. Матрена Никитична, все время улавливавшая в стариковском балагурстве зловещие нотки и замечавшая, что недобрый зеленый глаз нацелен на ее поклажу, обернулась к высокому парню. Этот, хотя и был во вражеской форме, внушал ей больше доверия.

— Ступайте себе, ступайте своей дорогой, а мы своей пойдем. Можно?

Она подняла на молодого свои черные глаза, и столько было в них обаяния, такой призыв к человеческому благородству звучал в тоне ее просьбы, что тот не выдержал и отвернулся. Но кривой опять выскочил вперед и рассыпал скороговорку мелких, сухих, кругленьких, как орешки, словечек.

— А, каково!.. К входному семафору подошли — станция не принимает. Здравствуйте пожалуйста, от ворот поворот, приходите к нам чаще, когда нас дома нет. А чем такое мы вам не по сердцу? Глядите на него — Бова-королевич. А я? Ничего, миленькая, старый станок дольше вертится... Вместе, вместе пойдем. А я тебе про партизан буду говорить: и где они стоят, и как к ним пробраться, и какие дороги к ним ведут... Все что хошь узнаешь. Я такой, я разговорчивый.

Он нарочно поддернул ремень автомата, болтавшегося у него за плечом.

— Не трещи! — сердито прервал его парень.— Вы кто такие?

Теперь спутницы уже не сомневались, что перед ними полицаи. В последнее время им не раз приходилось слышать, что гитлеровцы, занимая города, выпускают из тюрем уголовников, спекулянтов, грабителей и убийц и из них вербуют для себя всяческих старшин, старост, бургомистров и полицаев. По-видимому, фашисты вчера нарочно и подсунули этого кривого старика в толпу задержанных, чтобы вызнать, не связан ли кто-нибудь из них с партизанами.

Ах, с каким наслаждением Муся вцепилась бы в эту насмешливую, пропахшую никотином рожу, в этот наглый, цепкий, беспощадный глаз! Парень, тот хоть и в немецких обносках, да все-таки, кажется, не такой подлый. У него крупное, открытое и, пожалуй, даже симпатичное лицо. Наверно, и пошел он к оккупантам не по охоте. Вон он и сейчас все отворачивается, стыдится, должно быть, чужой формы и своих позорных обязанностей. Значит, совесть еще не совсем потерял...

Демонстративно повернувшись спиной к старику, но все время слыша раздражающее сипение его трубочки, чувствуя острый табачный запах, девушка начала рассказывать парню свою столько раз помогавшую ей историю, которую она нередко соответственно обстоятельствам изменяла. Сейчас история эта звучала так: дома нечего есть, сестренки и братишки опухли с голоду, и вот теперь поручив их знакомым, она с подругой пошла по деревням менять остатки вещей на пропитание.

На этот раз, имея, очевидно, дело с немецкими наемниками, Муся добавила, что отправились они в путь с разрешения самого господина коменданта.

У девушки, несомненно, был артистический дар. Она расцветила свой рассказ самыми жалостливыми подробностями и так увлеклась, что на глазах у нее даже появились настоящие слезы. Молодой полицай слушал ее, казалось, сочувственно и вроде даже сам разволновался, засопел носом. У Муси затеплилась надежда: может, ей удастся окончательно разжалобить этого парня и он их отпустит? Но старик продолжал следить за ней с ироническим недоверием. И когда девушка пустилась подробно описывать, как господин офицер, задержавший их вчера на дороге, по недоразумению отобрал у них пропуск, выданный господином комендантом, в глазу старика вспыхнуло злое торжество.

— Стой, полно врать! Вы, голубушки, из какого города?

— ...и, вы знаете, мы просто не придумаем, что нам теперь делать,— как бы не услышав вопроса, продолжала Муся, обращаясь исключительно к молодому и даря его той очаровательной улыбкой, перед которой в школе не мог устоять ни один мальчишка не только из ее класса, но и из параллельного класса «Б».— Такой ужас, просто не знаю, как вернемся домой без пропуска. Господин комендант был так любезен...

— Что же вы не отвечаете? — вдруг помрачнев, спросил молодой.

— Что вы спрашиваете? Ах да, откуда мы? Я так расстроена... Мы с Узловой,— храбро соврала Муся, назвав один из городов, лежавших на их пути.

Мужчины многозначительно переглянулись.

— А где живете? На какой улице? — осведомился старик.

— Недалеко от базара, улица Володарского, двадцать три,— не задумываясь, наобум назвала девушка первый пришедший в голову адрес.

Молодой нахмурился еще больше. Не умея скрывать своих чувств, он отвернулся от девушки и пощупал под курткой рукоять пистолета.

Матрена Никитична подавала Мусе какие-то знаки из-за спины старика, но та и сама уже понимала, что сделала глупость, и теперь изо всех сил старалась не выдавать своего смущения.

— Ага! Землячки, значит, вот и хорошо, вот и расчудесно. Будем друг к другу ходить чай пить,— задребезжал старик.

Муся, чувствуя, что краснеет под взглядом молодого великана, краснеет до слез, мучительно думала: «Мамочка, да что же я смущаюсь? Это же враги, их и нужно обманывать. Не красней же, не смей краснеть, дура!»

— Это где же там улица Володарского? — мрачно спросил высокий.— Я в этом городе родился, вырос, а что-то такой не помню. Не знаешь ли ты, Василий Кузьмич?

— Ага, ага, что я говорил? — заликовал старик, снимая автомат.— Вот и мешок тот, из-за которого они вчера дрались.— Он подскочил к Матрене Никитичне, поднял оружие и скомандовал: — А ну, кажи, что несешь! Снимай торбу!

Женщина стояла перед стариком прямая, высокая. Она смотрела на него сверху вниз, и было в ее взгляде такое бесстрашное презрение, что тот опустил автомат и растерянно оглянулся на парня.

— Пойдем, Маша, ну их! — повелительно сказала Рубцова и, резко повернувшись, широким размашистым шагом двинулась на восток.

Муся бросилась за ней.

— Вот-вот, эта чернобровая все и выспрашивала, где партизаны и как к ним пройти,— услышали они сзади возбужденный дребезжащий тенорок.

— Попались! — шепнула Матрена Никитична.

Муся представила, как эти двое заглядывают в мешок, представила, как они обрадуются, как будут издеваться над нею и ее спутницей. Все в ней тоскливо кричало: «Не донесли! Сколько вытерпели, сколько пережили — и все напрасно! Теперь сокровище попадет к врагам».

Вдруг у девушки мелькнула мысль, от которой сердце забилось так неистово, что похолодели кончики пальцев. Вот он, подвиг, о котором мечтала! Она остановится, бросится на бандитов, будет цепляться, царапаться, бить, пока в ней теплится хоть искра жизни, а Матрена Никитична тем временем успеет скрыться в лесу или хотя бы, воспользовавшись заварушкой, спрячет ценности.

— Бегите, я задержу их! — шепнула Муся спутнице.

Но прежде чем та успела отозваться, молодой уже снова преградил им дорогу. В руке у него был револьвер. Он не тряс и не грозил им, но оружие лежало в широкой ладони так привычно плотно, что было ясно: этот в случае надобности, не моргнув глазом, нажмет курок.

— Снимайте мешок! — скомандовал молодой Матрене Никитичне.

Даже не взглянув на наведенное на нее дуло, Рубцова, вдруг преобразившись, стала на весь лес сыпать визгливые бабьи слова, которых в обычной обстановке боятся и не выносят даже самые спокойные и волевые мужчины.

— Бандит!.. Мужики все на фронте с немцами бьются, а он, оглобля чертова, силосная башня, с такой рожей по лесам с пистолетом лазит! С баб последнюю худобу снимает... Прохвост, стрикулист паршивый! Не стыдно? Ну, говори, не стыдно, бандитская твоя рожа? Бесстыжие глаза...

— Снимайте мешок! — еще грознее повторил молодой. Скулы его играли так, что казалось, будто под загорелой кожей катаются костяные шары.

— Ага, ага, не дает! — кричал старик, благоразумно отступая от Матрены Никитичны на почтительное расстояние.— Что в мешке прячешь? Что? Показывай сейчас же! — Единственный глаз его светился злорадным торжеством.

Матрена Никитична вдруг как-то сразу успокоилась, выпрямилась.

— Что же, стреляй, фашист!.. Помни только: вернутся наши мужья, за каждую нашу косточку с вас спросят. И под землей не скроетесь, земля вас, таких, не примет.

Она произнесла это спокойно и устало устремила взгляд вдаль на небо, по которому, мягко переливаясь, спешили на восток облака с пышными светящимися краями.

Муся смотрела на молодого светловолосого великана с открытым лицом, с голубыми глазами, такими по-детски чистыми, что в них отражались и небо, и плывущие по нему облака,— смотрела и мучительно думала: что могло заставить этого парня, выросшего, по-видимому, в Советской стране, пойти на службу к врагу, напялить на себя вражеские обноски, рыскать по лесам с немецким оружием, выслеживать своих сограждан, безоружных и беззащитных?

Как он мог, как он посмел изменить родине?

Почему он на это пошел?.. Ведь такой славный парень... Что же это делается с людьми?

Горечь этого первого в жизни девушки глубокого разочарования в людях как-то совершенно подавила страх, отогнала мысли о том, что через минуту она, вероятно, будет лежать здесь бесчувственная, неподвижная и больше никогда уже не услышит, как шумит лес, не увидит, как позолоченные облака бегут по голубому небу.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Теперь придется несколько отклониться от основной линии повествования в сторону и рассказать о том, что же в ту трудную годину заставило молодого белокурого богатыря взять в руки пистолет, изготовленный в фашистской стране, и облачиться в форму вражеской армии.

Николай Железнов родился в станционном поселке того самого города, название которого Муся так некстати упомянула в своем рассказе. Его дед работал машинистом в железнодорожном депо при большой узловой станции. Отец Николая был там же уже машинистом-наставником. По семейной традиции братья тоже начинали свой жизненный путь в деповских мастерских, но понемногу младшее поколение Железновых стало разлетаться из родного гнезда и изменять родовой профессии.

Старший брат, Семен, отслужив действительную службу рядовым, в депо не вернулся. Он пошел в командирское училище и, окончив его, укатил на Дальний Восток.

Второй брат, Евгений, еще учась в ФЗУ, обнаружил пытливый ум в области техники. В свободное время, когда его товарищи отправлялись на рыбалку или по грибы, он забирался на чердак, где приладил себе возле слухового окошка отцовские тиски, и все что-то пилил, вытачивал, мастерил. Когда он стал помощником машиниста и уже готовился, как говорится, «с левого крыла паровоза» перекочевать «на правое», в депо его уже считали способным рационализатором. Попасть на «правое крыло паровоза», то есть стать машинистом, ему так и не привелось. Одно из его интересных производственных предложений деповское начальство переслало в Москву. Вскоре помощника машиниста Евгения Железнова вызвал к себе нарком. Изобретателю вручили крупную премию и заявили, что чертежи его посланы для разработки в исследовательский институт, что его предложение будет использовано конструкторами при создании новых моделей паровоза. На прощание нарком посоветовал помощнику машиниста учиться, обязательно учиться. И перед войной

Евгений работал уже старшим научным сотрудником Института транспорта вдалеке от родного депо.

Третий брат, Железнов Георгий, любимец отца, дольше других оставался верен потомственной профессии. Он точно родился паровозником. Отец и не заметил, как сын из кочегаров перешел «на левое крыло паровоза». Хладнокровный, спокойный, на работе он был педантичен до мелочей, но, когда нужно, умел идти на риск и быстро принимать решения. Георгию дело давалось легко. Не проходив в помощниках и двух лет, он занял место на правом крыле машины, а еще через год прославился на все отделение как мастер вождения большегрузных поездов.

Георгий женился на своей поселковой девушке: женой его стала старшая дочь соседа Власа Карпова, старого деповского мастера, закадычного друга отца. Казалось, что третий сын, к радости обоих стариков, прочно, навсегда прирос к деповской ржавой, заскорузлой, пропитанной мазутом земле.

Но однажды, во время перевыборов, Георгия избрали в партийное бюро. Он стал заместителем секретаря. Секретарь вскоре захворал, и Георгий, неутомимый, деловой, как и все Железновы, простившись на время с паровозом, с головой ушел в партийную работу — да и увлекся ею. И так сумел наладить дело, что на следующих выборах был единодушно избран секретарем парторганизации депо, членом пленума, а потом и членом бюро горкома партии. Так незаметно перешла его жизнь на новые рельсы. Вскоре он уже считался одним из самых крепких и инициативных партийных деятелей области. Одно мешало ему — недостаток теоретической подготовки. И он упросил обком послать его в Высшую партийную школу. Вслед за ним в Москву переехала и его семья.

Машинист-наставник, сидя субботним вечером в беседке своего садика с приятелями за поллитровкой и хорошей домашней закуской, любил при случае потолковать «о железновском кусте», похвалиться высокими постами, которые занимали его сыновья. Но про себя старый паровозник не простил им измены родовой профессии. Подвыпив, он бродил по опустевшему домику, шумно вздыхал, укоризненно смотрел на портреты сынов и бормотал в усы: «Не дело, не дело, ребята, не дело так...»

Теперь все его помыслы были сосредоточены на младшем, Николае, которого старый честолюбец вознамерился

вырастить красой и гордостью не только депо, но и всей дороги.

Николай, как и все последыши, был баловнем в доме. Мать в нем души не чаяла. Ей хотелось иметь дочку, но рождались все мальчики. Тоскуя по девочке, она наряжала толстого, крупного малыша в платьица, пристраивала к его льняным кудрям голубой бант. Все это она делала, когда муж уезжал в очередной рейс. Отец же любил забирать меньшого с собой в депо, водил его в гигантские стойла, где отдыхали после рейсов стальные чудовища. Малыш без страха, но и без особого любопытства смотрел на огромные колеса, истекавшие янтарной смазкой, на могучие поршни, на лоснящиеся горячие бока машин, точно потевших маслянистыми каплями. И, вероятно, оттого, что родители каждый по-своему уделяли младшему сыну столько внимания, пухлый, румяный мальчишка рос тихим, задумчивым, мечтательным.

Коля не играл в любимую всей поселковой детворой игру «в поезда». Другие ребятишки носились, сверкая загорелыми икрами, по пыльным улицам, солидно пыхтя: «Пух-пух-пух!» — и оглашая окрестности требовательным криком: «Ту-ту-ту!» А он в это время один сидел, подперев кулаками щеку, у открытого окна и задумчиво наблюдал, как роются в палисаднике куры, как сверкают подсвеченные солнцем пыльные листья кленов, росших под окном. Так же без скуки он мог часами, лежа на спине в садике за домом, следить за тем, как, меняя очертания, расплывается в небе длинный курчавый хвост дыма, оставленный прошедшим поездом, слушать хлопотливое пересвистывание маневровых паровичков, комариный писк рожка стрелочника, деловитое погромыхивание проходящих товарников, отдаленный перезвон буферов, тонкий неумолчный гул телеграфных проводов, который казался ему таинственным звуком пролетавших по линии телеграмм.

В школе Николай брал не прилежанием, а памятью и сообразительностью. И хотя порой бывал на уроках рассеянным, все же быстро схватывал мысль учителя и приносил хорошие отметки. Желая с детства привить сыну вкус к любимому делу, отец однажды, нарушив правила, рискнул даже послать мальчика с бригадой в рейс. Николай все задания отца выполнил аккуратно, но как-то без огонька, и старший машинист, любивший, как все истинные мастера, возиться с молодежью, только качал головой.

Когда мальчик учился уже в третьем классе, отец сделал еще одну попытку приохотить его к родовой профессии. Он отыскал тисочки и инструменты, хранившиеся еще со времени детских увлечений Евгения, и устроил в сенях верстачок. Но Николай и к этому остался равнодушен. Тисочки и инструменты все лето ржавели без употребления, пока отец однажды не сложил их в мешок и не забросил подальше на чердак, чтобы не напоминали они ему о его педагогической неудаче.

Сын много и беспорядочно читал, ходил в театр, в кино, знал на память множество стихов, сказок, но даже и в этом не проявлял особого увлечения. Это был не по годам рослый, румяный крепыш с вьющимися льняными волосами, всегда казавшийся выросшим из своей одежды. Он совсем не походил на чернявую, поджарую, быструю в движениях, цепкую в жизни железновскую породу, и отец, глядя на него, украдкой вздыхал: нет, не удался у него меньшой. Рассеянный, равнодушный какой-то, не похожий на живую и деятельную деповскую молодежь, и учится и живет вроде как с закрытым поддувалом, на малом огне.

Но машинист-наставник, давший путевку в свою профессию уже нескольким поколениям молодых механиков, на этот раз все-таки ошибался. Выехав на лето в пионерский лагерь, Николай неожиданно увлекся природой. С тех пор он стал одним из самых активных членов кружка юных натуралистов. Все перемены он проводил в биологическом кабинете, кормил толстых ленивых рыб, чистил клетки горластым склочникам-чижам и солидным, франтоватым снегирям, ловил на окне мух для лягушек, ящериц, аксолотлей, тритонов и других прожорливых обитателей школьных аквариумов и террариумов.

В чистеньком, как бельевой ящик комода, домике Железновых появился галчонок со сломанным крылом и крикливым, вздорным нравом, потом толстый, тихий еж. Семейство тритонов разместилось на окне в стеклянной четырехугольной банке из-под сухих элементов. Все это были довольно мирные квартиранты. Снисходя к увлечению своего любимца, мать безропотно убирала за ними и мирилась с резкими запахами, которые они принесли с собой в ее жилье. Но к этой компании вскоре присоединился уж, и у тихой, покладистой матери начало лопаться терпение.

Новый постоялец не желал довольствоваться просторной жилплощадью, отведенной для него между двойными рамами окна в комнате Николая. Он протыкал своей упрямой головой марлевую сетку и тихо ускользал. Его неожиданно обнаруживали в самых неподходящих местах: в корзине с бельем, только что выстиранным и отглаженным, в плите, которую собирались затапливать, и даже под подушками на родительской постели. Потревоженный уж сердито шипел, подняв голову, грозил своим острым и узким синеньким языком. И все же старики терпели этого постояльца.

Но однажды уж нарушил все правила приличия и гостеприимства. Он незаметно вполз в комнату в то время, когда у матери заседал уличный комитет, слушавший сообщение городского архитектора о проекте самодеятельного озеленения поселка железнодорожников. Увидев столько чужих людей и ощутив столько незнакомых запахов, уж поднял голову, занял боевую позицию и, зловеще сверкая чешуей, издал воинственный шипящий клич. Уличный комитет разбежался. Докладчик в панике вскочил на комод, сея по полу чертежи. За это уж был изловлен щипцами для угля и выброшен на помойку. Но долго еще «ужиный инцидент» в железновском доме обсуждался поселковыми кумушками и был темой для зубоскальства в паровозных бригадах.

Но и после этого отец не препятствовал сыновнему увлечению. Пусть сын заведет себе хоть крокодила, лишь бы зажглась в нем железновская искра, а главное, лишь бы не улетел он из родительского гнезда, как братья. Так думал отец. А у Николая уже появился свой замысел, все больше и больше его увлекавший. Но родителей он до поры до времени в этот замысел не посвящал, не желая их огорчать. Он решил стать естествоиспытателем.

Вслед за семью классами железнодорожной школы Николай окончил курсы помощников, и его определили на паровоз. Недолго поездив в кочегарах, он занял место помощника машиниста. Отец радовался: сын таки пошел по его дороге! Однако приходилось отцу и недоумевать. У каждого из воспитанных им молодых паровозников был свой конек: один поражал знанием путевого рельефа, мог водить поезд чуть ли не с завязанными глазами; другой слыл как мастер ремонта, и ему, знавшему «организм» машины до последнего стального мускула, не страшны были никакие испытания пути; третий слыл ак-

куратистом: его паровоз всегда сверкал надраенными деталями... У Николая всего было понемногу; он считался исправным помощником, но и только. Это-то и огорчало отца.

Старый Железнов знал, что сын хорошо учится в вечерней школе. Но не знал он, что, выглядывая из окна паровозной будки, Николай не только следит за путевыми знаками и смотрит на проносящиеся мимо леса, а мечтает о времени, когда по воле человека в этих теперь уже покинутых «настоящим» зверем чащах будут вновь водиться громадные лоси и быстрые козы, появятся куницы и соболи, будут жить и плодиться на свободе чернобурые лисы и даже, черт возьми,— кто знает! — может быть, и какие-нибудь новые полезные породы, которые удастся вывести ему, Николаю Железнову. Не знал отец и о том, что в прокуренных комнатах отдыха бригад на узловой станции, где старые машинисты с треском стучали о стол костяшками домино, а молодежь горланила песни, болтала о девушках или склонялась над техническими книгами, над чертежами паровозных частей, младший из железновской фамилии читает Дарвина и Тимирязева.

Николай решил поступить на биологический факультет городского педагогического института. Стремясь к этому, он проявил поистине железновский характер. В полную меру сил работая на паровозе, сумел Николай отлично закончить вечернюю среднюю школу.

Однако теперь, когда жизнь, как говорят паровозники, «вышла на главную магистраль» и можно было уже жить «на всю железку», непредвиденное обстоятельство нарушило его план. Паровоз, на котором ездил Николай, занял первое место по отделению. При перевыборах комсомольских органов молодого помощника машиниста избрали секретарем комсомольского комитета. Между тем его заявление и документы уже лежали в приемной комиссии института.

Николай пошел за советом к секретарю парткома, в недавнем прошлом знаменитому паровознику, ученику и другу отца — Степану Титычу Рудакову. Как же быть? Неужели брать обратно документы?

Маленький худощавый Рудаков только развел руками: избрали, послужи народу! Дело расширяется. В цехи приходит колхозная молодежь, ее надо воспитывать, втягивать в производственную жизнь. И кому же ее воспиты-

вать, как не Железновым: отцу — у паровозных стойл, сыну — в комсомольской организации. На всю дорогу знаменита железновская фамилия!

Живые карие с золотой искрой глаза секретаря парткома усмехнулись.

— Думаешь, я по паровозу не тоскую? Я, брат, машинист такой: мне глаза завяжи — я на слух скажу, по какому километру машина бежит... А вот избрали — служу коммунистам, стараюсь оправдать доверие...— И, погасив в глазах веселые, ласковые искорки, секретарь серьезно и даже сердито сказал: — Вот поработаешь, дело наладишь, слово большевика — отпустим тебя к твоим ежам и ужам, если сам к тому времени не передумаешь. Но чтобы работать у меня на совесть. Фамилию Железновых не позорить!

Николай принял комсомольские дела и работал действительно по-железновски. И все же в свободную минуту между двумя цеховыми собраниями или сидя в президиуме во время какого-нибудь затянувшегося доклада по-прежнему мечтал об учебе и научной работе.

2

Через год, ранней весной, Николай явился в кабинет Рудакова и твердо напомнил ему о его обещании.

— Что ж...— задумчиво сказал секретарь, трогая веснушчатой рукой коротко подстриженный рыжий ус.— Что ж, за настойчивость хвалю. Дело наладил. Заместителя вырастил?

— Вырастил.

— Знаю. Правильный парень... Жаль, конечно, да что поделаешь? Будем просить комсомольцев, чтоб отпустили своего ужатника... А где думаешь учиться?

В вопросе секретаря зазвучала тайная тревога. Рудаков знал, как тяжело старый Железнов переживает опустение своего гнезда. А тут от знаменитого машиниста может уйти из дома последний сын. Узнав, что Николай намерен учиться в родном городе и жить у родителей, секретарь облегченно вздохнул. Он даже обещал ему помочь уломать старика, чтобы тот без лишних прений отпустил сына в институт, так сказать, без отрыва от родной семьи...

И все, казалось, пошло неплохо. Старый Железнов противится не стал. Чему быть, того не миновать!

Николай сдал дела заместителю. Теперь-то он уж осуществит свою мечту!

На песчаном пляже пригородного озера, где Николай, лежа в трусах, готовился к вступительным экзаменам, и настигла его весть о войне. С непросохшими волосами, с книжками, заткнутыми за ремень, и мохнатым полотенцем на плече, он прямо с пляжа, не заходя домой, побежал в райвоенкомат. Но по пути его перехватил посыльный Рудакова.

Николай застал секретаря парткома в его маленьком кабинете, помещавшемся за стеклянной переборкой над паровозными стойлами. В комнате было так густо накурено, что сизый воздух, наполнявший ее, казалось, жил сам по себе, колыхаясь медленными волнами. Изгрызенные окурки красноречиво свидетельствовали, что с утра здесь побывало уже много людей и люди эти волновались. За несколько часов худощавый Рудаков еще больше осунулся, крупные золотистые веснушки еще заметнее проступили на побледневшем лице и будто бы даже позеленели.

— Загораешь? Окорока на солнышке коптишь? — сурово спросил он, встретив Николая хмурым, рассеянным взглядом.

Рудаков заявил, что об институте надо забыть. Запретил идти в военкомат. Узел их, игравший важную роль в железнодорожном сообщении с прибалтийскими республиками, уже объявлен на особом положении. Николай должен снова взяться за комсомольские дела, быстро перевести всю работу на военные рельсы, сформировать из молодежи роту для истребительного батальона, создать в цехах комсомольские фронтовые бригады.

Так вторично пришлось Николаю расстаться со своей мечтой. Но даже пожалеть об этом было некогда. По опыту он знал, что самая убедительная форма агитации — личный пример. Он пришел в цех, достал в шкафчике отца его запасную спецовку и, надев ее, присоединился к молодежной бригаде, ремонтировавшей комсомольский паровоз. В конце смены в депо стало известно, что в ответ на нападение фашистов комсомольцы хотят отремонтировать паровоз и выпустить его на линию в невиданные сроки.

Производственная работа слилась теперь с комсомольской, и как-то само собой нарушились границы суток. После рабочего дня Николай уводил молодежь в поле;

там юноши повторяли военные упражнения, учились стрелять, метать гранаты. Потом дружинники из комсомольской роты отправлялись рыть траншеи для бомбоубежищ, а ночью дежурили по противовоздушной и пожарной охране, выставляли секреты для борьбы с диверсантами. Спали по очереди, да и то урывками.

С первых же дней войны Николай так вжился в ее суровый быт, занимавший без остатка все силы его души, всю волю, что мечта об институте ему самому теперь казалась далекой и странной. В эти дни и он, и отец, и все их товарищи жили сводками Совинформбюро да сообщениями о том, сколько лишних поездов с войсками и снаряжением пропустил узел. И если среди массы дел все же выпадала свободная минута, Николай думал уже не о биологии или ботанике, а о том, как научиться из винтовки сбивать «лампадку», подвешенную над путями немецким разведчиком, как натренировать руку, чтобы она не дрожала и мушка не «гуляла» по небу, когда берешь на прицел медленно спускающегося парашютиста, как побороть в себе противное оцепенение, невольно связывающее человека, когда сверху с нарастающим сверлящим визгом несется к земле авиабомба.

Роту истребителей из молодых железнодорожников похвалила «Комсомольская правда». Заместитель наркома вызвал Николая к прямому проводу и долго благодарил комсомольцев депо за отвагу, мужество, самоотверженную работу. Но и порадоваться было некогда. Селектор, даже опережая порой сводки, приносил сообщения, что враг отхватывает от железнодорожных магистралей новые и новые станции. И по мере того как сеть дорог на западе сокращалась, росла нагрузка узла, где работал Николай.

Домой он теперь почти не заглядывал.

Вместе с дружинниками Николай переселился в комнату отдыха поездных бригад, переоборудованную под штаб истребительной роты. Обедал в буфете. С отцом встречался лишь на работе, да и то все реже и реже. Отец, в эти горячие дни опять занявший место в будке паровоза, положил почин новому патриотическому движению паровозников. Его бригада теперь не расставалась с паровозом. Люди, сменившись, отсыпались в пути, в товарном вагоне, который прицеплялся к составу. Почин этот поддержали. Он быстро распространился по фронтовым магистралям. Николай порадовался успеху отца, но даже поздравить его не мог — отец кочевал неведомо где.

Однажды после отбоя воздушной тревоги в штаб сообщили, что в ближайшем леске приземлились диверсанты. Николай поднял дружинников. Они побежали напрямик, по железнодорожному полотну, вкладывая на ходу запалы в гранаты. Как раз в эту минуту и догнал Николая Влас Карпов, сосед, друг отца. Он что-то взволнованно кричал. Но лесок был уже близко. Николай продолжал бежать. Карпов снова догнал его и на бегу сообщил, что авиабомба упала в железновский садик и что их дом горит.

На минуту Николай остановился.

— Мать? — быстро спросил он.

— Жива!.. К нам перебралась. У нас. Но дом, добро...

Николай только махнул рукой и побежал догонять товарищей.

Когда лес прочесали, отправили в медпункт своих раненых, а пойманных диверсантов, документы и оружие убитых сдали военному начальству, Николай почувствовал тоскливую тревогу: «Что же такое? Ах да, бомба... дом...» Возникла в памяти пристанционная улица, поросшая пыльной муравой, приземистый домик за красным палисадником, весело глядящий из-за слоистой листвы развесистых кленов. Без этого домика Николай улицу представить не смог. Тоскливо заныло сердце.

Он было наказал заместителю подежурить за него у аппарата, пока сам сбегает на пожарище и проведает мать. Но снова зарыдали сирены, сердито зазвенел телефон. Голос Рудакова требовал всех, кто есть, на пятый путь — гасить пожар в эшелоне с эвакуированными. Потом приспели еще и другие срочные дела. А ночью Николай проверял посты, тушил зажигалки, латал искалеченный паровоз. Под утро он сидел на бюро парткома и в конце заседания сладко заснул, прикорнув в уголке, опираясь на винтовку, зажатую между коленями.

3

Грузопоток по мере приближения фронта продолжал расти. Огромный узел, казалось, превратился в гигантский табор, набитый людьми, вещами, грузами. Постороннему человеку, попавшему в те дни с каким-нибудь эшелоном на Узловую, могло показаться, что все

перепуталось в сутолоке людей, теснящихся и гомонящих в вокзале и на путях, штурмующих комендатуры, битком набивающих вагоны, гроздьями висящих на тормозных площадках и на платформах с эвакуированным добром. Вражеские самолеты, как говорили тогда здесь, «с неба не слезали». Вопили сирены и паровозные гудки, били зенитки. Даже в яркие летние дни небо над станцией было тускло и хмуро.

Все это создавало впечатление какой-то тревожной неразберихи.

Но диспетчеры, изолированные у своих карт, телефонов и графиков от случайных внешних наблюдений и каждую минуту мысленно видевшие перед собой весь поток поездов, знали, что в этом, как казалось бы непосвященному, хаосе сердце железнодорожного узла бьется не менее четко, чем в мирные дни; что все службы работают с предельным напряжением и без перебоев; что точно в срок на восток отходят эшелоны с эвакуированными заводами, фабриками, институтами, научными лабораториями, сокровищами музеев; что с такими же интервалами идут им навстречу поезда с войсками, боевой техникой и боеприпасами.

И диспетчеры, отделенные от внешнего мира стенами своих кабинетов, решая сложнейшие задачи движения, удивлялись, как невозможному и необъяснимому, той поражающей силе выдержки и организованности, которая позволяла обстреливаемым с воздуха поездам нестись через сожженные станции со скоростями, нередко превышающими все рекорды мирного времени. Но никто этому не удивлялся, об этом не писали в газетах. Это небывалое как бы разумелось само собой.

Теперь Николай уже не испытывал чувства скованности, когда в воздухе, как внезапно заторможенные колеса, визжала авиабомба. Бросив взгляд на небо, он определял, куда она упадет, и продолжал свое дело. Люди Узловой закалились. И хотя по-прежнему звуки сирен заставляли сердце невольно сжиматься, на путях, не смолкая, деловито попискивали маневровые «щуки»; на сортировочных горках переформировывались составы; стараясь перекричать далекий и близкий лай зениток, дежурный по станции крупно объяснялся с начальниками эшелонов; в депо жужжали станки; электросварщики, бросая в полутьму пригоршни синих молний, продолжали ставить латки на простреленные бока паровозов.

А если между всеми этими многообразными и опасными делами у дружинников оказывалась свободной минута, они отдавали ее блиндированию поезда. Это был подарок, который деповская молодежь готовила Красной Армии. Блиндированный поезд решено было назвать «Комсомолец». Комсомолец этот обещал стать не бог весть каким чудом военной техники. Однако и старенький толкач с двумя металлическими платформами, обшитыми толстыми железными листами, мог пригодиться в большом военном хозяйстве. Во всяком случае, генерал, принимавший подарок, крепко жал чумазые руки комсомольцев.

Торжественно проводив новорожденный бронепоезд на фронт и пребывая по этому случаю в самом хорошем расположении духа, Николай разыскивал по мастерским Рудакова, чтобы во всех подробностях доложить ему о похвале генерала. И вдруг у паровозных стойл он встретился в родителями, которых не видел с неделю. Отец и сосед Влас Карпов, стоя у верстака, ели из общей миски. Возле них на большой ржавой чугунине сидела мать, которая, по-видимому, и принесла им завтрак. Увидев сына, она ахнула, протянула к нему руки, и крупные слезы побежали по бороздкам ее морщин. Радость сменилась у Николая тягостным чувством вины. Ему показалось, что он не видел родителей давным-давно.

Старики очень изменились. Отец стоял сутулый, с устало опущенными плечами. Его густые волосы, недавно еще черные, как антрацит, заметно серебрились на висках. А мать, которую Николай привык видеть бодрой и деятельной, против обыкновения по-деревенски повязанная темным платком, превратилась в худенькую тихую старушку. Как-то уж совсем по-старчески лежали у нее на коленях руки, оплетенные сеткой вздутых синих вен. Лицо покрылось глубокими морщинами, глаза погасли, голубой их цвет точно бы полинял. Возле нее на промасленных торцах пола играла синевато сверкавшими стружками младшая дочь Карпова Юлочка.

— Что с тобой, Николушка? Болен, что ли? — тихо спросила мать, встревоженно глядя на сына. Сняв с чугунка салфетку, она заботливо придвинула его.— Покушай, мальчик, небось голодный.

Николай вдруг почувствовал, что и сам он очень устал и будто бы постарел.

— Мы теперь у свата, у Карповых, живем. Заходи, Николушка, ишь рубаха-то совсем черная стала. Сменить-то теперь нечем, приходи, хоть постираю,— по-старушечьи зачастила мать, когда он принялся есть из котелка томленную с яйцами картошку.— Зайди хоть глянь, ведь разбомбило нас, совсем разбомбило, одни ямы остались. Заходи, а то ведь я все одна, отец-то наш тоже неделями не показывается. Все в поездках. Кочует, как цыган какой, вовсе дом забыл, да и нет его у нас теперь, дома-то: ямина да головешки.

— Постой, мать,— с нарочитой сердитостью прервал ее старый Железнов и стал было рассказывать сыну о своем последнем опасном рейсе.

Но Николай вдруг вспомнил, зачем он шел. Он вскочил, поцеловал мать, кивнул старикам и убежал искать Рудакова, даже не поинтересовавшись, почему Юлочка последний, балованный ребенок Карповых, подаренный им судьбой уже под старость, на которого обычно и ветру не давали дунуть, играет стружками в депо на пропитанном мазутом полу. Только позже узнал он, что жена Карпова убита фашистским асом, обстрелявшим из пулемета очередь женщин перед продовольственным магазином.

Рудаков рассеянно выслушал торжественный рапорт Николая о проводах бронепоезда на фронт. Он только что получил сообщение, что немецкой танковой армии удалось совершить прорыв и захватить смежный железнодорожный узел. А по селектору пришли известия о взятии еще нескольких полустанков. Из области был получен приказ о срочной эвакуации последних, еще не уехавших на восток предприятий и городских учреждений, о свертывании узлового хозяйства. Все это нужно было выполнить, не сокращая движения на основных магистралях.

Наступили самые трудные дни, когда жизнь безошибочно определяла, чего же стоит тот или другой человек. Израненные осколками паровозы ремонтировались уже во дворе. Путь до фронта измерялся теперь часами.

Рудаков созвал партийный актив. Он огласил список коммунистов, кому предписывалось ехать с оборудованием депо в тыл. Потом в горком были вызваны те, кто оставался на узле до критического часа. Отправив на восток последние поезда, они должны были уходить в

лес. Старики Железновы уезжали, Николай оставался. Его назначили ответственным за безопасность путей в час всеобщей эвакуации. Вместе с ним перед уходом в лес должны были держать испытание его дружинники.

4

Немецкое командование, очевидно рассчитывавшее захватить этот важный узел внезапно и приберегавшее его для себя, до сих пор ограничивалось обстрелом и бомбежкой эшелонов, горловин и пристанционных поселков. Теперь же, узнав, очевидно, от разведки о демонтаже и эвакуации, оно решило нанести по Узловой массированный бомбовый удар.

Вражеские бомбардировщики устремились на Узловую как стая слепней на усталого коня. Ни контратаки истребителей, ни зенитный огонь не могли уже их отогнать. А тут, на беду, скопились в непосредственном соседстве эшелон с боеприпасами, санитарный поезд, направлявшийся с ранеными в тыл, и только что прибывший состав с горючим и маслами, двигавшийся к фронту.

Осколки бомбы угодили в цистерну с маслом. Цистерна превратилась в костер. Масло, расплесканное взрывом, зловеще треща и пенясь, горело на путях, и стелющееся пламя подбиралось к цистернам с бензином, стоящим рядом.

Дружинники, дежурившие неподалеку от места взрыва, были сбиты воздушной волной с ног. Но в следующее мгновение Николай, сообразивший, чем угрожает разгорающийся на путях пожар, уже бежал к цистерне с пылающим маслом. Ребята видели, как он нырнул под колеса соседней платформы и низом, по шпалам, пополз к клокочущему огню. Они поняли: хочет отцепить пылающую цистерну, изолировать состав с бензином.

Комсорг агитировал примером. Все юноши и девушки, сколько их тут было, бросились за ним. Когда тяжелая сцепка наконец упала, дружинники, прикрываясь от жара тлеющими пиджаками и куртками, обжигая руки о накалившееся железо, принялись толкать пораженную цистерну. Страшный костер стал медленно удаляться от состава. Потом дружными усилиями отогнали в сторону загоравшуюся цистерну с бензином. Взрыв, разнесший ее

бак в клочья, произошел уже в пустынном тупике, не причинив окружающему существенного вреда.

Но сзади уже гремели дробные взрывы, не похожие ни на стрельбу зениток, ни на разрывы бомб: на соседнем пути, постепенно разгораясь, пылал вагон со снарядами. Разрывы звучали все чаще. Раскаленные гильзы, щепа вагонной обшивки, клочья кровельного железа разлетались далеко вокруг, и наконец, подброшенная силой общего взрыва, взвилась в воздух вагонная крыша.

А рядом стояли другие груженные снарядами вагоны.

— Растаскивать состав! — кричал Николай, стараясь перекрыть голосом треск и гром.

Это было страшное зрелище. Но Николай да и все его друзья находились уже в состоянии того высшего нервного напряжения, когда все — боль, мука, даже страх за собственную жизнь — остается где-то за пределами сознания. В таком состоянии человек, движимый какой-то одной идеей, может делать чудеса. И вот теперь чумазые, закопченные дружинники, с обожженными руками, в тлеющей одежде, снова, не раздумывая, бежали за своим вожаком к пылающему эшелону.

Пробегая мимо санитарного поезда, ребята видели в окнах испуганные лица раненых, мечущиеся фигуры в белых халатах, слышали чей-то крик и протяжный нечеловеческий вопль.

Вот и пораженный эшелон: гудящее, судорожно вихрящееся пламя, разлетающиеся в щепки доски, раскаленный воздух, бьющий упруго, как струя из брандспойта: если не пригнуться, он валит с ног.

В дыму и копоти Николай смутно различал фигуры товарищей, расцеплявших, растаскивавших вагоны. Кто-то из них упал на рельсы и не поднялся. Кто-то, вскрикнув, согнулся, зажимая рану. Николаю врезалось в память, как после одного особенно оглушительного взрыва из будки паровоза, уже зацепившего санитарный состав, выбросило две темные человеческие фигуры. Они шлепнулись на шпалы и остались лежать на полотне, точно это были куклы из тряпок.

А затем он увидел, как к осиротевшей машине, перепрыгивая через шпалы, босые, без пиджаков, в одних нижних рубашках, бежали его отец и сосед Карпов. Они скрылись в будке, и через мгновение израненный состав, перекликнувшись буферами, тронулся и стал медленно уходить. Санитарный поезд исчез в дыму. Продолжая

растаскивать состав с боеприпасами, Николай почему-то удивился лишь тому, что отец и сосед прибежали к паровозу неодетые, точно только что соскочив с постели.

Наконец состав со снарядами растащили. Все будто стихло. Пахнуло свежим ветром, и сразу почувствовалась боль ожогов в лице и руках. Возле Николая стоял Рудаков, как и все, черный от копоти. Фуражку свою он потерял, волосы его были опалены, левый ус исчез и над губой виднелся кровавый ожог. Согнутая рука была засунута по локоть за пазуху гимнастерки. Секретарь говорил таким же, как и он, опаленным, усталым дружинникам простые, будничные слова о том, что вот сейчас коммунисты, комсомольцы и беспартийные большевики, как старый Железнов и Карпов, совершили невозможное: спасли раненых, бензин, снаряды. Он сказал, что такой народ победить нельзя, и хотел было по привычке подчеркнуть значительность этого вывода решительным жестом, но только ахнул и побледнел: лежавшая за пазухой рука не повиновалась.

— Спасибо, ребята! Не подведем славное железнодорожное племя! — сказал он.

Этими словами в бытность машинистом он любил заключать разговор с бригадой после трудного рейса.

Только глубокой ночью удалось Николаю прикорнуть на газетных подшивках в комнате комсомольского комитета. Его товарищи, успевшие уже в медпункте смазать и перебинтовать ожоги, умыться и закусить, крутили патефон, часто ставя одну и ту же пластинку:

Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты...

Тенор едва прорывался сквозь сипловатое шипенье заигранной пластинки.

«Средь шумного бала...» — грустно усмехнулся Николай.— Шумный бал!»

Было странно, необычайно приятно и немножечко почему-то жутковато слушать нежную мелодию под грохот отдаленной пушечной пальбы, под храп усталых товарищей и крики рабочих, грузивших внизу на платформе тяжелые ящики с разобранным оборудованием.

Николай проснулся от какого-то странного звона. Ему казалось, что он едва успел закрыть глаза. Слова романса еще звучали в ушах... Нет, прошло, должно быть, порядочно времени. Дружинники уже спали, и патефон

служил одному из них изголовьем... Что же случилось? За недели войны Николай привык от сна сразу же переходить к бодрствованию. Вскочив, он осмотрелся. С одежды на пол посыпались мелкие осколки стекла. «Телефон?» Телефон молчал. В углу уютно пиликал сверчок, внизу по-прежнему кричали:

— Взяли, взяли! А ну взяли еще раз!

Вдруг над головой что-то тревожно прошелестело, и через мгновение невдалеке раздался взрыв. С купола депо плеснуло разбитым стеклом. И стало ясно: враг под городом и бьет по узлу из пушек.

Николай схватил винтовку, лежавшую возле него, растолкал своего заместителя и приказал ему будить дружинников.

— Слышишь? — Он кивнул в ту сторону, откуда били орудия.— Выводи ребят! Проверь оружие!

Сам он побежал искать Рудакова. Огромный зал депо, тускло освещенный затемненными лампами, был тягостно пуст, как обжитая квартира, когда из нее вынесут мебель. Там, где с детства глаз привык видеть живые ряды работающих станков, темнели бетонные фундаменты, торчали из пола болты. Рабочие выносили большой ящик. Старый Железнов, одетый почему-то по-зимнему — в праздничной шубе на хорьковом меху и в барашковой шапке,— командовал ими. Еще несколько снарядов разорвалось в разных местах. С купола снова и снова посыпалось стекло.

Старый Железнов еще издали заметил сына. Когда рабочие вынесли ящик из помещения, он обнял Николая, устало повис на его плече.

— Слышишь, слышишь? Из дому нас выгоняет... Уезжаем... Ты, сынок, куда не надо не суйся. Жизнь-то одна человеку дается... Вот собрались... А мать, она совсем у меня поддалась: все плачет...

Старик дышал тяжело и неровно. Николай чувствовал лицом прикосновение небритой мокрой щеки отца, и ему было очень жаль этого сурового, молчаливого человека, раньше даже и не умевшего на что-нибудь пожаловаться.

— Буду беречься, батя! — сказал он, с трудом преодолевая волнение.

— Берегись, сынок...— Но тут старый машинист будто спохватился.— Да так берегись, чтобы Железновым за тебя не стыдно было! Слышишь? Нас, Железновых, вся дорога знает.

Раздались шаги возвращающихся рабочих. Он легонько оттолкнул сына:

— Ну, ступай, ступай, некогда мне, не до вас тут... Эй, шевелись там, уснули, вареные! За смертью вас посылать...

Николай отер со щеки отцовские слезы и побежал в партком. Рудакова не было. Не нашел он секретаря ни у грузившегося у депо последнего эшелона, ни на станции, где за отвалившейся стеной вокзала, точно среди театральных декораций, открытых для зрителя, была видна девушка-телефонистка, ни на путях, на которых то тут, то там рвались снаряды. После пережитых бомбежек это казалось совсем нестрашным.

Почти все встречные отвечали, что видели Рудакова совсем недавно, но где он сейчас, никто указать не мог. Наконец, миновав развалины вокзала, Николай увидел секретаря. Вместе с деповским стрелочником Василием Кузьмичом Кулаковым — маленьким кривым стариком, известным в депо своей неодолимой страстью высказываться на собраниях по всякому поводу и страдавшим, как говорили, «бестолковой активностью»,— Рудаков делал что-то непонятное у поворотного круга. Потом оба они почему-то побежали к депо, а на том месте, где они только что стояли, с грохотом взлетел в небо столб огня и дыма. Такой же столб тотчас взметнулся и на путях у главных стрелок. В воздух полетели обломки шпал и скрученные штопором рельсы. Глухим взрывом отозвалась водокачка; внезапно осев, она точно растаяла в бурых клубах пыли. Тугой тяжелый рокот донесся со стороны западной горловины.

Николай понял: все кончено! Понял и, прыгая через рельсы, побежал в депо вслед за секретарем парткома. Но тронувшийся состав с оборудованием перерезал ему дорогу. На ящиках, громоздившихся на платформах, сидели знакомые поселковые люди: мужчины с окаменевшими лицами, женщины, прижимавшие к себе испуганных детей. Словно прощаясь с родными местами, тоскливо, длинно свистел паровоз. Остающиеся толпились на изуродованных и развороченных путях. Никто не махал руками, никто не кричал прощальных слов. Среди остающихся Николай, к удивлению своему, увидел соседа Карпова с дочкой Юлочкой, сидевшей у того на закорках. Только она одна весело кричала что-то вслед эшелону, набиравшему скорость, и махала ручкой...

Точно во сне, расплываясь в серой дымке, прошла мимо Николая платформа, где среди других сидели на каком-то ящике отец и мать. Мать, вся согнувшаяся, тупо смотрела перед собой невидящими глазами, отец, без шапки, но в шубе, прижимал мать к себе, точно хотел своим телом прикрыть ее от опасности. По небритому лицу его текли крупные слезы. Он все смотрел в толпу, должно быть, искал в ней сына, а Николай видел это, но боялся подать голос, чтобы самому не разреветься. Впрочем, этого никто бы и не заметил. У отъезжающих и остающихся были одинаково каменные лица, глаза, одинаково полные горя.

В ту минуту, когда, убыстряя ход, уже постукивали на стыках последние вагоны, из черных дверей депо выскочил стрелочник Кулаков. По-заячьи прыгая со шпалы на шпалу, он догнал уходящую тормозную площадку и бросил на нее что-то черное.

— Захватывайте уж и метлу! Не Гитлеру же оставлять! — крикнул он тоненьким дребезжащим тенорком.

Нервное напряжение провожавших на миг ослабло, даже тень улыбки мелькнула на лицах.

— Ишь рачитель народного добра!..

— А в чем дело? Все погрузили, что ж им, иродам, метлу оставлять? Метла, она тоже в данный конкретный момент не должна доставаться проклятым фашистам.

И Кулаков, подмигнул своим единственным глазом лихо сбил на ухо форменную фуражку. Смешок прошел по рядам. И уже не так тоскливо смотрели глаза, когда за виадуком переезда скрылась тормозная площадка последнего вагона и начал, медленно клубясь и расплываясь, таять дым последнего уходяшего в тыл паровоза.

5

— Товарищ командир партизанского отряда, рота комсомольцев-дружинников...— начал было рапортовать Николай, вытягиваясь перед Рудаковым.

— Танки под городом...— устало прервал его секретарь парткома, показав рукой в сторону, откуда слышались звуки ближнего боя.— Комсомольцев твоих уведу. А ты беги на станцию к телефонам. Там Зоя Хлебникова. Что бы ни случилось, вместе с ней проводите состав до

разъезда. Понятно? Передашь по аппарату об эвакуации, примешь ответ и взорвете коммутатор. Нас ищите в Малой роще, у однодневного дома отдыха. Ясно?

Ничего не ответив, Николай во весь дух пустился назад к вокзалу. Взбегая на изрытую осколками платформу, он чуть не упал от удара сильной воздушной волны, толкнувшей его в спину. Земля заходила под ногами. Он оглянулся и вскрикнул, застыв на месте: там, где с раннего детства глаз привык видеть черный купол депо, поблескивавший причудливой мрачноватой мозаикой из новых и закопченных стекол, высоко поднималось бурое клокочущее облако. Когда оно рассеялось, через развалины открылся непривычный вид на улицу, где жили Железновы.

Депо не стало.

Среди развалин вокзала, точно в театральных декорациях, все еще сидела маленькая остролицая девушка-телефонистка. Она была бледна, и все кругом — осыпь разбитой штукатурки, сохранившаяся часть стены с половиной расписания поездов, полированная панель аппарата — было забрызгано кровью. Девушка сидела в странной позе, прижимаясь лбом к обломку стены, точно бодая его.

— Еще не подошел к Крюкову,— чуть слышно прошептала она серыми губами, без удивления смотря на Николая.— Маме не говори... Сломай... аппарат...

Только тут заметил Николай, что джемпер телефонистки темнеет от влажных пятен.

— Не могу больше... Возьми наушники... Маму, маму не вол... Мамочка! Ма...

Девушка поникла. Николай подхватил ее. Удивительно легкое тело безжизненно обвисло на руках юноши, и он понял, что маленькая, тихая телефонистка, которую никогда не было слышно на собраниях и не видно было на танцах, которую комсомольцы считали девушкой пассивной и недалекой, героически отстояла свою вахту.

Николай бережно опустил ее тело на пол под прикрытие стены и осторожно, распутав волосы, снял с ее головы наушники. Когда он их надел, пластмассовые кружки еще хранили живое тепло.

Слушая потрескивание, доносившееся, как казалось, оттуда, где еще не было фронта, Николай следил за тем, что происходит здесь, на просторе изувеченных путей.

Шум боя передвинулся вправо, к заводскому району. Снаряды на путях почти уже не рвались. Было видно, как, отстреливаясь, перебежками красноармейцы отходят за переезд, под прикрытие насыпи. Там они, должно быть, снова засели, так как вскоре над гребнем насыпи полетели легкие, как семена одуванчика, дымки. Потом вдали показалось нечто похожее на опрокинутый набок газетный киоск. Еще и еще. «Танки!» — догадался Николай. Красные искры слетали с их таких безобидных издали хоботков. На них сидели солдаты. Они прижимались к броне, прятались за башни и очень напомнили Николаю маленьких паразитов, которые всегда путешествуют, прячась в панцирях навозных жуков.

Танки двигались к вокзалу, рыча моторами, скрежеща гусеницами, неуклюже переваливаясь через рельсы. Небольшие снаряды начали рваться на путях, и, так как кругом никого не было, это напоминало крупный дождь, бьющий по лужам. Черные дымы высоко поднимались в безветрии: в отдалении горело несколько подбитых машин. И все. Неужели это и есть война?

После всего пережитого Николаю не было страшно. Им овладело чувство тупого безразличия к себе и своей судьбе. Только жгучая тоска оттого, что враг уже появился здесь, где работали и дед, и отец, и братья, где сам он вырос и узнал жизнь, угнетала его.

Теперь, когда черная громада депо была обрушена и горизонт непривычно раздвинулся, Николай хорошо видел всю свою улицу и даже без труда различал на правой ее стороне пустое место, где недавно было их жилье. И почему-то особенно тяжело было видеть, как два танка, стоящие у домика Карповых, бьют оттуда по насыпи. Николай отвернулся, приладил наушники, уселся поудобнее, достал пистолет, достал патроны и, переведя предохранитель, прижался к обломку стены рядом с телом девушки.

А телефон все безмолвствовал. Из своего укрытия Николай хорошо видел, как солдаты, в рогатых касках, в куртках с закатанными рукавами, короткими перебежками, стреляя на ходу, приближались к развалинам депо. Они стреляли не целясь, прижав рукояти автоматов к животу. В ответ им слышались редкие выстрелы из-за насыпи. Несколько серых фигур осталось лежать на путях. Но уцелевшие упорно двигались вперед. Вот одна из касок уже показалась среди развалин. Николай

различил даже возбужденное лицо. Немец что-то кричал и махал рукой. Те, что были ближе, ринулись к нему...

Да, такой и была настоящая война. Стреляли пушки. Рокотали автоматы. Падали убитые. Кричали раненые. Но все это почему-то не производило впечатления, будто все страшное было уже пережито. Странная апатия все больше овладевала Николаем. Но тут обыкновенный девичий голос сказал в трубку:

— Зойка, слушаешь? Шестьдесят второй прошел... Как там у вас?

Этот голос, донесшийся точно с другой планеты, поразил Николая своим обыденным спокойствием, будничной деловитостью и сразу встряхнул его.

— Зоя Хлебникова погибла на посту смертью храбрых,— прошептал он в трубку.— На проводе секретарь комсомольского комитета Николай Железнов. Передай по линии: Рудаков с людьми действует по плану. У нас немцы. Уже тут, на узле. Взрываю коммутатор.

Уже запалив шнур, следя за тем, как, шипя, искрясь, бежит по нему пламя, Николай снова приник к трубке.

— Девушка! Передай по линии, что коммунисты и комсомольцы Узловой будут биться до последнего. Передай: смерть фашистским гадам! Передай: да здравствует коммунизм!

Забывшись, он кричал во все горло.

Немцы уже подползли к платформе; должно быть услышав его, они открыли частый огонь. Пули, как градины, защелкали среди обломков стен, с визгом рикошетя и брызжа известью. Тяжелые шаги гулко стучали по деревянному помосту перрона. Но тут раздался взрыв. Фонтан кирпича ударил вверх, и развалины станции заволокло багровым облаком пыли и дыма.

6

Николаю Железнову, с детства знавшему на Узловой каждый закоулок, удалось под носом у неприятеля выбраться из руин вокзала, перебежать на восточную платформу и оттуда — в железнодорожную слободку. Впрочем, немцы и не пытались его преследовать.

Бой у насыпи продолжался.

Выбравшись из города, Николай к вечеру догнал отряд Рудакова, сделавший первый привал в так называемой Малой роще.

В этот лес, что лежал на восточном берегу озера, немцам пробиться еще не удалось. Тут, среди ажурных цветастых беседок, среди киосков и столиков, стоявших под сенью пестрых полотняных грибов в молодом низкорослом курчавом соснячке, возле кружевных веранд, открытых читален, отряд и расположился на ночлег.

Теплая тишина, такая мирная, обыкновенная, нарушаемая лишь озабоченным писком стрижей, скользивших над водой в позеленевшем воздухе, как бы подчеркивала трагизм совершившегося. Люди почему-то располагались не на верандах, не на скамьях, а прямо на земле и лежали молча, погруженные в невеселые думы. Только Юлочка, приехавшая в лес на плечах отца, была довольна внезапной экскурсией. Она что-то весело чирикала, как шустрая синичка, перепархивая от одной группы к другой, смеялась, болтала, радуясь теплу, лесу, тишине летнего вечера.

Стрелочник Кулаков, успевший уже принять на себя в отряде свою всегдашнюю роль всеобщего увеселителя, дребезжащим тенорком рассказывал окружающим забавные истории, будто бы случившиеся с ним самим, и, рассказав, награждал себя частым, дробным смешком, от которого слушателям становилось еще больше не по себе.

Но скоро и он понял, что сегодня этих людей ничем не развеселишь. Понял — и стих, свернувшись, как еж, под елкой. В эту минуту общего тяжелого молчания и появился Николай Железнов.

Его обступили, засыпали вопросами.

Он стоял, собираясь с мыслями, и ответил не сразу.

— Заняли узел. Бои идут за фабричный район,— сказал он наконец и молча протянул Рудакову комсомольский билет телефонистки, с бурыми корочками, покоробившимися и слипшимися от крови.

Он не добавил больше ни слова, но руки людей как-то сами собой потянулись к кепкам и фуражкам...

Так началась для Николая новая, лесная жизнь.

Партизанские будни оказались куда менее романтичными и более трудными, чем он себе представлял. За несколько длинных и быстрых переходов Рудаков увел свой отряд далеко в чащу леса, туда, где неожиданно для большинства вновь испеченных партизан оказалась забла-

говременно заложенная база с оружием, снаряжением и продовольствием. Пока вчерашние токари, слесари, паровозники, путейцы, служащие, кладовщики, еще не успевшие свыкнуться со своим новым положением, медленно и неумело рыли землянки и оборудовали их, командир занялся организацией партизанского труда. Он так и говорил: «труда», потому что еще смолоду, водя пассажирские поезда, привык к тому, что в каждом деле самое важное — организовать труд.

Отряд свой он разбил на группы, позаботившись, чтобы в каждой была партийно-комсомольская прослойка. В группу минеров, которым предстояло вести главным образом войну на рельсах, он отобрал преимущественно путейцев: кто же лучше их знает уязвимые места своего хозяйства? Начальником минеров он назначил Власа Карпова, служившего в годы гражданской войны сапером и не забывшего еще подрывное дело. В «легкую кавалерию», предназначенную для быстрых диверсий на автомобильных и гужевых дорогах, для налетов на вражеские комендатуры и склады, были определены воспитанники Николая Железнова — подвижная, выносливая молодежь. Маленькую группу связи составили из особо проверенных пожилых людей с почтенной и по возможности безобидной внешностью. Они должны были под видом беженцев бродить по дорогам, проникать в занятые противником села, устанавливать связь с населением и соседними отрядами, с городским подпольем. Из людей постарше Рудаков создал «жилищно-хозяйственный отдел». Женщин и девушек, которых было немного, определили в «медицину».

Николай, назначенный сначала начальником «легкой кавелерии», вскоре был переведен на самое опасное дело — в разведку. Напарником ему был назначен Василий Кузьмич Кулаков. Железнов сперва возмутился, заявил было протест, но Рудаков не принял этого во внимание и тем еще раз доказал здесь умение разбираться в людях.

Не сразу и не легко врастал молодой железнодорожник в суровый партизанский быт, в котором на поверку оказалось мало романтики и много кропотливого труда, невзгод и лишений. Поначалу ему думалось, что, оккупировав территорию, враг занял все деревни, села, все дома, контролирует все дороги, прячется за каждым кустом. Это тягостное ощущение начинало его преследовать, как

только он уходил из отряда, от массы с детства знакомых людей и оставался один или с Кулаковым. Оно сковывало его предприимчивость, вязало по рукам и ногам, и он, которому на постройке землянок ничего не стоило выполнить работу двух-трех человек, возвращался порой с пустякового задания измотанным и разбитым.

Но Николай переболел этой болезнью и вскоре уже твердо знал, что оккупированная территория продолжает оставаться советской, и убедился, что отважному и вместе с тем осторожному разведчику враг не страшен. И, что особенно было ценно для его опасной специальности, он научился в любой деревне, даже там, где стояли солдаты, находить человека, готового посильно снабдить нужной информацией, показать дорогу, покормить.

Да и весь отряд постепенно овладевал искусством лесной войны. Этому в не малой степени содействовала та будничная деловитость, какую командир сумел внести в сложное, новое для него самого дело. Именно будничная, привычная, выражавшаяся даже в том, что подразделения в отряде старые производственники по привычке называли «цехами», боевые задания «нарядами», военное обучение «техминимумом». В «цехах» были даже зачитаны перед строем тщательно разработанные Рудаковым «правила внутреннего распорядка», регламентировавшие быт и боевую жизнь партизан.

Когда же линия фронта отошла еще дальше на восток и вражеские силы в тылах поредели, Рудаков, взаимодействуя с соседями, отважился дать несколько открытых боев немецким частям, находившимся на марше,— и так в этом преуспел, что Совинформбюро посвятило даже специальное сообщение деятельности отряда товарища Р. Понемногу партизаны становились хозяевами положения на дорогах.

Немецкое командование, обозленное тем, что ему не удается быстро восстановить железнодорожную связь на этом стратегически очень важном направлении, сначала разослало по местным комендатурам, тыловым гарнизонам и железнодорожным частям инструкцию, предписывающую крайнюю осторожность при передвижении, усиление охраны складов и военных объектов.

Одно из этих предписаний вместе с планшетом убитого связного попало в руки Рудакова. Он узнал про тревогу и слабые места противника и именно в эти места на-

правил свои удары. Но и немецкое командование приняло свои контрмеры. Отчаявшись найти партизан, действовавших на дорогах, но остававшихся неуловимыми в здешних лесах и болотах, оно предписывало комендантам направлять к партизанам своих людей, чтобы через них найти след неуловимых отрядов. И это стало известно.

Партизанский штаб передал Рудакову приказ быть осторожным при приеме новичков, постараться расшифровать и выловить хоть одного такого шпиона.

Вот тогда-то командир отряда и поручил Железнову и Кулакову пробраться в район «мертвой зоны», проследить тактику карательных частей, постараться напасть на след немецких наймитов, засылаемых для подрыва партизанского дела.

Отправляясь на это задание, Николай напялил форму немецкого солдата, вооружился автоматом и решил изображать конвойного, который ведет в комендатуру арестованного Кузьмича. Для районов, где населения уже не было и где действовали лишь каратели, это было неплохо придумано.

7

Двое суток бродили разведчики по обезлюдевшим пространствам «мертвой зоны». Они уже вызнали, какие части здесь свирепствуют. Пробравшись по задворкам в одно из обреченных сел и спрятавшись в развалинах колокольни, они видели, как, сопровождаемые мотоциклетным эскортом, ворвались на сельскую улицу автомашины с поджигателями. Мотоциклисты загородили въезды и выезды; солдаты в форме полевой жандармерии, выскочив из машин, начали зажигать дома. Дело это у них было механизировано и умело организовано. В то время как одни уничтожали дома, другие ловили жителей, сбивали их в колонны, куда-то уводили под конвоем.

Куда? На расстрел? На работы? В фашистскую неволю?

Николай понимал, как важно точно выяснить судьбу исчезающего населения «мертвых зон». Кроме того, может быть, именно в такие толпы жителей, потерявших голову от горя, гестапо под шумок подсовывает своих шпионов. Точно разузнать обо всем этом можно было, только попав в одну из таких колонн.

Посоветовавшись, разведчики решили рискнуть. Но Кузьмич, обычно сговорчивый, решительно запротестовал против того, чтобы главная роль в этот раз принадлежала Николаю. И в самом деле, тот был для этого слишком уж приметен. Немцы ни за что не поверят, что этакий дюжий парень околачивается без дела в тылу.

Словом, договорились о том, что умышленно попав в облаву, Кузьмич даст себя схватить, а Николай постарается держаться где-нибудь поблизости, чтобы в случае чего с автоматом и гранатами прийти на выручку товарищу.

Замаскировавшись в придорожных кустах. Николай видел, как Кузьмич, изображая полоумного, наткнулся на дороге на засаду, как, столкнувшись с солдатами, он весьма натурально испугался, закрестился, запричитал, как заорал на все поле, когда его ударили. Потом, перебираясь от куста к кусту, разведчик проследил за арестованным напарником до того самого момента, пока конвоир не толкнул старика в толпу женщин, собранных на опушке леса. Теперь оставалось ждать.

Партизанская жизнь многому научила Николая, но бездейственно ожидать он по-прежнему не умел. А тут еще дождик, монотонно шелестящий в листве. Чтобы преодолеть дрему, он снял пилотку, подставил лицо под изморось, принимал неудобные позы и даже положил под себя две сосновые шишки... Ничего не помогало. Шелестящий шум дождя, однообразный звук капель, падающих с листвы, убаюкивали, и как он ни старался отогнать дрему, все вокруг — кусты, деревья, глянцевитая от сырости трава,— все начинало тускнеть, терять очертания.

«Не спать! Не спать, черт возьми!» — приказывал себе Николай, томясь вынужденным бездействием.

Вдруг с опушки донесся шум драки, визгливый женский крик, глухой удар. Мимо Николая, не заметив его, пробежали в лес несколько женщин. И сейчас же из-за кустов выскочил запыхавшийся Кузьмич. Единственный глаз его возбужденно сиял, на щеках розовел красноватый апельсиновый румянец. Напарник тащил за руку круглолицую толстуху в железнодорожной форме.

— Вот, вот она самая, Катерина Вторая, фашиста пристукнула, весь табун освободила! Царь-баба, выдающееся явление природы... Уникум.

Смелый поступок незнакомки служил ей лучшей рекомендацией. Разведчики поняли, что перед ней можно не таиться.

Узнав о существовании партизанского отряда железнодорожников, женщина только всплеснула руками.

— Милые вы мои, а я все головушку ломаю: куда мне, сироте, податься? Женщин-то в партизаны принимают? Я ж тоже ваша обходчица с четыреста тридцать второго километра. Из будки своей я уже выбралась, в лесу живу, в шалаше, головушку ломаю: что делать? А тут эти меня и загребли... Нет, вы верно наши, с Узловой? А с дистанции кто-нибудь из наших у вас есть?

— Дорогуша, ты ж не Катерина Вторая, ты ж Петр Великий! — восхищался Кузьмич, обходя женщину вокруг, как башню, и умильно посматривая на нее своим единственным глазом. — Сразу видно, путейская косточка! Одного мы с тобой, милая, роду-племени, одного, путейского.

— А с сынишкой как мне быть? Не одна я, меньший-то со мной, ему б только в третий класс идти. На кого его оставлю? —озадаченно спросила обходчица, которую и впрямь, как оказалось, звали Екатериной.

— Крошка моя, это положения не меняет. Порядок полный. У нас командир один, товарищ К., так и вовсе с трехлетней девчонкой в отряд пришел... На кашлах ее носит; как передислокация, так девчонку на кашла.

Екатерина обрадовалась.

Но Николай, помня наказ Рудакова, рассудил иначе. Сейчас, когда немцы, перешив колею, восстановили железнодорожное сообщение, важнее было иметь верных друзей на месте, у самых путей. Он посоветовал Екатерине вернуться в свою будку, идти к ним на работу и пообещал принести ей приказ командира с указаниями, что и как дальше делать.

Точно сразу прозрев, женщина уставилась на Николая, на его немецкую форму, потом вдруг схватила его за борта куртки и прошипела в лицо:

— Ты чему же это меня, охальник, учишь? — Затем она грозно повернулась к Кузьмичу: — Это к какому ж такому партизану ты меня привел, кривой леший?

Оттолкнув Николая, она быстро пошла прочь. Пришлось бежать за ней, на ходу втолковывать, что партизан не только тот, кто бьет врага в открытом бою, но и тот, кто тайно следит за врагом и наносит ему исподтишка удары в самое чувствительное место.

Наконец Екатерина остановилась, задумалась.

— А чем докажете, что не на фашиста работаете, ну? — Она угрожающе посмотрела на партизан.— Железнодорожники... А кто вы такие? Откуда?

Николай назвал себя.

Екатерина даже руками всплеснула:

— Ивана Захарыча Железнова сынок? Да я с папашей с вашим в санатории два раза вместе отдыхала. Только, постой, не похоже что-то, он ведь как жук черный... Стало быть, самый меньшенький? А папаша ваш где ж?

Только подвергнув Кузьмича и Николая допросу и убедившись, что они действительно те, за кого себя выдают, Екатерина скрепя сердце согласилась вернуться в свою будку на четыреста тридцать второй километр и стать, как говорили тогда в отряде, «партизанским глазом». Она ушла, наказав не задерживать указаний, так как сотрудничать с оккупантами считала делом постыдным и непростительным.

— Как я сынку-то об этом скажу? Ой, задали вы мне задачку.

Когда под тяжелой стопой удаляющейся Екатерины перестал трещать валежник, Кузьмич, наклонившись к уху напарника, с возбуждением зашептал:

— Это не все... Это цветочек. Я, брат Никола, такие две ягодки выследил! Немецкие овчарки такие, что только ах! Чистопородные...— И, потирая руки, старик рассказал, что среди задержанных там, на поляне, сразу бросились ему в глаза две «шибко подозрительные бабенки», по говору явно не здешние. Они все с разговорами подъезжали — как, да где, да что?.. А одна, побольше, гладкая, чернобровая, все пытала: где партизаны, да много ли их, да как к ним пройти? Другая, поменьше, ни о чем не говорила, видать, «на подначке» работает. И обе они какой-то все мешок берегли. Грязный латаный мешок, а они из-за него друг дружке в волосы вцепились, не поделили чего-то, что ли...

Я, брат Никола, одним глазом лучше, чем ты обоими, вижу, от меня не скроешь! Я сразу себе смекнул: гляди, Кузьмич, эти как раз из тех и есть, о которых товарищ командир наказывал... Вишь, скажи ей, где партизаны! Этаким-то маневром хочет на наши главные путя выйти.

Николай задумался: что ж, может быть, и действительно эти две из тех гестаповских агентов, о которых

предостерегал партизанский штаб? Вот было бы здорово их выследить.

— А куда они пошли?

— Ты на Кузьмича положись! Кузьмич, брат, такой, он проницательный, все примечает. От Кузьмича и под землей не схоронишься... Когда фашиста кокнули, я за ними в оба глядел. И вижу: все по опушке, а они в самый лес... Ты, милый, Кузьмича слушайся, с Кузьмичом не пропадешь! Ну-ка, брат, отдавай кисет да трубку, без табаку разум помутнел и мысля плесневеет.

Разведчики решили, пока не стемнело, догнать подозрительных женщин. Взяв указанное Кузьмичом направление, они без труда отыскали две пары следов, отчетливо обозначавшихся на зеленом, пропитанном влагой мху. Одни были побольше, поглубже, овальные, другие поменьше, с явным отпечатком подошвы и каблука.

— Они! — радостно крикнул стрелочник.— Видишь, черноброваяя-то погрузней и в лапоточках, а маленькая — в башмаках. Точно и определенно, идем, брат, по графику.

Следы вели в глубь леса. Сначала они были четкие, с глубоко вдавленной передней частью. Николай понял — бежали. Потом следы стали ложиться ровно, носками чуть врозь. Здесь женщины перешли на шаг, видимо, успокоились. Преследовать их было тем легче, что с неба продолжала бесшумно сеять все та же тончайшая водяная пыль. Она покрывала мох, траву, ветви серым налетом, и следы, а также потревоженные проходившими травы и ветки отчетливо темнели на ровном сером фоне.

Разведчики сильно умаялись, но женщин в этот день так догнать и не удалось. Сгущавшиеся сумерки быстро наполняли лес сырой плотной мглой. Следы начали теряться. Пришлось заломить приметную сосенку и располагаться на ночлег.

Неугомонный Кузьмич разбудил напарника, когда еще только начало светать. Сосновые стволы, хвоя, листья блестели, как будто за ночь кто покрыл их лаком. Николай, сделав несколько резких гимнастических упражнений, разогнал озноб. Тем временем спутник его по-братски разделил краюху партизанского хлеба, кислого, со скрипящими на зубах угольками в нижней корке,— последнее, что оставалось у них из продовольствия.

По времени солнце уже поднялось, но в лесу еще стоял непогожий сумрак. Партизаны быстро нашли

отмеченное деревце, уже прослезившееся на изломе каплями прозрачной душистой смолы. Следы на девственно-зеленом мху были еще видны. Переглянувшись, разведчики быстро зашагали по этим следам, радуясь, что, догоняя шпионок, они идут в общем направлении на восток и тем самым приближаются к партизанскому лагерю.

Зябко шелестела загрубевшая за лето листва. Густо пахло прелью, грибами и еще каким-то стойким и грустным запахом, каким пахнет лес ранней осенью в ненастные утра. То там, то тут на полянке сверкали полированными шляпками сыроежки; раздирая мох, смотрели на солнце белые, опушенные по краешкам бахромой тарелки сильных груздей, в которых блестела вода; возле пеньков золотели веселые россыпи зайчушек, и иногда на взлобочках, где было посуше, виднелась замшевая шляпка боровика.

Кузьмич только постанывал, глядя на это грибное изобилие. Наконец он не выдержал, стащил с головы форменный картуз и стал собирать в него белые, что были поменьше и покрепче.

— Гляди, гляди, Никола, сколько даром добра пропадает. Первоклассные дикорастущие. Благодать-то какая, а брать некому. Червям пойдет... Этого бы Гитлера в муравейную кучу закопать за такое дело, пусть бы муравьи его, подлеца, по крупиночке живого растащили.

Как кузнец, привыкнув, не слышит обычно грохота молота, а паровозник — шума колес машины, так и Николай за дни скитаний с Кузьмичом научился не слышать болтовни спутника. Он шел погруженный в свои думы, вдыхая ароматы леса, подставляя разгоряченное лицо прохладным каплям, падавшим с деревьев.

Когда-то, глядя на леса и рощи из паровозной будки, как мечтал молодой паровозник в такой вот денек забраться в зеленую чащу, слушать птиц, подсматривать жизнь зверей! И вот он, лес! Но теперь другим занят ум, другое желание владеет всем его существом: фашист ходит по нашей земле, что еще можно сделать, чтобы поскорее разбить, изгнать врага?

И все-таки в лесу чудесно! Не хочется думать ни о фашистах, ни о жутком зрелище «мертвой зоны», ни об этих человеческих следах, по которым нужно сейчас идти... Как хороша, как бесконечно многообразна, как мила сердцу русская природа! Но что это?

Где-то впереди, в лесной чаще, не очень далеко, звонкий голос тихонечко запел:

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя...

Партизаны остановились. Сердце Николая учащенно забилось.

То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя...

Эту песню любила напевать мать Николая, склоняясь над шитьем или возясь на кухне. Здесь, в лесной глуши, полной осенних ароматов, знакомая мелодия, смягченная расстоянием, звучала неправдоподобно хорошо. А тут еще, точно тоже стремясь послушать, солнце прорвалось сквозь поредевшие облака, и целые потоки сверкающих лучей обрушились на лес, и он сразу ожил, помолодел, просиял, улыбаясь каждой мокрой веткой.

— Они! — прошептал Кузьмич, вытягивая жилистую старческую шею.— Видно, сигналят кому песней-то. Никола, не теряйся, слушай меня! Обгоним, зайдем во фланг и ударим всеми наличными боевыми силами: хенде хох!

— Что ж... пошли...— не сразу отозвался Николай.

8

Партизаны взяли вправо, обогнали женщин и вышли из кустов, преградив им дорогу.

Песня оборвалась на половине последнего куплета. Незнакомки явно испугались и, не вступая в разговор, попытались уйти. Это было и подозрительно и естественно. В такие времена, да еще в глухом лесу, хоть кто испугается, услышав преследование.

Но надо выяснить, кто они. Николай остановил незнакомок. С первого же взгляда внешность их произвела на него самое благоприятное впечатление. «Черт возьми, какое красивое лицо у старшей! Даже вот сейчас не потеряло уверенности и достоинства». На младшую Николай сначала не обратил внимание: так, курносая девчонка с синяком под глазом, с царапиной через всю щеку. «А пела все-таки она»,— почему-то догадался он и взглянул на девушку попристальней. Только вот глаза разве: боль-

шие, серые, чистые! И как сердито смотрят они из-под длинных ресниц.

Тут вдруг почувствовал Николай, что ему неловко стоять в чужом, немецком мундире перед этими незнакомками. И очень захотелось, чтобы они оказались честными советскими людьми, а все то, в чем заподозрил их Кузьмич, вздором.

Однако старик с еще пущей подозрительностью разглядывал задержанных. Странно, вчера среди пленниц они казались ему чуть ли не старухами, а сегодня... за одну ночь обе удивительно помолодели. Интересно!

Между тем младшая, торопясь и волнуясь, принялась рассказывать партизанам свою историю, явно желая их разжалобить. Говорила правдиво, без запинок, излишне часто, впрочем, ссылаясь на разрешение «господина коменданта». Печальная и трогательная история эта невольно располагала. И Николай, слушая, начал искоса бросать на напарника насмешливые взгляды: «Эх ты, бдительный товарищ! Недаром про тебя в депо говаривали, что страдаешь бестолковой активностью. Какие же это фашистские наймитки?»

Кузьмичу под этими взглядами стало не по себе.

Но вдруг девушка назвала их город. Старик сразу ожил, победно взглянул на напарника, а тот как бы внутренне скомандовал себе: «Смирно! Как стоишь, партизан?»

Теперь Николай понимал: незнакомка лжет, лжет, как лгут опытные обманщики, с самым искренним видом. И этот мешок! Как они обе всполошились, когда он попробовал дотронуться до мешка, висевшего за спиной у старшей. Неужели лазутчицы?

Теперь торжествовал Кузьмич. Его зеленый глаз издевательски прищуривался: «Эх ты, партизан! Вымахал в телеграфный столб, а ума не нажил. Силища — как у большегрузного паровоза, а от одного взгляда смазливой девчонки таешь, как сало на сковороде... Разведчик!»

Чувствуя, что Кузьмич прав, Николай как можно грозней приказал:

— Снимите мешок!

Но тут старшая набросилась на него с таким гневом, такое засверкало в ее глазах презрение, когда она

выговорила слово «фашисты», что юноша опять заколебался: «Неужели можно так искренне лгать?»

Работая в разведке, Николай всякого навидался и отнюдь не был идеалистом. Видел он выползших из щелей лютых врагов Советской власти, снявших маски, видел бандитов и ворье, выпущенных из тюрем оккупантами и из чистой корысти служивших фашистам, встречал малодушных людишек, предавшихся захватчикам из трусости и неумения сопротивляться. Все они как бы были отмечены каиновой печатью отверженности, и, повстречав такого выродка, партизан чувствовал то же, что чувствует охотник в лесу при виде ядовитой змеи или опасного хищника. А тут Николай испытывал какую-то раздвоенность. Факты настораживали и обвиняли, а сердце отказывалось им верить и оправдывало. Это было противное, тягостное чувство. Раздражаясь, партизан крикнул уже по-настоящему зло:

— Вы кто такие? Ну, говорите!

— Честные советские люди — вот кто мы! — ответила старшая, повертываясь так, чтобы загородить собой от него мешок.— Не то что вы! — И она презрительно добавила: — Бандиты.

— Но, но, за такие слова...— Кузьмич вскинул автомат.

Руки у него тряслись, уголки тонких губ вздрагивали. Чувствуя, что оскорбленный старик, чего доброго, может нажать спуск, Николай загородил собой незнакомок.

— Мы партизаны — вот кто мы! — раздельно сказал он, впиваясь взглядом в лицо младшей и стараясь уловить, какой эффект произведут его слова.

Незнакомки переглянулись, но старшая тотчас же предостерегающе подняла брови.

— И чего ты на партизан врешь? Партизаны с фашистом воюют, а ты на большой дороге у баб пожитки отнимаешь. Коли у самого стыда нет, не врал бы хоть на партизан.

— Покажи, что в мешке, покажи, змея подколодная!—кричал Кузьмич, потрясая автоматом и чуть не плача. Ему было обидно, что его не боятся и даже не обращают на него внимания.

— Коли верно вы партизаны, ведите к командиру. Командиру покажем!—твердо сказала высокая, и такая

уверенность прозвучала в ее словах, точно не только правда, но и сила была на ее стороне...

Вот это выход! Ведь при всех условиях их нужно доставить в отряд. Николай как можно суровей приказал задержанным идти вперед и громко, чтобы они расслышали, предупредил Кузьмича, в какую из них он должен стрелять, если незнакомки вдруг вздумают бежать в разные стороны.

9

Молча шли они по лесу и час и два, пока солнце не стало на полдень.

Кузьмич изредка по привычке нагибался, чтобы подхватить какой-нибудь особенно соблазнительный боровичок. Николай шагал позади младшей, время от времени поглядывая на ее затылок. Должно быть, давно не была она в парикмахерской — русые волосы отросли, завивались тугими прядками.

Когда тропинка у куста, осыпанного волчьими ягодами, сделала крутой поворот, девушка неожиданно обернулась. Николай не успел отвести взгляда, глаза их встретились, и он почувствовал, как тревожно ворохнулось у него сердце и кровь горячо прилила к лицу. Партизан даже растерялся. Краснеть от взгляда какой-то чубатой девчонки с облупившимся носом — это уж слишком! Этого никогда с ним не бывало. И тут он понял, что ему уже трудно отвести взор от тонкой девичьей шеи, курчавившейся золотым пушком. Тогда он обратился к рассудку.

Все это от лесной жизни. Оттого, что давно не видел он девушек. Ну, скажите на милость, что в ней хорошего? Вот старшая, верно, та настоящая русская красавица, рослая, стройная. «Пройдет — точно солнце осветит! Посмотрит — рублем подарит!» А эта? Так, пигалица. И эти драные, грязные лыжные штаны. Подметки на ботинках проволокой прикручены. А ножищи! Такая маленькая — и такие огромные башмаки! Но идет она все-таки легко, вон, точно мотылек, перепорхнула с кочки на кочку. И глаза... да, просто удивительные какие-то глаза. И голос... «А голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как моря играющий вал...» Фу, черт, откуда это? Ах да, с той пластинки, что ребята крутили в по-

следнюю ночь в депо... Славный мотив, и слова хорошие. Как это там дальше? «Мне стан твой понравился тонкий и весь твой задумчивый вид; и смех твой, грустный и звонкий, с тех пор...» С тех пор... Смех или голос?.. Забыл. Словом, что-то и где-то там звучит. Ну и пусть звучит! Ничего в ней особенного нет, так, девчонка с нахальными глазами. Чепуха! Думать о ней нечего... Да и не следует... Гестапо, наверно, нарочно таких красивых и выбирает... За чем это она там наклоняется?

— Эй, прямо! С тропинки не сворачивать! — как можно строже крикнул Николай.

Старшая остановилась и обернулась.

— А что, ребята, не отдохнем? Пора ведь. И жарко ж...

Она сказала это так доверчиво, просто, обмахивая платком разгоряченное лицо, что даже Кузьмич, следивший за каждым движением задержанных, согласился. Да, действительно сейчас присесть на холодке как раз впору.

Устроились на траве, в тени курчавого орешника. От Николая не ускользнуло, что старшая явно не без умысла уселась на своем мешке и даже юбку при этом одернула, будто бы невзначай прикрыв его.

— Едой не богаты? — спросила она тоном хозяйки.

— Чего нет, того нет,— развел руками Кузьмич.

— Ну ладно, бог с вами, становитесь на наше иждивение.

Из мешка младшей старшая из спутниц достала завернутые в полотенце и успевшие уже осклизнуть вареные картофелины и разложила их на четыре равные кучки. Посреди поставила баночку с солью.

— Ну, давайте к столу! — позвала она совсем домашним голосом. Позвала и добавила: — Все разделила, больше ни картошинки нет. К ужину-то дойдем до вашего лагеря?

— Когда положено, тогда и дойдем,— проворчал Кузьмич.

— Ишь какой строгий,— усмехнулась женщина и вздохнула.— Ну, ешьте, что ли.

Спокойствие и доверчивость, с какими она теперь держалась, примиряли с нею даже старого стрелочника. Заметив, что у женщин есть котелок, он вызвался в дополнение к картошке потомить в нем грибы, сам сбегал за водой, проворно сложил костер. Старшая тем временем быстро и ловко крошила боровички.

Николай лежал на животе перед моховой кочкой, рассматривал кустики красивой и нежной травы. Круглые пухлые листики ее, обросшие по краям длинными красными ресничками, широко стлались по мху; сухой хвоинкой партизан ворошил прозрачные, точно росяные, капли, сверкавшие в углублении каждого листка. Весь погруженный в это занятие, он не сразу почувствовал, что кто-то следит за ним. Хрустнула ветка — рука сама дернулась к пистолету. Партизан оглянулся: позади стояла сероглазая девушка.

— Что вы тут рассматриваете? Эту красивую травку? Да?

— Красивую травку.— Николай усмехнулся, поймал звеневшего в воздухе комара, осторожно положил в прозрачную и, по-видимому, клейкую каплю в центре листка. Сразу же реснички дрогнули, зашевелились, стали загибаться внутрь. Комар еще бился в клейкой массе, сучил длинными ножками, но реснички крепко держали его, листок свертывался, точно сжимался в кулачок. Все было кончено.

— Как интересно! Что это? — спросила девушка, присаживаясь рядом.

Николай нахмурился и отодвинулся.

— Красивая травка,— повторил он, пытливо смотря на девушку.— Это природа дает нам урок бдительности: не верить красивым... травкам.

Нет, девушка не опустила глаза. В них, широко распахнутых, лучащихся, увидел он интерес — и только.

— Трава ловит комаров? Не понимаю.

— Это росянка, хищное растение. Хватает доверчивых дураков из мира насекомых и питается их соками,— холодно ответил Николай, стараясь настроить себя на враждебный лад. «Чего она пристает? Уставилась своими глазищами!»

Он уселся на кочку и тут заметил, что его форменная тужурка расстегнута, из-за потертого сукна видна открытая грудь. Краснея, партизан хотел застегнуть пуговицы, но их не оказалось: незаметно все поотрывались. Начхоз не смог подобрать ему немецкую форму по росту. Волей-неволей пришлось напялить эту тесную тужурку прямо на голое тело.

Чуть усмехнувшись одними глазами, девушка вскочила, порылась в своем мешке и вернулась, неся горстку пуговиц и иголку с длинным хвостом нитки.

— Снимайте! — скомандовала она.

Николай покраснел еще гуще.

— У меня там... ничего нет,— еле слышно проговорил он.

— Ладно. Можно и так.

Девушка опустилась на колени, придвинулась к Николаю и стала ловко пришивать пуговицу. Пальцы быстрой руки иногда касались его шеи или щеки, и от этих легких прикосновений он вздрагивал, точно с кончиков их слетали колючие электрические искры.

Пришив пуговицу, девушка наклонилась, чтобы перекусить нитку. Дыхание ее коснулось лица Николая. Он весь напрягся, одеревенел, боясь пошевелиться.

— Муся, осторожней, сердце ему не пришей,— заметила старшая.

Щелкнув ниткой, девушка отодвинулась, нахмурив выгоревшие брови, довольно оглядела свою работу и вдруг озорно засмеялась:

— Не беспокойтесь, Матрена Никитична! У него и сердца-то нет...

Легко вскочив, девушка убежала к подруге и что-то зашептала ей, озорно косясь на Николая, все еще сидевшего в той же неудобной позе.

От костра уже несло густым духом белых грибов, похлюпывавших в котелке.

— Эх, беда, маслица шматочка нет, я бы такую поджарку сотворил! — сокрушался Кузьмич, щурясь на огонь и бросая в котелок соль.

— А у нас дома их в сметане томили. Зальют сметаной, они в ней пыхтят, пыхтят—и такие вкусные получаются,— мечтательно вспомнила девушка, наматывая остаток нитки на иголку, которую она приладила за лацканом своей лыжной куртки.

— Это далеко ль — у вас? Где ж это по такому манеру с боровиками расправляются? — будто невзначай спросил Кузьмич, весь, казалось, поглощенный возней у костра.

И тут младшая назвала город, находившийся далеко на западе, город, где, как знал Николай, действительно говорили цокающим говорком.

Кузьмич вскочил и, потрясая маленькими сухонькими кулачками перед носом девушки, торжествующе закричал:

— А, попалась! А что утром говорила? Ну? Когда врала — тогда или сейчас? Говори. Кому служишь? Немцам? Ну, отвечай, отвечай, подлая!

Николай попробовал его утихомирить, но Кузьмич накинулся и на товарища:

— Отойди, Никола-угодник! Раскис, как гриб-шляпяк. Ну, кто прав? Ты лучше Кузьмича слушай, Кузьмич не подведет...— И снова к девушке: — А ты чего отворачиваешься? Ты что фашисту продала? Гляди на меня, подлая, и отвечай! Родину ты продала, вот что! Вот развернусь да как дам по бесстыжим глазам... овчарка немецкая!

Но тут поднялась и старшая. Она спокойно отряхнула с юбки грибные очистки и тем ровным, уверенным голосом, каким сильные характером жены успокаивают вздорных разбушевавшихся мужей, сказала, глядя на старика сверху вниз:

— Ты чего расшумелся? Со снохой, что ли? Тебе кто дал право допрашивать? Ты кто такой? Сказано: веди к командиру — веди, побежим — стреляй... А то разошелся!

Грибы ели молча, стараясь не смотреть друг на друга.

Старшая хозяйски собрала посуду, взвалила на плечи свой тяжелый мешок и с тем же спокойствием сказала:

— Пошли, что ли. А то этот и вовсе на людей кидаться станет. Одурел от своего табачища.

И опять они шли тихим лесом.

10

Новая обмолвка девушки не давала Николаю покоя. «Зачем они лгут, путают? Неужели все-таки лазутчицы?»

Назойливо перебирая эти тревожные размышления, снова и снова звучали в его ушах слова, слышанные в последнюю ночь там, дома, в депо, и потому, должно быть, особенно дорогие: «Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты...» Ничего себе бал! И тайна скверная. Ведь, главное, лжет с таким искренним видом. А для чего? К чему?.. А с другой стороны, сам-то он, повстречайся вот так в лесу с незнакомыми вооруженными людьми, да еще одетыми в немецкое обмундирование, разве сказал бы правду?

Но этот проклятый мешок!

Чтобы отвлечься, Николай начал тихонько напевать. Звонкий девичий смех послышался в торжественной тишине леса. Это, конечно, она. «...и смех твой грустный и звонкий...» Какой, к черту, печальный! Чего это она?

— У вас слуха вот ни на столечко.— Девушка обернулась к Николаю и, давясь от смеха, показала кончик мизинца.— Вам, наверно, в детстве медведь на ухо наступил? Правда?

— Я не Козловский, для меня слух необязателен,— не очень удачно отпарировал озадаченный партизан.

— Бить фашистскую сволочь и без слуха можно, а Никола у нас на такой случай спец наипервейший,— пришел ему на помощь Кузьмич.— Он вашего брата, фашиста...

И тут произошло нечто совершенно неожиданное. Девушка бросилась к старику, вцепилась ему в лацканы пиджака, прежде чем он успел остеречься, и затрясла так, что материя затрещала, а голова Кузьмича стала мотаться, как у тряпичной куклы.

— Что ты сказал? Ты что такое сказал, скверный старикашка? Как ты смеешь!

Смущенный Кузьмич попытался оторвать цепкие руки, но не тут-то было.

— Какие вы партизаны? Вы тогда знаешь кто...

— Отцепись... букса несмазанная! — отбивался Кузьмич.

— Маша, брось ты это старое трепло! Пошли! Командир разберется, выпишет ему трудодней... Он уже заработал.

Николай втайне был рад происшествию. «Как расходилась! Нет, так притворяться нельзя! Горячая голова, да и смела — на вооруженного с кулаками...»

— Пошли, пошли, путь не близкий,— примирительно торопил он.— В лагере доругаетесь...

И снова двигались они еле заметными тропами. Лес то мельчал, переходил в болото, то снова выстраивался сплошной стеной, могучий, вековой, заваленный буреломом. Только хруст веток под ногами, жадный крик соек, дравшихся под дубом из-за палого желудя, да скрипучий стрекот сорочьей стаи, то догонявшей путников, то отстававшей от них, нарушали густую тишину.

Тропа вывела на заброшенные лесоразработки. Еще недавно все здесь, должно быть, было полно деятельного

стука топоров, напряженного звона электрических пил, человеческих голосов и шипящего свиста падающих сосен.

Это было большое механизированное хозяйство. Вдоль деревянных дорог выстроились штабели готовых бревен, желтые кубы пересохших дров. Как трупы на поле брани, валялись срубленные, но не разделанные сосны с пожелтевшей, осыпавшейся хвоей. Из зарослей дударника и иван-да-марьи виднелась покрасневшая от дождей туша брошенного локомобиля и подле него уже вовсе заросший травой электрический мотор. Ржавели свернувшиеся штопором оборванные провода. Вдалеке, в кустах, как уснувший слон, стоял трелевочный трактор, груженный очищенными от коры бревнами, уже успевшими посереть от дождей. Лес, словно мстя за свои поверженные деревья, спешил закрыть человеческие следы и тропы травами, кустарником, бархатистым мхом.

Путники старались не смотреть по сторонам. Безлюдье тут было особенно тягостно. Маленькая веселая белочка смело спрыгнула с дерева на капот трактора, удивленно посмотрела черными бусинками глаз на приближавшихся людей: дескать, откуда это вы появились? — почесала лапкой за ушком, неторопливо, пластая свой хвост, сиганула на бревна, с них — на ветку. И всюду виднелись светло-лиловые перья иван-чая, покрытые снизу длинным шелковистым пухом. Густо разросшись, они стыдливо закрывали ржавое железо брошенных машин, покрасневшие рельсы узкоколейки, деревянные дрожки.

— Безлюдет, безлюдет наша земелька! — вздохнул Кузьмич, сшибая палкой игластые головки татарника, нахально загородившего тропинку.— И откуда только эта поганая трава берется? При человеке вроде ее и не видать, а ушел человек — сразу в рост пошла. Вон какая вымахала!

Никто не отозвался. Когда трелевочный трактор, которому война помешала довезти до места бревна, уже остался позади, Кузьмич пробормотал, ни к кому не обращаясь:

— В населенных пунктах этак же вот. Жили люди по-человечески, бурьяну-то не слыхать, не видать было. А пришел фашист — и откуда только вылезла шпана проклятая: бургомистры, подбургомистры да всякие полицаи?

Старик многозначительно покосился на незнакомок. Те его не слушали. В сердцах Кузьмич что есть силы рубанул суком по наглому кусту татарника. Татарник погнулся, но выстоял, а сук переломился. Конец его, как бумеранг, описал дугу и стукнул старика по голове. Кузьмич плюнул и махнул рукой. Он считал себя неудачником в жизни и привык к подобным неожиданностям.

11

Только под вечер, когда сумерки стали незаметно заволакивать подлесок, на девственном мху отчетливо обозначились живые тропинки, пробитые в разных направлениях.

— Пришли, что ли? — спросила старшая, подкидывая плечом лямку мешка и стирая со лба пот тыльной стороной ладони.

Партизаны не ответили. Тропинки становились все заметней, они сходились и расходились. Незнакомки шли спокойно и, как показалось Николаю, несмотря на явную усталость, даже ускорили шаг. Не видно было ни страха, ни растерянности, Кузьмич, поняв, что это значит, все пытался дружелюбно заговаривать со старшей. Она шла, закусив губу, бледная и точно немая. Но лицо у нее было непроницаемо спокойно.

«Может быть, это советские диверсанты, сброшенные в тылу с особым заданием, о котором они не могли сказать первым встречным? Может быть, связные одного из отрядов, действующих на западе? Может быть, от подпольного обкома? — прикидывал в уме Николай.— Тогда здорово будем выглядеть мы с Кузьмичем со своей сверхбдительностью. Ну и язык у старика! Вот уж верно, трепло! Трепло? Что это значит? Так, кажется, зовут колотушку, которой треплют лен. Точно она подметила это, именно старая колотушка. И как это старик ухитрился, ничего о людях не узнав, окрестить их фашистами? Разве у немецких наймиток могут быть такие правдивые и чистые глаза? Эта, младшая... Вот девушка! Ведь столько за день прошли. Мужчины и то вымотались! Броситься бы вот на землю и лежать — ни рукой, ни ногой не шевелить. А она вон шагает — и горя ей мало. И легкая же у нее походка! И вся она гибкая, тонкая... Как это по-

ется? «Мне стан твой понравился тонкий и весь твой задумчивый вид...» Да, да, задумчивый, и лицо у нее очень милое...»

— Стой! Кто такие?

Из-за кустов возникла коренастая фигура. Человек в длинном драповом пальто и форменной железнодорожной фуражке, с худощавым, очень мирным лицом, вскинул автомат, преграждая путь. Вид у него при этом был такой, как будто он в поезде спрашивал у них билеты.

Узнав своих разведчиков, часовой опустил оружие, но все еще продолжал загораживать путь.

— Эти с вами? — указал он на женщин, которые с нескрываемым любопытством озирались кругом.

— Точно! Порядок полный,— многозначительно ответил Кузьмич.— Тут без нас все как следует?

— Не скучали,— ответил часовой, пристально смотря на подруг.

— Свои, свои! Пропусти,— подтвердил Николай.

Теперь он торжествовал победу над подозрительным Кузьмичем. Дело было даже не в том, кто из них оказался проницательнее. Шут с ним, с Кузьмичем. Здорово вот, что он, Николай Железнов, не ошибся в сероглазой. Недаром она ему сразу приглянулась. И где-то в глубине его души слабо замерцала радостная надежда: может быть, она останется у них в отряде?

Снова зашелестели кусты. Из них вышли на этот раз два крепких, как желуди, паренька в форме ремесленников. У одного в руках была винтовка. У другого из карманов торчали ручки трофейных гранат.

— Стой! — решительно сказал тот, что был с винтовкой.

— Свои,— ответил Николай.

— А эти?

— Да с нами они, пропусти, аника-воин,— заговорил Кузьмич и хотел было пройти, но паренек вскинул винтовку:

— Стой!.. Не положено,— скомандовал товарищу: — Петька, давай за начальником караула!

Скоро Петька вернулся со стройным, худощавым человеком. Лицо начальника караула до самых глаз заросло короткой черной, точно каракулевой, бородкой. Железнодорожная куртка, туго перехваченная ремнем, ладно облегала его гибкую фигуру. Пошептавшись с Николаем, он скомандовал:

— Пропустить!

Бородатый и пареньки отступили с дороги. Путницы прошли мимо. Но когда женщины, двигавшиеся впереди, уже миновали заставу, Николай заметил, что бородатый партизан все еще пристально, будто что-то вспоминая, смотрит вслед девушке.

Уже целая сеть тропинок раскинулась теперь под огромными разлапистыми соснами. Они сходились и расходились, огибая могучие стволы. Тянуло кисловатым запахом пекущегося хлеба. Вдали меж деревьями виднелись ряды небольших земляных холмов. Там и здесь дымили костры, и дым их сероватым полумраком наполнял лес от земли до самых крон. Меж зелени белело сохнущее белье.

На поляне горел большой, уже потухающий костер. Там, у огня, расположилась порядочная группа по-разному одетых людей, рассматривавших разобранный миномет. Немолодой, лобастый, лысый человек, в очках и в немецкой походной форме, больше жестами, чем словами, что-то объяснял им, показывая густо смазанную деталь. Поодаль на траве девочка с остренькой, туго заплетенной косичкой играла с большой овчаркой. Девочка выбирала из носового платочка брусничные ягоды поспелее и бросала их вверх. Собака, щелкая зубами, ловила ягоды на лету и, морщась, жевала их. Ягоды были ей явно не по вкусу, и ела она их, по-видимому, только из вежливости.

— Присядьте здесь, пожалуйста, — сказал Николай, показывая на грубо сделанную круглую скамейку, опоясывавшую сбитый из горбылей стол.— Посидите тут с Кузьмичем, я сейчас буду.

Устало волоча ноги, он пошел меж рядами землянок, видневшихся теперь уже невдалеке. У одной из них, у той, что находилась чуть в стороне от улицы этого подземного городка, он остановился и, одернув куртку, принялся обтирать сапоги пучком травы.

Женщины тяжело опустились на скамью. Старшая, сморщившись, со стоном сбросила мешок и стала растирать ладонью натруженную поясницу. Младшая прижалась к ней, и обе они, несмотря на крайнее утомление, с любопытством рассматривали лагерь, людей у костра. Партизаны тоже смотрели теперь на них. Даже тот, что был в немецкой форме, перестал объяснять, вытер руки и аккуратно надел пилотку, которая до той поры была у

него заткнута под погон. На пилотке, пришитая наискосок, алела красная ленточка.

— Это откуда же маленькая у вас? Сиротинка, что ли? — спросила старшая у Кузьмича.

— Зачем сиротинка? Одного нашего командира дочь, Юлочка,— ответил старик и со слезой в голосе спросил: — Да скажите вы Христа ради — кто вы такие есть? Черт бы вас совсем побрал.

Женщины переглянулись и промолчали. Потом младшая показала подруге на немца с ленточкой на пилотке. Они пошептались, и старшая спросила:

— А этот тоже ваш партизан?

— Много будешь знать, скоро состаришься,— огрызнулся старик.

Из землянки, где скрылся Николай, появился верткий смуглый подросток в темной гимнастерке ремесленника, туго перехваченной ремнем. Он подбежал к столу и, ловко бросив руку к козырьку трофейной офицерской фуражки, лихо сдвинутой на ухо, с явным удовольствием отчеканил:

— Товарищи женщины, до командира! Шагом марш! А тебе, товарищ Кулаков, приказано тут дожидаться.

Спутницы стали забирать свою поклажу. Ремесленник, желая помочь, схватил мешок, что был поменьше, ахнул и выронил из рук. Он удивленно посмотрел на мешок, оказавшийся необыкновенно тяжелым, но тут же покраснел, поднял его и взвалил на плечо. Тут глаза его встретились с глазами девушки. Та смотрела на него, наморщив лоб, будто что-то силясь вспомнить.

— Дошли? — вдруг спросила она, рассматривая маленькую ловкую фигурку.

Паренек удивленно ответил:

— Я вас не знаю...

— А я тебя знаю. Вы шли оттуда, с границы? Да? Одного на носилках несли, верно? А ты шел впереди. В трусиках. У вас двое утонуло на переправе. Да?

Они уже спускались по ступенькам в командирскую землянку, и паренек не успел даже выразить удивление такой осведомленности незнакомки.

Оставшись один, Кузьмич мрачно вздохнул. «Что за притча? Мальчишку вон откуда-то знает. Чудеса!» Он присел было около девочки, попытался поиграть с собакой, но взгляд у него был растерянный, тревожный. «Ве-

лено ждать, даже в землянку командир не позвал. Видать, Николай уже настукал, тоже друг называется».

— Дяденька Кузьмич! Дяденька Кузьмич же! — трясла его за плечо девочка.— Дяденька Кузьмич, скажи Юлочке — у Дамки детки есть?

— Были, маленькая, были.

— А где они, дяденька Кузьмич? Ты слышишь, Юлочка спрашивает, где у Дамки детки? Дядя же!..

— Не знаю: Юлочка, не знаю, чего не знаю, того не знаю.

— Их фашисты убили, да?.. Чего ты молчишь?

Погруженный в размышления, Кузьмич не заметил, как к нему подошел щеголеватый партизан с густой, каракулевой бородкой, тот самый, что останавливал их на внутреннем посту. Это был Мирко Черный, старый его знакомец, из своих деповских. Он тяжело дышал, коричневые белки глаз возбужденно сверкали, ноздри тонкого, с горбинкой носа вздрагивали.

— Где эти, что вы привели? — спросил он, с трудом переводя дыхание.

— У командира на допросе,— хмуро отозвался Кузьмич.

— Кто они? Эта маленькая кто?

— Я почем знаю, в лесу задержали, подозрительного поведения. А ты ай что про них знаешь?

Но Мирко уже бежал во весь дух к командирской землянке. Видел Кузьмич, как он, резко жестикулируя, должно быть, бранился у входа с часовым, не пускавшим его внутрь... «И этот точно взбесился»,— покачал головой Кузьмич.

Наконец показался Николай. Уже издали по широченной улыбке на лице друга старик понял, что доброго ему ждать нечего.

— Знаешь, кто они? — спросил Николай торжественно.

— А кто б ни были, какое мое дело. В этом пусть начальство разбирается,— ответил старик, продолжая играть с собакой.— Мое дело петушиное: прокричал, а там хоть и не рассветай.

— Они же...— Николай смолк, так и не подобрав подходящего слова.

Понимая, что попал впросак, что ему может и не поздоровиться, Кузьмич с надеждой покосил своим един-

ственным глазом на друга, который, как ему казалось, в эту минуту даже весь светился от радости.

— А обо мне они... того... говорили?

— А как же, в первую очередь. Как ты их там обзывал, как на них с автоматом лез, все... Чепуха, они не сердятся. Главное, знаешь кто они?

Николай вдруг схватил старика, закружил его по поляне, а за ним закружились Юлочка и Дамка, захлебывающаяся лаем.

— Пусти, вовсе с ума спятил! — отбивался Кузьмич. И когда наконец Николай оставил его в покое, сердито плюнул.— Чепуха! Вам все чепуха, а Кузьмич всегда в ответе... Ясно и определенно, профессия у меня такая — стрелочник. Стрелочник всегда во всем виноват.

12

Первое знакомство с партизанским лагерем удивило и даже немного разочаровало Мусю Волкову.

Еще с пионерских лет само слово «партизан» было окружено для нее романтическим ореолом. Двигаясь по оккупированной земле, девушка постоянно слышала от случайных попутчиков всяческие рассказы о партизанских делах, порой звучавшие как легенды, иногда натыкалась на следы боевой работы лесных воинов. Так незаметно в ее воображении сложился образ партизана, в котором сочетались и гусарская лихость охотников Дениса Давыдова, и удалая отвага фадеевского Метелицы, и таежная мрачноватая мощь героев из книг Всеволода Иванова.

Даже после того как Николай сказал, кто они, девушка не вполне поверила, что этот увалень в немецкой форме и его одноглазый товарищ настоящие партизаны.

Но особенно удивил Мусю партизанский командир, к которому они были доставлены. Она ожидала увидеть перед собой увешанного оружием бородача, услышать от него необычные, воинственные слова и, спускаясь в командирскую землянку, сама готовилась отвечать ему в том же духе. А тут с наспех сколоченных нар, застланных зеленым брезентом и, по-видимому, служивших и койкой и скамьей, навстречу им быстро поднялся невысокий рыжеватый человек с веснушчатым лицом болезненного оттенка, с красноватыми усиками, подстриженными

коротко, щеточкой. Одет он был в полувоенный костюм из синего шевиота. Кобура с револьвером висела у него на ремне подле живота как-то совсем по-штатски. Старая ватная куртка с железнодорожными петлицами, наброшенная на плечи, завершала его будничный облик.

Но карие глаза, смотревшие открыто, прямо и строго, две глубокие складки, пересекавшие худые щеки, да плотно сжатые тонкие бледные губы обнаруживали в этом человеке твердую волю, а уважение, с которым обращались к нему окружающие, говорило о том, что это все-таки настоящий командир, что его слушаются и, вероятно, даже побаиваются.

— Ну что ж, гражданки, садитесь, рассказывайте, кто вы и что вы. Вы ведь, мне передавали, хотели говорить с командиром. Вот я таковой и есть,— сказал он резким тенором и указал подругам на грубо сколоченную скамью, вкопанную в землю перед столом.

Все это он произнес совсем по-домашнему, даже покашливая в кулак, и все красивые, возвышенные слова, которые Муся по дороге заготовила для этого разговора, сразу вылетели из головы.

Карие глаза командира спокойно, без любопытства, но внимательно изучали подруг, под усами у него таилась усмешинка. Это не смутило Мусю. Она уселась поудобней, положила локти на стол; напряженная настороженность теперь исчезла. Как тогда, в колхозном лагере в Коровьем овраге, она всем своим существом почувствовала, что снова переступила невидимую границу чужого, непонятного мира и вновь очутилась в привычном, своем.

— Что ж о себе говорить? Мы сейчас в таких местах, где ни слову, ни документам верить нельзя,— устало ответила Матрена Никитична, явно преодолевая тягучую зевоту.— Тут только делам верят.

Она неторопливо развязала свою торбу, вынула из нее холщовый мешок поменьше, весь облепленный отсыревшей, набухшей рожью, и, тоже развязав, приподняла и повернула его вверх дном. На стол сверкающей гремучей волной хлынули золото и драгоценные камни. Худое лицо командира как-то сразу застыло, отразив удивление и озадаченность. Но он явно не хотел этого показать.

— Богато! — сказал он, помолчав.— Чье?

— Она расскажет. Расскажи им, Машенька...

Матрена Никитична, зевнув, потянулась, да так сладко, что и сам командир с трудом проглотил ответный зевок. Муся с удивлением косилась на подругу. Что-то странное произошло здесь, в землянке, с женщиной, которая всю дорогу была для нее образцом неутомимости. Она как-то вся обмякла, ссутулилась, сидела вялая, покачиваясь, точно бы от одолевавшей ее дремы.

Командир, подперев маленькими кулачками свое худощавое лицо, внимательно смотрел на девушку.

— Ну?

Волнуясь и сбиваясь, Муся начала рассказывать свою историю с того момента, как она случайно осталась в оккупированном городе. Опасаясь, что этот неразговорчивый человек не поймет или, еще хуже, не поверит ей, девушка углубилась в подробности, запуталась в них и никак не могла приблизиться к самому главному. Командир терпеливо слушал, рассеянно перебирал веснушчатой рукой драгоценные безделушки. Иногда он переглядывался с людьми, толпившимися в землянке.

— Стойте! — вдруг перебил он Мусю, словно что-то вспомнив.— Из какого города вы идете?

Девушка назвала. Вокруг глаз командира сложились лучики хитрых морщинок. Теперь глаза его светились уже весело и ласково.

— Адъютант,— тихо приказал он,— найдите и позовите Черного.

Один из партизан, молодой румяный парень с выправкой кадрового военного, вскочил, сделал налево кругом и, резко скрипя новенькими сапогами, вышел из землянки. Прищурясь, командир в упор взглянул на Мусю.

— А где старик, что вместе с вами принял эти ценности у железнодорожников?

Девушка вздрогнула. Что он — волшебник, что ли, этот рыжеватый человек? Откуда он может знать о Митрофане Ильиче, о железнодорожниках? Ведь в своем рассказе она еще и не добралась до их появления в банке.

— Он умер,— произнесла девушка, опуская глаза под взглядом командира, и едва слышно спросила: — А вы откуда о нем знаете?

Вернулся франтоватый адъютант в скрипучих сапогах, с острыми, картинными, словно прилепленными, бачками. За ним шел тот самый партизан с черной курча-

вой бородкой, что так пристально и удивленно рассматривал Мусю, когда подруги проходили пост внутреннего секрета.

Что-то очень знакомое почудилось теперь девушке в скуластом лице этого складного, подтянутого парня. Ну да, где-то она уже видела его. Вошедший с таким же удивлением смотрел то на девушку, то на груду драгоценностей, тускло сверкавшую на столе. Разноцветные камни остро искрились в розовом вечернем свете, пробивавшемся через маленькое окошко-бойницу.

— Узнаете друг друга? Старые знакомые? — спросил Рудаков и вдруг захохотал, да так заливисто, что все кругом рассмеялись, заговорили, и землянка сразу наполнилась веселым шумом.

У вошедшего партизана в каракулевой его бороде тоже сверкнула белозубая улыбка, и по ней Муся сразу вспомнила, как вот этот самый человек, так же ослепительно улыбаясь, вытряхивал в банке из мешка золото на сукно канцелярского стола.

Почти одновременно оба воскликнули:

— Так это вы нам тогда вот этим удружили?

— Вы приволокли это сюда на себе?.. Разрешите доложить, товарищ командир: вот за эти за чертовы блестяшки мы с Иннокентьевым на партбюро по выговору и схлопотали... Чтоб они пропали! — молодцевато вытянувшись и пристукнув каблуками, произнес Мирко Черный.

— А они вот не пропали,— рассеянно ответил Рудаков, погружаясь в чтение документов, найденных им в груде золотых вещей.— Не пропали, не пропали...

Он читал, удивленно покачивая головой, и яркий клочковатый румянец, какой бывает у рыжих людей, размытыми пятнами расплывался по впалым его щекам.

— Вот люди! — воскликнул он наконец, звучно ударив ладонью по бумагам, которые все стремились свернуться в трубочку.

Он прочел вслух заглавие описи, сделанной Митрофаном Ильичом на оборотной стороне почетных грамот, потом резко отвернулся к окошку и долго что-то разбирал. Когда наконец он обернулся, глаза его были влажноваты.

— Да не курите вы здесь! Кто разрешил курить? Дышать нечем,— проворчал командир, сосредоточенно

глядя на скрутившиеся листки описи.— Из-за этих курцов ослепну скоро, башка трещит... Кончай курить!

Но в землянке никто не курил. Свежо пахло смолистой сосной, мокрой кожей сапог, грибной сыростью и тем особым острым запахом, который всегда заводится в бивуачном военном жилье.

Положив голову на сложенные на столе руки, доверчиво спала Матрена Никитична. Кроме нее, все, кто был в землянке,— и командир отряда, и партизаны, и Муся, и адъютант с острыми бачками, и худощавый смуглый ремесленник, тоже почему-то находившийся здесь,— все смотрели мимо сверкающей кучи золота и драгоценных камней на опись, лежавшую на другом конце стола.

— А я думал, товарищ командир, погорели ценности. Ведь фашист тогда сразу по нашим следам в город прорвался. Мы едва эшелон увели. Под пулеметным огнем уводили,— сказал наконец Черный.— Ведь это надо ж столько этакую тяжесть тащить! Ай да бабы! Извиняюсь, товарищ командир,— женщины!

Командир туже свернул бумаги Митрофана Ильича и снова перевязал трубку шнурком от ботинка. Лицо у него стало строгое, замкнутое, деловое.

— Ну, спасибо, от имени Советской власти — спасибо, от Красной Армии — спасибо,— сказал он и крепко тряхнул руку Муси своей маленькой, сухой рукой.— Ступайте отдыхать. А мы тут подумаем, что с вами делать.— Он посмотрел на Матрену Никитичну, прикорнувшую у стола, на ее сбившийся платок, на разрумянившееся от крепкого сна лицо и улыбнулся.— Нет, стойте. Не надо ее будить. Оставайтесь здесь, хозяйничайте, отсыпайтесь, а я перейду в палатку к начштаба, на свежий воздух... Все вон!

Командир подтянул пояс, поддернул за ушки высокие голенища охотничьих сапог, забрал оружие, сумку с бумагами и пошел к выходу, выпроваживая остальных. Уже снаружи донесся до Муси его резкий голос, отдававший кому-то распоряжение выставить к блиндажу караул и предупреждать проходящих, чтобы не шумели. Потом все стихло. Стали слышны только шаги часового да ровное дыхание Матрены Никитичны.

Муся отвела сонную подругу к застланной брезентом постели, уложила ее и сама, устроившись рядом с ней, сразу же уснула, не раздеваясь, не успев даже разуться.

Сквозь сон ей порой не то слышались, не то чудились чьи-то шаги, отдаленный топот копыт, приглушенные голоса. Чудилось, будто она маленькая и старческий голос, похожий на голос ее давно умершей бабушки, уговаривал ее раздеться; будто бабушка, подойдя к ее детской кровати, подбивает ей под головой подушку, подтыкает вокруг ног одеяло, и в этом одеяльном мешочке становится так уютно, так тепло, что хочется спать, спать и спать.

13

Сон увел Мусю в детство. Даже проснувшись, она не сразу вернулась из путешествия по давно ушедшим дням. Казалось, стоит раскрыть глаза, и она увидит сквозь веревочную сетку кровати знакомую комнату, игрушки, бабушку или мать. Захотелось, как в дни детства, понежиться, натянув на голову одеяло. Но вместо одеяла рука схватила что-то холодное, кожаное. Муся открыла глаза и вскрикнула от неожиданности. Она лежала в низком тесном бревенчатом помещении. За продолговатым столом, вкопанным в земляной пол, сидела Матрена Никитична с алюминиевой кружкой в руке и с наслаждением пила чай, скупо откусывая от куска сахара. Худенькая носатая старушка интеллигентного вида, одетая несколько странно — в ватнике, стеганых штанах и в марлевой косынке,— наливала кипяток из плоского закопченного котелка в другую кружку.

— Знаете, сколько вы, голубушка, спали? Больше суток. Вы не проснулись, даже когда мы с Матреной Никитичной вам белье меняли,— сказала старушка Мусе.— Весьма редкий случай, состояние, похожее на летаргию.

Тут только заметила Муся: вместо сорочки на ней — свежая, непомерно большая мужская нижняя рубашка; брезент на постели, на котором она заснула, заменен простыней, появились подушка в наволочке и даже байковое, госпитального вида одеяло, поверх которого было наброшено кожаное пальто на меху.

— А я думала, Машенька, что ты и прощанье проспишь... Я ведь в путь собираюсь. Назад пора... Налейте-ка мне, Анна Михеевна, еще кружечку. Что-то разохотилась я на чай, соскучилась, что ли?

Матрена Никитична успела, должно быть, уже побыть в бане. Смугловатая кожа ее лица приобрела шелковистый оттенок, брови выделялись теперь блестящими полукружьями, словно выписанные смолой. Волосы, аккуратно уложенные тем же широким венцом, стали пышнее.

— Прощаться? Зачем? В какую дорогу? — не сразу поняла Муся.— Опять в этот ужас? Вы что.

— Что ж поделаешь, Машенька, люди-то, хозяйство-то ждут ведь! Мы со свекром — двое коммунистов на весь Коровий овраг.

— Обойдутся... Оставайтесь, а?

— Ах ты чудачка моя! Зачем оставаться-то? Я свое сделала, тебя довела, это вот,— она махнула рукой в сторону ценностей, лежавших на прежнем месте и только прикрытых какой-то тряпицей,— это вот в верные руки сдала, совесть у меня чиста. Теперь к ребятишкам... Заждались, истосковались небось, милые мои... Они мне, Машенька, каждую ночь снятся, зовут, руки ко мне тянут... Я только тебе не рассказывала.

— Ну и я, и я с вами! Вместе шли, вместе и вернемся.

Муся спрыгнула с кровати, звучно стукнув пятками о земляной пол. Она была бодра и полна веселой решимости.

— Одной и скучно и опасно, а вместе... Мы теперь с вами опытные. Верно? Ведь так?

Девушка уселась на скамью рядом с подругой и, поджав босые ноги, прижалась к ней. Носатая старушка, от которой резко несло лекарствами, посмотрев на нее, только вздохнула, а Матрена Никитична стала гладить Мусю, как маленькую, по ее выгоревшим жестким кудрям.

— Степан Титыч, товарищ Рудаков-то, так рассудил: мне к своим возвращаться. Со мной его люди идут. Они прикинут: может быть, по зимнему первопутку можно сюда для отряда сыр да масло вывезти да коров перегнать, что породой поплоше. А тебе, Машенька, по всему видать, пока тут партизанить. Это вот докторица партизанская, Анна Михеевна, с ней в медицинской землянке и жить тебе определено. Помогать ей станешь.

— Вы рокковские курсы проходили? — осведомилась старушка, опять наливая чай.— Вам плеснуть?

— Не хочу я никакой медицины, я с Матреной Ники-

тичной пойду,— решительно заявила Муся и топнула босой ногой.

— Вот кончится война, каждый из нас и пойдет своей дорогой. Ты — петь, а я, может, в зоотехникум поступлю, если примут, а Анна Михеевна вон опять врачом на курорте стать мечтает. А пока что должен каждый из нас там стоять, где ему приказано, где от него больше войне пользы.—Матрена Никитична проговорила все это очень твердо, но, увидев, что девушка сразу обиделась и замкнулась, вдруг заахала шумно и хлопотливо: — Что ж ты босая да неприбранная сидишь-то, в одной рубахе? А ну из мужиков кто войдет? Вот будет делов-то. Одевайся поскорей да ступай в баньку. Здесь даром что в лесу живут, а такую баню оборудовали, какой у нас и в колхозе не было.. Ой, Машенька, что я тебе скажу-то!..

И вдруг, точно скинув с плеч годков десять и став озорной деревенской девчонкой, Матрена Никитична заливисто рассмеялась, подняла в углу два кудрявых дубовых веника и показала их Мусе.

— Этот кривой-то, Кузьмич-то, что на нас с автоматом лез, гляди, какие букеты преподнес! Мы в баньку вон с Анной Михеевной бредем, а он тут как тут на дороге, вывернулся откуда-то из-за землянки этаким чертом и подает: дескать, примите от чистого сердца, примите и извините за дорожные неполадки. Вот, старый мухомор, нашел с чем подкатиться... Хорошие, между прочим, веники, так хлещут, дух захватывает.

— А тот... высокий, не заходил? — спросила Муся, делая вид, что занята одеванием и спрашивает только для того, чтобы поддержать разговор.

— Николай, что ли? — Матрена многозначительно переглянулась с врачихой.— Этот медведь-то косолапый?..

— Почему же медведь? Парень как парень... Что вы смеетесь?

Муся изо всех сил старалась показать полнейшее равнодушие, и оттого ее волнение стало еще заметнее. А тут, как на грех, противно загорелись уши, точно ее кто крепко отодрал за них.

Матрена Никитична обняла девушку, прижала к себе.

— Что ж краснеешь? Ишь как зорька разгорелась... Был, был твой Николай почтенный. Мыльца нам трофейного принес. Одеколону вот бутылочку подбросил да еще... Ты вон в его рубахе-то сидишь...

Муся осмотрела на себе просторную, как мешок, мужскую рубашку из грубой желтоватой солдатской бязи, и ей стало приятно и немного стыдно оттого, что на ней вещь, которую, может быть, носил тот большой застенчивый парень. Но, заметив ласковые смешинки, посверкивавшие в глазах подруги, она произнесла как можно небрежнее:

— Очень она мне нужна, его рубашка! А моя где?

— А ваша, милая, на ленточки расползлась, когда мы с Матреной Никитичной вас сонную переодевали,— сказала Анна Михеевна и радушно налила чаю себе и собеседницам.

Начхоз, или, как шутя называли его в отряде, «заворсом», квадратный человек с пышной холеной бородой цвета воронова крыла, слывший среди партизан неисправимым «жилой», встретил Мусю очень дружелюбно и без обычных препирательств выдал ей комплект солдатского белья, пропахшего лесной прелью. Потом он долго рылся в ящиках, отыскивая для нее самые маленькие шаровары, ватничек и сапоги. После того как, удалившись в недра склада, Муся все это примерила, он все завернул в аккуратный тючок, протянул его девушке и, пожелав ей легкого пара, заявил, что отдал ей «лучшее из всего, что имел в наличии».

Всласть попарившись в бане — просторной, облицованной бревнами землянке, где имелись и каменка, и высокий дощатый полок, Муся, однако, не стала трогать партизанскую одежду, а нарядилась в свое единственное уцелевшее цветастое платье, шелковые чулки и лаковые туфельки-лодочки, сбереженные в скитаниях. Одеваясь, она удивилась: одежда и обувь почему-то стали ей тесны, заметно связывают теперь движения.

Глядясь вместо зеркала в воду, темневшую в кадке, Муся расчесала и уложила волосы, подсушила их над остывающими камнями очага, потом одернула платье и, ощущая прилив сил, непонятную ей самой радость, легко выбежала из бани.

Лагерь был залит скупым осенним солнцем. Мусин путь был к дальней землянке, у которой, понурясь в безветрии, висел большой белый платок с красным крестом посредине. Ах, как приятно было снова чувствовать себя чистой, свежей, красиво одетой!

На полянке, памятной Мусе со дня прихода в лагерь, несколько партизан опять изучали какое-то трофейное

оружие. Другие, сидя на бревнышках перед землянками, чистили винтовки. Двое резались в домино, раскладывая самодельные костяшки прямо на дорожке. Целая толпа стояла у сосны, к толстому стволу которой был прикреплен лист с рукописной сводкой Совинформбюро. Одеты все эти люди были по-разному. На глаза попались железнодорожная форма, военные гимнастерки, синие шоферские комбинезоны, застиранные косоворотки, немецкие кургузые куртки и кители со споротыми кантами и нашивками. На нескольких были даже черные прорезиненные, с бархатными воротниками плащи явно трофейного происхождения.

И вот среди этого пестро одетого вооруженного люда с тяжелым осенним загаром на лицах появилась тоненькая девушка в легком пестром платье, в изящных туфельках. Она шла по лесному лагерю, как видение из далекого и потому всем еще более дорогого довоенного мира. И партизаны смотрели на нее кто удивленно, кто восторженно, кто с грустью, как смотрят в позднюю осеннюю пору на солнечный луч, вдруг прорвавшийся сквозь холодные, свинцовые тучи.

Муся чувствовала на себе эти взгляды и старалась не подавать виду, что замечает их и радуется им.

Еще издали девушка заметила Николая, терпеливо шагавшего перед входом в санитарную землянку. В стеганке, в ватных штанах, он казался еще выше, еще массивней. Девушка, как бы не видя его, остановилась у сводки Совинформбюро, поиграла с собакой. Но с чисто женской дотошностью она уже успела приметить: партизан побрит и подстрижен, белесые его кудри даже чем-то напомажены.

Муся двинулась дальше, напевая, небрежно посматривая по сторонам.

— Ах, это вы?! — сказала она удивленно, чуть не наткнувшись на Николая.

Николай смотрел на нее так, будто только вышел из темноты на яркий свет.

— Ну, здравствуйте же! Что вы стоите? Руку бы протянули, что ли.— Едва сдерживаясь, чтобы не прыснуть со смеху, Муся поинтересовалась: — Чем это вы волосы так примаслили? Касторкой, да?

— Ух, вы какая! — произнес наконец Николай.

— Что вы сказали? — опустив глаза, переспросила девушка.

Но ответить Николай не успел. Вдали послышался торопливый цокот копыт, меж деревьями замелькал всадник. На всем скаку он осадил коня перед входом в санитарную землянку и, точно выброшенный из седла силой инерции, слетел на землю. Не обратив внимания на молодых людей и, вероятно, даже не заметив их, он прогрохотал сапогами по деревянным ступеням, и уже из глубины землянки донесся до Муси его взволнованный голос:

— У переезда ребята на маршевую колонну налетели. Ведут бой, есть раненые. Командир приказал — медицину на поле.

Партизан тут же выскочил наверх и что есть духу побежал к штабной землянке. Взмыленный его конь, тяжело поводя потными, блестящими боками, побрел следом за ним, волоча по земле поводья.

Муся хотела было расспросить Николая, что могло произойти у переезда, но он уже исчез. Кто-то часто колотил по буферу, подвешенному у сосны. Всюду меж деревьями мелькали люди с оружием. Партизаны спешили, по-видимому, каждый к своему месту сбора.

Тревожный звон, разносившийся по лесу, повторяло эхо, и было в нем что-то требовательное, зовущее к действию.

Муся бросилась в госпитальную палатку и в проходе столкнулась с врачом. Старушка на ходу напяливала поверх ватника халат. Матрена Никитична спешила за ней, застегивая брезентовый ремень пузатой санитарной сумки.

— Я с вами! — воскликнула девушка.

— В таком виде? — Врач с досадой посмотрела на Мусю, на ее платье, туфли.

— Я с вами, я кончила рокковские курсы, я сложные перевязки проходила...

— Переоденьтесь. Нашла время наряжаться...

Анна Михеевна преобразилась. Ничего не осталось от добродушной чаевницы. Носатое лицо было сурово, в голосе звучали волевые нотки. Вскоре Муся в ватнике, пряча на ходу кудри под пилотку, уже бежала позади окованной железом фуры, покачивавшейся на толстых надутых шинах. Крупная короткохвостая лошадь привычной рысцой тянула подводу по лесному бездорожью, обгоняя короткие цепочки партизан...

До позднего вечера и потом, после маленького перерыва, всю ночь Муся и Матрена Никитична помогали врачу, промывали и перевязывали раны, кипятили инструмент, накладывали шины и повязки.

Совсем сбившаяся с ног девушка заснула уже под утро, прикорнув в тамбуре санитарной землянки.

Ее разбудил адъютант Рудакова. Он вместе с Матреной Никитичной стоял в проходе, поскрипывая сапогами.

— Виноват!.. Командир приказал немедленно к нему,— сказал он и щелкнул каблуками.

Он пропустил обеих подруг вперед. Когда из землянки вышли на свет, Муся заметила, что и этот щеголеватый парень за ночь осунулся и побледнел. Звуков стрельбы слышно уже не было, но попадавшиеся по дороге партизаны все были при оружии, и вид у них был утомленный, озабоченный.

Рудаков сидел в землянке, облокотясь о стол, положив голову на ладони. Казалось, он погружен в какую-то думу. Но по тому, что не сразу поднял он голову, а потом несколько секунд смотрел на Мусю и Матрену Никитичну ничего не понимающими воспаленными глазами и долго откашливался, прежде чем начать разговор, подруги поняли, что командир просто уснул над старой, истертой по краям картой, вдоль и поперек исчерченной овалами и стрелками двух цветов.

Откашлявшись, Рудаков как-то сразу весь подтянулся. Строго и прямо глянули его карие глаза. В них не было и следа сонной мути. Перекатывая по карте красный карандаш, он задумчиво произнес:

— Вот что, красавицы: положение осложнилось. Сначала фашисты, чтобы уберечь свои коммуникации, все вокруг выжигали. Я приказал подрывникам действовать именно там, в «мертвой зоне». Мы показали, что измывательства над мирным населением не спасут им дороги. Фашисты это поняли и переменили тактику.— Рудаков зябко передернул плечами, запахнул ватник и засунул руки в рукава.— Они нас выследили. Как — не знаю, но выследили. Вчера они остановили маршевый батальон и повернули его против нас. Что произошло, знаете?

Матрена Никитична и Муся утвердительно наклонили головы. По очереди пристально посмотрев на каждую,

точно пытаясь заглянуть им в души и узнать, что они думают, Рудаков продолжал:

— Короче говоря, вы обе должны отсюда исчезнуть. Вы, товарищ, Рубцова, сегодня. Ты же, Волкова, при первой возможности вылетишь в тыл с ценностями.

Командир встал и, словно забыв, что он не один, долго рассматривал карту. Потом застучал по ней жесткими ногтями и что-то даже фальшиво запел.

— Постойте,— сказал он вдруг.— У вас, товарищ Рубцова, там, при гуртах, подводы и кони есть?

— Есть девятнадцать подвод и таратайка при двадцати конях,— ответила Матрена Никитична, любившая точность в хозяйственных делах.

— Так, так, так...— Карандаш медленно двигался по бумаге.— Вот что, разговор наш вчерашний аннулируется. Передадите вашему председателю, чтобы он пока нам запасов не направлял... Да... Может быть, придется нам самим к вам пробиваться. Возможно. Очень может быть. Посмотрите — правильно я нанес на карту месторасположение ваших гуртов? А переправу? Отлично. Можете идти. Кланяйтесь там, скажите, пусть носа не вешают — не только на фронте, а и по всем лесам война идет. Ну, попрощаемся, что ли.— Он крепко стиснул руку Матрены Никитичны обеими руками и пошел провожать подруг до выхода.— Как говорится, ни пуха вам, ни пера. О том, чтобы, в случае чего, об отряде ни гугу, не предупреждаю, сами понимаете, не маленькая. Лучше язык проглотить...

Уже в сумерки Матрена Никитична прощалась с Мусей километрах в пяти от лагеря, на границе передовых партизанских секретов. Выделенные Рудаковым в спутники Рубцовой два партизана, оба старики самого безобидного вида, слывшие, однако, в отряде ловкими связными, и Николай, вызвавшийся проводить Мусю, деликатно отошли в сторонку и уселись покурить.

Муся уткнулась лицом в плечо подруги, крепко прижалась к ней да так и оцепенела, стиснув зубы, боясь разрыдаться. Та задумчиво гладила ее жесткие кудри. Матрене Никитичне тоже нелегко было расставаться, хотя теперь, когда она свалила с плеч драгоценную ношу, все ее мысли были далеко отсюда.

— Ну, чего ты, чего ты? — ласково уговаривала она девушку, стараясь скрыть волнение и действительно вы-

говаривая слова спокойно.— Вот погоди, после войны доучишься, певицей станешь и приедешь к нам. Уж мы тебя, Машенька, так встретим, так встретим, как заслуженных каких не встречают... Муженька моего увидишь, детки к тому времени подрастут...— И вдруг она все-таки сорвалась и зашептала горячо, с дрожью в голосе: — ведь подумать только как жили!.. Я, Маша, в своей жизни курицы никогда не резала, крови ужас как боюсь, гадину, змею какую и ту мне жаль убивать. А вот, кажется, дорвись я до всех этих гитлеров, зубами б им горло грызла...

— И я, и я,— шептала Муся.

Из полутьмы густевших сумерек до подруг донеслось вежливое покашливание. Партизаны загасили окурки, бережно ссыпали в кисеты остатки табачку.

— Нацеловались, что ли? Вроде бы и хватит,— поторопил один из стариков.

— Закрывай собрание...

— Прощай,— громко сказала Матрена Никитична и, отстранив Мусю, быстро пошла к партизанам, темные силуэты которых отчетливо виднелись на фоне догоравшей зари.

— Прощайте! — крикнула Муся, бросилась было за ней, но остановилась, резко повернулась и, не оглядываясь, направилась в сторону лагеря.

На душе было грустно, хотелось плакать. Прислушиваясь к тяжелым шагам Николая, молчаливо следовавшего позади, девушка думала: отчего этот смешной парень такой робкий, почему он не подойдет, не возьмет ее за руку, не утешит ласковым словом? И еще недоумевала она: почему это в тяжелые дни даже такие неуживчивые натуры, как она, так легко привязываются к окружающим?..

15

Однажды утром, когда Муся, уже окончательно освоившись на новом месте, расположившись в тамбуре госпитальной землянки, стирала в разрезанной надвое железной бочке из-под бензина бинты и окровавленную марлю, из-за брезентового полога донесся цокот копыт. У землянки он сразу стих. Упруго скрипнуло седло, и послышался глухой удар подошв о землю.

Девушка не успела стряхнуть с распаренных рук клочья мыльной пены, как полог откинулся и в ярких лучах полуденного солнца, хлынувших в полутьму тамбура, на пороге возник командир. Он пожал девушке мокрую руку выше локтя и заговорщицки прошептал:

— На Большой земле знают о твоей поклаже. Приказали готовить посадочную площадку. За ценностями придет самолет. Вылетишь с ним. Там уже ждут.

Рудаков весело смотрел на девушку. Муся стояла растерянная. Мыльная вода капала с ее рук в самодельное корыто, где, опускаясь, точно живая, шипела кудрявая пена.

— Что еще? — спросил себя Рудаков.— Ах да, вот! Секретарь обкома лично наказал передать тебе, что ты молодчина, наказал расцеловать тебя от имени всей областной партийной организации.— Командир наклонился к смутившейся Мусе и засмеялся.— В щечку, в щечку!

Почувствовав на щеке прикосновение щетинистых усов, Муся вспыхнула. А Рудаков уже прошел в «палату», и из глубины просторной землянки было слышно, как он здоровался с ранеными. В ответ ему дружно загудели голоса, и по тону приветствий было ясно, что командира любят, уважают, рады его приходу.

Муся рассеянно слушала невнятно звучащий командирский тенор и улыбалась. Ей вдруг тоже стало радостно. Почему? То ли оттого, что вместе с солнцем занес командир сюда весть, что там, за линией фронта, уже знают: ценности спасены и сохранил их не кто иной, как она, Муська Волкова, то ли потому, что шутливый поцелуй командира напомнил, как в детстве, еще сонную, целовал ее отец, отправляясь по утрам в полк? «Где он сейчас, отец? А мама? Хорошо, если бы и они узнали, что их сумасбродная девчонка жива и делает такие дела...» А может быть, радостно потому, что скоро с Большой земли прилетит за ней специальный самолет — и она, может быть, поужинав в партизанском лагере, будет завтракать уже по ту сторону фронта?

Нет, нет, не поэтому, определенно не поэтому! Разве ей хочется улетать? Здесь, в госпитальной землянке, она нужнее, чем там за пишущей машинкой или, что сейчас совсем уже смешно, у рояля в музыкальном училище. Разве можно выводить эти смешные сольфеджио, писать музыкальные диктанты теперь, когда идет война, когда

раненые требуют забот, когда вот из-за этого полога то и дело слышатся стоны? Но ведь и за линией фронта есть госпитали, и еще одна пара женских рук будет там не лишней.

«А ну, Муська, сознавайся, скверная девчонка, что тебя тут держит? Ну, сознавайся по-честному!» — спросила сама себя девушка, разгибая спину.

Мыльная пена у нее на руках сохла, застывая шелушащимися пленками. Значит, есть и еще что-то? «Точно!» — как говорят партизаны. Муся подмигнула сама себе и, склонившись над корытом, с новой энергией принялась за стирку. Она так ушла в свои приятные размышления, что не заметила, как командир, выйдя от раненых, быстро прошел мимо нее, и оглянулась, лишь когда он, исчезая за пологом, впустил в тамбур охапку ярких солнечных лучей.

Нет, никуда она отсюда не полетит! Предсмертный завет Митрофана Ильича выполнен. Ценности сданы в верные руки. Вот пускай теперь о них Рудаков и заботится, на то он и командир. А она, Муська Волкова, останется здесь, научится минерскому делу, будет взрывать поезда, участвовать в налетах на неприятельские гарнизоны, как это делают остальные партизаны. Или — ну что ж, и это не плохо,— может быть, даже станет разведчицей. А выдастся свободная минута, будет гулять по лесу с этим... с Николаем.

Проворные руки трут, выжимают, выкручивают бинты и марлю, меняют воду, взбивают мыльную пену, и вот в такт движениям Муся даже начинает напевать себе под нос. В самом деле, зачем улетать отсюда, когда кругом такие чудесные люди — эта старушка, «докторица», как зовут ее раненые, и этот цыган Мирко, который нет-нет да и завернет в «госпиталь», чтобы занести «сестричке» какую-нибудь трофейную безделушку, и ремесленник Толька, которого партизаны называют «Елка-Палка», и, конечно, Николай.

Песня звучит все громче. Она разгорается, как костер, в который подкладывают сухие ветки. Но сама Муся, занятая стиркой и думами о новых друзьях, не замечает, что поет уже вслух, и очень удивляется, когда из-за полога в тамбур высовывается забинтованная голова пожилого партизана дяди Осипа.

— Сестричка, давай пошибче, раненые претензию заявляют: иным и не слыхать.

Оттуда, из землянки, доносятся голоса, каждый из них девушка сразу узнает — запомнила в длинные ночи, проведенные у коек. Они наперебой просят:

— Сестреночка, спой сначала... В полный голос спой, чтобы для всех.

— У меня от песни вроде бы и рана отпускать начала... Давай еще дозу.

Муся входит в землянку. На душе у нее светло, беззаботно, как, наверно, бывает у жаворонка, когда тот взмывает над полем в голубую высь, полную солнца. Распаренными пальцами, побелевшими и съежившимися на кончиках, она заправляет под марлевую косынку рассыпавшиеся кудри. В душной палате, еще минуту назад полной говора и стонов, все сразу стихает. И в этой благостной тишине раздается юный, чистый голос, он крепнет, и песня звучит радостно, жизнеутверждающе...

16

Так, в госпитальных хлопотах, ночных дежурствах, незаметно проходят дни, недели. До сих пор Муся не только ни разу не побывала в бою, не только не участвовала во взрыве моста или вражеского воинского эшелона — словом, не совершила ни одного из тех будничных партизанских дел, о которых она постоянно слышит от раненых,— но даже и центральный лагерь из-за недосуга не успела как следует осмотреть.

Времени не оставалось даже на сон. Сметливая, переимчивая, она уже многому научилась от Анны Михеевны, и старуха признала ее своей первой помощницей. А раненые привязались к «сестричке» так, что у нее не хватало духу надолго отлучаться от них.

Только раз Муся сделала попытку переметнуться к минерам. И вышло это вот как. Части карателей с каждым днем усиливали нажим на партизан, схватки разгорались все чаще. Влас Карпов, то и дело отлучавшийся на операции, поместил свою Юлочку у Анны Михеевны.

Девочка целые дни играла возле медицинских землянок, награждала своего верного друга Дамку трофейными медалями и крестами, которые дарили ей раненые, рыла в песке «окопы» и, переставляя ряды стреляных гильз,

развертывала наступление на «немцев», «засевших в обороне». На весь лагерь раздавался ее звонкий крик «бу-бу-бу» и возбужденный лай Дамки.

Анна Михеевна всерьез считала, что этот маленький человечек с косичкой-хвостиком действует на раненых лучше, чем любые успокаивающие и обезболивающие средства, которых, кстати сказать, давно уже и не хватало. В изъятие из строгих правил, заведенных в этой подземной, как выражались партизаны, «полуклинике», запрещавших посторонним появляться в палате, девочке позволялось беспрепятственно входить туда. Муся даже сшила ей из марли крохотный халатик и косыночку с красным крестом, и Юлочка трижды в день — утром, днем и вечером — важно расхаживала между койками, раздавая раненым градусники.

Когда маленькая девочка проникала в полумрак госпитальной землянки, лесные воины забывали свои боли, страдания и тягость госпитального безделья, которое всегда так портит характеры.

Карпов редко навещал дочь. Странно было смотреть на этого пожилого, замкнутого, молчаливого человека в эти минуты. Он мог часами сидеть неподвижно, как статуя, если Юлочка засыпала у него на руках. Иногда он участвовал в ее играх и даже, если поблизости никого не было, изображая лошадь, возил дочку на себе вокруг санитарных землянок. Вот в такую минуту Муся как-то и попросила Карпова научить ее подрывному делу. Партизан удивленно взглянул на юную «сестрицу», подумал, невесело усмехнулся, утвердительно кивнул головой и велел девушке приходить вечером «к сигналу», на «кружок минерского техминимума».

В назначенный час Муся явилась на полянку, где на старой, раздвоенной снизу сосне висела буферная тарелка, использовавшаяся в лагере вместо горна.

Минер пришел на занятие с темным листом кровельного железа под мышкой и с мешком. Железный лист он приладил к развилке сосны наподобие классной доски, а из мешка извлек небольшой деревянный ящик, какие-то металлические, медные и алюминиевые детали. Аккуратно разложив все это на траве, он достал из кармана ветошку, кусок мела и сунул их в пазуху развилки под «доской». Движения его были привычны и неторопливы, и Мусе показалось, что перед ней не партизанский подрывник, а школьный учитель, приготовлявшийся к уроку.

Черная кобура с тяжелым трофейным парабеллумом, висевшая у него на поясе, только мешала ему.

Сходство с учителем, а вернее всего, со старым мастером, преподающим на производственных курсах, еще больше увеличилось, когда Карпов начал занятия. Говорил он медленно, ворчливо и при этом привычно чертил мелом на железном листе схемы железнодорожного пути в разрезе, делал наброски устройства мин, взрывателей. Он стирал чертежи ветошкой, набрасывал другие, часто слизывал следы мела с кончиков пальцев.

Сначала Муся рассеянно следила за объяснениями, то и дело оглядывалась, рассматривала загорелые лица слушателей, их внимательные глаза, наморщенные лбы, но постепенно урок заинтересовал ее. Она стала вслушиваться и скоро, позабыв обо всем, что отвлекало, погрузилась в тонкости минерного дела.

Девушка узнала, что крушение составов с боеприпасами лучше устраивать в крутых выемках, где вагоны не летят свободно под откос, а лезут друг на друга, крепко сцепляясь балками металлических каркасов, калеча и надолго загромождая путь, что воинские эшелоны, наоборот, лучше отправлять под откос с высоких насыпей. Она удивлялась точности, какая требуется, когда устанавливаешь мину под шпалой. Нужно ставить ее так, чтобы взрыватель пропустил предохранительные платформы с песком, которые немцы пускали теперь перед каждым поездом, и сработал только от сотрясения, вызванного «рабочим колесом» паровоза.

Перед Мусей раскрывалась целая наука, наука сложная и опасная. Карпов этого и не скрывал. Человека, просившегося в его боевую группу, он обычно предупреждал, что минер ошибается лишь раз в жизни, отсылал подумать и принимал к себе только после вторичного заявления. Говорили, что Карпов «извел людей учебой». В остальных «цехах» в свободную минуту партизаны успевали и выкупаться, и полежать на солнышке, и позубоскалить со стряпухами у кухни, и попеть. Минеры же всегда возились со своим оружием. И все-таки к Карпову шли даже охотней, чем в другие подразделения.

— Ну как, все поняли? — спросил Карпов, тщательно стирая с железного листа свои наброски.

— Усвоили... Знаем... Все понятно, товарищ коман-

дир,— шумели в ответ партизаны, которых долгое занятие заметно уже утомило.

— Нехитрое дело,— зевая и потягиваясь, сказал один из них — высокий, сутуловатый парень в военной шинели внакидку.

Карпов нахмурился, насмешливо посмотрел на этого парня.

— Значит, нехитрое? Сам мину поставить сумеешь?

— Так точно, товарищ командир,— встав и по-военному вытянувшись, отрапортовал спрошенный.

— Хорошо. Вот тебе мина.— Карпов протянул ему деревянный ящик.— Вот мы взрыватель сажаем на место, вынимаем предохранительную чеку. Мина заряжена. У тебя приказ минировать полотно. Вот бери и показывай, как ты будешь ставить. Только осторожней — мина боевая.

Партизан взял ящик и, держа его на вытянутых руках, как неопытные отцы держат новорожденных ребят, стал рассказывать.

Карпов слушал его, задумчиво вертя в руке какую-то деталь. Вдруг он поднял голову.

— Стой! А куда ты щебенку денешь, когда будешь для мины яму под шпалой копать?

Высокий партизан замолчал и оглянулся на притихших товарищей. Слушатели насторожились, переглядывались, Муся, все время опасливо косившаяся на заряженную мину, забыла о ней и поближе придвинулась к Карпову.

— Ну, ну, как же со щебенкой-то? — торопил он, усмехаясь одними глазами.

— Щебенку, обыкновенно... в сторону.

— А потом?

— Что потом? Мину поставлю, песком зарою, щебенку на место.

— Правильно он говорит? — спросил Карпов.

В ответ послышалось неловкое перешептывание. Лишь кто-то неуверенно сказал:

— Да вроде так...

— Ну, и выходит, пропала ваша мина, зря трудились, зря головой рисковали,— заворчал Карпов.— Вашу мину обходчик сразу заметит. Ведь щебенка-то на путях всегда в мазуте, черная. Так? Один камешек на полотне перевернешь — за версту видно. А фашист — он не дурак,— ох, не дурак, на нашу беду. Как тут делать надо? —

Карпов опять шагнул к доске и стал набрасывать профиль полотна.— Во-первых, когда ночью ты полезешь к полотну с миной, бери с собой плащ-палатку и подле себя, вот здесь, ее расстели, чтобы чистым песком зря по полотну не сорить. Во-вторых, щебенку с полотна аккуратно сними и на плащ-палатку переложи так же, как она на полотне лежала. В-третьих, когда дело сделано, тем же порядком щебенку на место переложи. И чтобы ни один камешек не перевернуть! Понятно?

Муся, увлеченная рассказом Карпова, представляла себе, как она ночью подползает к полотну с таким вот деревянным ящиком, в котором сосредоточена невообразимая разрушающая сила, как, приглушая дыхание, прислушивается к тишине, перекладывает на плащ-палатку черные, клейкие от мазута камни, копает скрипучий песок, ставит ящик под шпалу и...

Кто-то качнул девушку за плечо.

— Маша! Маша! Анна Михеевна серчает. Раненых привезли. Один тяжелый. Весь в клочьях,— шепчет на ухо дядя Осип, старик партизан из выздоравливающих, добровольно выполняющий при госпитале обязанности посыльного.

Муся жалобно взглянула на Карпова.

— Ступай, ступай, у каждого свое дело,— сказал минер.

17

Надев халат и забрав волосы под косынку, Муся вбежала в отгороженный простынями угол землянки, где у двух самодельных носилок уже хлопотала Анна Михеевна. Старушка бросила на девушку сердитый взгляд.

— Сейчас, сейчас, только руки сполосну...— виновато проговорила Муся.

Дядя Осип, поливая девушке на руки, рассказал: вновь прибывшие — пулеметчики. Их обнаружил в засаде вражеский разъезд. Вдвоем они долго отстреливались от наседавшего неприятеля. Когда враги навалились на них сзади, один из пулеметчиков, изловчившись, бросил им под ноги гранату. Осколки скосили нападавших, но и оба партизана пострадали. Один был легко ранен в плечо, другой находился без сознания. В легко раненном девушка, к своему удивлению, узнала того самого пожи-

лого лобастого немца, которого она приметила сразу же по прибытии в лагерь. Немец вежливо отводил Мусины руки и все показывал, чтобы сначала оказали помощь тяжело раненному. Он пытался даже помочь Анне Михеевне и Мусе стаскивать с товарища окровавленную одежду.

Тяжело раненный долго не приходил в себя. Когда Муся смыла кровь с его густо заросшего лица, то даже вскрикнула: это был Мирко Черный. От холодной воды партизан пришел в сознание. Увидев себя раздетым, на руках у женщин, он рванулся, схватил простыню и закрыл свою наготу. Но тут же обмяк, стал медленно валиться на пол. На простыне быстро проступали темные пятна.

Мирко уложили на койку. Нижняя часть тела, особенно ноги его были покрыты маленькими рваными ранками. В каждой сидел осколок. Их приходилось извлекать без наркоза. Потеряв сознание, раненый метался, скрипел зубами, но, придя в себя, затихал и угрюмо смотрел на Мусю темными, мрачноватыми глазами. Тело его, напрягаясь, порой точно каменело, но он и стона не издал. И от этого всем было почему-то страшно...

Наконец Мирко перевязали.

— Ну вот, я и у вас, сестричка. На свидание ходить не надо,— сказал он Мусе. Подобие улыбки чуть покривило его зеленоватые, потрескавшиеся губы.

Товарищ Черного, пожилой немец, по фамилии Кунц, не отходил от его койки. Он вызвался даже дежурить возле Мирко и всю ночь просидел у него в ногах, сам морщась от боли в плече.

На следующий день у Муси столько оказалось забот, что было некогда не только пойти на занятие минеров, но даже вовремя покормить Юлочку. Девочка, привыкшая к общему вниманию, ходила за ней нахмуренная, сердитая. Дергая за полы халата, она обидчиво тянула:

— Тетя Мусь, тетя Мусь же, Юлочка есть хочет...

Анна Михеевна, пуще всего на свете любившая свое дело, первоначально с недоверием посматривала на свою хорошенькую помощницу. Но девушка неожиданно проявила столько терпения, заботливости, столько дружеской ласки к раненым, так быстро приобретала необходимые навыки к новой работе, что строгая старуха врач безбоязненно оставляла на нее своих питомцев и даже признавалась, что немножко ревнует их к своей помощнице.

И действительно, стоило Мусе на минуту отлучиться, как из землянки слышались разноголосые крики:

— Маша, Маша!.. Сестреночка!.. Сестричка!

Дело тут было не только в том, что она научилась смело и вместе с тем осторожно промывать раны, менять повязки, накладывать шины... Просто чем-то свежим, весенним веяло от ее тоненькой, ловко охваченной халатом фигурки, от юного, задорного лица, от непокорных кудрей. Старики партизаны, наблюдая, как бесшумно движется она между койками, вспоминали свою юность и своих дочерей; люди зрелые, глядя на нее, думали о женах и ребятишках; молодежь смотрела на сестру с обожанием. Все были понемножку влюблены в нее той тихой и чистой солдатской любовью, какая расцветает иногда среди окопной глины, пороховой гари, среди крови и тягот войны,— любовью бескорыстной, простосердечной, не требующей ничего взамен.

Чувствуя это, Муся старалась быть со всеми равной, не имела любимчиков, всем слабым в свободную минуту с одинаковой охотой стригла ногти, поправляла подушки, а иных даже брила. Делая что-либо, она всегда напевала, будто была наедине сама с собой, и это особенно нравилось ее подопечным.

— Когда я первый раз вас там, в конторе, увидел, не понравились вы мне. Так, подумал, трясогузка какая-то,— признался ей однажды Мирко, когда она брила ему бороду.

Жесткий волос трещал под лезвием туповатой бритвы. Из-за белой мыльной маски на Мусю смотрели горячие, мрачноватые глаза. Входя в «палату», она теперь постоянно чувствовала, что глаза эти всегда, неотвязно, настойчиво следят за каждым ее движением. И всякий раз от этого взгляда ей становилось тягостно и неловко.

Мирко Черный был в госпитале единственным, с кем она чувствовала себя связанно, кого она даже почему-то побаивалась.

— А теперь удивляюсь, как же это я так про вас тогда мог подумать... Ай-яй-яй...

— Молчите, Мирко, нос отрежу! — пробовала отшутиться Муся, чувствуя, что разговор принимает еще неясный для нее, но определенно неприятный оборот.

Продолжая брить, девушка избегала смотреть в глаза партизану. Она даже пробовала напевать, но руки у нее теряли обычную ловкость.

— ...Думал — так, трясогузка, а вы вона! — настойчиво продолжал Мирко.— Дал, дал тогда промашку Черный, милая барышня.

— Я не барышня... И не вертите головой,— сердито перебила девушка.

— Это у нас в таборе так говорили: «милая барышня». Я ведь цыган, под шатром родился. Мы, может, тысячи лет по миру таскались — ни границ, ни крыши. А потом рассыпался наш табор. Зачем кочевать, когда никто не гонит? Я вот в паровозники вылез, помощником ездил. Кочевая профессия: сегодня здесь, завтра там... Много я вашего брата, милая барышня, повидал, а такую первую встретил. Зазнобили вы мое сердце.

Мирко перешел на шепот. Горячее дыхание его обжигало щеку девушки. Дышал он тяжело, с хрипотцой, и это, как казалось, слышали все раненые. В землянке наступила необыкновенная, тяжелая тишина. Лишь звучно трещал под лезвием жесткий волос.

— Может, думаете, о золоте говорю. Золото что!.. Я б и сам его так вот, как вы, понес...— морщась от боли, продолжал Черный.— Золото это вашего пальчика, сестреночка, не стоит... Я вас теперь даже во сне вижу. И знаете, как я вас вижу?

— Ой!.. Ну вот и порезала... Болтаете под руку глупости всякие! — воскликнула Муся. Она выпрямилась, серые глаза ее сузились и потемнели.— Еще слово, и я уйду...— Чувствуя, что все раненые слушают этот разговор, девушка постаралась смягчить гнев шуткой: — Вот и будете с половиной бороды...

И сразу веселым, добродушным гомоном наполнилась просторная землянка:

— Ай да сестричка!

— Не выйдет, цыган, семафор закрыт!

— Таких звонарей на любом полустанке сколько хочешь. Пучок — пятачок цена... Нужен он ей...

Мирко смахнул полотенцем мыльную пену, отвернулся к стене. Он не дал себя добрить. Так и пролежал до вечера.

С тех пор Муся стала бояться Черного. Перевязывая, она старалась глядеть в сторону, избегала разговаривать с ним. Но глаза-угли молча преследовали ее. Даже отвернувшись, она все время чувствовала на себе их взгляд.

Иногда, и не часто, под вечер в госпитальную землянку заглядывал Николай. Он делал вид, что ходит проведать свою «соседку» Юлочку. Взяв девочку на руки, он выходил с ней наружу. Но Муся знала, к кому он приходит, и, найдя удобный повод, сама выскальзывала наверх.

Втроем, держа между собой за руки девочку, шагавшую посредине, они бродили по лесной опушке, бродили чаще всего молча или изредка обмениваясь незначительными замечаниями. Лишь иногда Николай начинал рассказывать что-нибудь из жизни отряда, о взрыве железнодорожного виадука или о крушении двух встречных воинских поездов, устроенном Власом Карповым, о партизанском суде над предателем в большом селе или о том, как была брошена противотанковая граната в солдатский бар, разместившийся в Доме пионеров на Узловой.

Рассказывая об отличившихся партизанах, Николай оживлялся, но как только Муся пыталась перевести разговор на его собственную персону, он сразу тушевался и замолкал. О себе он говорить не любил да и считал, что хвалиться ему нечем.

Теперь он руководил подготовкой посадочной площадки, которую по приказу центрального партизанского штаба спешно сооружали на продолговатой сухой луговине, вклинившейся в торфяные болота. И хотя партизан знал, что дело это важное, ему было совестно, что в страдные боевые дни, когда его товарищи, даже иной раз ездовые и старики связные, сражались, участвовали в диверсиях, он занимается корчевкой пней, засыпкой ям, срезанием кочек.

Еще больше угнетало Николая состояние раздвоенности, в котором он теперь жил. Он сознавал, что важно скорее принять самолет для эвакуации ценностей и вывозки раненых по чернотропу, пока нет снега, на котором станет заметным каждый след, и всячески старался ускорить строительство. Договорившись через разведчиков с верными людьми окрестных селений, он посылал туда вооруженных партизан. Партизаны, постреляв вверх, с шумом, с угрозами обходили избы, а затем целые деревни, якобы под конвоем, с подводами, с лошадьми, с топорами уходили на работы. Трудились кол-

хозники с охотой. Видимость же насильственного угона создавалась для гестаповских осведомителей, чтобы избавить работающих от мести.

Работы подвигались. Не щедрый обычно на похвалы, Рудаков не раз благодарил Николая за организацию дела. Но все это не доставляло радости молодому партизану. Ведь он сам, своей волей ускоряет отлет Муси. Об этом он старался не думать, но думал даже во сне. Николай понимал, что влюбился, влюбился первый раз в жизни. И это новое, необыкновенное чувство, нагрянувшее на него так внезапно, не только радовало, но и беспокоило его. Он не думал об этом своем чувстве, не копался в нем. Просто образ стройной сероглазой девушки, гибкой, неуступчивой, смелой, ничего на свете не боявшейся, кроме разве лягушек, и умевшей так легко ступать по земле, все время жил в нем. Жил день и ночь.

Занятый хлопотами на посадочной площадке, усталый, охрипший от криков, он все-таки думал о том, как вечером подойдет к госпитальной землянке, как Муся поднимется к нему, что он ей скажет, над чем пошутит, о чем сострит, как бойко и умно поведет он с ней разговор. В этих бесконечных обдумываниях будущей встречи как-то сама собой растворялась усталость. И ах какой бойкий, веселый, речистый, находчивый бывал партизан в этих своих мечтаниях!

Но вот наставал желанный час, слышались легкие шаги, Муся точно выпархивала из ходка землянки, ведя за собой Юлочку. Она улыбалась закату, чистому влажному вечернему воздуху, тишине. Она срывала косынку, встряхивала головой, и освобожденные кудри ее рассыпались свободными естественными кольцами. Она смело подходила к Николаю, протягивала ему руку:

— Ну, здравствуй!

Юлочка тоже тянула ему свою ручонку и с той же задорной, насмешливой интонацией говорила:

— Ну, здравствуй!

Он молча с величайшей серьезностью по очереди жал им руки. Все заранее обдуманные слова, шутки, остроты — все его заготовленное красноречие разом разлеталось. И они втроем начинали молча расхаживать по дорожкам, слушая настороженную тишину засыпающего лагеря. Но и в самом молчании этом была радость. Он готов был до утра ходить вот так, лишь слегка

касаясь рукой локтя своей спутницы, лишь изредка косясь украдкой на задорный девичий профиль. И ему начинало казаться невероятным, что вот скоро, на днях она навсегда улетит отсюда. Улетит далеко, куда уже не придешь вечером. Улетит, исчезнет надолго, может быть, навсегда. Николаю становилось грустно, даже страшно. Он хмурился, уходил в себя.

— Юлочка! Наш дядя Коля, кажется, язык проглотил,— слышался насмешливый голос.

— Да, проглотил,— серьезно и озабоченно подтверждала Юлочка...

...Стояла необычная для этого времени года сушь. По вечерам в лесу бывало так тихо, что деревья казались призрачными. Быстро темнело, становилось прохладно, но Николаю и Мусе не хотелось расходиться. Они закутывали девочку, начинавшую дремать, в ватник, брали ее на руки и носили по очереди, теперь уже совсем молча и лишь изредка посматривая друг на друга. Когда становилось совсем темно и по всему простору глубокого неба пробрызгивали россыпи дрожащих, точно живых звезд, Николай вздыхал, доставал откуда-нибудь из-под куста заблаговременно спрятанный туда кулек с брусникой или крепкой, хрустящей на зубах клюквой, молча отдавал Мусе и исчезал, словно таял в густой тьме.

Девушка возвращалась в землянку, где жила с Анной Михеевной, укладывала девочку в кроватку, сделанную в разрезанной пополам корзине — футляре от крупнокалиберной бомбы, а потом шла в госпитальную землянку и, разделив ягоды на равные кучки по количеству раненых, распределяла их по справедливому солдатскому способу: «Кому? Кому?»

19

В день, когда Муся готовилась вместе с другими партизанами из новичков принимать присягу и потому была с утра радостно взволнована, при дележе ягод произошло событие, омрачившее светлое волнение девушки. Мирко Черный, обидчиво сверкнув глазами, оттолкнул руку с причитавшейся ему долей. Брусника красным градом посыпалась на пол. На мгновение наступила тишина, потом двое раненых сорвались с коек, бросились к обидчику.

— Ты что же делаешь, олух царя небесного?

— Тебе сестрица уважение оказывает, угощает, а ты...

— Не надо мне ее уважения. Пусть сама жрет. Знаете, откуда у нее ягоды? — Черный сел на койке. Обычно бескровное лицо его пылало неровным ярким румянцем, тонкие ноздри вздрагивали.— Спросите откуда. Пусть скажет. Пусть скажет, кто их собирал...

Чувствуя, что взгляды присутствующих обращены к ней, девушка закрыла лицо руками и выбежала из землянки. Она прислонилась щекой к стволу сосны и замерла, мучительно думая: «За что? Как он смеет? А все они? Ведь я так их всех люблю!» Прохлада осенней ночи понемногу успокоила ее.

Снизу, из-за брезентового полога, глухо доносились возбужденные голоса; постепенно в землянке стало стихать. Потом из нее появился дядя Осип. Он подошел к Мусе, все еще стоявшей у дерева, откашлялся, помолчал.

— Уж вы, сестричка... того... оставьте это без внимания. Раненый — он как дите глупое, с него полного спросу нет.— Старик опять покашлял.— В палату вас народ просит. Этот черт бешеный прощенья просить будет.

— Ступайте на кровать, роса, вам вредно,— вяло отозвалась девушка.

Ей казалось, что за эти мгновения что-то из ее жизни ушло, ушло навсегда, оставив ничем не заместимую пустоту. Прощение? К чему? Разве этим что поправишь?

— Ступайте, ступайте...

— Нет, один не пойду, народ вас просит, сестрица... Вся палата...— стоял на своем старик, легонько дергая Мусю за рукав халата.

Девушка покорно сошла в землянку. Тишина не была тяжелой, как давеча, а какой-то разреженной, благостной, какая бывает в лесу после грозы. Раненые, приподнявшиеся на койках, строго смотрели на Черного. Он лежал вытянувшись. Побледневшее лицо его неясно серело на белой наволочке. Медленно, казалось с трудом, он повернулся к Мусе.

— Простите, сестричка,— нервы,— глухо выговорил он чужим, холодным голосом. Потом, словно преодолев в себе что-то, приподнялся на локте и уже теплее пояснил: — Раны — что песок в буксе, вот и скрипишь.

Вы худое что про меня не думайте, я человек женатый... У меня жена Зина, красавица, все время ее в голове держу. А это... так, тормоза отказали, понес под гору.

Раненые молчали, одобряя форму извинения. Только Кунц с удивлением смотрел на Черного, на Мусю, на остальных. Происшедшее, похоже, поражало немца.

Девушка почти успокоилась. Спохватившись, она заторопилась к «сигналу», где партизанам-новичкам предстояло принимать присягу. И все-таки радостное чувство, с которым она ждала этого часа, померкло, и в голосе ее, когда она отвечала на добрые и шумные напутствия «палаты», не было уже прежней непосредственности и теплоты.

У «сигнала» горел большой костер. Присягавшие стояли тремя шеренгами. Муся оказалась крайней на левом фланге. Напротив были выстроены все находившиеся в лагере «ветераны». Свет раздуваемого ветром пламени изредка выхватывал из мрака ночи чье-нибудь задумчивое лицо, руку, лежавшую на прикладе автомата, винтовки.

Рудаков быстро подошел к костру. Он скомандовал «смирно», достал из нагрудного кармана листок бумаги, стал читать торжественные слова партизанской присяги. Все партизаны-новички в один голос повторяли за ним фразу за фразой:

— «Я, гражданин великого Советского Союза, верный сын героического советского народа, клянусь, что не выпущу из рук оружия, пока последний фашистский гад на нашей земле не будет уничтожен...» — читал Рудаков.

— «...будет уничтожен!» — дружно выкрикнули конец фразы молодые голоса.

— «...ожен, ожен, ожен...» — откликнулось эхо из глубины леса.

Налетел ветер. Взвихрившееся пламя осветило торжественные лица, горящие глаза. Понемногу все, что огорчало и беспокоило девушку, ушло. Суровая сила простых слов клятвы захватила все существо Муси. Рудаков читал их по бумажке. Порой он даже наклонялся к костру, чтобы лучше рассмотреть текст, но девушке казалось, что слова эти рождаются сейчас в глубине ее души, и, чувствуя, как волнение распирает грудь, она почти выговаривала за командиром:

— «Я клянусь всеми силами помогать Красной Армии уничтожать бешеных гитлеровских псов. Я клянусь,

что скорее умру в жестоком бою с врагом, чем отдам себя, свою семью и весь советский народ в рабство кровавому фашизму...»

Сердце сильно билось, холодок возбуждения бежал по спине. Вся вытянувшись, девушка восторженно чеканила вместе со всеми:

— «Если же по своей слабости, трусости или злой воле я нарушу эту присягу и предам интересы народа, пусть я умру позорной смертью от руки своих товарищей. Кровь за кровь, смерть за смерть!»

Эти последние слова Муся выкрикнула в полный голос.

Она так волновалась, что, когда расписывалась под присягой, поставила свою фамилию не там, где было нужно.

Командир поздравил принявших присягу, каждому пожал руку своей маленькой и очень сильной рукой.

Партизаны остались у костра. Муся очень любила эти вечерние часы у огня, когда свободные от дел собирались петь песни, точно возвращавшие их за линию фронта к родным и милым. Но сегодня она не могла петь.

Она незаметно отошла от костра и неторопливо направилась вдоль «улицы» землянок к партизанскому госпиталю.

Сзади послышались частые шаги.

— Товарищ Волкова,— робко окликнул ее тонкий, с басовитым надломом голос.

Девушка остановилась. Так официально к ней здесь еще никто не обращался. Даже ее начальница Анна Михеевна вряд ли помнила ее фамилию. Из тьмы вынырнул партизан Толя, тот самый худой черпявый подросток, который тогда в лесу вел колонну ремесленников. В лагере Муся познакомилась с ним и узнала, что действительно они, эти маленькие стойкие ребята, переходили тогда реку по тайному броду за несколько недель до них с Матреной Никитичной. Сейчас большинство ребят осело здесь, в отряде Рудакова. Старшие, в их числе и Толя, вместе с Мусей принимали сегодня присягу.

Толя протягивал что-то небольшое, тяжелое. Муся разглядела: офицерский револьвер системы «вальтер».

— Вам! Вы теперь партизанка. Эх, елки-палки, мировая штука!.. Сам с ихнего майора снял. Мне за

эту штуку ребята немецкий автомат, губную гармошку и зажигалку сулили. Я не отдал. А для вас не жалко. Носите!

— Спасибо, Елочка! — Растроганная Муся хотела было пожать маленькому партизану руку, но тот уже исчез в темноте так же внезапно, как и появился.

Девушка расстегнула кобуру и вынула маленький револьвер. Черная пластмассовая ручка его была так изящно сработана, вороненые грани так красиво посверкивали под лунным светом, что она невольно прижала револьвер к щеке, как дети прижимают любимую игрушку.

Чувствуя, что сегодня ей не уснуть, не поделившись с кем-нибудь избытком радости, девушка нерешительно свернула к госпитальной землянке. «Может быть, кто-нибудь из раненых еще не спит?»

И действительно, из-за брезентового полога глухо доносились голоса. В «палатке» о чем-то спорили. Крепкие словечки, густо сдабривающие беседу, остановили Мусю на пороге.

— А я не посмотрю, что тут Рудольф Иваныч, я правду прятать не привык! Я прямо скажу: вредные вы, немцы,— звучал густой, с сипотой голос дяди Осипа.— Твоя нация, товарищ Рудольф Иваныч,— она вроде медведя. Как где пчелы меда в свой улей натаскают, так он, косолапый, тут как тут — бац по улью лапой. Все, подлец, разрушит, растопчет, чтобы мед чужой слопать. Что, скажешь, не так?

— Я ничего не скажу, я не могу представить возражений,— ответил немец, с трудом подбирая и старательно выговаривая русские слова.

— Молчишь? Отучил вас Гитлер правду вслух говорить. Языки себе пообкусали,— послышался раздраженный голос Черного.— Ты сейчас кто, Рудольф,— партизан? Партизан. Фашистов вместе с нами бьешь? Бьешь. У одного пулемета со мной кровь пролил? Пролил... Стало быть, ты здесь равноправное слово имеешь, как мы все. Чего молчишь? Говори!

Муся тихо стояла у порога землянки. Товарищеское, даже дружеское отношение партизан к немцу-перебежчику Кунцу всегда удивляло, а поначалу даже и коробило ее. Она узнала, что когда-то, в годы первой пятилетки, Кунц работал на советских заводах как ино-

странный специалист и сносно научился русскому языку. Переходя к партизанам, он в доказательство своей искренности притащил с собой оглушенного и связанного офицера. В отряде обучал партизан владеть трофейным оружием, храбро сражался. Это всем было хорошо известно. И все же в присутствии этого человека девушка невольно настораживалась.

А раненые партизаны — люди, больше ее потерпевшие от оккупантов, лишенные дома, семьи, привычной работы,— величали Кунца на русский манер «Рудольф Иваныч», делились с ним табаком, добродушно подтрунивали над ним и, что особенно удивляло девушку, ничем не выделяли его из своей среды.

— Правильно! Рудольф Иваныч, отвечай, что думаешь.

— Не стесняйся, не в Гитлерии, тут все свои, в гестапу не поволокут.

— Мне тяжело нести ответ на слова товарища дяди Осипа,— выговорил наконец немец.

— Стой, я тебе помогу,— опять ворвался в разговор Черный.— Обидел твой народ дядя Осип — ведь так? Это хочешь сказать? Ну, вот прямо и говори, валяй, чего петлять...

Послышался глухой шумок. Муся поняла, что никто, должно быть, не спит, вся палата участвует в споре.

— А ты в разговор не лезь, тебя не спрашивают. Пусть Рудольф сам ответит... Что ты их оправдываешь? Они вон весь мир кровью умыли.

— Я разве оправдываю? — возразил Черный.— Я ж вам сказал: кто к нам с войной пришел, немец ли, итальянец ли, финн ли какой, я его бить буду, пока сила в руках, рук лишусь— ногами пинать стану, ноги перебьют — зубами горло перегрызу... А Рудольф тут при чем? Мы вместе с ним по фашистам стреляли, вместе вот в госпитале валяемся, как чурки какие. Мне наплевать, что он немец. Я ему говорю: вот тебе моя рука, на, держи, Рудольф!

— Ну, Рудольф Иваныч — он немец особенный. Я о фашистской сволочи — вот о ком,— отозвался дядя Осип.— Такому немцу, как он, и я руку дам. На, Рудольф Иваныч, подержимся. Давай уж и поцелуемся, что ли... Вот так...

По палате прошел добродушный смешок.

— Начал за упокой, а кончил за здравие.

— И правильно. Немец — одно, а фашист — другое. Фашисты, они всяких наций бывают.

— Эх, моя бы воля, я этих эсэсов да гестапов живыми в муравьиные кучи клал... Как, Рудольф Иваныч, не возражаешь?

— Я бы вам помогал,— отозвался немец.

— Во, правильно! Я считаю, как мы Гитлера разобьем, вся Германия нам в пояс поклонится. Что ты на это скажешь?

За пологом настала напряженная тишина. Мусе казалось, что она слышит, как бьется ее сердце.

— Я не знаю по-русски такого слова,— медленно, волнуясь, начал немец,— такого слова, чтобы сказать вам, какие вы все... какие у вас головы, нет, как это... какие души...

Муся откинула полог, остановилась в проходе и, обведя раненых влажным взглядом, произнесла дрожащим голосом:

— Родные, поздравьте! Я теперь настоящая партизанка...

20

Между тем положение отряда становилось все более тревожным. Свои люди из деревень сообщали, что вражеское командование стягивает карательные части. Интендантский офицер, которого Кузьмич ухитрился накрыть во время купания и для пущего эффекта так голым, в одних лишь сапогах, и доставил в отряд, дал важные показания. Из штаба воинской группы получен приказ любыми средствами до осенней распутицы ликвидировать партизан, дезорганизовавших в этом районе движение на железных и шоссейных дорогах. Дрожа от холода и страха, офицер признался, что объединенный штаб карательных отрядов, созданный на Узловой, разрабатывает против партизан какую-то акцию, сути которой интендант не знает, но на которую возлагает большие надежды.

Потом приходила к Рудакову путевая обходчица четыреста тридцать второго километра. Она сообщила, что в воинском эшелоне, пущенном партизанами под откос на ее участке, уже после крушения возник пожар. Обломки вагонов, казалось бы ни с того ни с сего,

вдруг начали загораться красноватым пламенем; солдаты из вспомогательного поезда, прибывшего на место происшествия, вместо того чтобы гасить огонь, разбежались и только издали, качая головами, наблюдали, как огонь пожирает остатки разбитого состава. Позже Катерина нашла среди обломков в железном ящике какие-то шары величиной с два кулака. Мягкая оболочка из прозрачной пленки была наполнена серо-зеленой жидкостью. Эту свою находку железнодорожница положила в металлический футляр из-под немецкого противогаза и принесла в отряд.

Партизанские командиры долго рассматривали непонятные трофеи, мяли шары, дивились тому, как жидкость в них, переливаясь, меняет цвет. Один из шаров при этом упал и был случайно раздавлен. Запахло вроде бы бензином. Вылившаяся жидкость сейчас же вспыхнула красноватым жарким пламенем. Ни вода, ни песок не смогли его погасить. Быстро разгоревшись, огонь перекинулся на бревенчатую обшивку землянки. Партизаны вынесли лишь самое необходимое. Зловредные шары были тщательно упакованы для отправки с первой же оказией для исследования на Большую землю...

Рудаков, перебравшийся после пожара в штабную землянку, всю ночь просидел над картой; обведенные синим карандашом деревни, занятые карателями, образовывали собой на карте широкую подкову. Она как бы охватывала болотистый лес, в центре которого находился партизанский лагерь. Оставался незакрытым лишь северный участок, примыкавший к торфяным болотам. Их обширные пространства считались непроходимыми.

Что же такое фашисты задумали? Почему в последние дни почти прекратились бои с передовыми партизанскими постами? Трудно поверить, что неприятеля испугали потери, которые он понес в схватках у перекопанных, заваленных деревьями лесных дорог. Пленные подтверждали, что существует приказ как можно скорее расправиться с партизанами и очистить район... Так почему же такая тяжелая тишина сейчас кругом?

«Эх, скорее бы можно было принять самолет! Отправить бы раненых, эвакуировать ценности, отослать эти дьявольские шарики — и развязать себе руки! Налегке проще решить любую задачу. Так, так, так... Что же они затеяли? Блокаду? Но ведь подрывники продол-

жают просачиваться лесами. Боевая работа на железных дорогах не прекращается. Нет, тут что-то похитрее... Да еще эти шарики... И почему подкова, а не замкнутый круг?» — Рудаков тер ладонью шишковатый, упрямый лоб, пощипывал латунную щетину усиков. Другое тут, другое. Но что, что?

На следующий день, уже затемно, пришел Николай. Он доложил командиру, что посадочная площадка вчерне готова. Утром засветло сделают последние зачистки, и можно будет принять связные и санитарные самолеты. Работы предполагалось закончить лишь через неделю, и сообщение Железнова было приятной неожиданностью.

Сдержанный Рудаков обнял и крепко, по-русски, со щеки на щеку, расцеловал молодого партизана. Сразу же повеселев, он приказал адъютанту готовить рацию для большой ночной работы и заодно попросил принести флягу спирта из своего неприкосновенного запаса. Положив ее перед Николаем, командир сел писать сообщение на Большую землю. Вскоре он, однако, заметил, что герой дня к спирту не притрагивается, понуро сидит на скамье, уставившись глазами в пол, и лицо у него расстроенное.

— Ты чего нос повесил?

— Все в порядке, товарищ командир. Разрешите идти? — сказал партизан, точно просыпаясь.

— А выпить? Ведь заслужил...

— Спасибо, в другой раз...

— Ну, ступай...

Николай повернулся и медленно направился к выходу. Рудаков взял флягу, потряс ее и, покрепче завинтив горлышко, задумчиво отложил в сторону. Командир разбирался в людях, а Железнова знал с детства. И понял он, что какая-то необычная забота гнетет молодого партизана. «Заболел, что ли?» — и по старой нарткомовской привычке не забывать мелочей, когда речь идет о человеке, Рудаков заметил себе для памяти, что надо при случае «исповедать» молодого партизана.

21

Наскоро перекусив, командир отправился к шалашу, где уже попискивала по-комариному рация. Пока искали связь с Москвой, Рудаков через адъютанта передал

приказание, чтобы снарядили несколько подвод под перевозку раненых на аэродром. Потом адъютант был послан за медсестрой Волковой. «Что же еще? Кажется все!» Рудаков устало присел на пенек возле шалаша, потянулся так, что захрустели суставы, и с удовольствием закурил.

В мирное время, возвращаясь, бывало, из депо после работы или с затянувшегося собрания, любил он зайти в палисадник перед домиком и, вдыхая ночной аромат табаков, наедине выкурить папиросу-другую, подытожить прожитый день, обдумать день завтрашний.

Эту привычку Рудаков принес и в лес, в жизнь, полную неожиданностей и опасностей. И сейчас, хотя в прошлую ночь ему не удалось и прилечь, а рядом радист, пощелкивая ключом, искал связи с Большой землей, командир, как бывало, поддался обаянию ночи, погожей, звездной, но уже прохладной. Неподалеку во тьме, переступая с ноги на ногу, сонно вздыхали кони. В дальнем конце лагеря пиликала гармошка, такая неожиданная и милая в этом настороженно притихшем лесу, и откуда-то, должно быть от кухонь, приглушенно звучали мужские голоса и рассыпчатый женский смех.

Жизнь шла своим чередом.

Все это напоминало мирные дни, казавшиеся теперь Рудакову неправдоподобно далекими. Улыбаясь, он жадно вдыхал густые ароматы осеннего леса с той же радостью, с какой в молодости, еще будучи кочегаром, иногда разгоряченный, усталый, поднявшись на груду угля, подставлял всего себя влажным порывам ночного ветра.

Рудаков не слышал, как подошла Муся. Она подчеркнуто пристукнула каблуками и, подбросив руку к виску, с видимым удовольствием отчеканила:

— Товарищ командир отряда, по вашему приказанию партизанка Волкова явилась!

Рудаков поднял глаза и не сразу отозвался:

— Присядь вот на траву, партизанка Волкова. Садись и признавайся — по Большой земле скучаешь?

Муся не ответила. Стоя навытяжку, она старалась угадать, что сулит ей этот ночной вызов.

— Ну, что ж молчишь? На завтра с Большой земли самолеты запрашиваю. Готовьте раненых к эвакуации. Перевозите в район нового аэродрома. Ежели самолеты

пообещают, до рассвета перевозку нужно закончить. И чтобы тихо возить, без шума.

— Есть эвакуировать раненых! — обрадованно отозвалась Муся, снова старательно щелкнув каблуками.

Значит, ничего особенного! Значит, ее оставляют и смутные опасения последних дней были ложной тревогой.

— Разрешите идти?

— Постой, куда торопишься? Ночи теперь длинные, успеете,— остановил ее Рудаков. Он любил приберегать добрые вести к концу беседы.— И еще вот что: складывай свои пожитки. За тобой приедет особый самолет. Вооруженный. Ценности повезешь. Понятно?

Девушка продолжала стоять. Темнота скрывала ее лицо. Рудаков не увидел, а скорее почувствовал, что его слова не обрадовали, а скорее смутили или даже опечалили собеседницу.

— Товарищ Рудаков, разрешите мне остаться в отряде. А? — тихо попросила Муся.

«Вот тебе раз! Что это? Уж второй человек за ночь так странно отвечает на приятные вести!» Рудаков сопоставил эти два случая, внезапная догадка мелькнула у него — он даже свистнул,— но прежде чем он успел уточнить ее, радист, освещаемый голубыми вспышками электрических искр, что с легким треском вылетали из-под ключа, радостно крикнул из шалаша:

— Большая земля!

Рудаков направился к рации. На ходу он успел сердито обронить:

— Исполняй приказ, партизанка Волкова!

22

До самого рассвета Муся занималась ранеными. Николай напросился в проводники, заявив Рудакову, что ночью без него никто не найдет дорогу к посадочной площадке, а уж он-то ее знает! Коня с первой подводой Николай сам вел под уздцы. Путь проходил по высохшему торфяному болоту. Вернее, никакого пути не было, двигались целиной, по азимуту. В некоторых местах фуры так бросало, что раненых приходилось вести под руки, а тех, кто не мог ходить, перетаскивать на носилках. Кони с трудом тянули даже порожние те-

леги. Николай брал раненого на закорки и без единой остановки ровным, размашистым шагом переносил через весь непроезжий участок.

Раненых сосредоточили на лесной опушке в густом сосняке, поблизости от посадочной площадки. Их оставили на попечение Мусиных знакомцев — ремесленников из строительной бригады, которыми командовал Толя.

— Мой помощник, великий специалист аэродромного строительства, легендарный партизан Елка-Палка,— представил его Мусе Николай.

— А мы с Елочкой уже давно знакомы.

— Это когда же вы успели?

— А что, мне нужно вам обязательно обо всем докладывать? Вот не знала,— ответила Муся и засмеялась дробным смешком.

— Не надо,— попросил Николай и добавил, вздохнув: — Вы же сегодня улетаете... совсем...

— Почему совсем? Может, вовсе и не совсем.— Муся тоже вздохнула и, взяв Николая за руку, глядя ему в глаза, пояснила: — Этих ребят я первый раз увидела далеко-далеко отсюда. Они были совсем измученные, вели раненого, тащили больного. Я подумала тогда: вот мелькнули, как во сне, и потерялись. А дальше — выжженная земля, пустыня, ужас. Думалось: только нам с Рубцовой и удалось прорваться. А видите, они тоже здесь. Ведь встретились!.. Я сдам ценности и вернусь. Вот увидите. Обязательно.

В волнении Муся стиснула обеими руками пальцы Николая. Чувствовалось, ей хочется убедить в этом не столько собеседника, сколько самое себя.

Партизан стоял не шевелясь, глядя на девушку откровенно влюбленными глазами.

Понимая, что еще немножно — и она разревется, Муся отпустила руку.

— Не надо об этом. Не надо...

Николай пересилил себя и принялся рассказывать, как маленькие партизаны сделали налет на немецкий дорожный склад, богато разжились там строительным инвентарем, а склад сожгли; как Толя в разгар работ предложил хитрый, им самим придуманный способ выкорчевки сосновых пней, уходивших корнями глубоко в землю; как старый колхозник, работавший на строительстве, называл за это маленького партизана «министерской башкой».

Муся рассеянно поддакивала, думая о своем. Как удивительно скрещиваются иной раз на войне человеческие судьбы! Сколько хороших людей встретилось ей на пути из родного города сюда, в партизанский лес: Матрена Никитична, бабка Прасковья, Рубцов, пожилая колхозница и ее сынишка Костя, Анна Михеевна, Мирко, Рудаков, Толя и, наконец, этот большой ребенок Николай, который о себе слова сказать не умеет, но готов часами расхваливать своих товарищей. Неужели завтра в самом деле ей придется навсегда проститься с партизанами? Навсегда? А может быть, все-таки не навсегда? Ведь действительно встретила же она Толю уже дважды. Кстати, с кем это он спорит, на кого кричит своим по-мальчишески петушиным, но напористым баском?

Муся и Николай прислушались. Спор шел из-за каких-то брезентов, самовольно взятых ребятами со склада для раненых.

— Товарищ Железнов, товарищ Железнов! Вы посмотрите, что только этот ваш замечательный Елка-Палка делает! — послышался из тьмы возмущенный голос начхоза.— Отдавай назад! Слышишь!..

— А чего, а чего я делаю? Что же, раненым на траве лежать? Не отдам, пусти руку. Пусти, ну!

— Всем хорош, только выдержки нет...— сказал Николай Мусе и бросился на выручку своего маленького помощника, которому, должно быть, и впрямь за самоуправство угрожала неприятность.

23

Муся присела на мягкую, шершавую кочку, опять задумалась. Как странно это бывает в жизни! Давно ли она встретила Николая? Давно ли показался он ей смешным, неповоротливым увальнем? А вот теперь... Она смотрит, как выпрямляется молоденькая сосенка, на которую он второпях наступил, слушает издали его голос, и сердце у нее бьется тревожно, радостно. И нет сердцу никакого дела до того, что каратели обложили партизанскую базу, что вот-вот опять начнутся бои — и на опустевшие сосновые топчаны в лесном госпитале лягут новые раненые и что, кто знает, может быть, и сама она живет свой последний час! Она готова снова

переносить лишения, жить в опасности, лишь бы не улетать отсюда, лишь бы не расставаться с этим белокурым богатырем, с которым ей ничто не тяжело и не страшно, в присутствии которого ей хочется сделать что-нибудь смелое, необыкновенное, что изумит его, понравится ему.

Сегодня вот не удержалась. Ну конечно, больше она не подаст и виду, что он ее интересует. «Очень нужно! Эти мальчишки все страшные зазнавалы и чуть что — задирают нос и воображают о себе невесть что». Да и ничего особенного она не чувствует к нему, просто человеческий интерес. Вот только почему так тоскливо от мысли, что скоро придется с ним прощаться?.. Ах эти ценности!.. Разве мало того, что она уже сделала? Разве обязательно из-за них жертвовать еще и счастьем?

Счастьем? Неужели счастьем? Да, да! Зачем притворяться, зачем скрывать от самой себя! Ведь она же влюблена. Ну да, да, да, она любит первый и, конечно же, последний раз в жизни. .

А ее вот скоро сунут в самолет. И она повезет за линию фронта этот тяжелый и скучный мешок, который и без нее может быть туда великолепно доставлен. Ведь это подумать только, осталось быть вместе всего каких-то несколько часов!

Небо на востоке уже начинало розоветь. Стало холодно. Нежные краски погожего восхода, опять предвещавшие ясный, тихий день, сгущались и смывали звезды одну за другой... Воздух принял зеленовато-прозрачный оттенок. Все вокруг — и лесная опушка, и унылое торфяное болото, и пятнистая луговина расчищенной площадки — вырисовывалось хотя еще и плоско, но уже отчетливо, когда наконец кусты затрещали и появился Николай.

— А я уж хотела идти одна,— холодно сказала Муся, пряча радость.— Я у вас здесь последний день, кажется, можно было быть повнимательнее...

— Муся, кабы не я, этот Кощей Бессмертный обязательно упек бы парнишку под арест... У Рудакова насчет самовольства знаете как... не помилует. А эта жила так доложит...

— И правильно бы упек. Этот ваш знаменитый Елка-Палка вовсе распустился,— непримиримо ото-

звалась Муся и, дернув плечом, быстро пошла через болото к сизой стене леса.

Николай виновато брел сзади девушки, едва поспевая за ней. Ему вспомнилось, что так же вот двигались они при первом знакомстве, когда он конвоировал ее в лагерь. И, как тогда, при первой их встрече, в ушах партизана снова звучали слова старого романса. Только сейчас звучали они по-иному. Теперь слышалась в них Николаю песнь молодой любви, которой не нужно ни признаний, ни красивых слов, ни многозначительных взглядов, которая захватывает, покоряет, возносит человека и сама за него говорит.

— Муся, вы не знаете этого романса... ну, слова Алексея Толстого...

— «Средь шумного бала?» Да? — Девушка остановилась и выжидающе посмотрела на спутника.

Ее широко раскрытые глаза, мерцавшие в полусумерке раннего утра, казались большими, глубокими, как лесные озерца с родниковой водой.

— Этот мотив все вертится в голове... с тех пор, как мы с вами встретились... Как вы догадались?

— Вот так просто и догадалась...— Она вздохнула.— Спеть? Только без аккомпанемента трудно, сложная мелодия.

И над унылым болотом, на дальнем краю которого дрогли в сырой прохладе друг против друга партизанские и вражеские засады, негромко зазвучала песня. Муся вкладывала в чужие, старомодные слова все, что хотела и не решалась сказать сама, что переполняло ее душу. Она была очень смешная — в ватной стеганой куртке с непомерно длинными засученными рукавами, в больших шароварах и грузных сапогах, голенища которых ей даже пришлось отвернуть. Но именно в эту минуту и в этом виде она казалась Николаю самой прекрасной из всех девушек, каких только он знал и какие вообще могут быть на свете.

Он стоял, боясь неосторожным движением спугнуть песню. Губы его беззвучно повторяли: «В часы одинокие ночи люблю я, усталый, прилечь: я вижу печальные очи, я слышу веселую речь». Он шептал и думал о том, какая это проницательная штука — поэзия, и о том, что почти сто лет назад поэт сумел так хорошо и тонко угадать то, что сейчас чувствует он, партизан Николай Железнов.

Муся еще пела, но острый слух партизанского разведчика уже уловил отдаленный звук приближающихся шагов. Все в нем, привыкшем к внезапным опасностям, уже настораживалось, рука сама тянулась к кобуре пистолета.

— Я плохо пою? — обидчиво спросила Муся, заметив, что Николай не слушает.

— Идут... Кто-то идет,— шепнул партизан, бесцеремонно толкая девушку в кусты и заставляя ее присесть.

Шаги приближались. Теперь их различала и Муся. Щелкнул предохранитель парабеллума. И вдруг невдалеке над кустами показалась голова Рудакова. Худощавый, поджарый, он легко прыгал с кочки на кочку, а за ним поспешал его адъютант, тот самый франт с косыми бачками, в скрипучих сапогах, которого Муся почему-то прозвала про себя «дон Педруччио». За спиной «дона Педруччио» болтался автомат, на поясе висели гранаты.

Девушка сердито фыркнула и, оттолкнув Николая, вышла из засады. Но Рудаков их уже и так заметил. Вокруг его глаз лучились хитрые морщинки.

— Чего это вы, ребята, так поздно или так рано — не знаю уж, как вас точнее спросить, среди болот песни распеваете?

Адъютант услужливо подхохотнул, командир неприязненно поморщился.

— А что тут смешного? Солнце еще не встало. Как им сказать — рано или поздно? Нам вот — рано, мы уж выспались.

Николай и Муся стояли перед командиром, не зная, куда девать глаза. Карие глаза Рудакова лукаво щурились. Так вот отчего с такой грустью Николай докладывал, что досрочно закончил аэродром, а она так огорчилась, узнав, что ей придется лететь на Большую землю? Точно! Но почему вдруг так покраснела эта девчонка? Даже вон пот на висках проступил.

— Волкова, ты чего?

— Да вот, товарищ командир, не вовремя распелась-то я...

— Ну?

— Стишки, песенки... Такая чепуха.

Веселые искорки запрыгали в карих глазах Рудакова, бледные губы его тронула едва заметная улыбка.

— Чепуха? Наоборот. Без поэзии, ребята, нам жить нельзя. Без поэзии ночь — это только тьма, труд — только затрата физических усилий, хлеб — только пища... Да, да, вы что думаете... Поэзия! Разве это только стихи?

— А разве нет? — спросил Николай, простодушно глядя на командира, в то время как Муся дипломатично отступила за его спину.

— Вот и говори спасибо, что до экзаменов дело не дошло. А то схватил бы «неуд»,— сказал Рудаков, но тут же, точно спохватившись, стер с лица улыбку и почти скомандовал: — Железнов, пойдешь со мной, покажешь мне свой аэродромстрой. Твои чудо-богатыри со своим Елкой-Палкой там? Ладно, условимся о системе сигнализации.

Николай растерянно взглянул на Мусю.

— А тебя, Волкова, вот он проводит до лагеря.— Рудаков кивнул на адъютанта.— Там проверяют ценности по описи, тебе стоило бы при сем присутствовать. С верхом договорено — в двадцать часов примем первый самолет, второй прилетит за тобой. Готовься.

Не ожидая ответа, командир пружинисто перескочил с кочки на кочку и пошел. Николай, чуть помедлив, тронулся за ним, поминутно оглядываясь.

Муся холодно смерила с ног до головы сияющего «дона Педруччио», остановила взгляд на его косых острых бачках, презрительно прищурилась и, резко повернувшись, быстро пошла по кочкам к лагерю, сразу же оставив своего кавалера позади.

Смотреть, как проверяют ценности по описи Митрофана Ильича, она не стала. В лазарете было пусто и оттого мрачно. Котелок с чаем булькал на чугунной времянке. Анна Михеевна с Юлочкой завтракали. Старуха стала расспрашивать, как устроили раненых, какой за ними присмотр, как чувствует себя тот или другой. Она достала третью чашку и поставила ее перед Мусей. Пить чай после такого утра девушке показалось просто кощунством. Она торопливо ответила на вопросы. Сославшись на неотложное дело, забрала девочку и направилась, как мысленно сказала себе, «прощаться с лагерем», во всяком случае с той его частью, где по возвращении с аэродрома мог появиться Николай.

Но партизана все не было, и Муся медленно бродила между землянками, рассеянно слушая болтовню девочки и невпопад отвечая на приветствия встречавшихся.

Лагерь пробуждался от сна. Молодые партизаны в трусах, босиком, обмотавшись полотенцами, с гиканьем и смехом бежали на ручей. Пожилые пофыркивали у глиняных умывальников, висевших под деревьями. Иные умывались в одиночку, поливая себе на руки изо рта. Под тесовым навесом две толстые девушки с яркими, помидорными щеками варили пищу в чугунных, вмазанных в глину банных котлах. Оттуда тянуло запахом клейстера, по которому можно было угадать, что на завтрак будет опять «блондинка», как звали тут всем осточертевшую пшенную кашу. Поодаль на двух пеньках сидели друг против друга плечистые, обросшие дяди и два других партизана машинками стригли им бороды. Оружие клиентов и парикмахеров лежало тут же, на траве.

Появился радист, несший переписанную от руки утреннюю сводку Советского информбюро. Следом за ним двигалась, все разрастаясь в пути, толпа партизан, среди которых было немало полуодетых и даже не успевших добриться. Радист хлебным мякишем приклеил свой листок к сосне, и люди сразу же тесно сгрудились перед ней.

— Ребята, эй, передние, давай читай вслух! — шумел низкорослый парень в одном сапоге, безуспешно пытаясь что-нибудь разглядеть за стеной плотно сомкнувшихся спин.

Кто-то начал читать сводку. Вести, должно быть, были нерадостные, так как слушали молча и, прослушав, так же молча разошлись. Когда у сосны никого не осталось, Муся подошла с Юлочкой к сводке. Сразу бросилась в глаза фраза: «После тяжелых боев наши части оставили...» Написана она была менее четко, чем все остальные, словно у того, кто выводил строку, задрожала рука. Фраза эта точно по сердцу резанула, Муся задумчиво отошла от сосны. Но вдруг ей вспомнились полные веры и убежденности слова сельского коммуниста: «Ничего, ничего, разогнется пружина; чем сильнее сжимается, тем крепче она ударит». Перед ней как бы возник озабоченный хлопотун Рубцов со своими большими татуированными, не знавшими устали руками. И сразу как-то легче стало на душе.

— Подбей ему, чтоб до Берлина не стоптались! — крикнула девушка пареньку, что расположился сапожничать под курчавой сосенкой.

Паренек этот с сокрушением рассматривал совершенно разваленный сапог. Владелец сапога, молодой партизан в потертой военной форме, убеждал мастера спасти сапог, сулил ему в виде премии трофейную зажигалку, такую, что не гаснет и на ветру. Оба обернулись на слова Муси. Сапожник приосанился и, выплюнув в горсть гвозди, подмигнул в сторону клиента.

— Я вот, сестричка, говорю: кто ж ему велел так от немцев бегать, что сапоги сгорели?

— А ты не языком, ты шилом работай. Герой,— хмурился клиент.— У козьей-то ножки храбрости и не надо.

Муся пошла дальше. Из пестрой палатки напротив слышался стрекот швейной машинки и доносилась песня, которую потихоньку вели несколько женских голосов. Там чинили партизанскую одежду, и трое молодых партизан нерешительно топтались у входа, заинтересованно заглядывая за полог и не решаясь войти в палатку.

Все было буднично. Но теперь именно эта будничная деловитость лесного лагеря, со всеми ее тяготами и опасностями, с ее редкими радостями и маленькими грешками, делала для Муси лагерь особенно дорогим. Грустно бродила она меж землянками со своей маленькой спутницей. Вслед ей летели веселые, порой не очень скромные замечания, игривые шуточки, но и это не слишком смущало: в госпитале она научилась угадывать под внешней, часто нарочитой грубостью чистые, верные и даже нежные души.

Каким счастьем казалась для нее теперь сама возможность остаться среди этих загорелых, хриплоголосых людей, участвовать в их борьбе, служить им по мере сил, перевязывать им раны. Но, увы, скоро, очень скоро самолет безжалостно оторвет ее от этого лагеря, от этой израненной снарядами земли.

— Тетечка Мусечка, тетечка Мусечка же! Юлочке хочется домой. Тетечка Мусечка же! — перебила девушку ее маленькая спутница.

В голосе девочки слышалась обида: тетя Муся не слушает ее, смотрит куда-то далеко, не поймешь куда,

и глаза у нее такие, будто она только что крошила луковицу.

Самая ласковая и веселая из всех немногочисленных тетей, каких только девочка знала, в это утро почему-то не обращала внимания на свою маленькую спутницу.

24

Николай не появлялся в лагере весь день.

Только когда солнечные лучи, прорывавшиеся в дыры полога, закрывавшего вход, покраснели, начали меркнуть и по-вечернему громко зазвенели комары, он ввалился в землянку, усталый, запыхавшийся, и, увидев Мусю и Анну Михеевну, радостно брякнул вместо приветствия:

— Вот здорово!..

Потом, разглядев, что девушка одета по-дорожному, что стеганая ее тужурка завязана уже на все тесемки, а рядом на пустом топчане лежит знакомый ему мешок и на нем офицерский «вальтер» в красной щегольской кобуре, тайна появления которого у Муси давно уже интересовала и даже мучила молодого партизана, он помрачнел и опустился на топчан.

Муся заторопилась, быстро пристегнула кобуру к ремню, крепко подпоясалась, взялась за мешок.

— Вас ведь за мной прислали? — решительно заявила она Николаю и, не давая ему удивиться, торопливо добавила: — Иду, иду! До свидания, Анна Михеевна, не скучайте. Все ваши требования на медикаменты здесь.— Она хлопнула себя по карману.— Уж я из души у них все вытрясу, не беспокойтесь, до самого главного дойду. Вы ж меня знаете... Может быть, вы все-таки возьмете мешок, товарищ Железнов? Тяжелые вещи за дам носят обычно их спутники. Так ведь, Анна Михеевна?

— Совершенно правильно, Мусенька... Береги себя, девочка. Там, наверху, наверно, очень холодно. Не простудись, шею закрой, а то схватишь ангинку или бронхитик, какой интерес...

Старуха проводила девушку до выхода, расцеловала ее, сунула ей в карман баночку с мятными пилюлями от кашля — единственное лакомство, которое скрашивало их вечерние чаепития. Когда они совсем уже

распрощались, Муся вдруг спохватилась, бросилась обратно, к кроватке, где, положив толстые ручки поверх одеяла, надув пухленькие губки, спала Юлочка. Девушка прижала к себе сонную теплую головку своей маленькой подружки и на миг замерла. Не просыпаясь, Юлочка охватила руками ее шею и пошевелила губами.

Николай нетерпеливо кашлянул. Муся осторожно разомкнула руки девочки и на цыпочках вышла из землянки. Молодые люди направились к аэродрому. Часовой, бесшумно отделившись от ствола сосны, спросил пароль. Железнов ответил. Девушка еще раз оглянулась на неярко горевшие уже вдали костры лагеря и решительно взяла Николая под руку. Несколько минут они шли молча.

— Ты будешь меня вспоминать? — спросила Муся, в первый раз обращаясь к нему на «ты».

— Я вас никогда... никогда тебя не забуду... Я тебя, тебя... Это здорово звучит — «тебя», правда?

— Ты думаешь, после войны мы обязательно должны встретиться?

— Непременно!

— Ну, а если наш самолет сегодня собьют, вот и не встретимся.

Муся никогда прежде всерьез не думала о смерти, не боялась ее, но теперь при мысли о ней опечалилась.

— Я буду помнить тебя всегда. А вы?.. А ты? Ведь меня тоже могут убить. Я не прошу, чтобы ты меня всегда помнила, но хоть изредка вспоминай, хоть иногда. Ладно? Будешь?

И откуда взялись только в этот вечер у стеснительного парня слова! Правда, они были не очень вразумительные, зато часто и на все лады склонялось местоимение «ты».

Еще раз их остановили на внешней заставе. Часовой осветил фонариком лица, хотел было отпустить соленую шуточку, но, узнав «сестрицу», прикусил язык, только спросил, сколько времени, и предложил закурить.

Шли они по высохшему болоту, то и дело спотыкались, натыкаясь на кочки, кусты цеплялись за их одежду, ветки иной раз больно хлестали по лицам, но оба ничего этого не замечали, как если б двигались в облаках. Расстояние от лагеря до аэродрома им показалось совсем коротким.

Посреди поляны горел костер. Высокое пламя его освещало знакомые фигуры и лица маленьких партизан. Толя рассказывал что-то, размахивая руками. Неподалеку от костра, вне освещенной зоны, ходил Рудаков, невидимый во тьме, но угадываемый по скрипу новых ремней портупеи, которую он надел, должно быть, по случаю предстоящей встречи с посланцами Большой земли.

Муся отправилась проведать раненых. Лежа на сене, покрытом брезентами, они взволнованно дымили цигарками, прислушиваясь к тишине ночи. Все были взвинчены. Чувствовалось, что уже не раз вспыхивали между ними ссоры. Появление сестры раненые встретили дружным шумом.

— Забыли они нас там, что ли? Лежим тут, как шпалы в кювете.

— Ну что там слыхать? Улетим или тут помирать придется?

— Ночь-то проходит, а они там чешутся. Говорили — вечером прилетят. А где они? Немцев дожидаются? Как раз и дождутся! Фашист, он тоже не дремлет.

— «Уж полночь близится, а Германа все нет»,— пропели во тьме, и Муся по голосу узнала Черного. Он не терял бодрости.

— Соскучился? Сейчас он прилетит, Герман. Доноешься, бросит бомбулю.

— Чу! Тише!

Разноголосый гомон сразу замер. Но, кроме сухого скрипа дергача да отдаленных голосов у костра, ничего не было слышно. Весело, похоже для того, чтобы только нарушить тягостную тишину, Черный произнес:

— А мы уж тут по вас, сестреночка, всем коллективом сохнуть начали. Куда же это, думаем, наша Машенька делась? С меня вон штаны падают, вот как высох!

Нехитрую шутку поддержали.

— Врет цыган, не верь ему, сестрица. Вон какой разъелся на госпитальных харчах — паровоз «фэдэ».

— У него, черномазого, ко всему женскому полу присуха,— прохрипел из тьмы чей-то простуженный голос и сипловато, хохотнув, пропел: — «Эх, да полюбил я сорок милок, эх, да источился, как подпилок...»

— Но-но, насчет женского пола помолчи... Я человек женатый.

— Жалко, Рудольф выписался, поспорить путем и то не с кем...

С аэродрома вдруг донесся возбужденный крик:

— Летит!

Черные фигуры у костра засуетились, заметались. Послышался топот ног, возгласы. Но уже и эта суматоха не могла теперь заглушить приближающийся рокот мотора. Желтоватым бензиновым пламенем, точно вырвавшимся из-под земли, вспыхнули один за другим восемь костров, обрамлявших посадочную площадку. Кто-то ворошил их палками, и целые столбы искр крутящимися смерчами взмывали в воздух. Гул мотора усиливался. Вот самолет плывет уже над головами, невидимый в черном, усеянном звездами небе. И вдруг всем показалось, что шум начал стихать.

— Уходит,— упавшим голосом сказал кто-то из раненых.— Не наш...

— Вернется! Это тебе — не то что курице на насест сесть. Должен он оглядеться.

— Тише, вы! Никак, опять гудит... Слышите?

Но слух не улавливал ничего, кроме плача выпи... На опушке, среди раненых, и там, на поляне, наступила тишина. Костры, которые никто уже не ворошил, больше не взметывали к небу сверкающих искр. Теперь они горели ровно, тускло. На их фоне чернели неподвижные фигуры людей.

У Муси сжалось сердце: неужели раненых, которые, в надежде очутиться на Большой земле, так мужественно перенесли трудную дорогу, придется увозить обратно? Но где-то в глубине сознания звучала радостная, эгоистическая нотка. Ну и пусть, ну и пусть! Великолепно вылечим их здесь, в лесу. Зато ей, Мусе Волковой, не надо будет расставаться с Николаем.

Исчезнувший было звук мотора все-таки возник вновь. С новой силой стали ворошить горящие головни. Вихри искр опять взмыли в небо. Самолет кружил, то приближаясь, то удаляясь. А на земле надежда и отчаяние сменяли друг друга.

Наконец в небе вспыхнула и рассыпалась зелеными звездочками сигнальная ракета. Рев винта перешел в свист. Как сказочный Змей Горыныч, изрыгая синеватый огонь, ринулся вниз самолет, чиркнул о землю у самого дальнего огня и снова, уже с самодовольством победителя затрещав мотором, стал подтягиваться к

большому костру. Партизаны бросились туда, где в свете огней поблескивали крылья гигантской птицы.

Муся подбежала к самолету, когда пилот, приоткрыв дверь фюзеляжа, еще только опускал ноги вниз. Партизаны нетерпеливо смотрели в полутьму открытой двери, где тускло мерцала маленькая лампочка, щупали, гладили сырые от росы крылья машины, точно желая окончательно удостовериться, что это не снится им, а действительно настоящий самолет прилетел с Большой земли!

Летчик спустил ноги и прыгнул, но земли не достиг. Сильные руки подхватили его, подняли, подбросили вверх. Беспомощно кувыркаясь в воздухе, этот человек в страхе вопил:

— Ребята, оставьте, с ума сошли! Разобьете! Что за дурацкая мода. Ребята, у меня сердце...

Наконец его поставили на землю. Он жал чьи-то шершавые руки, целовал колючие, заросшие, пропахшие табаком рты, невпопад отвечал на вопросы, которые неслись из тьмы. Казалось, этому не будет конца. Но сзади раздался негромкий, но властный голос:

— Разойдись, некогда!

Толпа расступилась и пропустила Рудакова. Крепко тряхнув руку летчика, он представился:

— Командир отряда Рудаков! Пакет?

Летчик вынул из планшета толстый пакет, засургученный пятью печатями. Тем временем толпа кинулась к штурману, унты которого уже высунулись из кабины. Но первый порыв радости уже схлынул. Штурмана не качали. Сжатый со всех сторон, он должен был отвечать на сыпавшиеся градом вопросы. Как Москва? Где готовится наступление? Что за «катюша» будто бы появилась на фронтах? Как она бьет? Спрашивали даже о том, какая там, за линией фронта, стоит погода, как будто на свободной земле даже климат должен быть иным, чем здесь, на оккупированной территории.

Штурман был многоопытный парень, не раз приводивший самолет на такие вот тайные лесные партизанские аэродромы. Недаром он помедлил выбираться из машины, предоставив партизанам израсходовать самые бурные страсти на менее опытного в этих делах летчика. Штурман стоял среди галдящих людей большой, косолапый, в своем меховом реглане и собачьих унтах. В ответ на вопросы он только улыбался пошире и

говорил неизменно: «Хорошо, порядок полный». Именно благодаря этой лаконичности ответов казался он истосковавшимся по хорошим новостям партизанам особенно симпатичным и чрезвычайно осведомленным человеком.

Между тем летчик вслед за казенным пакетом передал Рудакову толстый, тщательно заклеенный да еще перевязанный ниткой конверт, надписанный почерком его жены. Командир схватил письмо и, обернувшись к костру, стал было его вскрывать, но, должно быть пересилив себя, сунул поглубже в карман и начал расспрашивать летчика о доставленных грузах. Через минуту в зеве люка показались тяжелые ящики и пухлые тюки с газетами. Руки, тянувшиеся из тьмы, принимали их осторожно, как будто в ящиках этих были не сталь и взрывчатка, а хрусталь или фарфор.

С опушки уже вели и несли раненых. Выяснилось, что самолет за один рейс может взять только шестерых. Раненых же было семеро да один тифознобольной — пожилой колхозник Бахарев, недавно пришедший в отряд. Девятой должна была лететь Муся. Девушка стояла, понурив голову, не принимая участия в общей суете. У ног ее рядом с рюкзаком лежал тщательно перевязанный и засургученный мешок. Возле девушки, не отрывая от нее взгляда, стоял Николай, точно старавшийся навсегда запечатлеть ее лицо, бледное даже при красном свете костра.

Мусе казалось, что она слышит, как у нее на руке постукивают часы. До отлета оставались минуты, и эти минуты неудержимо таяли. И вдруг подошел недовольный, озабоченный Рудаков и сказал, что, как явствует из предписания штаба, для приема ценностей со второй военной, вооруженной машиной вылетел специальный человек и Мусе придется обязательно ждать его. Юноша и девушка так этому обрадовались, что командир даже рассердился.

— Ветер у вас в голове,— с досадой сказал он. Муся и Николай улыбались.

25

Первый самолет улетел.

Все бросились к тюкам с газетами. Вмиг веревки были разрезаны. Листы бумаги, отсвечивающие от

костров, как лепестки гигантских огненных цветов, раскрылись на темной поляне. Газеты читали, щупали, передавали друг другу. На даты никто не обращал внимания. Из статей старались вычитать не только то, что в них было написано, но и то, что, как казалось, могло прятаться между строк. В каждой военной корреспонденции искали намека на готовящееся контрнаступление.

Чтобы немного самой успокоиться, Муся начала было читать вслух «Правду» старикам. Но из этого ничего не вышло. Каждому хотелось заглянуть самому в газету. Девушку затолкали, читать стало невозможно.

Подошел Рудаков и отвел Мусю в сторону. Конфузясь, смущенным тоном, какой у него странно было и предполагать, он попросил:

— У меня к тебе, Волкова, есть просьба личного, так сказать, характера... Видишь ли, у меня там,— он махнул рукой по направлению, куда ушел самолет,— там семья: женка, ребята. Вот пишет: хорошо живут, не волнуйся и прочее. Успокаивает. А я чувствую, что-то их там жмет, туго им... Понимаешь?..

Девушка удивленно смотрела на командира. Ну чего он смущается? Чудак! Разве он не заслуживает, чтобы о его семье как следует позаботились?

— Женка пишет,— продолжал Рудаков,— хранит до встречи мою новую шубу и какие-то там еще вещички, чтобы, видишь ли, сразу после победы я мог переодеться в штатское... Почувствовать себя вполне дома. Я тебя прошу, Волкова, они живут сейчас в...— он назвал город, где временно обосновался областной центр,— тебе там все равно придется быть — зайди к ним, убеди ее, чудачку, чтобы она все мое продала, сменяла... Бережет! Ой и народ, эти жены!

Должно быть, оттого, что Рудаков всегда так тщательно прятал от окружающих свое личное, было особенно странно увидеть его в роли мужа, отца.

— Я пойду в обком и прямо скажу. Не беспокойтесь, уж я добьюсь, чтобы им все дали, что нужно.

— Нет, нет, Волкова! Запрещаю! Слышишь! Ты наверно, не представляешь, как сейчас живет страна. Категорически запрещаю! Скажи ей: пусть все продает, ничего, кроме здоровья, не жалеет. Здоровье — самое важное. Ай, чудачка, чудачка! И еще, Волкова, когда будешь с ней говорить, никаких там страхов...

Слышишь! Ни-ни! Она у меня немножко нервная. Скажи, живем тут спокойно, ну, как, скажем, на лесозаготовках. Немцы, мол, там на фронте наступают, им не до нас, а мы, мол, здесь наводим порядки... Дескать, вольный воздух, природа, на охоту ходим, грибы собираем... Ничего, ничего, не смущайся, она поверит...

— Товарищ командир, товарищ командир! — позвал голос начхоза.

Точно кто выключатель повернул: погас на лице Рудакова ласковый свет. Через минуту командир уже был у костра, холодным голосом отдавал распоряжения. Мусе даже подумалось: не ослышалась ли она? Полно, Рудаков ли минуту назад смущенно разговаривал с ней о своей далекой семье?

Вокруг привезенных самолетом ящиков ходили уже примирившиеся начхоз и Толя. Мальчик читал надписи: «Автоматы», «Патроны», «Тол», «М. мины», а начхоз составлял опись. Оба шумно восхищались щедростью Большой земли.

— Товарищ Железнов, эй, глянь-ка, «М. мины»! Магнитные! Два ящика!.. Вот затрещат теперь фрицы! — кричал Толя и даже приплясывал от удовольствия.

Николай и Муся стояли в стороне от костров. Их уже не смущало, что кругом много людей. Они не думали ни о чем, кроме того, что скоро, через полчаса-час, снова послышится рев мотора и они расстанутся надолго, может быть, навсегда.

«Как только услышу самолет, я его поцелую, слово даю, поцелую в губы», — загадывала Муся. Николай думал о том же. Он убеждал себя быть мужественным, не терять попусту этих быстро пролетающих минут, но, по мере того как минуты эти шли, он все более смущался, и его большие руки, бережно державшие тонкие и холодные Мусины пальцы, начали даже слегка дрожать.

Оба они со щедростью юности, не задумываясь отдали бы по году своей жизни за каждую лишнюю минуту, которая отдалила бы час разлуки. Даже когда горизонт на юге, в стороне, где остался лагерь, вдруг засверкал ясными всполохами и до аэродрома докатились глухие раскаты артиллерийских залпов, они не вдруг очнулись и не сразу заметили суету, поднявшуюся у костров.

— Товарищ Железнов! К командиру! — крикнул подбежавший Толя. Он тяжело дышал, голос его срывался.

Только тогда дошла до сознания Муси и Николая уже охватившая всех тревога, этот отдаленный гром, зарницы выстрелов и разрывов. Каратели начали наступление на район центральной базы! Эта мысль сразу вернула молодых людей на землю. Через мгновенпе оба бежали через поле к костру.

Рудаков был уже в седле. И конь и всадник казались в свете костра отлитыми из бронзы. Пожилой партизан из колхозников, исполнявший в отряде обязанности конюха и коновода, держал на поводу вторую подседланную лошадь.

— Где вы там пропадаете? Видите, что делается! Можно ожидать нападения на аэродром. Второй самолет принимать нельзя. Закройте ему посадку красной ракетой. Волкова, останетесь здесь при раненых за старшую. Ваш помощник — этот, как его... ну... Елка-Палка. Мешок закопать, автоматы и гранаты из привезенных обтереть и приготовить к раздаче. Всех, кто может носить оружие,— на охрану аэродрома. Ждите приказа. Железнов, на коня, за мной!

Рудаков пришпорил коня и сразу же скрылся во тьме. За ним на гнедом трофейном мерине затрусил Николай.

Глухой артиллерийский гром звучал все сильнее.

У костра разбивали ящики. Новенькие автоматы, густо смазанные, обернутые в промасленную бумагу, вызвали восхищение. Вот оружие так оружие! Отдельно были упакованы тяжелые диски, заботливо заряженные еще на Большой земле.

Деловитый Толя, оказавшийся весьма опытным в военных делах, помог начхозу и Мусе выставить на подходах к аэродрому засады. Два автомата девушка отнесла Черному и Бахареву, тоже оставшимся до следующего рейса. Схватив оружие, Мирко сразу приободрился, бережно обтер рукавом остатки смазки, попробовал затвор; глаза партизана загорелись.

— Видать, не судьба лететь нам с вами, сестричка,— сказал он.— Ну, не горюйте. Мы еще поиграем в эти вот игрушки! — Он любовался автоматом, точно девушка обновой.

Партизан быстро сообразил, как заряжается новое, еще невиданное в отряде советское оружие, и приладил диск.

— Вещь! Наверно, патронов на семьдесят... Пулемет!..

Муся присела возле Черного. С этим бывалым человеком она чувствовала себя спокойней.

— Что же вы, Мирко, с первым самолетом не улетели? Были бы сейчас на Большой земле, у своих.

— Мне без вас, сестричка, как машинисту без жезла, пути нет,— не то шутя, не то серьезно ответил партизан.

Черные глаза Мирко сверкали совсем рядом. В свете догоравшего костра были хорошо видны его осунувшееся лицо, тонкие вздрагивающие ноздри. Девушке опять стало неловко.

— Сыро стало. Давайте я вас прикрою... Раны-то не болят?

— А, что там раны! — Партизан, порывисто отвернувшись, стал смотреть на живое зарево разрывов, что, полыхая вдали, точно бы рождало этот грозный, непрерывный гул.— Стволов в десять дуют. Средний калибр.

Девушка смотрела в ту же сторону. Она думала о Николае. Наверно, он уже в бою, и, конечно, на самом опасном месте. Ей вспомнилось: «Вольный воздух, природа, грибы собираем, на охоту ходим». А он там, Рудаков...

— Что там сейчас делается? — тоскливо прошептала она.

— На штурм фашист пошел — вот что. Ва-банк, все козыри на стол!

— А наши, бедные, как-то они сейчас там?

— Бедные! Скажет тоже!.. Это мы вот бедные... в такую минуту валяемся тут, как тыква на огороде... Эх, Маша, мне б ноги, я бы им сыграл на этой балалайке цыганскую!

Черный свистнул и потряс автоматом.

— Ой, что это? Мирко, милый, что это?

Артиллерия вдруг умолкла, сполохи погасли, снова слышно стало, как упруго, упрямо рокочут пулеметы. Вдруг по всему горизонту четко осветились темные зубцы леса. Багровое, неяркое зарево охватило полнеба. Оно росло, ширилось и наконец поднялось, казалось до самых звезд, и звезды стали исчезать, словно бы таять в его ровном свете.

Озадаченные зрелищем внезапно возникшего непонятного пожара, партизаны, оставшиеся на аэродроме, даже не заметили, как над ними пролетел самолет. Его услышали, когда он пошел уже на второй заход и пророкотал над самыми их головами. Мягко хлопнула ракетница. Красная звездочка плавно взмыла в небо и, тихо лопнув, неторопливой кометой стала падать вниз.

Самолет дал еще круг и потом лег на обратный курс.

Муся со смешанным чувством страха и радости слушала, как медленно затихал вдали гул мотора. Уже близок был восход. Нежный блеск молодой зари постепенно гасил зарево. Но порывистый южный ветер уже доносил до аэродрома горький запах лесной гари. Муся закопала свой мешок под приметной курчавой сосной, где она простояла с Николаем почти всю ночь. Посыпав это место хвоей, девушка вернулась к Черному и Бахареву.

Оба были начеку. Лежа за молодой сосенкой с автоматами, они наблюдали за заревом, постепенно терявшим в свете занимавшегося утра зловещие краски. Раненый и больной тихо переговаривались.

— Он нас из леса выжигает! Факт! Осилить не сумел — огнем, как клопа, выжечь хочет,— говорил Черный.

Старик Бахарев, с мокрыми волосами, с пылающим лицом, все еще находившийся в состоянии полубреда, дико смотрел на седые курчавые дымы.

— Что только делает, что делает! — шептали его воспаленные, потрескавшиеся губы.

И вдруг, вскинув автомат, он приладился было стрелять, но Черный вышиб у него из рук оружие.

— Лежи, воин! — Он укрыл товарища одеялом и улыбнулся Мусе.

— Что же там происходит? — прошептала девушка, со страхом глядя на облака дыма, уже начинавшего заволакивать молодое румяное солнце.

26

Отстав от Рудакова на первом же километре, Николай, весь мокрый от пота, на таком же мокром, взмыленном коне добрался до лагеря, когда артиллерийская канонада уже стихла.

Чуть брезжил розовый рассвет. И хотя туман был еще густ и деревья вырисовывались в нем нечетко, точно отраженные в мутной воде, партизан сразу понял, что неприятельские пушки били не наобум, что их удар был нацелен прямо на центральную базу.

Но упрямо рокотали пулеметы. Слышались винтовочные выстрелы, значит, оборона жила, значит, к лагерю фашисты все-таки не прорвались. Но какой был обстрел!

То там, то тут дорогу преграждали поваленные сосны. Под ногами коня неожиданно возникали свежие песчаные ямы с темными, еще необдутыми краями. Меж деревьями тянуло противной гарью, как будто там жгли гребенку.

Не обращая внимания на понукания неумелого всадника, конь шел неторопливо, осторожно. Вдруг он заржал и шарахнулся в сторону: у дороги лежал, должно быть, часовой. Николай спешился. Партизан был мертв. Забрав его винтовку, Железнов пошел пешком, ведя коня на поводу.

В лагере было безлюдно. Партизаны, по-видимому, дрались еще на укреплениях. Треск ружейной перестрелки, упрямые пулементые очереди, резкие разрывы гранат доносились глухо, но с разных сторон. У штабной землянки, волоча по земле поводья, щипал траву непривязанный конь Рудакова. Николай привязал обоих коней к елке и сошел в ходок. Адъютанта на обычном месте, в тамбуре не оказалось. Спросив: «Можно?» — и не дождавшись ответа, партизан толкнул дощатую дверь.

В командирской землянке все было сдвинуто со своих мест. Подле входа лежал упакованный тюк. У стола склонились над картой Рудаков, Карпов и еще двое командиров. Рудаков называл окрестные деревни, а Карпов, глядя на карту, мрачным голосом отвечал:

— Занята... Занята... Занята...

Командир на миг задумывался, тер пальцем щетку медных усов, снова наклонялся к карте. В уголке на соломе, укутанная в командирскую, подбитую мехом кожанку, посапывая, спала Юлочка.

Николай не успел доложить о своем прибытии. Вслед за ним в землянку, громко топоча по ступенькам, почти скатились двое — черные, опаленные, без шапок. Одежда на них во многих местах была прожжена.

— Огонь! Огонь идет! — прохрипел один, опираясь рукой о стену, глотая воздух открытым ртом.

— Горим! — сквозь одышку выкрикнул другой.— Жгут!

Рудаков оторвался от карты. Щуплый, подтянутый, он поднял на вошедших холодные, усталые глаза и вдруг громко крикнул:

— Как стоите? Доложить по форме!

Партизан вздрогнул, точно от удара. Не сразу отделившись от стены, он опустил руки по швам.

— Горим, кругом все горит,— выговорил он точно во сне.

— Смирно! Доложить по порядку!

Словно окончательно придя в себя, партизан вытянулся и глухим, срывающимся голосом, но уже связно рассказал о новой опасности, нависшей над лагерем. Передовые посты, сидя в засадах на внешнем кольце, благополучно, без особых даже потерь переждали в стрелковых ячейках артиллерийский обстрел. Они начали уже отражать атаку, как вдруг заметили, что кругом, спереди, сзади, сразу во многих местах вспыхнул странный красноватый огонь. Было похоже, что по непонятным причинам вдруг запылала сама развороченная снарядами земля. Потом дружно с воем и треском занялся мелкий сосняк, и раздуваемый резким ветром пожар, все больше и больше разгораясь, огненным валом катит прямо на лагерь.

— Стрельба-то... Ребята прямо в пекле сидят...

Рудаков оттолкнул говорившего и в два прыжка выскочил из землянки. В лесу еще стоял прохладный туман рассвета, но весь он, точно кровью, был пропитан темно-багровыми отсветами. Густое зловещее зарево нависало на самые верхушки сосен. Казалось, горят и дым, и даже редкие облака.

— Ясно,— тихо и очень спокойно, как будто решив про себя трудную задачу, сказал командир.— Вот они, таинственные шарики.

С минуту он задумчиво тер пальцами жесткую щетину усов.

— Карту!

В лагерь со всех сторон стали сбегаться партизаны. Испуганные новым, неизвестным оружием, примененным против них врагом, опаленные, в тлеющей одежде, они, зажимая мокрыми тряпками ожоги на лицах, что-

то кричали друг другу сиплыми, сорванными голосами, вытаскивали из землянок свои вещевые мешки, баульчики, цинки с патронами. Все были до крайности возбуждены.

Между деревьями показалась шумная толпа. Увеличиваясь на ходу, она валила к штабной землянке. Искоса поглядывая на приближающихся, Рудаков принялся закуривать. Он не торопясь вынул из кармана коробку, выбрал папиросу, долго обминал меж пальцев табак, продувал мундштук, пока передние, крича, размахивая винтовками, не поравнялись с ним.

Командира окружили. Он сунул папиросу в рот, полез за спичками. В толпе возбужденных, гомонящих людей он походил на камень, что стоит среди бурного потока, даже и не вздрагивая под напором разбивающихся о него волн.

— Горит же, кругом горит!

Сзади кто-то зло выкрикнул:

— Папироски раскуривает!.. Эх, мать честная! С такими начальниками изжаришься заживо...

Рудаков спокойно смотрел в лица наседавших на него людей, и те невольно опускали глаза под его твердым, холодным взглядом. Он уже рассмотрел: все это были новички, вступившие в отряд в последнее время, колхозники, ушедшие из оккупированных сел, «окруженцы», долго бродившие по лесам, пленные, бежавшие из-под конвоя. Эти люди зло и упорно сражались в бою, но новое, неизвестное средство нападения, примененное врагом, эта страшная стена огня, которую ветер гнал на лагерь, а главное, непонятность этой главной беды испугали их. «Что им сказать? Как успокоить этих людей, еще не изживших в себе страха перед врагом, не видевших его битым?» — думал Рудаков, с виду спокойно и даже с удовольствием затягиваясь ароматным дымом.

Как на грех, в толпе не было видно железнодорожников, каждого из которых командир знал, как самого себя,— ни одного.

— Товарищ командир, после докуришь, давай выводи народ из огня.

— Ему что, он-то спасется... У него вон и кони в запасе...

Толпа шевельнулась, загудела. Николай, Карпов, адъютант плотнее стали вокруг командира, но этим они будто бензину в костер плеснули.

— Чего загораживаете?

— Огонь, вон он... Командиры, мать вашу...

Чья-то рука схватила Рудакова за плечо. Командир обернулся, точно удивившись, взглянул на эту вцепившуюся в него руку, поднял глаза на тощего небритого солдатика в рваной, без хлястика шинеленке, в пилотке без звезды, надвинутой на самые уши, и спросил не очень громко, но так, что услышали даже и те, что шумели сзади:

— Ты чего кричишь?

Солдатик убрал руку и, пытаясь затеряться в толпе, забормотал:

— А что ж молчать? Сами не видите, что творится?

Теперь уже весь лес был полон удушливого дыма, от которого першило в горле, слезы текли из глаз.

— А что творится? — повышая голос, спросил он.

— Слепой, не видит!

— Кругом фашист поджег, вот что! Пропадем, как ужак в муравейнике! — загомонили со всех сторон.

— А когда изба загорается, что у вас в деревне делают? — спросил командир, надвигаясь на неопрятного солдатика.— За голову хватаются, орут? Как у вас колхозники во время пожара себя ведут? Ну?

Холодная уверенность командира начинала уже действовать отрезвляюще. Голоса звучали спокойнее, рассудительнее.

— В огонь, что ли, стрелять?

— Взять оружие и строиться у «сигнала»! — скомандовал Рудаков.— Кто с пустыми руками вернулся, за оружием обратно в огонь пойдет! Понятно? Коммунистам и комсомольцам остаться здесь. Остальные разойдись, исполняйте приказание!

Оставшихся оказалось человек пятнадцать. Коммунисты, комсомольцы да и весь рабочий костяк отряда продолжали сражаться на укреплениях в горящем лесу. Тем, кто оказался налицо, Рудаков приказал: одним — помогать Карпову минировать базовый склад и землянки; другим — под руководством адъютанта снимать людей с укреплений и организованно выводить из огня к центральному лагерю; третьим — во главе с Николаем руководить погрузкой боеприпасов и раненых на фуры и коней.

Вскоре стали подходить те, что продолжали бой на укреплениях. Эти все были при оружии, в задымленной одежде, зияющей коричневыми по краям дырками,

с черными, как у шахтеров, лицами. Прямо с ходу они подбегали к ручью и, припав к воде, долго, шумно пили. В большинстве своем это были железнодорожники, свои, но покрытые копотью, все они казались на одно лицо, и Николай узнавал их только по голосам. Привели нескольких раненых.

Один партизан принес на закорках обожженного.

— Вот уложите получше, здорово опалился. Из горящего блиндажа отстреливался, уходить не хотел. Еле его выволок. С ума, что ли, сошел, лопочет что-то непонятное ..— рассказывал партизан, осторожно опуская свою ношу на солому.

Обожженный был без сознания, стонал, метался и в бреду выкрикивал непонятные слова. Николай узнал Купца, немца-антифашиста, которого не раз видел в госпитале у Муси. Его уложили на подводу.

Лагерь все-таки покидали организованно. Когда хвост колонны миновал линию внешних застав и партизаны, охранявшие их, влились в общий поток, позади, в глубине леса, послышались взрывы. Один, другой, третий... При каждом ударе воздух гулко сотрясался. Вдруг раздался взрыв такой силы, что дрогнула земля и стремительный вихрь с шумом прошел по верхушкам сосен, сшибая мелкие ветки, сея хвою.

А вскоре, неумело подскакивая на грузном адъютантском коне, колонну догнал Влас Карпов. Худое лицо его было хмуро, в запавших глазах отражалась тоска.

— Ну что, нет уже дома-то нашего? — спросил пожилой партизан, берясь за стремя.

— Дело сделано,— не оглядываясь, ответил Карпов и облизнул потрескавшиеся губы.

— Слыхали, как ты шумел...

— А ежели слыхал, так и нечего спрашивать!

Юлочка, ко всему привыкшая за последние месяцы, спокойно проспала в теплой командирской шубе все время, пока шел артиллерийский обстрел. Николай, которому Карпов, отправляясь готовить взрыв лагеря, наказал посмотреть за дочкой, так сонную и поднял ее на руки. Открыв глазки, Юлочка подивилась красному свету, в котором точно бы танцевали знакомые сосны, пожевала губами и, прильнув к груди партизана, опять уснула. Потом ей стало почему-то трудно дышать. Кругом стлался дым. Девочка пожаловалась:

— Юлочке во рте горько.

Совсем проснувшись, она заинтересовалась, куда это все спешат, и пожелала занять свою любимую позицию на плечах у Николая: так обычно совершала она все походы. Сидеть удобно, все видно, чего же еще! Юлочка то и дело оглядывалась назад, чтобы видеть колонну, тонкой змеей извивавшуюся в сизоватом дыму. Девочке казалось, что она летит на самолете выше туч. Она развеселилась, даже запела. А когда позади показался отец, ехавший на настоящем коне, Юлочка пришла в восторг. Девочка тотчас же решила, что она не летит, а тоже едет верхом, и стала подпрыгивать на плечах партизана, весело его понукая:

— Но, но, лошадка! Беги скорей!

Юлочка очень огорчилась, когда отец спешился и отдал лошадь, но стоило Карпову приблизиться к ней, как она крепко впилась в него ручонками, перебралась к нему на плечи. Со своей позиции она гордо оглядывала всех этих людей, которые сегодня почему-то не улыбались ей, не заговаривали с нею и вообще не обращали на нее внимания. Сердятся, что ли? Ну и пусть! Очень они ей нужны! Ведь сегодня отец с нею, никуда не торопится, не говорит, что ему некогда. Крепко обхватив шею отца, девочка наклонялась к его волосатому уху.

— Папаня, куда Юлочка едет? Папаня же!

Это не было вопросом. Просто девочка затевала дорожный разговор. Но отец не ответил и только вздохнул.

— Папаня, Юлочка спрашивает: где мы теперь будем жить? Где будет у Юлочки кроватка?

Девочка настойчиво раскачивала голову отца, раскачивала и удивлялась: ее ладошки ощущали на его шершавых щеках что-то мокрое и теплое. Девочка подняла руку, лизнула язычком — солено. Балансируя ногами, Юлочка ловко наклонилась, чтобы сбоку взглянуть отцу в лицо. Карпов резко повернул голову.

— Папка же! — Дочка капризно надула губы.— Юлочка спрашивает же: где мы будем жить? Разве ты не слышишь?

Наконец партизан ответил глухим, незнакомым девочке голосом:

— Вот под этой крышей, маленькая.— Он показал на розовое небо, что бесконечно простиралось над сизой шкурой дыма, стлавшегося по земле.— Высокая эта крыша, доченька! Под ней всем места хватит. И прочная. Ее никакой фашист не разрушит и не зажжет.

27

Шумная суматоха, поднятая на рассвете необстрелянными новичками, прекратилась сразу же, как только подтянулись к центральному лагерю кадровики отряда, отозванные Рудаковым с укреплений, где они продолжали вести бой. Эти люди умели вносить в сложное, полное неожиданностей, требующее моментальной ориентировки и дерзких решений дело партизанской войны свою профессиональную аккуратность, организованность, свое непоколебимое, поистине «железнодорожное» спокойствие, и уже само появление их ввело в берега реку, начавшую было рвать плотину.

Резкий ветер, час от часу продолжавший крепчать, быстро раздувал пламя, но из охваченного огнем леса Рудаков вывел свой отряд в походном порядке. Он выбросил вперед разведку, выставил на фланги боевое охранение. Партизанская молодежь под началом Николая, вооруженная автоматическим оружием, была выдвинута во главу колонны. Она получила задачу — в случае обнаружения вражеских засад с ходу атаковать их и пробивать отряду путь на север.

Осмотревшись в горящем лесу, командир сразу понял, что кольцо огня, которым благодаря стоявшей в последние недели суши и резкому ветру противнику удалось окружить партизанский лагерь, имеет брешь. Она открывала путь в район посадочной площадки и дальше, в торфяные болота, отмеченные на карте сплошной бледно-серой штриховкой, с редкими голубыми пятнами небольших озерков и синими жилками ручьев. Было непонятно, почему в такой большой и так тщательно готовившейся карательной операции вражеский штаб оставил эту брешь открытой. То ли неприятель, потерявший много своих людей при многочисленных попытках взять партизанский район штурмом, не решался забираться в болото, куда он не мог протащить за собой пушки, минометы и броневики; то ли начальники карательной экспедиции, торопившиеся поскорее доложить в ставку о ликвидации партизан, парализовавших движение на дорогах, опасались затяжных боев при круговой обороне и умышленно оставляли этот выход в болотную пустыню. Могло быть и так и этак. Но скорее всего за этим таилась новая неразгаданная хитрость.

Но что бы они там ни задумывали, иного выхода не было. Приняв меры против неожиданных засад, Рудаков двинул отряд в эту брешь.

Сразу, как только вышли на болото, Николай приказал авангарду быть готовым к бою. Партизаны вложили запалы в гранаты, автоматы взяли в руки, спустили предохранители. Боя не последовало, и часам к десяти, когда солнце уже стало ощутительно пригревать спины, авангард выходил в район посадочной площадки. Оттуда ему навстречу, махая новенькими автоматами, бежали партизаны, что ночевали там в ожидании самолета. Впереди всех были, конечно, ремесленники, среди которых Николай тотчас же заметил своего друга Толю.

На аэродроме сделали первый привал. Партизаны тихо опускались на землю, снимали кладь, но оружие держали поблизости и все время опасливо посматривали назад, на юг. Никто не разувался, не перематывал портянок и даже не развязывал тесемок ватников, хотя становилось уже жарко. Так и сидели, хмуро поглядывая в сторону покинутого лагеря. А там, затмевая солнце, качаясь, вставали до самого неба клубящиеся столбы сизого дыма. Южный ветер гнул их к земле, вслед партизанам. Казалось, пожар гонится по пятам за уходящими людьми.

Командир сидел на пеньке и задумчиво чертил ивовым хлыстиком по земле. Он понимал, что враг, неожиданно применивший эти дьявольские «шарики», не замедлит повторить атаку, как только убедится, что отряд выскользнул из огненной западни. Правда, на карте к северу лесов не было. Сразу же за расчищенной площадкой аэродрома открывалось торфяное болото, где нет ни дорог, ни селений. Но в такую сушь болото тоже могло загореться. Когда Рудаков был еще машинистом, ему не раз приходилось наблюдать из будки локомотива торфяные пожары — бесконечное море серого, едкого, льнущего к земле дыма,— пожары без огня, когда невидимо для глаза горит сама почва, пожары долгие и страшные, потому что ничто, кроме сильного ливня и крутого ненастья, не могло их погасить.

Не в том ли заключается замысел фашистов, оставивших выход из огненного кольца? Может быть, может быть...

Небо угрожающе белесо, и барометр в командирской палатке сегодня утром, как и вообще в последнее время,

предсказывал «сушь». Да, нужно выступать, выступать немедленно и двигаться как можно быстрее. Нужно скрыться в болотах, пока каратели не убедились, что в лесу не осталось ничего, кроме разметанных взрывами землянок.

А тут еще новое осложнение. Прибежал расстроенный начхоз и доложил, что ему при всех стараниях не удалось погрузить на подводы часть боеприпасов, присланных Большой землей.

— Фуры?

— Сбросили все лишнее. Даже Анна Михеевна хочет идти пешком.

— Вьючить верховых коней.

— Товарищ Рудаков, где ж кони? Их всего пять вместе с вашим. Разве поднимут? А мины — во! — Начхоз поднял вверх толстый палец, перепачканный в ружейной смазке.— Душа рыдает — такое сокровище оставлять. Сердце кровоточит.

— А что вы предлагаете?

Начхоз только развел руками.

Рудаков ожесточенно перечеркнул все, что с таким старанием нарисовал прутом на земле. Как не хватало им все время этого оружия! Чинили трофейную рухлядь, добытую в бою. Подрывались на самодельных минах. А сколько смело задуманных диверсий прошло впустую из-за того, что эти самоделки в нужный момент не взрывались! Недостаток оружия и боеприпасов мешал отряду расти. И вот теперь, когда Большая земля так щедро снабдила его всем этим, оказывается, немалую часть полученного надо бросить!

— Давай ко мне коммунистов и комсомольцев! — скомандовал Рудаков адъютанту.

Он еще не решил, о чем будет говорить. Просто по старой привычке он в трудную минуту обращался к большевикам. Они собрались быстро, как будто уже сами ждали этого призыва. Все были при оружии, с вещевыми мешками. Рудаков показал им на еще непочатые ящики, с которых начхоз и ремесленники срывали крышки. Под жесткой вощенкой, точно коробки дорогих конфет, были рядами уложены хорошо упакованные магнитные мины, аккуратные кирпичики толовых шашек, коробки патронов.

— Вот это на подводах не разместилось. Как, товарищи, быть? — спросил Рудаков.

Партизаны молчали. Каждый имел при себе, кроме личного оружия и патронов, вещевой мешок со сменой белья, с запасцем хлеба, с разными личными вещичками, такими дорогими и необходимыми в бесприютной походной жизни. Карманы у многих топорщились от гранат, а минеры, народ пожилой и хозяйственный, сверх того были нагружены взрывчаткой, которую они несли в мешках наперевес.

Все знали: поход предстоит тяжелый. Оставляя лагерь, старались захватить все, что возможно. И Рудаков понимал: нельзя требовать, чтобы эти люди взяли больше того, что они уже несут.

Начхоз умоляюще, с надеждой смотрел то на одного, то на другого партизана. В колонне утром ходил слушок, будто этот толстый румяный мужчина с пышной бородой плакал, как маленький, когда Карпов прилаживал фугасы под устои его базового склада, построенного еще в доэвакуационные времена. Бородач уже спешился, навьючил ящиками своего коня и, должно быть, уже успел набить военным добром и свой собственный вещевой мешок. Это было все, что он мог сделать, и теперь он с надеждой смотрел на товарищей.

— Так как же, товарищи? Ребята, как же? — растерянно бормотал начхоз, с надеждой поворачивая взгляд то к одному, то к другому.

— Что ж, взрывать будем? — спросил Рудаков.

Начхоз метнулся к ящикам, точно хотел прикрыть их своим телом.

Тогда из ряда задумчиво переминавшихся с ноги на ногу людей вышел Кузьмич. Он положил к ногам автомат, сорвал с себя аккуратный брезентовый «сидор», взяв его за углы, вытряхнул на траву все его содержимое.

— Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!

И, должно быть, для того чтобы пресечь собственные раздумья и колебания, он расшвырял ногами какие-то сверточки, вещички, завернутое в бумагу белье. Только толстый мешочек с махоркой он пощадил и, подняв, бережно запихал в карман.

— Я девица что надо, меня и без приданого замуж возьмут,— подмигнул Кузьмич окружающим своим зеленым глазом и протянул начхозу пустой мешок.— А ну, политическая экономия, давай клади сюда свои конфеты!

И сразу точно прорвало людей. Со смехом, с шутками, с какой-то даже отчаянной удалью принялись они

опустошать вещевые мешки. На землю валились полотенца, зеркальца, запасные ботинки, скатки байковых одеял, сапожный инструмент, даже книжки, которых в отряде было так мало, что их расчленяли на несколько частей, чтобы больше людей могло их читать одновременно.

А вместо всего этого начхоз, задыхаясь от усердия, накладывал в опустевшие мешки магнитные мины, коробки с патронами, запасные диски, картонки с толом.

— Вот спасибо вам, вот спасибо вам,— повторял он, задыхаясь.— Уж такое спасибо...

Заметив, что коммунисты и комсомольцы что-то затеяли возле ящиков, прибывших с Большой земли, остальные партизаны подходили поближе. Понаблюдав, поколебавшись, они вскоре поддавались общему порыву и тоже начинали освобождать вещевые мешки.

— Не жалей, товарищи! Фашиста прогоним, вернется Советская власть — все будет! — ликовал сияющий Кузьмич, поправляя на плече потяжелевший груз.— А без Советской власти не надо нам ничего, ни шильца, ни мыльца, и жизни самой не надо.— И петухом ходил вокруг Рудакова: — Как, хозяин, не плохое внес товарищ Кулаков рационализаторское предложение? А? Кузьмич, он хоть и об одном глазу, однако видит повострее некоторых, что полным комплектом глядят. Уж это истина, это как пить дать.

Между тем Муся и Николай откопали заветный мешок и присоединились к партизанам, хлопотавшим у ящиков.

В ворох разбросанных по земле вещей полетели и заветное пестрое платье, и лаковые туфли-лодочки. Из всего своего личного добра Муся оставила только расческу — память заботливого Митрофана Ильича.

— Во! Видал миндал, все и разобрали! — шумел Кузьмич.— Вот фашистам-утильщикам пожива будет! Доползут сюда, подумают — в рай попали: добро под ногами, собирай, как ягоды! Ух!

Рудаков рассеянно слушал болтовню старика и улыбался скупой улыбкой, едва теплившейся где-то в уголках бледных губ. Да, предстоят серьезные, может быть, страшные испытания. Но пусть фашисты зажгут все вокруг, эти люди не дрогнут, не пропадут. Такие прорвутся, выйдут, победят!..

Вскоре отряд снова двигался на север. На месте его

короткого привала остались только доски от ящиков, густо провазелиненная упаковочная бумага да кучи партизанского добра, разбросанные меж кустами. Горький дым уже обволакивал все вокруг. Солнце, стоявшее высоко, тонуло в бурых густых облаках. Над болотом все больше сгущались душные сумерки.

Шагая в авангарде колонны, покашливая, поминутно протирая слезящиеся глаза, Рудаков благословлял в душе этот дым, прикрывавший отход отряда. И одна мысль неумолчно, как часовой маятник, стучала в его мозгу: «Быстрее, быстрее, быстрее!»

28

Муся и без того была уже достаточно нагружена: мешок с ценностями весил немало. Но, увидев, что даже старенькая Анна Михеевна положила в свой чемоданчик несколько коробок автоматных патронов, девушка тоже сунула поверх ценностей две компактные, но очень тяжелые пачки. И вот теперь она еле плелась позади госпитальной фуры, сгибаясь под тяжестью непосильного груза.

Кровь толчками билась в висках. В ушах шумело, будто к ним приставили по большой раковине. Ослабевшие ноги подкашивались, и все труднее становилось отрывать их от земли.

Несколько раз Анна Михеевна предлагала ей подсесть на подводу или хотя бы освободиться от своего мешка. Но Муся только отрицательно покачивала головой. Ведь и другие несли не меньше! Она скорее упадет на этот сухой, истоптанный мох, чем воспользуется возможностью так вот незаметно освободиться от добровольно взятого груза. Даже самая мысль об этом приводила ее в негодование.

Солнце, скрытое в дыму, продолжало исподтишка сушить землю. Головной отряд поднимал такую густую пыль, что ничего не было видно. Южный ветер, резко дувший в спины путников, смешивал эту пыль с дымом. Воздух как бы густел. Дышать становилось все труднее, все горше. А передние, во главе которых, как говорили, шел и сам Рудаков, все убыстряли шаг.

Иногда Мусе казалось, что она теряет сознание. Это было страшнее всего. Конечно, не затопчут, поднимут и груз, наверно, понесут. Но как же она будет смотреть в

глаза товарищам? Нет, нет, нельзя ни отстать, ни упасть! Чтобы отогнать предательскую слабость, заставить себя забыть про боль в пояснице, в подламывающихся коленях, Муся начинала мысленно про себя напевать. Это средство, столько раз помогавшее ей, когда она шла еще с Митрофаном Ильичом, теперь не действовало. Перед глазами начинали роиться сверкающие круги, тошнота подступала к горлу, а земля точно бы уходила из-под ног. Тогда девушка крепко закусывала губу, и боль отгоняла обморок.

Перед Мусей, покачиваясь, как лодка, плыла в волнах пыли последняя госпитальная фура. На ней, вцепившись руками в деревянные грядки, лежали пожилой партизан Бахарев, Мирко Черный и Кунц. Каждый резкий толчок причинял им страдания. Немец, лежавший без памяти, скрежетал зубами и тоскливо постанывал. Вероятно, для того чтобы не слышать этих стонов и скрыть свою собственную боль, партизаны бесконечно тянули старинную песню со странным припевом — «веселый разговор».

Отец сыну не поверил,
Что на свете есть любовь...—

потихоньку, сквозь зубы, заводил Черный. Последнее слово Мирко растягивал, и Бахарев, мучившийся в тифу, распаренный, потный, точно только что из бани, тихо и хрипловато подхватывал:

Эх, что на свете есть любовь...

В густом буром месиве дыма и пыли раздавались два голоса:

Веселый разговор...

Затем оба голоса, то сливаясь, то обгоняя друг друга, не очень стройно вели:

Взял сын саблю, взял он остру
И зарезал сам себя.
Эх, да веселый разговор...

Песня эта, неторопливая и вовсе не грустная, а скорее даже озорноватая, сразу гасла в плотном душном воздухе, но тотчас же возникала вновь.

Девушка слушала бесконечно повторявшиеся куплеты и, стараясь не обращать внимания на взгляды Черного, думала об этих людях, умевших самоотверженно воевать

и так мужественно переносить страдания. Думала, и ей становилось стыдно оттого, что в голову, помимо воли, снова и снова лезла коварная мысль, что не будет большой беды, если она возьмет да и сложит свой груз на подводу.

«Нет, не сложу,— отгоняла она, как назойливого комара, эту упрямую мысль.— Вот увидите, ни за что не сложу... Пусть это будет испытанием, настоящий ли я человек, стою ли я партизанского звания. В госпитале-то возиться любая может».

Ноги ее, точно магнитом, прихватывало к земле. Стоило напряжения отдирать и переставлять их. Плечи и поясница ныли. Все чаще и чаще подступала к горлу тошнота. Теперь уже целые рои радужных кругов мелькали перед глазами.

Девушка вцепилась в грядку фуры и сердито приказала себе: «Не падай, не падай, иди!» И тут произошло чудо: мешок за плечами точно потерял часть своего веса. Что это? Радужные круги исчезли. Все впереди стало на место: и фура, и лошадь, и фигуры партизан, неясные в облаке пыли.

Муся оглянулась. Рядом, чуть позади, стараясь приноровиться к ее маленьким шагам, шел Николай. Весь он был точно охрой покрыт. Только глаза оставались попрежнему ясные и поражали своей удивительной голубизной да ряды ровных крупных зубов прохладно белели за приоткрытыми потрескавшимися губами. Он нес наперевес через плечо два ящика с боеприпасами. Они были небольшие, но, по-видимому, очень тяжелые: веревка так глубоко вдавливалась в свернутую куртку у него на плече, что, казалось, перерезала ее надвое. Мокрая майка облепила могучий торс. Пот ручейками сбегал с лица, оставляя извилистые следы.

Николай молча снимал мешок с плеч Муси. Она отрицательно покачала головой и отвела его руку.

«Милый, хороший! — подумала она.— Сам несет за троих и еще помогать хочет». Говорить не было сил, но она не выпустила его горячую ладонь, и прикосновение рук было красноречивее слов.

Где-то высоко в небе гудел самолет. Из-за дыма и пыли его нельзя было рассмотреть, но «по голосу» партизаны угадали, что над ними где-то очень высоко висит тот самый вражеский двухфюзеляжный разведчик, который на фронте звали «старшиной воздуха», «рамой», а в пар-

тизанских краях — «очки» или «фриц с оглоблями». Иногда он словно застывал в воздухе и пыл над головами, надоедливо, как комар. Обычно этих самолетов побаивались. Они имели скверное обыкновение во время разведок развлекаться метанием мелких бомб на скопления людей. Сейчас на него никто не обращал внимания.

Люди шли, шатаясь под непосильным грузом, спотыкаясь, падая. Шли, шли, шли, как маленькую победу отмечая каждый новый сделанный шаг.

Идя рядом с Мусей и украдкой поддерживая снизу ее мешок, Николай раздумывал над тем, что происходило. «Фриц с оглоблями» скребется в небе. В самый разгар наступления на фронте, о котором столько трещало в последние дни берлинское радио, противник принужден бросать против них, горстки людей, действующих в глубоком его тылу, войска, артиллерию. Значит, задача партизан выполнена, и, даже отступая, они отрывают от фронта, отвлекая на себя, хоть немножко, хоть самую малость вражеских сил. Пусть база взорвана, пусть приходится в этой духоте тащиться без дороги в глубь пересохших болот, навстречу новым, неизвестным бедам и испытаниям — ничего, ничего! Ведь они в строю, они же и отходя воюют!

— Разве мало таких, как мы? — неожиданно для себя сказал вслух Николай.

Муся удивленно глянула на него и почему-то поняла: «Он думает о том же, о чем я». Поняла и легонько пожала его руку.

— Муся, это мерзко, конечно, но я вот радуюсь, что ты не улетела.

Девушка облизнула пыльные сухие губы и еле заметно улыбнулась. В горле так саднило, что больно было говорить.

— Ты знаешь, о чем я сейчас думала? — прошептала она.— Вот мечтаю, что вдруг вот тут, среди болота, возьмет да и появится парзанная будка. У нас была такая в городе, на площади перед банком. Мы, девчонки, в перерыв все бегали туда ситро пить или газированную с сиропом... И в будке сколько хочешь зеленых бутылочек, в которых со дна поднимаются прозрачные пузырьки... Ух, вкусно!

Ничего не сказав, Николай тихонько пожал ей руку и исчез в пыли. «Куда это он?» — вяло подумала Муся и снова взялась за грядку фуры.

Раненые все еще тянули — и уже без слов — знакомый мотив, который теперь звучал грустно. Огненные разноцветные круги снова поплыли перед глазами девушки. Она пошатнулась, уцепилась за фуру обеими руками. «Только бы не упасть, тогда уже не будет сил подняться». Выждав такт, она вздохнула поглубже и, стараясь отогнать от себя оцепеняющее забытье, тихо запела:

Отец сыну не поверил,
Что на свете есть любовь...

Последнюю ноту она растянула, и та долго звенела в пыльной духоте. Черный присел на фуре. Улыбнувшись, он поддержал песню, и они вместе согласно и громко закончили:

Веселый разговор.

Анна Михеевна, дремавшая среди узлов, очнулась и удивленно посмотрела на раненого.

— Эх, сестреночка, хоть песню вместе споем,— начал было Черный.

Но Муся уже запела второй куплет. Приподнялся на локте Бахарев и ошалело посмотрел на поющих. Должно быть не выходя из полузабытья, бессознательно подчиняясь зовущей силе девичьего голоса, он хрипло подтянул.

Немец перестал стонать и удивленно, даже со страхом смотрел перед собой, стараясь понять — действительно ли поют его немощные соседи по фуре и эта тоненькая девочка, сгибающаяся под непосильной ношей, или это чудится ему в бреду?

Заводя третий куплет, Муся слышала, что поддерживают ее не только с фуры.

Ну да, колонна подхватила песню. Разрастаясь, ширясь, она уносилась все дальше и дальше, уходила в густую мглу. Как магнит железные опилки, стягивала песня людей туда, где звенел голос запевалы. Колонна уплотнилась. Задние подтягивались. Подле госпитальной фуры сбивалась толпа, неясно темневшая во мгле.

Чудное, удивительное совершалось на глазах. Песня, точно свежим ветром, овевала усталые лица, будто ключевой водой смачивала пересохшие рты. Люди поправляли на плечах ящики, мешки, части разобранных пулеметов. Им казалось, что и груз полегчал, и меньше болят натруженные спины, и уже не такой душной сушью дышит болото.

Чувствуя и на себе освежающую силу песни, радуясь, что искусство, которому она мечтала посвятить жизнь, могущественно даже и в таких условиях, Муся, как только отзвучали последние слова старинной песни, поспешила завести новую, ту, что по вечерам с особой охотой певали партизаны.

По долинам и по взгорьям,—

почти выкрикнула она, боясь, что ее не поддержат. Но уже много голосов дружно и сильно подхватили:

Шла дивизия вперед...

И не столько понимая, сколько чувствуя, что у нее устанавливается связь со всей усталой колонной, что песня дает ей волшебную силу бодрить людей, девушка закрыла глаза и уже тише и мелодичнее вывела:

Чтобы с бою взять Приморье,
Белой армии оплот.

Эти последние слова заглушил пронзительный разбойный свист. Засунув два пальца в рот, сверкая белками глаз, свистел Черный, свистел ритмично и самозабвенно, должно быть вовсе позабыв в эту минуту о своих ранах.

Любимая песня захватила всех. И девичий голос, взмывавший в начале куплета, тотчас же тонул в хоре хриплых, нестройных голосов, которыми, как казалось, гудела теперь сама эта бурая мгла.

Чувствуя, как крепнет власть, которую дает ей песня, власть побеждать усталость, жару, жажду, власть бодрить, вселять уверенность, Муся старалась, чтобы песни не стихали, и самозабвенно заводила их одну за другой.

Сначала перепели любимые предвоенные песни: «Катюшу», «По военной дороге», «То не тучи — грозовые облака», «Три танкиста», «В путь-дорогу дальнюю», потом партизаны постарше завели «Кузнецов», «Отряд коммунаров», «Паровоз», «Смело мы в бой пойдем» и даже давно позабытую «Комсомольскую», в которой Муся знала один только удалой и не очень вразумительный припев: «Сергей-поп, Сергей-поп, Сергей — валяный сапог». Потом, когда и эти песни иссякли, придвинувшиеся к госпитальной фуре старики мастера и бригадиры из депо запели «Варяга», «Шумел, горел пожар московский», «Златые горы», и дальше уже сами как-то возникли ста-

родавние полузабытые солдатские песни с припевами вроде «чубарики-чубчики» и словами, отнюдь не рассчитанными на девичье ухо.

Некоторые из этих песен девушка даже и не слыхивала. Запевали другие. Песни рождались сами, как казалось загораясь одна от другой, и Муся, схватив мотив, подтягивала без слов, думая о том, как хорошо все-таки, что она настояла на своем и пошла в музыкальное училище, как славно быть певицей у такого певучего народа и какая же это, черт побери, могучая штука — музыка.

Давно ли девушка, как переспевший колос, клонилась к земле под непомерной ношей? Давно ли у нее подламывались ноги и земля плыла и покачивалась? И вот Муся идет уже бодро, прямо, даже не держится за грядку фуры, идет, позабыв о предстоящих испытаниях. Вот бы сразу догадаться запеть.

Наконец прозвучала долгожданная команда:

— Привал!

Муся сбросила с себя мешок, помогла раненым и больному сойти с фуры и с наслаждением растянулась на сухом мху. Каждое движение доставляло боль, каждый мускул ныл. Стоило усилий, чтобы сдержать стон. Немного передохнув, она, как опытный пешеход, разулась, осмотрела натруженные ноги. Как ни тщательно обулась она перед походом, пятки все же были намяты, жарко горели. Сорвав седой мох, она зарыла ноги во влажный, прохладный, рассыпчатый подзол.

«Ах, если бы еще глоток воды! — думала она.— Хотя бы только губы помочить».

Точно угадав это ее желание, с котелком в руке появился Николай. С закоптелых боков котелка падали светлые капли.

— Еле вас отыскал! Ни черта не видно, такая пылища! — сказал он, отдавая котелок девушке.

Сбросив с себя ящики, он с легким вскриком расправил плечи. Муся припала к воде сухими, потрескавшимися губами. Она сделала несколько больших судорожных глотков, остановилась, чтобы передохнуть, и тут заметила пристальный, до жути пристальный взгляд.

Немец ничего не говорил, но его бесцветные глаза, жадно смотревшие из-под опаленных ресниц, были не в силах оторваться от капель, падавших ей на колени. И такое страдание, такая мольба была в этом взгляде

обожженного, что девушка быстро протянула ему котелок.

— Данке шен,— благодарно прошептал Кунц, осторожно принимая котелок в дрожащие руки.

Обожженный пил с неистовой жадностью. Глотки шариками катились в горло, шевеля волосатый кадык.

Муся незаметно слизнула с рукава и с подола гимнастерки упавшие капли. Но когда Кунц наконец отвалился от котелка и вернул его, девушка равнодушно сказала, что уже напилась, и остаток предложила Черному. Тот сердито затряс головой:

— Не надо. Пей, пей сама...

— Ну, как хотите.

Девушка передала котелок Бахареву. Больной жадно схватил его, допил и даже облизал влажные стенки.

Муся положила голову на жесткий мешок, закрыла глаза, стараясь не думать ни о воде, ни о самолете, все еще гудевшем где-то над головой, ни о том, что снова скоро предстоит идти неведомо куда и неведомо еще сколько.

Она лежала в полной неподвижности, и каждый ее мускул радовался покою.

29

Отряд шел уже двое суток.

По-прежнему над однообразным, унылым болотом стояла сухая мгла. По приказу Рудакова суточный рацион был снижен до полутора сухарей, а последние личные запасы были уже доедены. Однако двигались, не сбавляя темпа. Понемногу втягиваясь в поход, люди шли даже легче, чем в первый день. Подспорьем в питании служили ягоды голубики да рано созревшая в это жаркое лето клюква, которой в здешних местах было так много, что иные кочки издали казались розовыми, а ягоду можно было собирать горстями. На привалах котелки и фляги наполнялись водой. Паровозники, привыкшие к жаре топок, научили других воду эту в дорогу слегка подсаливать. Те, что следовали этому совету, не так потели, их меньше мучила жажда.

Большинство шло теперь босиком, приторочив сапоги и ботинки к вещевым мешкам. Карателей по-прежнему не было слышно, и только вражеский воздушный разведчик,

теперь уже не «фриц с оглоблями», а небольшой самолет, который успел получить в колонне прозвище «костыль», не отставал от партизан, все время кружился поблизости, должно быть находя колонну по бурому хвосту пыли, долго стоявшему в неподвижном воздухе.

Этот «костыль», издали похожий на журавля с поджатыми ногами, не отставал от колонны, но и не обнаруживал никаких враждебных намерений: не обстреливал, не бросал бомб и даже не приближался. Вот это-то больше всего и беспокоило Рудакова. Он чувствовал, что штаб карателей не сводит глаз с колонны и что-то, очевидно, подготовляет. Но что можно было этому противопоставить? Кругом, на сколько хватал глаз, простирался серый кочкарник, поросший маленькими подагрическими деревцами. Зайцу и тому негде было спрятаться, а не то что колонне с обозом и вьючными конями. Единственным спасением было — поскорее миновать открытые места, достичь леса. Командир все чаще поглядывал на карту, укорачивал отдых и торопил людей.

— Темпы. Эй там, темпы! — все время передавалась по колонне его команда, повторяемая разными голосами.

На заре третьего дня Рудаков послал Николая с тремя комсомольцами обратно — разведать уже пройденный путь. Разведчики вернулись усталые, возбужденные, бронзовые с ног до головы от покрывающей их торфяной пыли. Предположения командира оправдались. Вслед за колонной, отстав от нее километров на десять, двигалась в пешем строю крупная вражеская часть. Ее сопровождало десятка два вьючных коней с пулеметами и минометами небольших размеров. Николай, ближе других подползавший к вражескому бивуаку, заметил, что преследователи тоже утомлены, отощали, заросли грязным волосом.

Все решала скорость. Рудаков поднял своих уже расположившихся было на дневку людей и, нарушив им самим установленный порядок ночного движения, приказал немедленно выступать. Колонну он перестроил. Сильный авангард он заменил многочисленной разведкой. Вслед за ней пошли повозки с боеприпасами, продуктами, с ранеными, затем — малообстрелянные и неопытные еще новички. Хвост колонны Рудаков прикрыл боеспособной группой из железнодорожников. Поставив колонновожатым Власа Карпова, сам он вместе с адъютантом и начальником штаба перекочевал в арьергард.

Теперь во главе колонны шагал высокий человек с маленькой белокурой девочкой на плечах, лучшего колонновожатого Рудаков не мог и придумать. Партизаны любили молчаливого Карпова. Идя во главе колонны, он нес дочь, как боевое знамя, как символ родины.

Девочка то дремала, привалившись к голове отца, то что-то лепетала, озираясь вокруг. Отец ее не слушал. Неутомимо отмеривал он машистые, упругие шаги.

— Папка, папка же, гляди — опять самолет! Вон он, «костылик» вчерашний. Видишь, кружит?

Карпов встрепенулся. В этот день с рассвета навстречу колонне подул сильный и острый северный ветер. Он дышал бодрящей прохладой, относил в сторону поднимаемую ногами сухую, бурую торфяную пыль. Горизонт очистился, и приближающийся самолет был хорошо виден. На старого знакомого партизаны не обратили внимания. Когда же самолет, снизившись, попытался пролететь над колонной, они открыли стрельбу из винтовок. Самолет отвернул в сторону и ушел, скрылся.

О нем уже забыли, когда вдали вновь послышался неровный нарастающий гул.

— Папа, гляди, «костылик» еще «костыликов» ведет! — радостно объявила Юлочка.

Сидя у отца на плечах, она словно бы выполняла обязанности поста воздушного наблюдателя.

Партизаны оглядывались. Шесть темных черточек висели в небе над болотом. Приближаясь, они быстро росли...

— Колонна, рассыпься! — донеслась переданная сзади команда, но бывалые воины уже и сами разбегались по сторонам и, рассредоточившись, замирали меж кочками. Только вороненые стволы винтовок поднимались с земли навстречу приближавшимся самолетам.

Но самолеты опять обошли колонну, опередили ее и вдруг пошли перед ней по широкому кругу. Они летели неторопливо, низко, и было видно, что от хвостов у них отделяется и падает что-то мелкое, едва приметное, точно бы горох. Лежа меж кочками, партизаны гадали: что все это могло бы значить? А самолеты продолжали описывать все более широкие полукружья, постепенно удаляясь на север.

Так как ничего не взрывалось, люди успокоились, поднялись. Колонна снова тронулась в путь.

Моторы уже стихли вдали, когда вдруг на местах, над которыми только что кружились самолеты, появились красноватые неяркие огоньки и серые дымки. Частокол из этих дымков как бы преградил колонне путь. Он поднимался все выше и выше. Ветер ломал столбы дыма, гнул их навстречу партизанам, серой лохматой шкурой расстилал, волок его по болоту.

К голове колонны, прилегая к шее взмыленного коня, во весь опор проскакал адъютант командира. Его догоняла переданная по колонне команда Рудакова:

— Нажать! Ускорить движение.

Сизоватая шкура тяжелого дыма уже ложилась под ноги партизан. Душно запахло гарью. Все поняли, что каратели подожгли впереди колонны торф и что пожар, быстро раздуваемый порывистым ветром, наступает на них с севера, с запада и с востока, как бы беря колонну в клещи. Только сзади еще виднелся затуманенный горизонт, к которому, извиваясь, уходил хвост колонны. Казалось, там, позади, и было спасение.

Влас Карпов нахмурился. Он снял притихшую дочку с плеча, укрыл полами куртки, прижал к себе и, не оглядываясь, пошел, почти побежал навстречу разгоравшемуся пожару. Молодые автоматчики, те, что составляли небольшой авангард, двинулись за ним. Подпрыгивая на кочках, переваливаясь с боку на бок, потянулись им вслед подводы и госпитальные фуры.

Но средняя часть колонны, где шли новички, затормозила движение, сбилась в кучу. Колонна разорвалась. Передние уже исчезли в дыму, а те, что остались, топтались на месте, то с надеждой оглядывались назад, где еще оставался не затянутый дымом проход, то со страхом смотрели на обоз, быстро приближавшийся к багровой кромке огня.

Подходили новые и новые люди, толпа быстро росла. К остановившимся подскакал адъютант Рудакова

— Почему встали? Давай вперед!

Он спешился, его тотчас же окружили со всех сторон.

— Командир приказал вперед, ну!

— Так куда ж, в огонь, что ли?

— Горло-то драть легко, а заживо жариться — кому охота?

Партизаны видели, как исчезают в дыму последние подводы, и в глазах их появился даже не страх, а ужас.

— Эх, погубят раненых ни за что...

— Давай, ребя, поворачивай! — кричал маленький окруженец в шинели без хлястика, в пилотке, надвинутой на уши, как бабий чепец.— Назад, кто жив остаться хочет!.. Чего тут топтаться!

— Куда назад? Товарищи, там же фашист засады выставил... На пулеметы? — вскричал адъютант, срываясь с твердого командирского тона на просящий, мальчишеский.— Как это назад, когда вперед приказано. Что вы?

Но его никто не слушал. Колонна сбилась в толпу, и растущая толпа эта гудела растерянно и страшно.

— Кто приказал, кто? Где он, командир? Нас в огонь, а сам где? — надсадно кричал маленький в пилотке чепцом.— Немцам он предался, ребята!

— Ты что гавкаешь? — не вытерпел адъютант и бросился было на крикуна.

Но толпа стеной преградила ему дорогу.

— А где командир! Где?

— Что ж, верно, гореть людям?

— Завели в огонь начальнички...

— Бей рудаковского прихлебалу! — кричал из-за спин все тот же маленький окруженец.

И чьи-то руки действительно уже схватили адъютанта за ремни новенькой, скрипучей портупеи...

— Братцы, вы что, вы что? — бормотал побледневший адъютант, растерянно оглядываясь по сторонам. Сильные руки крепко держали его.— Товарищи, вы подумайте...

— Говори — где командир? — сурово спрашивали голоса.

— Где-где! Известно где, у немцев шнапс пьет,— куражился окруженец, издевательски вертясь перед разъяренными глазами адъютанта.— Шнапс пьет да над нами смеется: завел дураков в огонь, горите, как шишки в самоваре, а сам...

Он смолк на полуфразе, попятился, а толпа, сразу стихнув, точно бы раскололась, пропуская Рудакова. Командир шел неторопливо, спокойный, обычный. Только прищуренные его глаза точно бы прицеливались в лицо маленького окруженца.

— Горите, как шишки в самоваре... А дальше? Договаривай. Что ж смолк? — спросил он, и всех поразили будничные интонации его голоса.

Окруженец пятился от него, как от привидения.

— Ну, ну! — торопил Рудаков.

— Не верь ему, ребята, его немцы купили! — взвизгнул вдруг окруженец и вскинул было новенький автомат.

Чья-то сильная рука, протянувшаяся сзади, выбила у него оружие. Он попытался его поднять. Высокий, обросший седой щетиной партизан наступил на автомат ногой. Окруженец метнулся было в толпу, но она не приняла, оттолкнула его. Отскочив, как мячик, от плотной стены людей, он опять очутился перед Рудаковым лицом к лицу.

Адъютант, которого уже отпустили и который стоял, с обидой и смущением посматривая на партизан, схватил окруженца.

— Отпусти,— приказал ему Рудаков и, обратившись к окружающим, спросил: — Вам этот субчик теперь ясен?

Он спросил негромко и неторопливо. Удивительная организующая, дисциплинирующая, сплачивающая людей сила была в этом его всегдашнем спокойствии.

— Ясен, товарищ Рудаков,— пристыженно сказал партизан, ближе других стоявший к командиру.

— Теперь расшифровался вовсе... Он еще там, в лесу, народ мутил... Все жужжал, как слепень какой...

— А куда он вас звал — понятно?

— Поняли, товарищ командир! — выкрикнул широкоплечий белокурый парень, что тоже был в шинели без хлястика и без петлиц.— Вместе с ним мы в отряд пришли, он еще и тогда мутил, да не поняли мы, думали, он с испугу.

Маленький окруженец еще раз попытался поднять автомат, но партизан ногой отбросил его, он вскочил и заметался в кольце людей, которое все сужалось...

— Вы что? Вы что? Я ж свой. Я чего, я ничего...— бормотал он, бросаясь то к одному, то к другому, но всюду натыкаясь на суровые, непреклонные взгляды. Тогда вдруг он бросился к ногам Рудакова: — Не убивайте, все скажу, все, все... Не охотой к ним шел, не сам, заставили... Братцы, пощадите, заставили изверги, пощадите...

Окруженец как загипнотизированный смотрел на худую веснушчатую, поросшую светлым волосом руку, медленно поднимавшую пистолет.

— Не буду, истинный бог, не буду, все скажу... А-а-а!..

Два коротких выстрела оборвали этот крик. Рудаков поднял с земли автомат, отдал высокому партизану.

— Забери.— И добавил негромко: — Вот что. Каждый, кто тут паникует, хочет он того или нет, фашисту служит. Понятно? А теперь — вперед! За мной!

Рудаков подхватил коня за повод, бросился в направлении разгоравшегося пожара. И все, кто минуту назад толпился в страхе и нерешительности, теперь, будто сорванные и подхваченные вихрем, кинулись за ним в дым, точно бы даже боясь оторваться от своего твердого, уверенного командира. Потом двумя четко обозначенными цепями быстрым шагом проследовала за ними гвардия отряда — железнодорожники, прикрывавшие его с тылу.

На истоптанном сапогами желтом сухом мху осталось лежать скорченное тело.

Кольцо пожара вблизи оказалось не таким уж страшным. Пока что тлел только мох. Торф не успел разгореться. Зажав рты и носы руками, полами гимнастерок, шапками, люди бежали прямо по низкому пламени, вздымая столбы черной золы и искр. Труднее было провести через пламя храпевших, взвивающихся на дыбы коней. Но и их в конце концов вывели.

Только надутые шины госпитальных фур полопались от жара. Раненых стало неимоверно трясти на кочках. Их пришлось пересадить на верховых коней, привязать ремнями к седлам. Бахарева водрузили на командирского коня. На плечи ему накинули одеяло, концы которого завязали на груди. Он был в бреду, и все почему-то казалось ему, что он мальчишкой едет в ночное. Старик подскакивал в седле, шпорил пятками коня, которого Муся вела под уздцы. Изредка она оглядывалась на больного. Его глаза на обросшем, исхудавшем лице горели мальчишеским азартом, серые губы улыбались. Девушке становилось жутко.

Недаром вражеские самолеты кружились над болотом. За первой грядой еще не разгоревшегося пожара оказалась вторая, за второй — третья. Ветер раздувал тлеющий мох, кое-где уже просачивалось на поверхность красноватое низкое пламя.

Горький дым густел и становился все более удушающим.

Но то, что хоть раз сумеешь преодолеть или победить, уже не пугает на войне.

Партизаны, равняясь на темневший силуэт идущего впереди, ускоряли шаг. Тучи золы и искр вздымались из-под ног, жаля лица и руки. Загораживаясь, дыша через материю, люди старались не потерять направления, не заблудиться. Более крепкие вели обессиленных, несли их

оружие. Некоторых пришлось тащить на руках. Шли и все время перекликались, будто дети в лесу.

Клубы горького дыма, кипящего вокруг, казалось, сами переговаривались хриплыми, усталыми голосами:

— Петька, жив, черт?

— Жив. Прокоптился, как окорок...

— Иваныч, эй! Иваныч!

— Здесь я... Ну и дымище.

— Киселев, ау!

— Да тут я, не ори в самое ухо...

— Ох, ребята, сил нет, дайте кто-нибудь опереться...

Муся, порой ничего не видя перед собой и ориентируясь лишь на крики, вела лошадь, на которой качался тифозный. Бахарев то стонал, то скрежетал зубами, то вдруг принимался хохотать. Надо было следить за тем, чтобы он не отвязался, не упал в тлеющий мох, не задохся в дыму. Забота о больном, беспомощном человеке отвлекала девушку от тягот этого страшного пути.

— Кто тут лежит?

— Свой, свой... Помогите встать, братцы...

— Ой, штаны тлеют... ой... ой...

— А ты не ори, гаси сам, пожарную команду не жди...

— Петька, жив?

— Жив пока.

— Ну и то слава богу.

Сколько они шли в этом горьком, жгучем дыму, что сейчас — день, вечер или ночь,— девушка не могла уже сказать. Где-то уже в конце пути она случайно наткнулась на Николая, но отнеслась к этой встрече равнодушно.

За плечами у юноши, кроме прежнего груза, болталась еще чья-то винтовка. Обняв за плечи, он помогал идти какому-то пожилому человеку, который громко стонал:

— Ой, силов нет, внутренность дым выел! Ой, не бросай меня, парень, ноги не идут! Ой, смерть пришла!

Николай не заметил Мусю. Лицо у него было как каменное. Ведя старика, он прошел мимо скованным шагом, устремив взгляд вперед.

И снова шли, шли, шли, перекликаясь хриплыми голосами...

Муся была в таком состоянии, что даже не помнила, как она взобралась на какую-то песчаную горку. Дым вдруг поредел. Пахнуло хвоей. Под ногами захрустел

суховатый вереск. И только тут, вдохнув посвежевшего воздуха, девушка остановилась и огляделась. Теперь можно было рассмотреть, что русло почти пересохшего ручья привело партизан к песчаному склону какого-то холма. Оказывается, был еще только вечер, и стволы стройных мачтовых сосен пламенели в оранжевых лучах заката.

А внизу, у подножия холма, темный, с седыми подпалинами дым низко стлался до самого горизонта. Из этого дыма, как из моря, пошатываясь, поддерживая друг друга, выходили закопченные люди. Они невысоко поднимались по косогору, жадно хватали раскрытыми ртами воздух и тут же падали на землю. Весь скат темнел от бессильно лежавших тел, а из мглы продолжали возникать все новые и новые фигуры.

Опять появился Николай. Он был уже без старика, но с ящиками, с автоматом и винтовкой. Девушка окликнула его, но Николай не услышал — так слаб был ее голос. Опираясь спиной о дерево, партизан обводил глазами скат, усеянный лежащими людьми. «Меня ищет»,— догадалась Муся и улыбнулась.

Чувствуя, как и ее самое неудержимо тянет опуститься на землю, она помогла больному спуститься с седла, устроила его под сосенкой, хотела было привязать к дереву повод, но уже не хватило сил, и она прикорнула у ног коня.

Все еще жадно вдыхая холодный воздух, будто стремясь наглотаться впрок, Муся закрыла глаза и сейчас же уснула. Но и во сне она продолжала идти, идти через силу, задыхаясь и волоча подгибающиеся ноги.

30

Так шла она во сне по дороге, которой не было конца. Вдруг что-то остановило ее. Девушка испугалась. Ведь нужно же идти, идти во что бы то ни стало! Но что-то непонятное, страшное держало ее на месте, не пускало. Напрягая силы, она рванулась и... проснулась. Холодная луна светила в лицо так ярко, что на миг Муся зажмурилась. Когда она снова открыла глаза, над ней склонилось лицо адъютанта.

— Наконец-то! Ну и спишь ты! — говорил он.— Быстро к командиру! Целый час тебя искал да полчаса будил.

Муся вскочила, испуганно оглянулась, ища коня. Конь, подремывая, стоял тут же под сосной. Привязав повод, девушка подняла свой тяжелый мешок и пошла следом за адъютантом. Шла, поеживаясь от холода, нервно зевая.

— А зачем я понадобилась, не знаешь? — осведомилась Муся.

— Там скажут,— вздохнул адъютант, и по уклончивому его ответу девушка поняла, что ничего хорошего ее не ждет.

Костры догорали, слабо рдея углями, а иные и совсем потухли. Всюду лежали спящие люди. Слышались тяжелый храп, непонятное бормотание. Кто-то кричал во сне. Бодрствовали только часовые, возникавшие из тьмы то там, то тут.

— Москва? — вопросительно спрашивали они.

— Хабаровск,— отвечал адъютант.

Законы охраны, насчет которых Рудаков был всегда строг, уже действовали и на этой стоянке.

У большого костра на каких-то узлах спала Юлочка. Возле нее на разостланной плащ-палатке лежал командир. Он задумчиво грыз кончик карандаша и, даже не оглянувшись на адъютанта, приближение которого он угадал по скрипу сапог, проворчал:

— Вас только за смертью посылать! — И, обернувшись к Мусе, указал на свободный край брезента: — Садись, Волкова, длинный разговор будет.

Муся села, посматривая на Рудакова и стараясь угадать, зачем ее позвали. Но тот почему-то стал расспрашивать ее о лесном лагере «Красного пахаря», о поголовье скота, о характере урочища в районе Коровьего оврага, о дороге, по которой она шла. Потом развернул западный конец карты, склеенный на сгибах целлофановой бумагой, и долго рассматривал ее.

— Переходили речку вы тут? — спросил он, ткнув карандашом в голубую жилу, вьющуюся по карте.

Девушка глянула ему через плечо, прочла знакомое название деревни.

— Тут. А что?

Не ответив, командир попросил поподробнее описать подходы к броду, самый брод.

— Мы пойдем туда? — оживляясь, спросила Муся. У нее появилась надежда увидеться с Матреной

Никитичной, бабкой Прасковьей, Рубцовым, о которых она теперь думала, как о родных.

— Возможно, возможно,— ответил Рудаков и, положив карандаш на карту, покосился на лицо девушки, на котором боролись тревога и радость.— И не возможно, а факт! Можешь писать письмо своей подруге. Дней через десять вручу.

— Письмо? Зачем письмо? А я?

— Ты пойдешь в другую сторону, на восток, будешь пробираться через фронт,— твердо сказал Рудаков, глядя в глаза Муси.— Последний приказ штаба гласит: доставить ценности. Второй самолет, прилетавший за ними, мы принять не смогли. Так? Ну вот, нужно нести.

Девушка испуганно и с обидой смотрела на командира.

— А почему обязательно мне? Вот новости...

— Во-первых, потому что у тебя есть опыт. Да, да, и не маленький. Во-вторых, я не хочу лишать тебя возможности донести до конца то, что ты так хорошо начала. И в-третьих, приказ командира не обсуждается, партизанка Волкова.

Эти последние слова Рудаков произнес сухо, жестко, но, заметив, что серые глаза девушки заплывают слезами, добавил:

— С тобой пойдут этот... ну, все забываю фамилию... ну, ремесленник, как его, ну, Елка-Палка и Николай Железнов... Железнов будет начальником вашей группы.

Видя, как сразу изменилось выражение лица девушки, командир усмехнулся.

— Теперь возражений нет? Ну, то-то! Вместе душещипательные романсы по дороге будете распевать, чтобы веселей идти... Так вот, пиши письмо подружке... И родителям напиши... Мало ли что...— Он помедлил, но сейчас же спохватился: — Может, мне вперед тебя удастся письмо доставить.— И, должно быть, для того, чтобы поскорей загладить обмолвку, он сердито спросил адъютанта: — Разведчики вернулись?

— Никак нет! — вытянувшись, доложил тот.

Рудаков поморщился, точно от зубной боли.

— Ступайте. Вернутся — доложите. А ты, Волкова, оставайся. Возьми в моем планшете бумагу и берись за письма. Можешь здесь писать,— сказал Рудаков, снова склоняясь над старой картой.— Не люблю быть один, просто не могу, привык среди людей толочься.

— А Николай... товарищ Железнов согласился? — поинтересовалась Муся.

— Что? — не сразу оторвался от карты командир.— Ах, Николай! Попробовал бы он не согласиться... на таких условиях... Так, говоришь, на броде грунт каменистый? Гряда на перекате широкая, фуры пройдут?

В неровном свете то затухавшего, то вновь разгоравшегося костра холодные звезды то тускнели, то вновь ярко зажигались на бархате сентябрьского неба.

Разложив на командирском планшете бумагу, Муся обдумывала свое послание.

Наконец-то можно написать родным. Но что, что написать? Рудакову не удалось спрятать свою обмолвку, девушка успела подумать и оценить его «мало ли что». Но и без этого она понимала, на что идет. Стало быть, нужно написать так, чтобы и мать, и братишки, и сестренка знали, какой была она, о чем думала на случай «мало ли что»... Обычно девушка даже и в мыслях избегала слово «смерть». Но в эту минуту не думать о ней она не могла. «Э, что там мудрить, разве дело в словах?» — решила наконец Муся, и карандаш быстро побежал по бумаге. Мысли нахлынули разом, и она едва успевала записывать их.

Написав, девушка прочитала написанное и задумалась. Снизу, от подножия холма, где курился посеребренный луной дым, несло промозглым осенним холодом. Ледяная луна блестела в небе. Брр! Муся погрела над огнем руки, печально вздохнула и приписала:

«Крепко, крепко всех вас обнимаю, моих родных, любимых и дорогих, все время думаю о вас, мечтаю о встрече. Ваша Муська-Ежик».

Она не успела заклеить конверт, как из тьмы к костру вышел Николай. Он был так черен, что лица его на темном фоне неба нельзя было разглядеть, и только зубы да белки глаз золотисто поблескивали отсветом костра.

— Противник приближается к высотке вот оттуда, с юго-востока. Сейчас километрах в семи,— доложил разведчик, косясь на Мусю, на конверт в ее руке.

Девушке показалось, что от этой вести Рудаков вздрогнул и еще ниже склонился над картой, точно на спину ему легла тяжесть.

— Идут медленно, по той же самой низине, что и мы, вдоль ручья. Свернуть им некуда, кругом горит,— продолжал Николай.— Растянулись, видать, уже выматываются.

Командир вскочил на ноги.

— Адъютант, будите людей Карпова. По левому краю холма, вон там и там, копать пулеметные гнезда. Копать в полный профиль. Прочно. И чтоб не спать на ходу!

Подождав, пока скрип сапог адъютанта стих, командир обернулся к Николаю.

— Смотри на карту. Мы будем сейчас отходить на запад. Вот по насыпи узкоколейки, по которой торф возили,— видишь? Она песчаная, ее никакой химией не подожжешь, а кругом пусть горит, даже лучше: с фланга не обойдут... Мы пойдем, а ты, она,— он кивнул на Мусю,— и этот твой Елка-Палка пойдете на восток. Ну, чего смотришь? Правильно понял, на восток. Вот хотя бы по этой осушительной канаве.— Он показал черную линию пунктира, протянувшуюся от высотки через болота к лесу, пятна которого зеленели у самого обреза карты.— По канаве идти лучше, она, наверно, и сейчас полна водой, безопаснее от пожара. Понял?

Рудаков выпрямился и вдруг, как бы сразу превратясь в настоящего кадрового офицера, холодным, металлическим тоном произнес:

— Партизан Железнов, вы — начальник группы. Приказываю вам любой ценой доставить через фронт ценности. Ясно? За сохранность отвечаете головой.

Николай и Муся сразу тоже подобрались и застыли в положении «смирно».

— Есть доставить ценности, товарищ командир! — коротко отрубил Николай.

Рудаков, поеживаясь, наклонился к костру, зябко протянул худые руки. Николай сходил в лес, вернулся с охапкой хвороста, подбросил сухих веток.

Костер затрещал, взвихрилось желтое пламя; искры полетели к небу. Звезды погасли. А тьма, обступившая костер, сразу уплотнилась. Откуда-то с опушки уже слышались голоса, позванивали лопаты. Топор гулко рубил дерево.

— А зачем же укрепления, товарищ Рудаков? — поинтересовался молодой партизан.

— Все же уйдут...— добавила Муся.

Рудаков еще ниже склонился к огню. Девушке показалось, что на вопрос этот ему тяжело отвечать.

— Укрепления? — Он вздохнул.— Укрепления для обороны. Их надо будет держать, пока мы не оторвемся от противника.— Командир выпрямился, стукнул сапо-

гом по торчавшей из костра головне. Целый вихрь искр взмыл в ночь.— Ну, ступайте, готовьтесь в путь. Начхоз выдаст по вашей заявке все лучшее, что имеем. Лишнего не набирайте. И еще — мальца этого предупредите, я с ним уже говорил. Кстати, а нужен ли он вам?

Рудаков по очереди испытующе посмотрел на молодых людей. Муся и Николай опустили глаза. Почему командир об этом спрашивает? Ну конечно же, нужен! Этот ершистый, сердитый, пронырливый и смелый паренек может стать незаменимым товарищем в пути. Лучшего и не представишь.

— Ладно, идите втроем,— согласился командир.

Пока Николай и Толя тщательно распределяли и раскладывали по мешкам багаж, Муся, уверенная, что они отлично управятся и без нее, прилегла в кустах на подстилке из хвои и задремала. Сквозь дрему она слышала, как спутники ее пыхтели над мешками, слышала и улыбалась. Приятно было сознавать, что кто-то о тебе позаботится.

31

Уже приближался час рассвета. Побледневшая луна опускалась за лес. Все — деревья, трава, песок и даже одежда партизан — подернулось кристалликами инея. В этот предрассветный час коммунистов и комсомольцев позвали к командиру. Сбор состоялся у госпитальной фуры. Муся с Николаем пришли, когда все были уже на месте. Явилась даже старенькая Анна Михеевна. Был тут и раненый Черный, которому кто-то помог дойти. Он сидел у сосны, опираясь на нее спиной, и сосредоточенно строгал какую-то палочку.

— Товарищи, нам предстоит очень тяжелое испытание,— просто сказал Рудаков.— Мы вынуждены передислоцироваться в новый район... на запад. Железных дорог там много, без работы скучать не придется. А леса на сотни километров.

Командир остановился, потер ладонью шершавые усы. По жесту этому коммунисты, знавшие его много лет, поняли, что он готовится перейти к главному.

— Двинемся по насыпи узкоколейки. Она начинается тут, за холмом.— Рудаков взглянул в лица товарищей, быстро и твердо закончил: —Но наш отход нужно

прикрыть. Понимаете? Прикрыть минимум двумя ручными пулеметами. Вот с этой высотки надо преградить им выход с русла ручья на холм. В обход их огонь не пустит. Здесь надо держать фашистов, пока колонна не оторвется... пока сил хватит... Вот так...

Стало тихо. Только снизу, с сухого болота, должно быть, очень издалека, ветер доносил гулкое потрескивание горящих кустов. Лица у партизан были задумчивые.

— Нужны два охотника, знающие пулемет,— тихо сказал Рудаков.— Я говорю — охотника, потому что придется биться до последнего. До по-след-не-го!.. Вот и все.

Сердце Муси забилось. Вот подвиг, о котором она столько мечтала. Это не то что нести мешок с этим, может быть, и нужным для страны, но — что поделаешь? — лично ей, Мусе Волковой, просто противным, просто ненавистным золотом. Да, именно она будет спасать отряд! Девушка взглянула на Николая — и точно в зеркало посмотрела. На широком, открытом лице юноши было то же волнение, та же решимость, и он так же испытующе смотрел на Мусю, как она на него. Они кивнули друг другу и, взявшись за руки, вместе шагнули к командиру. И одновременно с ними, правда не с такими торжественно-сияющими лицами, а буднично, деловито, двинулись и другие, так что кольцо людей вокруг Рудакова стало тесным и плотным.

От костра донесся хрипловатый, раздраженный голос Черного:

— Товарищ Рудаков, меня не забудь! Не похвастаюсь, сам знаешь — лучшего пулеметчика, чем Черный, в отряде нет.

Рудаков растроганно смотрел на сплотившихся вокруг него людей. Он знал всех их и, может быть, даже рассчитывал на такое единодушие.

— Товарищи, товарищи вы мои...— начал было командир растроганным, дрожащим голосом, но тотчас же перешел на деловой тон: — Раз все согласны, я сам выберу... Вы двое — нет; у вас другое задание, не менее важное.— Он решительно отстранил Мусю и Николая.

— Товарищ командир, давай сюда!— требовал Черный. Держась за дерево, он поднялся и стоял, прислонившись спиной к стволу.— Будь отцом, дай Мирко помереть за родину, как положено.— И, обращаясь за помощью к остальным, худой, колючий, он, сверкая белками

глаз, убеждал: — Какой я, к дьяволу, теперь партизан — с такими ногами. Обуза, таскай, води меня... Дайте, ребята, жизнь дожить на большой скорости, не обижайте. Цыган Мирко Советскую власть не подведет.

На него было тяжело смотреть. Всем хотелось, чтобы он скорее сел, но он продолжал стоять, вцепившись ногтями в кору сосны.

— Ладно, будь по-твоему, останешься,— медленно произнес Рудаков.

Командир продолжал смотреть на людей, теснившихся у костра, и каждый, на кого падал его взгляд, подавался вперед, будто во взгляде этом был заключен магнит. Командир на мгновение задумывался, затем взгляд его скользил дальше, останавливался на следующем, и следующий партизан с той же готовностью шагал к нему.

Муся, вся внутренне напрягшись, широко раскрытыми глазами наблюдала за происходившим. Оказалось, что все эти люди, среди которых были и пожилые и семейные, так же, как она и Николай, вызывались пойти на подвиг, только делали это буднично, даже как бы стесняясь того, что волнуются, и стараясь подавить и скрыть это волнение. Какой славный парень этот Черный! «Жизнь дожить на большой скорости»! Да, вот такие, как он, любящие жизнь, и идут спокойно на смертный бой. А Карпов! Девушка заметила, что лицо у старого партизана сегодня как-то особенно бледно и торжественно. Вот он ждет, когда на него поглядит командир, и, не дождавшись, сам двигается к нему.

— Меня оставь, Степан Титыч, не подведу железнодорожное племя.

Все обернулись. Карпов стоял подальше от костра, чем другие. Освещено было только его лицо. Партизаны знали, как ненавидит оккупантов этот пожилой молчаливый человек, потерявший дом, семью, знали его мрачную волю, его каменное упорство. Можно было бы спокойно уходить, зная, что, пока в этом сухом, жилистом теле бьется сердце, пока стреляет его пулемет, враг не подойдет к высотке. То же, должно быть, думал и Рудаков, глядевший на своего старого товарища. У костра воцарилась напряженная тишина. Она нарушалась только потрескиванием догоравших веток да отдаленным постукиванием саперных лопат.

Но вдруг, всех растолкав, прорвался в круг Василий Кузьмич, выскочил и загородил собой Карпова.

— Это почему ж такое тебя, скажи на милость? У тебя и внуки, и дочка — вон она спит! Вон, полюбуйся. Тебя!.. Придумал! А я на что? Я, брат, один, как семафор посередь поля, в жизни торчу. Все поезда мимо меня проходят. Его, ишь ты!.. Меня, меня оставляй, командир! Дай Кузьмичу на старости лет отличиться... А то выскочил: «Я»! Ты, брат, дочку воспитывай. Вон ответь людям, на кого Юлочку бросить собрался? Надумал, выскочил. Ишь ты какой горячий!

Даже в эту торжественную сцену Кузьмич ухитрился внести свою комическую суетливость. Он готов был шуметь и торговаться за право идти на это опасное, может быть, последнее задание. Наступая на командира, он бил себя в грудь сухонькими кулачками и, сделав плаксивую гримасу, уверял:

— Пулемет, слава те господи, изучил досконально. Вон Николку Железнова спросите, вместе изучали. Эй, Никола-угодник, ты где? Засвидетельствуй командиру. Тоже завели порядок: держать Кузьмича на затычку, а как где что серьезное — так других. Что, мне до самой смерти стрелки переводить?.. Хитрые! Степан Титыч, сделай милость, пусти Кузьмича на выдвижение.

— Не шуми. Будет по-твоему.

Рудаков обнял старика, прижал его к себе. Всегда холодные глаза командира, заставлявшие иной раз трепетать и самых неробких партизан, растроганно вглядывались в лицо Кузьмича, точно бы он хотел запечатлеть каждую его черточку.

Муся не выдержала. Она отошла от костра и из леса, из неосвещенной зоны, наблюдала, как по очереди прощались товарищи с Кузьмичом и Черным.

Кузьмич вдруг что-то вспомнил, хлопотливо извлек из кармана предмет всеобщей зависти — длинный, туго набитый мешочек с крепким самосадом, отсыпал себе горсть, подумал, добавил еще, а мешочек сунул в руку первому попавшемуся.

— Там поделите, всем раздай, пусть дымят да Кузьмича вспоминают: дескать, был такой кривой черт, курец отчаянный...

Николай одним из последних прощался с остающимися. Он долго обнимал Кузьмича, точно не мог от него оторваться, а старик сердито бормотал:

— Ступай, ступай, парень... И чтоб у меня в жизни не коптить, как головешка... Жми на всю железку... Сту-

пай, тебе пора... И еще вот что: отвоюешь — таким, как есть, оставайся! Жиром не заплывай... Ну, иди, иди. Жив будешь — отцу кланяйся. Не любил он меня, грешного. Ох, не любил. А ты ему скажи: вспомнил, мол, о тебе Кузьмич при прощании... Ну, иди же ты, длинный дьявол! Ну тебя...

Старик почти оттолкнул Николая и сейчас же повернулся к нему спиной. Николай подошел к Черному, но тот смотрел куда-то вверх и не заметил протянутой ему руки. Последней прощалась Муся. Кузьмич не удержался, спаясничал, вытирая рукой рот:

— Эх, хоть в заключение жизни с хорошей девчонкой поцелуюсь!

Подмигнув зеленым глазом, он неловко ткнул Мусю губами в щеку, но девушка крепко поцеловала его в шершавые, растрескавшиеся губы.

Потом она подошла к Черному, хмуро стоявшему у дерева. Партизан крепко схватил ее руку холодными сильными пальцами.

— И меня, и меня поцелуй...— зашептал он.— Поцелуй, девушка!.. Нет у меня никакой жены Зины, выдумал я жену Зину. Один я, как месяц в небе, никого у меня нет...

Муся невольно отпрянула, но сейчас же сдержалась, взяла Черного за плечи, заглянула ему в большие настороженные глаза.

— Не надо, уйди! — тихо сказал партизан, отводя ее руки.— Будь счастлива... Уйди, сделай милость.

Старый партизан, коновод Рудакова, подвел подседланного командирского коня и еще какую-то гнедую кобылу.

— Степан Титыч приказал вам оставить на случай эвакуации... Нас догонять,— сказал он угрюмо, и в голосе его слышалось трудно скрываемое сожаление.— Кони-то какие... Уж вы их берегите, под пули-то не суйте... Куда привязать-то?

— А поди ты со своими конями! Ставь куда хочешь! — вспылил вдруг Черный и, подчеркнуто отвернувшись от девушки, закричал Кузьмичу: — Пулеметы и диски пусть сюда несут, сам осмотрю! А то сунут барахло какое. А ты, старик, топай отсюда, нечего возле коней топтаться...

Через полчаса, еще затемно, отряд быстро спустился с западного склона высотки на насыпь узкоколейки и

тотчас же скрылся в горькой густой тьме. Некоторое время было еще слышно бряцание винтовок, сталкивающихся во тьме, фырканье, топот лошадей, дробный стук колес о шпалы, и наконец все стихло.

Николай, Муся и Толя сбежали с восточного склона, продрались сквозь заросли можжевельника и дикой малины, легко нашли глубокую осушительную канаву, спрыгнули в нее и быстро пошли в ту сторону, где сквозь дым уже заметно розовел, разгораясь все ярче и ярче, холодный погожий рассвет.

Когда поднялось солнце и первые лучи его, пронзив насквозь пласты дыма, побежали по болоту, золотя маленькие скрюченные березки, чахоточные сосенки и верхушки кочек, с запада, с лесистого холма, поднимавшегося из дыма, как высокий остров, и теперь сплошь залитого розоватым светом, послышался сухой, сердитый треск пулеметных очередей. Он доносился уже издалека и слышался не громче, чем отзвуки его эха. Этот механический, обычно неприятный на слух звук Муся восприняла как напутствие самоотверженных друзей, как великолепный гимн непобедимости партизанского братства и торжества духа советского человека.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Пулеметная стрельба, постепенно стихая, долго провожала трех партизан, быстро двигавшихся на восток. Шли они по дну глубокой канавы, местами совсем сухому, местами жмыхающему под водой, местами поблескивавшему бурой водой, задернутой радужной пленкой ржавчины. Влажный торф заглушал шаги, и путники, кроме собственного дыхания, слышали только эти — теперь уже отдаленные — звуки стрельбы, нарушавшие осеннюю тишину, что стояла над болотом.

Шли молча.

Впереди размашисто шагал задумчивый, хмурый Николай с автоматом на груди, с тяжелым мешком за плечами. За ним, то отставая, то пускаясь впритруску, семенил Толя, тоже с автоматом, с гранатами у пояса, с ножом за голенищем. Он нес мешок поменьше. Муся налегке, с маленьким офицерским «вальтером» у пояса, заключала шествие. Николай и Толя разгрузили ее от тяжестей. В рюкзаке девушки они оставили только легкую алюминиевую посуду да сверток плащ-палаток, взятых по ее настоянию.

Девушка шла легко, привычно. Думы ее были там, позади, где два самоотверженных человека вели сейчас неравный бой. Умудренная теперь в военных делах, Муся ясно представляла себе, что там происходит. Издали доносится частая, беспорядочная стрельба из автоматов. Это фашисты пошли в атаку. Но тотчас же начинают бить пулеметы. Все смешивается в сплошной треск. Потом автоматы разом смолкают. Пулеметы дают несколько очередей, и наступает тишина. Только хлюпает под ногами влажный торф.

Девушка облегченно вздыхает. Отбили! И она явственно рисует себе, будто видит это собственными глазами, как Мирко вытирает ладонью вспотевшее лицо, коричневое от пороховой гари, как Кузьмич, подмигивая, возбужденно и самодовольно посмеивается, как дрожащими пальцами свертывает он две цигарки — для себя и

для товарища — и бережно ссыпает табачные крошки обратно в свой толстый, как колбаска, кисет... Впрочем, нет, кисет с табаком он отдал уходившим, когда прощался. От этого воспоминания у девушки начинает щекотать в горле. Но снова злобно, бранчливо бормочут автоматы, снова, точно отругиваясь, упругими очередями отвечают пулеметы. И Муся опять мысленно видит Кузьмича и Черного, их злые, непреклонные лица, прильнувшие щеками к сердито прыгающим прикладам.

И вдруг рождается радостная надежда, что пулеметчики дотянут до темноты, что ночью, когда падет туман, они ускачут на конях, обманув противника.

Но вот к сухому, еле уже слышному треску стрелкового оружия стали примешиваться глухие короткие взрывы, будто кто-то в бочку кулаком бил.

— Гранаты,— предположил Николай, останавливаясь.— Подползли, прохвосты, и гранатами их глушат. Чу! Слышите?

— Ты что — гранаты! — прерывает его Толя.— Разве они с гранатами к себе подпустят? Слышь, елки-палки, пулемет... Какие ж тут гранаты? Из минометов фриц ударил, вот что! Минометы подтащил, из минометов садит...

— Ну, минометы там — дело дохлое, из минометов — новичков пугать. Видал, какие окопы им вырыли? Что им мина? Разве если только в самую маковку угодит...

Все трое, повернувшись назад, прислушиваются. Минометы смолкают. Снова возникает всполошенный автоматный треск, но опять его перекрывают пулеметные очереди, деловитые и будничные, как зудящая дробь пневматических отбойных молотков.

— Ух как, елки-палки, бьют!

Путники двинулись дальше. Муся задумчиво проговорила:

— Вот немцев прогоним, поставить бы на той высотке красивый мраморный памятник. И пусть бы на нем всегда красная звезда горела. Чтоб смотрели люди на эту звезду и вспоминали, как сражались тут партизаны.

— Звезда... Оно б здорово. Только сколько ж таких звезд пришлось бы ставить,— отозвался, не оглядываясь, Николай.— Мрамора на земле не хватит...

Путь был однообразный. Бесконечно отодвигались назад ровные черные откосы глубокой канавы, кое-где

поросшие серенькими замшевшими лапками мать-и-мачехи. Темно-розовые султанчики иван-чая низко склоняли свои набухшие щедрой росой головы в воротничках из пуха созревших семян. Иногда они дотягивались до середины канавы и, раскачиваясь, гладили путников по щекам. Ощутив прохладное прикосновение, девушка вздрагивала, с удивлением оглядывалась и снова погружалась в свои думы.

Теперь перед ней вставала картина прощания партизан, которую она наблюдала из темноты. Какие все это прекрасные души, как по-братски относились они к ней, бездомной девчонке, случайно попавшей в их лагерь! А Рудаков! Этот словно из стали отлит. Но как он стеснялся, когда там, на аэродроме, говорил о своей семье! Вот бы стать когда-нибудь такой, как он, воспитать в себе такую волю, такое спокойствие. А с виду — обыкновенный человек. Встреть его где-нибудь — и внимания не обратишь, не оглянешься даже. И на кого это он похож? Ах да, пожалуй, на старого Рубцова. А может быть, на управляющего банком Чередникова? Вот ведь совсем они разные, а все-таки похожи. Чем?

А этот Карпов! Вот кто удивил. Мусе думалось — сухарь. А он, простившись с Кузьмичом, бросился в кусты, и было слышно, как дочка спрашивала его: «Папа, скажи Юлочке — зачем ты плачешь? Тебя обидели, да?» И кто бы мог подумать, что этот человек с тонкими, в нитку, губами умеет плакать? Эх, Муська, Муська, дожила ты до девятнадцати лет, а о людях все еще судишь по внешности...

Что это? Снова стреляют. Но пулеметные очереди звучат теперь еле слышно, будто кто-то неумело строчит на швейной машинке. Там еще бьются. Вот тоже люди! А разве они одни такие? Какая же ты, Муська, была чудачка, когда там, у костра, точно примадонна в опере, выкрикнула о своем желании остаться в пулеметной засаде! Выскочила, покрасовалась, пофорсила: вот я какая. А другие заявили о том же спокойно, как о чем-то разумеющемся само собой. Нет, где тебе, голубушка, стать такой, как Рудаков! Тебе еще у Кузьмича поучиться надо. Кузьмич! Как-то он? Как они оба там?..

Так, раздумывая о тех, кто остался позади, шла Муся, не замечая, что ветер усиливается, а воздух все горше и горше пахнет дымом.

Ясный холодный день заметно merк, тускнело солнце.

2

Николай, уже давно с беспокойством посматривавший кругом, остановил товарищей и выбрался из канавы. Болото до самого горизонта было, точно огромной шкурой, покрыто сизым дымом. Ветер рвал эту шкуру, трепал ее по земле, раздувал огонь, гнал его на северо-восток. Если ветер не прекратится, он может направить пламя прямо наперерез путникам. Можно, конечно, свернув на север, бежать от надвигающегося огня, но тогда придется оставить спасительную канаву и выходить на торф.

Николай принял решение:

— Пошли дальше. Елка первый, Муся за ним, я сзади. Идти как можно быстрее. Слышите, люди? Вперед!

Когда Муся обогнала Николая, он взял ее за руку и попытался заглянуть ей в глаза. Девушка отвернулась и отняла руку... Она все еще была с теми, кто сражался на холме, и эта робкая ласка казалась ей почему-то оскорблением их подвига.

Теперь партизаны почти бежали. Ветер перебрасывал через них целые тучи гари. Порой он уже доносил жаркое дыхание близкого пожара. Воздух стал нестерпимо горек. Кровь тревожно стучала в висках, и, что самое скверное, перед глазами Муси опять зароились искрящиеся круги. «Только бы не потерять сознания — ведь тогда ребята из-за меня остановятся и...»

— Скорее! — торопил Николай.

Ловкая фигурка Толи то исчезала в ленивых клубах дыма, уже наполнившего канаву, то неясно маячила среди них, наконец будто и вовсе растаяла. Муся поняла, что отстает. Сквозь порывистый шум ветра доносились зловещий шелест, треск и приглушенное шипящее гудение. Ветер становился горячим. Дышать было трудно, и казалось, что вместо воздуха в легкие вливается горький, полынью настоянный кипяток.

Откуда-то сзади Николай посоветовал:

— Нагибайся ниже, к земле!

Под ногами чавкала вода. Муся нагнулась. Над влажным слоем торфа дышалось легче. Пробегая мимо лужицы, девушка зачерпнула горсть воды и плеснула себе в лицо. Затем она сорвала с головы марлевый платок, намочила его, приложила ко рту. Дышать стало не так горько, но бежать уже не было сил. И она, низко согнувшись, пошла шагом.

— Дыши сквозь мокрую тряпку, легче! — крикнула она, обернувшись, Николаю.

— Теперь недалеко. Я по карте помню — тут скоро лес,— ответил он.

Пожар уже перерезал им дорогу. Горящие ветки, подброшенные токами раскаленного воздуха, перебросили пламя через канаву. Тучи искр летели над головами партизан, тлеющая торфяная крошка, точно булавками, колола лицо. Теперь путники двигались, как по узкому коридору, перерезавшему горящее болото. Душным жаром дышало оно на них с обеих сторон. Одежда дымилась.

Мокрый платок уже не помогал. Вскоре обессилев, Муся опустилась на дно канавы и несколько секунд лежала неподвижно, прижимаясь щекой к влажному торфу, вдыхая пахнущую прелью прохладу. Это вернуло ей сознание.

Над ней склонился Николай. Закопченное, потное лицо его было страшно. Но в глазах, по-прежнему голубых и чистых, девушка увидела ту же трезвую, спокойную волю, какой ее всегда поражал Рудаков. Партизан что-то кричал. Она не разбирала слов, но догадывалась, что он убеждает ее подняться. Все гудело и кружилось, но голубые глаза спокойно и требовательно смотрели на нее.

— Милый, беги,— прошептала она.— Бегите... бросьте меня... Спасайте это... в мешке.

— Не говори глупостей,— сердито сказал Николай. Обхватив девушку за талию, он поднял и поставил ее на ноги, не очень вежливо подтолкнул: — Иди!

К удивлению своему, Муся пошла. Впрочем, шла она теперь уже почти бессознательно. Земля под ней покачивалась, как доска качелей, и девушке казалось, что вот-вот она соскользнет с нее и полетит в пропасть. И все же она шла и шла, подчиняясь сильной, поддерживающей ее руке.

Из тьмы впереди вдруг донесся предостерегающий крик Толи. Не то в бреду, не то наяву девушка почувствовала, что земля действительно выскользнула из-под ног и что сама она куда-то падает лицом вниз.

Падая, она успела почувствовать острую боль в ноге. И все закрылось дымной пеленой...

3

...Сначала Муся услышала знакомые голоса:

— Ой, елки-палки, смотри, смотри, на нас идет!.. Вон, по вершинам. Бежим!

— Куда! Стой! Нужно определиться...

Эта последняя фраза прозвучала почему-то у самого уха.

Девушка почувствовала, что она точно бы парит в воздухе. Тупая, густая боль жгла ногу где-то повыше колена. Открыв глаза, Муся увидела совсем рядом лицо Николая и поняла, что он держит ее на руках. Волосы у партизана были опалены; пот струился по его лицу, оставляя на закопченной коже розовые извилистые дорожки. Две увесистые капли дрожали на круглом подбородке. Растрескавшиеся губы были полуоткрыты. Юноша тяжело дышал.

— Ты заметил, куда бегут звери?

— Да туда же, туда, вон белки верхом пошли. Вон, вон! Видишь?..

Муся жадно вздохнула полной грудью. Хотя и здесь, в лесу, под высокими соснами, дым кипел и бурлил, точно в котле, воздух показался ей необычайно чистым, прохладным и вкусным. Вливаясь в легкие, он освежал, как ключевая вода, и точно вымывал из них гарь и копоть.

— Очнулась?

Николай вздрогнул и крепко прижал ее к себе.

Подгоняемый и раздуваемый ветром огонь словно катился по вершинам деревьев, переползая и перепрыгивая с одного на другое. Ели загорались, как свечи, сосны вспыхивали с ревом, точно смоляные факелы. Пламя медленно стекало по ветвям, по коре, сверху вниз. Что-то первобытное, неотвратимое, перед чем человек чувствует себя бессильным, было в этой наступающей стене огня. Два каких-то рыжих зверя выскочили из кустов, наткнулись на людей, но, по-видимому даже не заметив их, скрылись в чаще леса.

— Бегом! — прохрипел Николай и бросился за ними.

Только этот большой и сильный человек мог так легко нести Мусю, прыгая через кочки, как лось, продираясь сквозь кусты. Страх вместе с дымом и ревом пламени остался позади. С Николаем ничего не страшно. Чтобы удобнее и легче было ему ее нести, Муся обхватила его

шею, прижалась к нему. Ветки стегали ее по спине, цепляясь за волосы, за одежду, будто хватали и пытались задержать. Дым понемногу редел, дышать становилось легче.

Вдруг Толя, бежавший впереди, остановился с таким видом, точно его что-то ударило по голове.

— Мешок...— едва слышно прошептал маленький партизан.— Я забыл мешок.

— Где? — спросил Николай, и Муся почувствовала, как он весь вздрогнул.

— Там, где сейчас стояли.

Мгновение все трое со страхом смотрели, как вдали, настигая их, прыгает по вершинам деревьев пламя. Пожар, подстегиваемый порывистым ветром, еще шел верхом.

— Спасай ее! — крикнул Толя.

Он резким движением надвинул фуражку на уши и кинулся обратно туда, где в кипении сизого дыма пламя медленно, как расплавленная смола, стекало вниз по коре высоких сосен.

— Бегите! — донесся голос маленького партизана из дымной мглы, в которой он сразу точно растворился. И снова, уже издали, донеслось: — Бегите! Я догоню-ю-ю!

Николай хотел было броситься вслед за ним, но Муся... Как быть с ней? Ведь ей же одной не двинуться с места.

Колебался он только мгновение. Еще крепче прижав к себе девушку, во весь дух кинулся прочь от быстро настигавшего их лесного пожара.

Даже не замечая тяжести ноши, не чувствуя, как висевший за плечами автомат бьет его по хребту, партизан несся через кочки и пни туда, куда устремлялись зверье и птицы.

Муся замерла. Она видела, как по пятам с гулким ревом движется огненный фронт. Иногда под ударами ветра пламя делало по вершинам деревьев гигантский скачок и настигало их. Огненные костры, занимаясь над головами, осыпали их шелестящими тучами горевшей хвои. Муся крепче прижималась к сильному плечу. Иногда огонь как бы в раздумье останавливался перед какой-нибудь лесной полянкой. Густой вал дыма оставался позади. Николай переводил дух. Тогда мысль девушки устремлялась назад, к маленькому вихрастому человеку, что так отважно бросился в дым и пламя. Все существо ее

рвалось к нему на помощь. Если бы были силы! И что случилось, почему такая боль в ноге?

Горящие с ревом вершины деревьев, силуэты несущихся зверей — все это походило на кошмар, в котором что-то необъяснимо страшное настигает вас из тьмы. И с той же непоследовательностью, какая бывает в кошмаре, перед беглецами разом открылась из-за кустов болотистая низина, а за ней ровная гладь озера с небольшим островом, накрытым пестрой шапкой тронутого осенью лиственного леска, опушенным по краям ярко-зеленым кудрявым тальником.

С озера пахнуло влажной прохладой, жизнью пахнуло.

Николай дышал, как загнанная лошадь. Сердце, точно увесистым кулаком, колотило в грудную клетку. Он еле стоял. Земля под ним точно покачивалась. И все, что вдруг открылось,— зеленоватое равнодушное небо, яркая зелень кустов, холодная гладь чистой воды,— зыбилось, плыло в красноватых кругах.

А пламя пожара, кутаясь в бурно клубящиеся облака дыма, уже подступало к озеру. Пламя трещало и жадно подвывало в кустах опушки, синевато курясь, бежало по высохшему мху кочек. Судорожно поводя ветвями, начинал тлеть серый ольшаник. Возле Николая, дрожа каждым мускулом тонкого тела, стоял дикий козел. Осмотревшись, он сделал пружинистый скачок и ринулся вниз, в камыш, увлекая за собой двух самок, вырвавшихся из-за кустов. Николай инстинктивно бросился за ними. Стены камыша разом обступили его, под ногами зачавкала вода. Партизан продолжал двигаться по проложенному зверьем пути, пока камыш не расступился и ноги не ощутили твердую почву. Отсюда начиналась узкая песчаная коса. Рассекая озеро, она тянулась к острову, отделенному от ее острия лишь небольшой протокой. Дикие козы уже переплыли протоку и, вырвавшись на песок, кинулись в заросли тальника.

Двигаясь по их следу, Николай думал лишь о том, чтобы не споткнуться, не выронить Мусю, теперь казавшуюся ему необычайно тяжелой. Он плохо различал, что происходит вокруг.

Но Муся, которую чистый и влажный воздух окончательно привел в себя, видела, как в прибрежных камышах металось зверье, согнанное сюда огнем, видела, как на берег, вывалив языки и поджав хвосты, выскочи-

ли несколько волков, которых она приняла сначала за собак овчарок. Тяжело поводя вспотевшими боками, волки принялись было лакать воду, но самый крупный из них, оглянувшись на пожар, бросился к косе и увлек за собой остальных.

Волки обогнали людей, но Муся даже не почувствовала страха. Было лишь удивление. Не испугалась она и тогда, когда, тяжело дыша, с астматическими хрипами, пронесся по кромке косы огромный черный кабан, косивший на людей маленьким злым, заросшим жесткой шерстью глазом.

Ну вот наконец и остров, кусты. Зеленый тальник больно хлещет по лицу. Николай делает несколько нетвердых шагов и, вдруг покачнувшись, начинает оседать. Последним усилием он опустил Мусю на траву и сам свалился тут же. Рука его никак не может найти и расстегнуть пуговицы гимнастерки. Она дрожит, эта его огромная, сильная рука, и невыносимо видеть ее такой беспомощной.

Муся расстегнула партизану ворот и вскочила, чтобы сбегать за водой, но тут же со стоном повалилась на землю. Жгучая боль в колене или чуть повыше него пронзила ее. Девушка посмотрела на свою левую ногу и увидела, что стеганная ватой штанина вся почернела и заскорузла. Что-то скверное случилось с ногой.

Беспомощно огляделась. Полное безлюдье. Пожар уже подступил к озеру. Густо чадя, пылают на берегу сырые заросли ольшаника. Горящие ветки, подброшенные горячими токами высоко в воздух, падают и с шипением гаснут в воде. Головы спасающихся от огня зверей то там, то тут бороздят холодную гладь.

Николай пошевелился, начал дышать ровней.

— Елка там... Стрельни... Посигналь ему! — с трудом говорит он Мусе, не поднимая головы.

И как раз в это время недалеко слышится короткая очередь. Муся и Николай замерли. Вдруг с шумом раздвинулись кусты тальника, и из яркой зелени появилось черное, лоснящееся лицо маленького партизана. В руках у него автомат.

— Ух, и кабанище здесь! Здоровенный — ужас!

Толя с облегчением сбросил на траву тяжелый мешок. Приподнявшись с земли, Николай пощупал кожух его автомата. Он был еще теплый.

— Стрелял?

— Да в него, в кабана. Целую очередь ему в спину врезал — он хоть бы что. Ушел!..

С мальчишеским бахвальством, пренебрежительно пнув ногой спасенный мешок, Толя устало докладывает:

— Еле нашел его в дыму. Вот грузный, черт!.. Там — что в печке, верь слову... Заяц на меня налетел, чуть с ног не сбил... Ой, ой, ой!

Толя вдруг вскочил и с воплями страха и боли начал бить себя по бедрам, точно стараясь стряхнуть ядовитых, опасных насекомых. Потом сорвался, бросился вниз, под берег, и тут же послышался судорожный плеск воды. Вернулся он несколько смущенный.

— Вот елки-палки! От пожара убег и чуть здесь не испекся. Как меня огонь куснет... Ай-яй-яй!.. Насквозь прожгло.— Он с сожалением рассматривал две большие дыры, прогоревшие на стеганых шароварах.— А ведь мне вчера Кощей Бессмертный со склада совсем новенькие выдал... Штаны мировые... были!

Толя чуть не плакал. Его искреннее горе после только что пережитых опасностей было так комично, что на черное от копоти лицо Муси помимо воли выползла улыбка.

Несколько минут все трое сидели молча, наслаждаясь свежим воздухом, неподвижностью, тишиной. В самой этой тишине было нечто гипнотизирующее, успокаивающее, бесконечно дорогое всем троим. Они боялись даже пошевелиться, не смея ее нарушить.

Но тут Николай спохватился:

— Муся, а как нога?

— Очень болит... Что с ней?

— Елки-палки, что... Вы же в торфяной карьер ссыпались. Там машина какая-то стояла, вроде плуга. Об эту машину и треснулись... Вот что...

Николай стал перед девушкой на колени, осторожно приподнял и ощупал ее левую ногу.

— Кость не размозжило? — тихо спросил Толя.

— Как будто цела. Бинт есть?

— А то нет! У меня все есть...

Пока Толя, вымыв предварительно в озере руки, разрывал ниткой пропитанную парафином бумагу индивидуального пакета, Николай острым ножом вспорол штанину. Сбегали за водой, смыли запекшуюся кровь. Коленка посинела, распухла и не сгибалась. Чашечка, по-видимому, осталась цела. Рана же была выше колена, неболь-

шая, рваная. Видимо, был задет какой-нибудь сосуд. Кровь еще сочилась тугим, пульсирующим родничком.

Толя и здесь оказался молодцом. Пока Николай плескал из пузырька прямо в рану дезинфицирующую жидкость, мальчик намочил полотенце, сделал из него плотный жгут и перехватил им ногу повыше раны. Жгут был наложен так ловко, что родничок крови перестал биться и постепенно иссяк.

— Видал медицину? — хвастливо произнес маленький партизан, довольно потирая руки, точно обожженные йодом.

Николай осторожно приподнял раненую ногу девушки, положил ее себе на колено, стал бинтовать. Муся застонала. Николай испуганно отдернул руки.

— Ничего, ничего, бинтуй.— Слабой рукой Муся прикоснулась к путаным волосам Толи и прошептала: — Милые вы мои!..

Затем взгляд девушки остановился на лице Николая, закопченном, пятнистом от сажи и ожогов. Опаленные брови и ресницы белели, как пух. Уловив этот взгляд, партизан почувствовал вдруг, что ему неловко оттого, что он держит у себя на колене стройную, мускулистую ногу девушки. Руки, обертывающие бинт, задрожали. Муся, мгновение назад не ощущавшая ничего, кроме благодарности к двум своим друзьям, тоже вдруг застыдилась, покраснела и, скрипнув от боли зубами, сняла раненую ногу с колена Николая. Скаточка неразмотанного бинта вывалилась у него из рук и, разматываясь, упала на траву.

— Тоже мне санитар! — удивленно посмотрев на Николая, пренебрежительно фыркнул Толя и, ловко действуя своими худенькими, непропорционально длинными руками, быстро закончил перевязку.

Потом, когда они собрались пробраться в глубь лесистого островка, Муся взбунтовалась и запретила Николаю нести ее на руках. Пришлось наскоро из плащ-палатки и двух березовых жердей мастерить носилки.

Лесной пожар постепенно оползал озерко, замыкая вокруг него кольцо огня и дыма. Огромными кострами полыхали вершины деревьев. Пламя плясало в курчавом кустарнике, и тот корчился, как живое существо. Бурые смерчи дыма, взвиваясь в небо, в опрокинутом виде отражались в гладкой воде. Казалось, и сама вода пылает все тем же мрачным, красным огнем.

4

До выздоровления Муси спутники решили обосноваться в глубине острова, на маленькой поляне, окруженной лиственным леском. Продолжать путь они не могли. Место же это для стоянки было действительно самым безопасным. Вряд ли кому-нибудь даже из самых ярых карателей пришло бы в голову пробираться по черной пустыне выгоревшего леса и искать партизан здесь, на острове. Все же приняли меры предосторожности. Мешок с ценностями на всякий случай был закопан в стороне от лагеря. Дотошный Толя даже тщательно замел еловыми лапками следы на песчаной косе.

В зарослях малины был построен для Муси маленький шалаш. Вход в него закрывался плащ-палаткой. Сами строители первую ночь проспали у костра. Но утром девушка обозвала их лентяями и, пригрозив, что и она в знак протеста переберется на воздух, заставила строить второй шалаш, размером побольше.

Еда их тоже не заботила. Правда, лесные обитатели, загнанные огнем на остров, покинули его сразу же, как только в почерневшем лесу погасло пламя и перестала куриться земля, но Николай успел подстрелить козу и двух жирных зайцев. К тому же пустынный остров на лесном озере, как оказалось, служил во время перелетов этапной станцией на больших птичьих маршрутах. Каждое утро Мусю будил истерический клекот гусей, суетливый утиный кряк, странные, незнакомые трубные звуки, по которым Николай, умевший и любивший читать книгу природы, угадал появление перелетных лебедей. Словом, недостатка в дичи не было.

Спутники отъедались, отсыпались, оправлялись от пережитого, набирались сил для длинного и опасного пути. Толя даже предложил впредь именовать остров — «Санаторий «Три лентяя».

Муся просыпалась на заре, когда из «мальчишеского корпуса», как торжественно она именовала шалаш спутников, слышался еще безмятежный храп и сладкое сопное посапывание. Устроившись у входа в свой шалаш, она подолгу неподвижно следила за тем, как за темными силуэтами деревьев тихо разгорается поздняя заря, как бледнеет, стушевывается в светлеющем небе горбушка луны и как, спугнув розовыми лучами последнюю зелено-

вато мерцающую звезду, из-за леса поднимается, наконец, солнце.

Погода стояла ясная, с легкими утренниками, и, когда в кустах подлеска таял последний сумрак, у подножия деревьев и пней, посверкивая белыми кристаллами, еще долго лежали полотнища чистейшего инея. А воздух был так прозрачен, что на деревьях отчетливо вырисовывался каждый листик, каждая складочка на коре, и так свеж, так густо настоян острым запахом тронутого холодом листа, что хотелось дышать как можно глубже. Хорошо думалось в такие вот часы на грани ночи и позднего осеннего утра, когда природа, точно бы зябко ежась во сне, не торопилась пробуждаться. И, думая о жизни, Муся никак не могла отделаться от странного ощущения. Ей почему-то казалось, что со дня их прощания с партизанами прошли уже недели, месяцы, что она за это время стала старше, что она теперь совсем по-другому смотрит на жизнь, на людей и их поступки. Непоседа, она могла теперь часами, не скучая, находиться в неподвижности.

Поднималось солнце. Прыгая на одной ноге, с помощью палки, Муся приближалась к костру, с вечера сложенному предусмотрительным Толей, зажигала его и принималась готовить завтрак. Чаще всего она ничего не успевала сделать. Из шалаша выглядывала заспанная, помятая рожица Толи. Зябко поеживаясь со сна и сердито сверкая черными беспокойными глазами, очень напоминавшими Мусе глаза Мирко, маленький партизан прогонял раненую обратно к ее шалашу.

Толя никого не допускал к «кухне», все стряпал сам, умело и ловко, как хорошая хозяйка. Муся не раз интересовалась, откуда у него такой опыт и такие способности. Она-то и картошку испечь как следует не умела. Но Толя отмалчивался и на все попытки разговорить его начинал отвечать мальчишескими «а то нет», «а то да», «а раньше-то», «ну еще». Вскоре девушка поняла, что, расспрашивая его, она, должно быть, прикасается к какой-то болезненной, не зажившей еще ране, и уже не пыталась интересоваться его прошлым.

Толя занимал Мусю все больше еще и оттого, что после злополучного эпизода с перевязкой ноги из ее отношений с Николаем исчезли непосредственность и простота. Девушка не терпела теперь, чтобы он видел ее неприбранной, неумытой, стеснялась при нем причесываться,

а когда наставала пора бинтовать рану, Николай изгонялся, и всю операцию производил маленький лейбмедик.

5

Впрочем, партизан, чувствуя эту перемену, и сам избегал оставаться с Мусей с глазу на глаз. Все чаще он уходил подальше от шалашей и один бродил по острову, высматривая, не появились ли на песке следы врагов, или из засады наблюдая жизнь и поведение перелетных птиц, их привычки.

Николай чувствовал, что сердце его переполнено любовью, чувствовал, что прятать это он не умеет, а бороться бессилен, и искренне негодовал. Он добросовестно убеждал себя, что это глупо, никчемно, что чувство это вообще неуместно в дни войны. Он сердито распекал себя за малодушие и отсутствие воли, но, по мере того как, возвращаясь, приближался к знакомой полянке, все эти доводы разума как-то теряли силу, сердце его билось чаще, тревожнее, а шаги ускорялись сами собой.

Муся испытывала то же противоречивое чувство. Услышав шум знакомых шагов, она точно вся загоралась изнутри. Но партизан выходил на полянку, и она встречала его равнодушным взглядом, с безразличным видом, задавала насмешливые вопросы, сердито подшучивала над ним, сама гневно вспыхивала в ответ на каждую шутку, придирчиво искала обиду в его словах и поступках. Обоим становилось друг с другом тягостно и неловко.

Недалеко от шалаша Муси стоял невысокий и совсем трухлявый березовый пень. Он был покрыт зеленым мхом и до того уже сгнил, что держался только прочными обручами бересты. Пень как пень. Муся как-то присела на нем погреться на солнышке, но муравьи согнали ее. И вот однажды, выбравшись из шалаша, она застала Николая возле этого пня. Он лежал на животе, подперев подбородок ладонями, и глядел на пень с тем живым интересом, с каким завзятые театралы смотрят спектакль. Муся рассмеялась: уж очень забавным показалось ей это внимание к ничем не примечательной трухлявой развалине. Николай недовольно покосился на нее.

— И чего смеешься, сама не знаешь! — проворчал он и вдруг, весь точно загоревшись, пояснил: — Ведь это же целый мир. Смотри, дерево спилено, пень сгнил, ветер

принес на него землю, и, видишь, появился уже слой мха. Мох скрепил землю, чтобы ее не сдуло. Кстати, вот за эти молоточки мох зовут «кукушкин ленок». Хорошо, правда? Ты видишь, на мху две березки, этой вон три года, а эта — малышка, ей и годочка нет. Смотри, как крепко вцепились они корнями. Вот развалится пень, труха осядет, а они уже будут сильные, будут стоять на крепких ногах. Лет через десять — пятнадцать на месте этой старухи раскинет крону вот такая девушка.— Николай показал на белую стройную березку, всю сверкавшую на солнце золотом своих длинных кос.— Ну что, разве тут не о чем подумать?.. Знаешь, эта березка напоминает мне почему-то тебя, такая же тоненькая, стройная...— Николай густо покраснел и добавил: — И кудлатая.

Пропустив мимо ушей неуклюжий комплимент, Муся какими-то новыми глазами смотрела на этот такой обычный с виду, ничем не примечательный пень. И ей эти крохотные деревца, сохранившие яркую зелень листвы, напоминали белокурую Юлочку. Где-то она теперь? Удалось ли Рудакову вывести свой отряд из кольца пожара? Может быть, они уже добрались до Коровьего оврага, до Матрены Никитичны. Вот, наверно, была встреча!.. Все друзья воюют, сражаются, каждый их день наполнен борьбой, а вот они трое — пожалуйте! — наслаждаются природой... Тощища!

Муся даже застонала вслух от этой мысли.

— Что, рана? — встревожился Николай.

— Нет, нет, я слушаю. Интересно. Ну, ну...

— Ты глянь на этот пень вблизи. Это же целый городок,— продолжал Николай, уже встревоженный изменением выражения лица девушки.— Утром, после заморозка, он кажется мертвым, а сейчас солнце пригрело — и, смотри, какая суета.

Действительно, два муравья, помогая друг другу, тащили куда-то толстую сосновую иголку. Один налегке стремительно несся им навстречу, поглядел на трудящихся друзей, пошевелил усиками и помчался обратно. Он померещился Мусе десятником какой-то муравьиной стройки, ринувшимся на место работы, чтобы обдумать и решить, куда положить это новое бревно...

— Вот все они трудятся... А мы тут...

Николай досадливо махнул рукой и тут же спохватился. Муся гневно смотрела на него сузившимися, похолодевшими глазами.

— Что же, по-вашему, это я нарочно вас задерживаю?

— Что ты, что ты! — испугался партизан.— Я хотел сказать...

— Вы, товарищ Железнов, может быть, думаете, что я притворяюсь? — непримиримо продолжала девушка. Уголки губ у нее подергивались, глаза заплывали слезами.

— Да с чего ты? Я только хотел сказать, что мы не замечаем в природе самого интересного.

Девушка испытующе глядела в его глаза.

— Нет, верно, только об этом? Да? А я подумала... Ой, Коля, почему так медленно заживает эта проклятая нога? Почему?

— Заживет, заживет... Вот смотри сюда...

Николай указал на растерзанную сосновую шишку, крепко вбитую кем-то в пень, в лунку, выдолбленную между корой и стволом. Много таких совершенно размочаленных шишек и чешуек от них валялось на земле. Оказалось, что это кузница дятла. Это он таскал сюда свою добычу и зажимал ее в своеобразных тисочках, чтобы легче и удобнее было ему обрабатывать ее длинным клювом.

— А помнишь, как ты рассказывал об этом растении, что мух ловит? — спросила Муся, понемногу успокаиваясь.

— О росянке, да? — обрадовался партизан.— А как ты мне пуговицы пришивала, помнишь?

— Я тогда глядела на тебя и думала: «Как смеет этот предатель смотреть такими ясными глазами? Под ним земля гореть должна, ему каждое дерево проклятье шлет, каждый куст над ним насмехается...» А ты что думал? Ну, не отворачивайся, говори прямо: что тогда думал?

— Я то же самое. О тебе... Кузьмич жужжит в ухо: «немецкие овчарки», «шпионки», а я не верю. Не верю, злюсь на себя, а не верю... Эх, Кузьмич, Кузьмич!

Рванул ветер. С тонкой березки посыпались золотые червонцы и, трепеща, легли на бурую траву. Николай поднял листок, приложил к щеке. Он был холодный, мертвый.

— Да, Кузьмич...— задумчиво отозвалась Муся.

Николай почему-то очень бережно положил листок на землю.

Оба вздохнули. Тяжело было думать, что, вероятно, уже никогда не услышать им больше дребезжащий тенорок старика, не увидеть хитрого мерцания его одинокого зеленого глаза...

И снова показалось Мусе, что и Василия Кузьмича Кулакова знала она давным-давно, что много лет назад прошел через ее жизнь этот маленький ершистый человек, многому ее научивший и на многое открывший ей глаза...

6

Обреченная на бездействие и неподвижность, девушка изо дня в день наблюдала, как изменялся пейзаж.

Теперь, осенью, каждое дерево имело свой цвет, даже свой голос. Ярко-красными пятнами пламенели вершины осин. Червонным золотом убрались длинные косы березки, частой скороговоркой перешептывавшейся под ветром. Бурели листья приземистых липок, отливала белью крупная листва орехового подлеска, который уже наполовину облетел, устлал подножия своих кустов яркими шуршащими коврами. Только крепкий, росший в низинах ивнячок был по-прежнему буйно зелен. Наперекор осенним ветрам и утренним заморозкам он озорно махал своими все еще пышными ветвями.

Девушка, часами сидевшая на своей скамеечке, так изучила лес, что, когда однажды после крепкого утренника, высушившего траву и густо посолившего ее инеем, бурно потекла с деревьев листва, она не глядя, по шороху могла определить, падает ли это с бумажным шелестом сморщенный лист липы или, вертясь, как веретенца, летят листочки ив.

Быстро менявшиеся краски леса как бы отмечали время, проведенное партизанами в вынужденном бездействии. И когда Муся хотела загасить в себе одолевшую ее тоску, она отворачивалась от буйно-ярких теперь лиственных деревьев и смотрела на неизменно зеленые сосны да на синие ели с запасом желтых шишек в пазухах ветвей на вершинах, где неустанно трудились хлопотливые аккуратные белки, осыпая покатые плечи деревьев буроватой шелухой.

Однажды, вернувшись с озера с большой щукой, которую удалось без особого труда выловить в тине высыхающей заводи, Толя застал Мусю в слезах. Малень-

кий партизан, гордый своей ловецкой победой, растерялся. Пятнистая рыбина, висевшая у него на ивовом пруте, тяжело шмякнулась в траву. Для Толи Муся стояла где-то между героиней первой Отечественной войны, старостихой Марфой Кожиной, и летчицей Полиной Осипенко. И вот, нате вам, слезы текут у нее по щекам! А лицо распухло, покраснело, стало некрасивым. Девушка даже не вытирала слезы.

Толя постарался скрыть разочарование. Он сделал вид, что занят щукой и ничего не заметил, но понемногу в нем проснулась жалость. Почему она плачет? Что ее расстроило? Толя оставил щуку, сел на землю возле Мусиных ног. Та по-детски шмыгнула носом и вытерла лицо кулачком.

— Сейчас пролетел караван журавлей... Огромный,— сказала она влажным голосом и шумно вздохнула.— Насчитала шестьдесят и сбилась. Косяком летели, ровным-ровным, и я подумала: вечером, наверно, будут там, дома, где все как раньше и нет фашистов. Вот и реву, как дура. Журавлям хорошо: поднялся повыше и лети — «курлы-курлы-курлы».

Муся вытерла ладошкой щеки.

— А тебе, Елочка, хочется домой? У тебя где мама с папой?

Толя вздрогнул, точно от удара; загорелое его лицо как-то даже сразу посерело.

— Мама — там,— он махнул рукой на восток,— а отец... отца у меня нет... умер.

Вдруг он вскочил и вызывающе взглянул в лицо девушке.

— Вру я! Отец жив, он нас бросил, не живет с нами. Понятно? И все! Какой разговор!

Так вот в чем разгадка болезненной обидчивости этого порывистого паренька. Вот откуда грусть в его беспокойных, не по-детски серьезных глазах. Муся попыталась притянуть Толю за руку, но тот резко отстранился.

— Чего же ты стыдишься? Чудак.

— Я стыжусь? Вот еще! — Толя гордо поднял голову, но тотчас же печально опустил ее и как-то весь обмяк.— Вру я, стыжусь... У всех отцы, а у меня... Я всем говорю: папа убит в финскую войну... Я только вам расскажу, ладно?

И, должно быть, мучимый желанием облегчить душу от тяжести, которую он обычно так мужественно скрывал, Толя скороговоркой, даже без своего обычного присловия «елки-палки», стал рассказывать печальную семейную историю. Рассказывал и все время настороженно озирался, нет ли поблизости Николая.

7

Толя Златоустов — до войны ученик ремесленного училища — был сыном техника, работавшего на большом заводе. Были у него еще младший братишка и совсем маленькая сестричка, и жизнь их поначалу ничем не отличалась от жизни других ребят заводского поселка. Толя в свободное от учения время пропадал в заводском Доме пионеров, на лето выезжал с лагерем на дачу и однажды, как отличник учебы и пионерский деятель, побывал даже в Артеке, на берегу зеленого, шелковистого, ласкового моря.

Целиком поглощенный школой и детскими своими делами, он долго не замечал, как что-то неладное стало твориться в семье. Да и заметить-то это поначалу было трудно. Отец, бывший раньше домоседом, начал исчезать по вечерам. Мать, как-то сразу осунувшаяся и постаревшая, ходила с заплаканными глазами и иногда вдруг застывала у кухонного стола или у окна с иглой в руках, да так и сидела часами, тихо вздыхая, глядя куда-то в пространство.

Однажды Толя вернулся домой необычайно возбужденным. В Дом пионеров приехал знаменитый арктический летчик, была беседа о Северном полюсе, о перелетах, не терпелось поскорее рассказать своим обо всем этом и о своем непоколебимом желании стать полярником. Но, ворвавшись в комнату, он увидел, что мать, точно неживая, лежит на кровати, смотрит в потолок и даже не замечает, что братишка с сестренкой тщательно разрисовывают чернилами клеенку на столе.

Толя бросился к матери.

— Что с тобой? Заболела? Позвонить в поликлинику? Вызвать врача?

Она не ответила, даже не повернулась к нему. Мальчик кинулся к телефону.

— Я позвоню папе в цех, ладно?

Губы матери дрогнули, подбородок съежился. Крупные слезы побежали по бледному виску, запутались в волосах.

— Не звони, сынка, папа не придет. Папа нас бросил, мы теперь одни,— тихо сказала мать и, вдруг уткнувшись лицом в подушку, вся затряслась.

Толя застыл у телефона. Он любил отца, и то, что сообщила мать, казалось ему настолько неестественным, обидным, что он сперва даже не поверил ей. Может быть, ошибка? Может, мама погорячилась, сказала это в запале после какой-нибудь ссоры? Она такая нервная все это последнее время...

Но отец не пришел домой ни в тот вечер, ни в следующий. Потом он поймал Толю, когда тот возвращался из школы. Человек, который всегда казался сыну примером мужества, краснея, пряча глаза, запинаясь, бормотал о том, что Толя уже большой и должен его понять, что, если мать согласится, он готов всех троих ребят взять в какую-то новую семью. А если не отдаст, они будут жить по-прежнему в своей квартире, ни в чем не нуждаясь: он решил отдавать им половину заработка. Мальчику было страшно, он еле шел, а в голову почему-то назойливо лезла странная мысль: может быть, это не отец, а какой-то чужой, незнакомый человек, только внешне похожий на отца, бормочет жалкие, фальшивые слова. Разве отец может это говорить? И все-таки это он! И родинка на щеке, и рубашка на нем та, что мать вышила ему ко дню рождения. Так как же он смеет!

И тут в Толе, до того дня беспечном мальчугане, впервые обозначился его настоящий характер. Он зло посмотрел на семенившего за ним человека, сказал одно только слово: «Уйдите!» — и бросился прочь, размахивая портфельчиком с книжками.

В тот день Толя по-взрослому рассудительно поговорил с матерью. Отец ушел — пусть, такого отца им не надо. Идти жить к нему? С ума он сошел! И денег его не брать, ничего от него не брать... «Проживем и без него».

Мать думала то же самое. Она вернулась к чертежному столу в заводское конструкторское бюро, где работала до замужества. Толя же перешел учиться в вечернюю смену и принял на себя часть забот о домашнем хозяйстве. Он понемногу привык вставать раньше всех, грел матери утром чай, жарил картошку, отводил малышей в детский сад, на обратном пути забегал в магазин.

Когда мать была занята сверхурочной работой, Толя сам и стряпал, стараясь все делать так, как соседка,— обвертывал кастрюльки газетой и одеялом, чтобы мать, вернувшись из своего бюро, нашла горячий обед.

Зная, как мать волнуется за его учебные успехи, он стал заниматься с недетским усердием и часто за полночь просиживал над тетрадями. А потом понемногу научился мыть полы, стирать, даже сам зашивал малышам одежду, штопал для них чулки.

Как-то раз, когда он хозяйничал на общей кухне, почтальон принес перевод на довольно крупную сумму Мальчик обрадовался неожиданным деньгам, так как в семье теперь считали каждую копейку. Но, узнав почерк отца, он сразу потерял к ним интерес. Мать, повертев в руках извещение о переводе, вопросительно посмотрела на сына и, к радости мальчика, решительно вернула повестку обратно. Таким же образом были возвращены еще два-три перевода. Отец пробовал звонить по телефону. Услышав знакомый голос, Толя, не отвечая, клал трубку. Деньги перестали приходить.

Жить покинутой семье все-таки было трудно. Мать, привыкшая к высоким заработкам мужа, едва сводила концы с концами. Обращаться в завком или в кассу взаимопомощи она стыдилась. Из комнаты исчезло несколько вещей, расставаться с которыми было так же грустно, как со старыми друзьями. Перейдя в седьмой класс, Толя твердо, совсем по-мужски, заявил, что учебу он решил бросить и хочет поступить на завод. Мать только вздохнула и, отвернувшись, долго смотрела на темный квадрат на обоях, где когда-то висел портрет отца.

Утром, одевшись в праздничное, Толя отправился в отдел кадров завода. Посмотрев метрику, ему заявили, что таких юных на завод не принимают, и посоветовали кончить семилетку. Толя забрал бумаги и пошел к директору. Пожилая секретарша в кабинет его не пустила: в отделе кадров правы.

Но Толя не сдался. Выйдя из директорской приемной, он остановился в коридоре у пожелтевшей стенной газеты. Управленческие новости были для него совершенно неинтересны, но он упрямо читал заметку за заметкой, то и дело оглядываясь на дверь.

Он уже перечитывал газету второй раз, когда эта дверь открылась и появился массивный человек. Он торопливо шел по коридору, роняя на ходу сердитые

отрывистые фразы двум пожилым служащим, едва поспевавшим за ним. Догадавшись, что это и есть директор, Толя, весь цепенея от застенчивости, ринулся вдогонку, сбивчиво бормоча свою просьбу, протягивая табель с отличными отметками. Занятый разговором, директор вряд ли даже уяснил, чего от него хочет этот чернявый мальчик.

— В кадры, в кадры, в кадры! — нетерпеливо сказал он и, не оглядываясь, стал сбегать с лестницы.

Перед тем как вернуться домой, Толя забрел в дальний угол заводского парка и вдоволь выплакался на траве. В эту минуту он ненавидел и отца, и отдел кадров, и секретаршу, и конечно, директора, черствого бюрократа, всех и все. Домой он явился с сухими злыми глазами и, ни о чем не рассказав матери, пошел в чулан, где уже много лет валялся кое-какой слесарный инструмент, сохранившийся еще от деда.

Смышленый, упорный во всех своих делах, мальчик быстро усвоил начатки несложных домашних ремесел и начал подрабатывать, запаивая соседям кастрюльки, чиня керосинки и примуса, проводя электричество, немножко столярничая. Обитатели огромного заводского дома охотно поручали ему мелкую работенку. Впрочем, главное здесь, конечно, было не в его услугах, а в сочувствии соседей.

Однажды в воскресенье по чьей-то дружеской рекомендации маленького монтера позвали даже в квартиру самого директора, жившего в том же доме. Жена директора, полная и веселая женщина, сказала, что хочет сделать мужу сюрприз. Потому не зовет заводских монтеров. Она спросила у Толи, не возьмется ли он к вечеру сделать электрическую проводку к новой люстре, которую она купила супругу ко дню рождения. Фокус заключался в том, что лампочки в люстре должны были включаться не сразу, а ярусами. Тут можно было заработать, и Толя с радостью принял заказ. Он сбегал за инструментом, за проводами, приволок стремянку, застлал газетами пол и, засучив рукава, принялся за дело. И тут его ждал позор. Укрепив ролики, натянув провод, он убедился, что знаний и навыков для этой незнакомой и сложной проводки у него не хватает.

Ему стало жутко, захотелось все бросить и бежать. Но он не сдавался. Стиснув зубы, он упрямо комбинировал подключение проводов, стараясь опытным по-

рядком достичь нужной последовательности. При каждом стуке сердце у него замирало от страха. Пот лился с лица. Но когда рассерженная хозяйка заходила в комнату, она видела маленького монтера погруженным в дело. Лицо у него было такое растерянное, руки так жалко дрожали, что у нее не хватало духу выбранить и выгнать самозванца, срывавшего ей сюрприз.

Сидя на лестнице под потолком, Толя видел в окно, как к подъезду подошла машина, видел, как выскочил из нее знакомый человек, слышал, как задребезжал в передней звонок и раздался хрипловатый, рокочущий басок, который когда-то так равнодушно произнес: «В кадры, в кадры, в кадры!» Мальчик уже понимал, что его с позором выгонят, ничего не заплатят, и теперь хотел только одного: скорее бы прекратилась пытка ожидания, наступил конец.

Впрочем, даже предчувствуя приближение катастрофы, Толя не переставал искать нужную комбинацию, перебирал провода, подключал, переделывал все снова и снова. За этим занятием на вершине стремянки под потолком и застиг его директор. В пижаме, в домашних туфлях, с розовым после умывания лицом и мокрыми редкими волосами, он несколько минут молча наблюдал за мальчиком, и в заплывших его глазах светились насмешливые и, как казалось Толе, безжалостные огоньки. Возясь с проводами, мальчик старался не глядеть вниз, старался и не мог. Насмешливый взгляд притягивал, как притягивает пропасть. Наконец нервы маленького монтера не выдержали, плоскогубцы выскользнули у него из рук и, простучав по ступенькам, грохнулись на пол.

— А ну слезай!

Директор, скинув куртку, сам полез на стремянку. Он сел там верхом и начал отрывисто командовать, требуя подать то отвертку, то молоток, то плоскогубцы. А через полчаса был торжественно повернут выключатель — и ярус за ярусом загорелась люстра. Директор опустил рукава шелковой рубашки, застегнул запонки и вдруг притянул к себе незадачливого монтера.

— А ну, выкладывай — зачем халтуришь, почему не учишься? Ты, собственно, чей? Как называешься?

Он только переспросил у Толи фамилию и осведомился, не сын ли он начальника токарного цеха. Узнав, что сын, директор тихонько свистнул и произнес многозначительное:

— Так, так, так!

Потом он заявил, что на завод Толе поступать действительно рановато, но обещал приказать зачислить его вне общего набора в школу ФЗО. На прощание он по-мужски пожал холодную руку мальчика и велел ему завтра же приходить оформляться.

А вечером в комнату Златоустовых, в стенах которой уже завелось было эхо, вдруг пришли незнакомые женщины с кулечками: принесли конфеты, яблоки, куклу и мишку для маленьких. Они посидели с полчаса, попили чайку и, как заметил Толя, несколько раз как будто бы невзначай спросили у матери, отчего ж она до сих пор не обратилась в завком.

Прощаясь, старшая из женщин взяла с матери слово не чураться коллектива: на миру и смерть красна, а она женщина молодая, у нее жизнь впереди.

Вскоре Толя был принят в школу ФЗО. Мать пригнала ему по фигуре новенькую форму. Маленький рабочий, не по-детски серьезный, прилежный, исполнительный, как-то сразу врос в жизнь цеха. Быстро освоившись с токарным станком, он увлекся работой, требовавшей смекалки и быстроты, догнал, а вскоре и перегнал однокашников. Старик инструктор из заводских кадровиков, наблюдая точные движения ловких рук способного новичка, только поощрительно крякал. Толя, встречаясь с отцом в цехе, как можно небрежней прикладывал дрожащую руку к козырьку форменной фуражки и с самым равнодушным видом проходил мимо.

День, когда ему выдали первую получку, был днем его величайшего торжества. Он все до копеечки отнес матери. Теперь есть у нее помощник. Не будет она плакать по ночам, уткнувшись в подушку! В этот вечер всей семьей торжественно пили чай. Весело сверкала праздничная, подкрахмаленная скатерть, пыхтел электрический чайник, малыши старательно уминали розовые плюшки. Все было, как в самые лучшие времена. Толя сидел в отцовском кресле чинно и важно, в гимнастерке с ясными пуговицами, с туго натянутым ремнем. Он уж покажет отцу, что они и без него отлично проживут!.. Перейти к нему в новую семью? Как бы не так.

Мать в новой вязаной кофточке, извлеченной ради такого случая со дна комода, веселая, разливала чай. Лишь изредка взгляд ее случайно падал на темный квадрат на обоях, на лицо ее, разрумянившееся и похорошевшее,

набегала тень печали, но она быстро переводила взгляд на сияющую физиономию ремесленника, и в глазах снова загоралось материнское торжество.

Мальчик вернулся в цех как-то сразу повзрослевший. Отказывая себе в кино, хмуро отворачиваясь от соблазнов заводского буфета, Толя нетерпеливо ждал каждой новой получки. Дело было не только в деньгах. Мальчик все больше увлекался, и, по мере того как приходило к нему настоящее мастерство, он открывал в работе необыкновенные радости.

И вот, когда из их комнаты начало выветриваться горе, а Толя уже мечтал, как, окончив школу, он станет у автоматического станка и будет соревноваться с лучшими заводскими токарями, началась война. Она сразу разрушила с таким трудом восстановленную было жизнь в комнатке Златоустовых. Ребята из ФЗО выразили желание присоединиться к заводским добровольцам, отправлявшимся копать оборонительные рубежи. Директор, помнивший о Толе, хотел было задержать мальчика на заводе. Но тот даже рассердился. Настоял на своем и отправился «на укрепления».

Случилось так, что немецкая танковая армия, прорвавшись в Латвию, обошла район старой границы, где среди тысяч добровольных строителей, восстанавливая укрепления, трудился и Толя с товарищами. Ребята оказались в глубоком тылу немецких армий. Инструктора, приехавшего с ними, убило осколком снаряда. Когда испуганной стайкой, растерянные, подавленные всем случившимся, они собрались у песчаного бруствера никому не нужных теперь укреплений, которые они столько дней старательно строили, именно этот худой подросток, прозванный товарищами «Елкой-Палкой», подал мысль не разбредаться и организованно пробираться к своим через фронт. И хотя среди ремесленников были ребята возрастом постарше Толи, все они сбились вокруг своего маленького товарища. Так ремесленники тронулись в путь по неведомым проселочным дорогам...

Их-то и видела Муся в начале своего странствования. Остальное о них она уже знала... Знала, что Толя и в партизанском отряде оставался вожаком своей юной гвардии.

— Молодцы! Какие вы молодцы, ребята! — только и сказала она, прослушав исповедь своего маленького друга.

Толя сразу насторожился.

— Это я только вам рассказал. Ведь вы такая... особенная. Дяде Николаю не надо... Я ведь всем говорю — отца на финской убило... Не расскажете? Ладно?

Муся молчала. Этот маленький человек, ощетинивающийся, как еж, от малейшего неосторожного прикосновения, партизан Елка-Палка с печальными, недетскими глазами, похожими на горячие глаза Мирко, которые она тоже не могла забыть, стал ей с этого часа по-братски близок. Она взяла в ладони мальчишескую голову со спутанными жесткими волосами и поцеловала Толю в лоб.

8

В последние дни Николай стал часто исчезать из лагеря. Он возвращался черный, как трубочист, и Муся догадывалась, что бродит он не по острову, а уходит в лес и странствует где-то там среди пожарищ.

Так оно и было. Нетерпение одолевало партизана. Ну как же! Где-то там на северо-востоке Красная Армия один на один сражается со всеми силами фашизма. В лесах отряд Рудакова и другие партизанские части и соединения подтачивают тылы неприятельских войск, посильно помогают Красной Армии. А он, Николай Железнов, здоровенный мужик, кандидат партии, живет, как в доме отдыха.

Дисциплинированный партизан, он беспрекословно согласился выполнить сложное задание командира — переправить ценности через фронт. Не рассуждая, он ответил тогда Рудакову: «Есть». Но теперь, когда остановка из-за Мусиной раны затягивалась, тоска измучила партизана. Умом он сознавал, что действует, в общем-то, правильно, что иначе поступать и нельзя, но сердце томилось и день ото дня все настойчивее звало к какому-то делу.

Николай видел: Муся мучается не меньше его. Не раз он из чащи подлеска наблюдал украдкой, как она, опираясь на палочку, тренируется в ходьбе. Не раз, когда в небе летели косяки перелетных птиц, перехватывал он тревожный и тоскующий взгляд, которым девушка провожала их.

Боясь снова выдать свое нетерпение, Николай покидал теперь лагерь иногда и на целый день. Он переходил протоку, уходил от озера, ища какую-нибудь дорогу, где можно было бы подстеречь вражескую машину, найти и

перерезать телеграфную линию или, на худой конец, напасть на какого-нибудь беспечного вражеского солдата. Партизан не имел карты. Он не знал, что огонь загнал их в дебри большого государственного заповедника, и поражался, что, бродя по окрестностям, ни разу не видел ни проезжей дороги, ни жилья, ни свежего человеческого следа.

Опустошенный пожаром лес был однообразно черен и мертвенно тих. Пепел и угли сухо хрустели, будто стонали под ногой. Точно вороново крыло, лоснились обгорелые стволы сосен. Хвоя редких уцелевших от огня вершин пожухла и с шелестом осыпалась при малейшем ветерке. Деревья не издавали того приятного мелодичного шуршащего звона, который ухо привыкло слышать в бору. Они точно онемели. В мертвой тишине этой иной раз на целый километр, как стон, как скрежет зубовный, раздавался скрип соснового ствола, раскачиваемого ветром. Смерть! Смерть будто властвовала в этом обугленном лесу.

Бесплодные поиски не успокаивали, а, наоборот, растравляли нетерпение Николая. В нем начинало расти глухое раздражение и против командира, пославшего его в такое боевое время с необыкновенным поручением, и против Муси, невольно задержавшей выполнение задания, и против собственной беспомощности. И партизан с тоской и злостью думал о том, что он сам сидит сложа руки, в то время как фашисты, быть может, уже штурмуют Москву.

Угрюмый, раздраженный, возвращался он на остров и в этот раз. Стоял один из тех капризных и пестрых дней, какие иногда бывают в этих краях в последнюю пору бабьего лета. С зеленоватого прохладного неба неярко светило солнце. Порывистый ветер торопливо подстегивал обрывки белых невесомых облаков. Озеро, открывавшееся перед Николаем за черной гарью леса, остро посверкивало частой мелкой рябью. Оно было по-осеннему пусто, и даже зеленые листья купав, еще недавно лежавшие на воде, куда-то исчезли, и только султанчики водяной гречихи с черными бусинками переспевших семян зябко покачивались на торопливой ряби.

Зато остров, озаренный солнцем, пышно и ярко сиял над холодной водой своими пестрыми разноцветными красками. Партизан невольно залюбовался.

Есть в природе особая, всепокоряющая красота, которая, хоть ненадолго, хоть на миг, заставляет человека

забывать любые невзгоды. Минут десять простоял Николай на узкой песчаной косе. Вода лизала песок у его ног, с острова доносилось торопливое перешептывание подсыхавших листьев, сухой шелест еще зеленой осоки, да издалека слышалась сердитая перебранка опустившейся на отдых перелетной гусиной стаи.

После густой тишины горелого леса здесь было хорошо. Грудь дышала вольно. Аппетитно о берег похлюпывала прозрачная мелкая волна, и партизану вдруг захотелось выкупаться. Ведь уж давно, с тех пор как огонь выгнал их из центрального лагеря, не был он в бане. Тело тосковало по мочалке и мылу. Эх, была не была! Сразу повеселев, Николай нарвал сухой травы, сделал из нее подобие мочалки, быстро разделся и прямо с берега бросился в озеро. Поначалу вода обожгла и словно вытолкнула его. Вскрикнув, он стал быстро плавать, кувыркаться и нырять и так разгорелся, что ему стало хорошо, радостно забилось сердце.

Увлекшись мытьем, Николай не заметил, как день быстро менялся. Солнце по-прежнему еще сияло, но большая, черная, с седоватой гривой туча торопливо надвинулась с севера, из-за щетки горелого леса. Ветер рванул, засвистел, закружил шелестящий пепел и пеструю листву, завихрил и поднял все это над озером, а потом сразу опал, и на взволнованной поверхности воды испуганно запрыгали тысячи пестрых кружочков.

Потом вдруг зашелестело, и Николай, едва успевший натянуть рубашку, почувствовал тонкие уколы снежной крупки, замелькавшей в воздухе. Она летела густыми вихрящимися облаками.

Кое-как одевшись, партизан побежал вдоль узкого песчаного пляжа, стремясь унять зябкую дрожь. Он бежал, пока опять не ощутил веселого подъема сил. Как-то сразу спала метель, исчезла свинцовая сумрачность, в воздухе посветлело, на вновь поголубевшем небе вспыхнуло солнце.

Но пейзаж уже резко изменился за эти несколько минут. Озеро, забросанное палой листвой, походило на пестрый ковер. К побледневшим осенним краскам ощутимо примешивалась еще одна — холодная, сверкающая, белая, зимняя. Снежная крупа мягкими подушками лежала на траве, на ветках деревьев. Только кусты прибрежного ивняка, оттененные ватной опушкой, стали еще

зеленей. Все посветлело, но прежний грустноватый осенний уют исчез из леса.

А в небе вслед за тяжелой, свинцовой, с седыми космами по краям тучей уже тянул продолговатый треугольник запоздалого журавлиного косяка. Птицы сверкали на мрачном фоне уходившей метели.

И опять нахлынула на партизана тоска...

...Николай вернулся в лагерь, когда снежок уже стаял, все кругом — и трава, и деревья, и серые пирамиды шалашей, и знаменитый пень со своими березками,— все сверкало, будто только что покрытое лаком.

Муся и Толя накинулись на своего друга:

— Наконец-то! Ну, где ты бродишь? Нужно ж идти, мы давно уже уложились.

В самом деле, возле пня Николай увидел мешки, плотно и прочно упакованные хозяйственным Толей. Под мокрой плащ-палаткой вырисовывались автоматы. Стараясь не выдать радости, партизан испытующе взглянул на своего маленького друга, на девушку.

— Муся, а нога? — спросил он.

Вместо ответа девушка пробежалась по мокрой поляне, потом легко, как коза, вскочила на пень, спрыгнула с него. Вот тут-то Николай не сдержал радости. Он схватил Мусю под мышки и, оторвав от земли, закружил ее по поляне.

— Ты молодец, Муська, ах какой молодец!

— Пожалуйста, без глупостей, пусти! Слышишь, пусти, медведь! — сердилась девушка, беспомощно болтая в воздухе ногами.

Но Николай продолжал ее крутить, пока она не сменила гнев на милость и не улыбнулась. Тогда он бережно усадил ее на пенек, смяв обе березки, и оглядел товарищей счастливыми глазами.

— Ребята, здорово вы меня надули! — И, подмигнув Толе, добавил: — Елки-палки.

Николай облапил и расцеловал маленького партизана, подступил было и к Мусе, но та, сердито сдвинув брови, густо вспыхнула, точно ягодным соком облилась.

— Но-но, без глупостей! — проворчала она, бережно выпрямляя березки, примятые на пеньке.— Совсем с ума сошел — чуть не поломал такие славные деревца... Ну ничего, растите себе, этот медведь завтра отсюда уйдет.

9

Трогаться решили с рассветом и потому, поужинав, засветло забрались в шалаши. Свернувшись клубочком и прижавшись к своему большому другу, Толя сразу уснул. Николай тоже добросовестно закрыл глаза и постарался дышать глубоко и ровно. Но сна не было, в голове мелькали мысли о завтрашнем дне. Наконец-то в путь! А там недели, в крайнем случае, месяц — и они у своих. Как-то живут сейчас там, за линией фронта? И где он сейчас, фронт? Столько дней они не читали сводки... Может быть, Красная Армия уже наступает? Может быть, не так уж далеко до нее идти?

Думалось Николаю, что, не случись война, сидел бы он сейчас в институтской аудитории, слушал бы лекции, читал книги, работал бы в биологическом кабинете, помогал профессору экспериментировать. Профессора, книги, биологический кабинет,— фу, как это далеко!.. А как здорово было! А главное, никто даже и не замечал всей прелести и полноты свободной жизни, как сильный, здоровый человек не замечает красоты и крепости своего тела... Неужели эти мерзавцы смеют думать, что мы все это уступим, что им удастся дать истории задний ход?.. Глупцы, глупцы!.. Но сколько они уже сожгли, вытоптали, изгадили, сколько пролито крови!..

Чувствуя, что ему от гнева трудно уже дышать, партизан осторожно, чтобы не разбудить Толю, повертывается на другой бок. Теперь, когда под утро бывали уже крепкие заморозки, партизаны на ночь поверх плащ-палаток, которыми они накрывались, накладывали для тепла еловые лапки. В шалаше стоял запах хвои. Он напоминал Николаю о детстве, о новогодней ночи, о богатом праздничном столе, об отце с длинными, расчесанными и нафабренными по случаю праздника усами, о матери, сияющей и радостной, проворно носящей из кухни новогодние яства...

Интересно, понравилась бы Муся его старикам? Николай представил себе, как является он на семейное новогоднее торжество вместе с девушкой; с любопытством смотрит на нее мать, отец задумчиво разглаживает усы, вежливо покашливает сосед Карпов, неизменный гость Железновых... Как это далеко!..

Холодный свет луны, проникая в ходок шалаша, серебрит тонкие кристаллики инея, уже посолившего ело-

вые ветви. «Наверно, холодно сейчас Мусе?.. Интересно, какой-то она была до войны?»

Чувствуя, что сон окончательно ушел, Николай тихонько выбирается из-под плащ-палатки, получше укутывает маленького партизана, набрасывает на него еловые лапки и тихо вылезает из шалаша. Заиндевелая трава точно курится голубоватым светом и хрустит под ногами. Тоненькая березка, возвышающаяся над шалашом, задумчиво покачивает длинными косами. Потяжелевший от инея лист срывается с ветвей при каждом прикосновении острого, пронзительного ветерка. Кажется, деревце ознобно вздрагивает. «Может быть, одеяло съехало, и девушка вот так же вздрагивает там, у себя в шалаше?» Николай тихо приближается к Мусиному жилью, заглядывает в него.

Когда глаза привыкают к темноте, он видит девушку. Она зябко съежилась под одеялом. Николай осторожно стаскивает с себя ватную куртку и, оставшись в свитере, покрывает девушку. Он делает это осторожно, но вдруг чувствует, как маленькая рука крепко берет его руку.

— Не надо, мне тепло...

— Ты не спишь?

— Нет. Никак не усну, все думаю...

— О чем?

— Так, обо всем... О тебе вот тоже, между прочим...

Они говорят шепотом, и это как-то сближает. Осмелев, Николай делает попытку забраться в шалаш, но сам он так велик, что головой раздвигает жерди, и все рушится. Откуда-то из-под путаницы ветвей и палок он слышит смех. Приглушенный, но не сердитый.

— Ну и медведь, пригласи такого в гости!

Муся выкарабкивается из-под развалин, потирает руки, дует на них. Смущенный Николай продолжает сидеть, не поднимая головы. Шалаш что, его можно быстро поправить! Жалко темноты, прошитой тонкими прядями лунного света, жалко сближающего шепота.

— Может тебя ветками придавило? Может, помочь? — смеется Муся.

Она стоит под березой — живая, легкая, как это белое деревце, облитое лунным светом. Николаю сразу приходят на ум стихи лирического поэта, и, подчиняясь колдовскому обаянию голубоватой ночи, он говорит:

— Стой так, стой и слушай.

Ее к земле сгибает ливень,
Почти нагую, а она
Рванется, глянет молчаливо —
И дождь уймется у окна.
И в непроглядный зимний вечер,
В победу веря наперед,
Ее буран берет за плечи,
За руки белые берет.

Николай все еще сидит среди обрушенных жердей и еловых лапок, полузакрытый ими. И читает он неважно, растягивает слова. Но в голосе звучит что-то такое, что заставляет девушку застыть под деревом, что наполняет сердце теплом, радостью, какой-то женской гордостью, сознанием своей власти над этим большим застенчивым человеком.

— Ну, ну! — заторопила она, когда Николай остановился.

— А дальше я забыл.

Партизан с нарочитой неторопливостью поднимается на ноги, старательно отряхивает хвойный мусор. Муся нетерпеливо посматривает на него и требовательно говорит:

— Николай, врешь. Дальше!

— А дальше ни к чему... Ну, впрочем, если ты хочешь...

Но, тонкую, ее ломая,
Из силы выбьются... Она,
Видать, характером прямая,
Кому-то третьему верна!..

— Все?

— Все.

— Это чьи стихи?

— Щипачева. Это ты — березка, вот такая, как эта, красивая, стройная, гордая, сероглазая...

— Березка сероглазая?

Они посмотрели друг на друга и засмеялись, зажимая рты и косясь на шалаш, где спал Толя.

— А я Щипачева как следует и не читала, мне все казалось: у него стихи — семечки... простенькие, простенькие... Как это: «Но, тонкую, ее ломая, из силы выбьются...» Здорово! Перечитаю обязательно!

— Правильно, придешь завтра в библиотеку и спросишь: «Дайте мне полного Щипачева».— Николай поднял холодные руки девушки и стал греть их в своих ладонях.

Она сунула их ему в рукава.— Ты же говорила, что не любишь лирики. Почему?

— Так, не знаю... Нет, знаю: поэзия должна поднимать, заряжать. «Эй, кто там шагает правой? Левой!..»

Вынув руки из рукавов Николая, отодвинувшись от него, девушка, озорно блеснув глазами, вполголоса запела:

...То не тучи — грозовые облака
По-над Тереком за кручей залегли.
Кличут трубы молодого казака,
Пыль седая стала облаком вдали...

Голос ее точно раздвинул предутреннюю тишину леса, и столько в нем было сверкающего задора, бурлящей молодости и веры во все лучшее на земле, что песня сразу захватила партизана, и вдвоем, улыбаясь, весело переглядываясь, они пели тихонько куплет за куплетом. Пели почти шепотом, близко сдвинув головы.

— Вот песня! Под такую идти... Ты помнишь, Николай, как тогда по болоту с песнями шли, а? Это поэзия!.. Нужно, чтоб каждая строчка стреляла! А что это: розы — грезы, родная — золотая... Но о березке —это все-таки... О березке... о сероглазой... Ты что-нибудь из Щипачева еще помнишь?

Николай грел дыханием Мусины руки.

— Ничего. У меня память скверная. Я и это не помнил, но тут как-то само на ум пришло. А вот у Тютчева... Постой, постой... Эх, забыл. Ты читала Тютчева? Вот поэт! В каждой строчке поэзия.

— А по-моему, настоящая поэзия — это когда ее вовсе и не чувствуешь. Да, да, что ты думаешь? Вот чистый воздух, дышишь — и не замечаешь, что он хороший. Просто хочется глубже дышать — и все. А когда духами пахнет — это не то...

Помолчали. Вдруг Муся прыснула со смеху.

— Ты что? — настороженно спросил Николай. И даже отодвинулся от нее.

— А вот сказать нашим девчонкам в банке, о чем мы сейчас разговариваем... Партизаны... перед походом... Не поверят. Слово даю, не поверят. Они, наверно, думают, что партизаны сидят у костра и оружие чистят. И обязательно говорят: «Отомстим проклятым фашистам». А о стихах — нет, не поверят.

— Почему не поверят? А помнишь Рудакова: «Без поэзии ночь — только темна, хлеб — только род пищи, а

труд...» Забыл... как про труд... Хорошо он тогда сказал...

— Где-то он сейчас... Как-то они там...

Оба вздохнули, смолкли.

Сетчатая тонкая тень от березы ушла вправо. Окружавшие поляну деревья понемногу выступали из синеватого мрака, трава еще больше серебрилась от загустевшего инея.

Николай с Мусей стояли, тесно прижавшись, глаза девушки мерцали где-то совсем рядом и казались партизану огромными. Эта ночь еще больше сблизила их. Они стояли так тесно, что Николай чувствовал своей щекой холодок щеки Муси. И было немного жутко.

Николай все убеждал себя поцеловать Мусю. Ведь нужно сделать только маленькое движение вперед и коснуться ее губами. Но именно теперь, в эту ночь, после их разговора, сделать это движение было почему-то необычайно трудно, и сердце билось так, как если бы он стоял над пропастью, хотел и не решался заглянуть в нее.

Луна, совсем побледнев, опустилась за деревья. В поредевшей тьме уже четко обозначался знакомый, но точно вылинявший, потерявший прежние краски, густо припудренный инеем лес.

Наконец Николай легонько притянул к себе девушку, губы его неловко ткнулись ей в щеку где-то возле уха. Муся чуть отпрянула, высвободила кисти рук из его рукавов. В ее отдалившихся глазах Николай не увидел ни радости, ни укора. В них была грусть. Чуть нахмурив брови, она тихо сказала:

— Не надо!

Если бы она возмутилась, оттолкнула его, может быть, даже ударила, партизану не было бы так тяжело, как от этого простого «не надо». Сразу он услышал хруст инея под своей подошвой, ознобная дрожь прошла по телу, нижняя челюсть мелко задрожала. Он ударил кулаком по стволу березки, дерево вздрогнуло, осыпало их инеем.

— Ух ты, сколько! — с преувеличенным оживлением вскрикнула Муся, отряхивая сухие кристаллики.— Вот так одарила нас березка сероглазая!..

Девушка лукаво взглянула на огорченного партизана.

— Николай, ты помнишь, как я тебе пуговицу к кителю пришивала? Помнишь, еще Матрена Никитична меня о чем-то предостерегла?

— Ну как же. Помню, конечно...

— Ну?

Большие круглые глаза по-мальчишески вызывающе смотрели в упор на Николая.

— Пришила. Крепко. Навсегда.

— И свое тоже,— тихо произнесла Муся. Произнесла и засмеялась задумчиво, едва слышно.— Ну вот, и не о чем больше говорить. Все ясно. Да?

Она глянула в глаза партизану и, привстав на цыпочки, крепко поцеловала в губы. Но, прежде чем он успел ее обнять, она выскользнула, отскочила и, улыбаясь издали, сказала подчеркнуто обычным тоном:

— Пора собираться. Я разложу костер, а ты буди Елочку. Идет?

Николай, вздохнув, покорно поплелся к уцелевшему шалашу.

Через полчаса в котелке кипел взвар из брусники. На трех аккуратных берестинках лежали изрядные куски вяленой зайчатины. Плотно закусив, напившись взвара, друзья тронулись в путь.

При переходе через протоку произошло замешательство. Вода была мелкая, но все же перелилась бы за голенища маленьких Мусиных сапог. Девушка задержалась у кромки пляжа. Николай перенес через протоку Толю, мешки и нерешительно остановился перед ней. Муся сама обняла его за шею, и, весь просияв, он бережно понес ее над холодной, рябоватой, точно рыбьей чешуею покрытой водой. И шел он при этом так медленно, как только было возможно.

10

Прямо от озера путники взяли на восток, розовевший прозрачным холодом скупой осенней зари. Чтобы не утруждать девушку, которая заметно прихрамывала, Николай вовсе освободил ее от груза и пропустил вперед.

Шли неторопливо, но споро. Муся старалась не сбавлять шаг. Но что-то странное стало вскоре твориться с Толей. Не прошло и часа, как маленький партизан, обычно такой легкий на ногу, заявил, что сбил пятку, и уселся переобуваться. Потом пошел вприпрыжку, каким-то смешным, заячьим скоком и затормозил движение.

Попрыгав таким образом еще с час, он решительно сбросил кладь и опять потребовал отдыха. Николай, который теперь, когда они наконец тронулись, готов был бегом бежать, сердито выбранил его и велел как следует подвернуть портянки. Но паренек, обычно такой обидчивый, только стоически вздохнул, потирая натруженную ступню.

Но кому остановка эта пришлась по сердцу, так это Мусе. Идти ей было трудно, хотя, конечно, она ни за что не призналась бы в этом спутникам. Рана горела. При каждом шаге она точно бы стягивала поврежденные мускулы. Нога немела, плохо слушалась и болела, будто к ней прикасались чем-то горячим.

Отдохнув минут десять, Толя встал и опять неторопливо заковылял вперед. Но когда Николай, желая облегчить его, попытался взвалить себе на плечи его мешок, мальчик покраснел, отнял поклажу. Так, делая из-за Толи остановки, путники шли до самого обеда. Вторая часть пути далась Мусе легче, и все же, когда Николай скомандовал ночлег, она упала на опаленную землю, думая только о том, как бы не выдать усталости и боли.

Ночевать решили под открытым небом, возле большой, поваленной ветром обгорелой сосны. Они подтянули к ней вплотную вторую, лежавшую невдалеке, обложили их сушняком и, слегка окопав землей, подожгли. У этого неторопливо, с сипением тлевшего костра они и собрались провести ночь.

Разведя огонь, Николай то и дело поглядывал на Толю. Мальчик действовал с обычным своим проворством, совершенно при этом не прихрамывая. Взгляд Николая становился все более хмурым. Когда сосны наконец разгорелись, распространяя благодетельный жар, он подошел к маленькому партизану, занятому приготовлением ужина, схватил его за плечи и сердито приказал:

— Разувайся!

Толя вспыхнул, испуганно оглянувшись, поджал под себя ноги.

— Разувайся! — повторил Николай уже тоном команды.— Сбил ноги — проветри, дай им отдохнуть. Не знаешь, что ли? Что ж, опять нам из-за тебя тащиться, как гусеницам?

Толя продолжал упорствовать. Николай вышел из себя. Он попытался было схватить паренька за ногу, но тот вскочил, царапнул партизана злым взглядом и, сжав

кулаки, зашептал побледневшими, вздрагивающими губами:

— Попробуй, только посмей! Только попробуй, посмей!

Муся бросилась между ними.

С минуту Николай сердито смотрел на маленького упрямца, потом молча улегся у медленно горевшего бревна. Он не понимал, что случилось с мальчишкой. «Неужели он притворяется? зачем? для чего?»

Позже, когда Николай уснул, Муся встала, подошла к Толе. Щадя его самолюбие, она уговаривала его послушать совета опытного товарища и разуться. Толя упорно уклонялся от разговора и по-мальчишески отпирался:

— А какое ему дело? Что он лезет?.. Я к нему не пристаю, пусть он не лезет... Пусть попробует, пусть только тронет!

И он сердито косился на безмятежно спавшего Николая...

...Бревно тлело всю ночь. Спутники отлично выспались, встали бодрыми, вчерашнее недоразумение, казалось, было забыто. Но как только тронулись в путь, Толя опять стал маяться из-за стертой ноги, замедлял движение, требовал остановок. Николай сердито мотал головой, но ничего не говорил. Муся же втайне радовалась, так как поспевать за друзьями ей было все же трудно.

К вечеру вышли из гари, подавлявшей путников своей мертвой тишиной. Впереди, за травянистым болотом, открылся не тронутый пожаром лес — пестрый и яркий.

Николай поправил на плечах тяжелую кладь и бросился бегом через болото навстречу этому живому лесу. За ним, должно быть тоже подхваченный тем же порывом, с обычной резвостью, совершенно перестав хромать, пустился Толя. Когда Муся, очень от них поотставшая, добралась до первых зеленых деревьев, Николай сердито ругал Толю за притворство. Маленький партизан не отвечал. Он только беспокойно поглядывал на приближавшуюся девушку.

Живой лес шумел звонко и успокаивающе. Славно пахло осенней прелью, грибами, мхом. Глубоко вдохнув чистый воздух, Муся расправила плечи, счастливо улыбнулась, оглядывая буйную зелень хвои.

— Товарищи, как все-таки здорово жить! А?

— Когда мы перейдем фронт, мы сразу почувствуем то же, что сейчас, выбравшись на этой проклятой гари,—

ответил Николай.— Мне кажется, что и воздух там должен быть какой-то другой, и земля и лес иные.

— Вот-вот, правильно! — воскликнула Муся.

— А мне, елки-палки, кажется, что и солнце-то хуже светить стало с тех пор, как фашисты сюда пришли.

После черных траурных пейзажей горелого леса здесь было так хорошо, так привольно дышалось, что как-то сама собой возникла казачья песня, которую Муся и Николай пели ночью на островке. Толя шутливо начал подсчитывать шаги. Ать-два, ать-два... Все трое подхватили припев и, бодро шагая, допели до конца.

Лес, солнце, зеленая хвоя, песня, свежий воздух, воспоминания о последней ночи, проведенной на острове,— все это радовало, бодрило девушку, будило ощущение собственных сил, молодости, красоты.

— А разве плохо: «Рванется, глянет молчаливо, и дождь уймется у окна»?

— Это о чем вы? — подозрительно спросил Толя.

Муся и Николай посмотрели друг на друга, немножко смутились и не ответили. Было приятно, что у них завелась общая тайна.

Стараясь отвлечься от боли в ноге, которая еще давала себя знать и мешала идти, Муся старалась угадать — что изменило леса за эти двое суток, пока она с друзьями шла по черной пустыне? Только когда Николай скомандовал привал, девушке удалось уловить эту разницу. Убитый последним — особенно сильным — заморозком, лист буйно тек с ветвей. Лиственные деревья полысели, погас яркий пламень их красок. Сосны и ели теперь как бы выступили вперед, прикрыв своей синей хвоей наготу берез, осин, ольхи и орешника. Только низенькие, корявые дубки поддерживали честь своих облысевших лиственных собратьев. Рыжими, ржавыми пятнами то здесь, то там выделялись они в хмуроватом однообразии хвои.

Когда Николай ушел поискать свежей дичи к обеду, а Муся начала собирать бруснику, от изобилия которой краснели солнечные полянки, Толя разулся и развесил портянки на кустах. Вернувшись с полным котелком тронутых морозом, мягких и сладковатых ягод, девушка неслышно подошла к стоянке и издали осмотрела ноги своего маленького спутника: на них не было и следа по-

тертости. Сначала девушка рассердилась. Потом, вспомнив, как Толя испугался, когда Николай хотел понести его груз, вдруг поняла, для чего он притворялся. Она поняла все, и нежность к этому колючему, упрямому пареньку проснулась в ней.

Услышав, как хрустнула ветка, маленький партизан быстро спрятал ноги.

— Не надо, Елочка... Мне теперь совсем нетрудно,— сказала Муся.— Ведь все же зажило...

На следующий день они двигались заметно быстрее.

11

Однажды под вечер сквозь ровный привычный лесной шум вдруг донеслось до них пение петуха. Все трое мгновенно замерли. Лес поднимался сплошной зеленой стеной, хмурый и неприветливый. Он шумел глухо, ровно. Но путникам показалось, что они уже улавливают и легкий запах дыма — и дыма не горького, одно воспоминание о котором вызывало у них тоскливое чувство, а теплого, жилого, в котором угадывались близость людей, сытный дух приготовляемой пищи. И вдруг снова, даже не очень далеко, точно спросонок, хрипловато прокричал петух.

Партизаны переглянулись.

Жилье! Это обрадовало и испугало. Оно могло означать тепло, отдых под кровлей, хлеб, по которому они так стосковались, но может быть, таило и засаду, схватку с врагом, новые испытания.

Решено было, что Муся с Николаем засядут в кустах, а Толя пойдет на разведку. Мальчик сбросил мешок и, изобразив на своем подвижном лице жалостную гримасу, засунув руки в рукава, весь зябко съежившись, скрылся в кустах. Через некоторое время густо залаял пес. Послышались голоса. Муся прижала судорожно сжатые кулаки к груди и вся точно оцепенела. Девушке показалось, что прошло много времени, прежде чем появился Толя. Под мышкой у него была увесистая краюха хлеба.

— Пошли! — едва выговорил он; рот его был так набит, что он с трудом жевал.

Толя разломил краюшку и протянул спутникам по половинке.

От запаха хлеба у Муси закружилась голова.

Что может быть слаще, чем вонзить зубы в душистый, нежный, еще теплый черный хлеб, обонять его кисловатый свежий дух, чувствовать на зубах скрипучий хруст угольков, что всегда запекаются в нижнюю корку? Тот, кто в войну поскитался по фронтовым дорогам, посидел в мерзлом окопе, дрожал от холода в партизанских засадах, тот знает, что никакие яства не соизмерятся с краюхой черного хлеба, в особенности если его посолить да чуть погреть перед едой на костре, насадив на винтовочный шомпол.

Несколько минут партизаны сосредоточенно жевали. Наконец, уничтожив свою долю, Толя стряхнул крошки, бросил их в рот и стал рассказывать:

— Лесник. Пускать не хотел: кто, да что, да не велено немецким старостой никого пускать, да подавай ему немецкую бумагу. Гонит, а чую — вроде ничего, вроде свой... Я ему и так, и этак, он ни в какую: «Много вас тут сейчас шляется. Из-за таких вот фашист мирного жителя и палит». Я, елки-палки, рассердился и ему бряк: «А разве лучше, если свои, а?» Он на меня уставился. «От партизан?» Я говорю: «Точно». Он сразу засопел. «А из чьих будете?» Я ему: «Тебе не все равно? Не из здешних». Он поломался, в затылке поскреб. «Я человек частный, цивильный... Мне ни до кого дела нет... Однако шут с вами, приходите, только не по дороге, а по задам, от леска». Тут я у него хлебушка и попросил. Хлеба у него этого в доме напечено — ужас! Чуть не под потолок хлебы лежат, как в магазине.

Ценности закопали под приметным султаном можжевелового куста, осыпанного воронеными ягодами, посорили сверху хвоей и, сняв автоматы, осторожно пошли за Толей.

Лесник встретил их у плетня, отгораживавшего от леса маленький садик. Он делал вид, что чинит покосившийся заборчик, но по его настороженному взгляду и по тому, как держал он топор, было ясно, что заборчик тут ни при чем.

Николай решил действовать прямо.

— Здорово, дед! — сказал он, шагая к старику, который отводил за спину руку с топором, половчее перехватывая при этом топорище.

Они настороженно осмотрели друг друга. На миг взгляд старика задержался на советском автомате, висевшем на груди партизана. Автомат был новенький, отли-

вал синим глянцем воронения. Будто невзначай, старик пощупал пальцем лезвие топора, переложил его в левую руку и старческой скороговоркой зачастил:

— Здравствуйте, страннички! Откуда и куда бог несет?

Взгляд лесника еще раз задержался на автомате, скользнул по лицу Николая, с ног до головы смерил Мусю. Только после этого старик протянул партизану морщинистую руку.

— Ну, коли так, давай и за руку подержимся. Вы кто будете-то, милые мои?

Николай заметил интерес старика к автомату. Это было оружие новейшей конструкции, из тех, что самолет принес с Большой земли. Партизан понял, что старик не так уж прост, как хочет казаться. Оружие служило в те дни на оккупированной земле неплохим удостоверением личности. Партизан показал леснику новенькую казенную часть автомата.

— Интересуешься игрушкой? Видишь: «СССР... 1941 год»? Смекаешь? С конвейера, тепленький.

— Занятная вещица,— ответил лесник уклончиво и, будто так, к слову, прибавил: — Ох и оружия нынче по рукам у людей ходит всякого: и немецкое, и итальянское, и французское, и даже вон финское, какого только нет... А вы что, ищите что ль кого иль просто по лесу плутаете?

Безбородое, безбровое, морщинистое лицо старика Мусе не понравилось. Именно такими представлялись ей предатели. Но обманчивый облик Кузьмича уже отучил девушку судить о человеке по внешности. Да и окажись лесник предателем, что бы он мог сделать один с топором против трех вооруженных людей?

— А если, например, мы из окружения выходим? — спросил Николай, пытливо поглядывая на лесника.

Водянистые глаза старика совсем спрятались в путанице глубоких морщин.

— С новыми автоматами? Это конешно... я понимаю. Ну что ж, «окруженцы», ступайте в избу, а то вон и дождь пошел... Так, стало быть, из окружения? А знаете ли вы, распрекрасные «окруженцы», что господин районный фельдкомендант приказал вашего брата задерживать, за шкирку брать да к нему водить?

От этих слов Муся было попятилась, но Николай решительно ввел ее в низкие полутемные сени. Скрипнула

обитая тряпьем дверь. Из избы густо ударил запах печеного деревенского хлеба, самый жилой и уютный из всех человеческих запахов. В переднем углу на скамье рядами, матово лоснясь коричневыми корками, лежали свежие круглые караваи. Они «отходили», прикрытые еловыми ветками. Из печи тянуло все тем же жарким хлебным духом. Рядом с печью виднелась деревянная квашня, прикрытая рядном.

— Большая у вас семейка, ишь хлеба едят! — усмехнулся Николай, зорко высматривая все углы темноватой избы, заглядывая даже под печку.

— Уж какую бог благословил, что чужое-то считать,— отозвалась возившаяся у печи тощая старушка.

Возле старушки, как-то вся поджавшись, будто собираясь взлететь, стояла худенькая молодая женщина. Она была похожа на эту высохшую клювоносую старушку, как новенький, сверкающий свежим никелем и четкостью своего рисунка гривенник на тусклую, истершуюся монету. На руках молодой был ребенок. Должно быть, она только что его кормила и теперь стояла, загораживая ладонью свободной руки незастегнутую блузку. Лицо у нее было привлекательное, но болезненно бледное и очень печальное.

Женщины тревожно смотрели на Николая, сразу заполнившего собой всю переднюю половину избы, на воинственного Толю, обвешанного оружием. Но когда через порог переступила Муся, они переглянулись и точно облегченно вздохнули. Золотистый жар мелодично потрескивал в печи. С хлюпающим болотным звуком лопались пузыри в опаре, закрытой мешковиной.

— Помогай вам бог! — сказала Муся, усвоившая от бабки Прасковьи кое-какие правила сельской вежливости.

— Спасибо, коль не смеетесь,— тихо ответила молодая.

И по голосу, и по тому, как она произнесла эти нарочито народные слова, Муся догадалась, что женщина эта городская и, скорее всего, гость в лесной избе.

— Что ж, мать, покормить странников надо,— тоненьким, бабьим голоском сказал лесник.— Нет ли там у нас щец, что ли? А вы, страннички, садитесь. Чего стоять?

Скинув мешки, партизаны сели к столу, но автоматы положили на лавке возле.

— Гляди! — шепнул Мусе Толя, потихоньку указывая на стену.

Девушка подняла глаза и увидела в углу большую цветную фотографию, вырезанную, должно быть, из какого-то журнала. На ней была изображена Матрена Никитична, обнимавшая пестрые телячьи мордочки. Женщина улыбалась. И на миг Мусе показалось, что она видит не засиженный мухами, пожелтевший лист бумаги, прилепленный к стене, а что подруга улыбается ей в этом незнакомом жилище. На душе сразу стало хорошо.

Старуха молча принесла котелок щей, вылила их в глиняную миску, перед каждым положила по деревянной ложке и тихонько произнесла:

— Кушайте на здоровье.

— Много вами благодарны,— ответила Муся.

— Вот сразу и видно, что вы не деревенская. В колхозах так уж давным-давно не говорят,— усмехнулась бледными губами молодая хозяйка, появляясь с ребенком в дверях и настороженно посматривая на гостей.

— Нет, отчего же, Зоечка, это где как,— политично смягчила старшая и покосилась на автоматы.

Николай и Толя не могли сдержать улыбки, а сконфуженная Муся дала себе слово больше не прибегать к дипломатическому словарю бабки Прасковьи. Но минуту спустя она встретилась с молодой взглядами. Обе понимающе улыбнулись и опустили глаза.

Лесник, в валенках, в заплатанном, залоснившемся полушубке, стоял, скрестив руки, у входной двери, с усмешкой наблюдая за тем, как быстро пустела объемистая миска. Прежде чем старуха успела принести вареную картошку, с такой же быстротой исчез и теплый каравай хлеба.

Николай и Толя ели картошку прямо руками, макая ее в блюдце с солью. Муся пыталась есть с вилки. Но отвыкшие руки дрожали, и раз вилка выскользнула из пальцев, даже упала на пол. Картошка исчезла так же быстро, как щи. Собрав и отправив в рот последние разварившиеся кусочки, Николай улыбнулся:

— Все. Как саранча. Вы уж извините нас...

— Кушайте себе, лишь бы на пользу,— сказала старушка. Она набрала в опустевший котелок еще картошки и сунула его в печь.

Чувствуя в теле приятную сытость, партизаны распустили пояса.

— Удивляетесь таким едокам? — спросил Николай.

— А чему удивляться, все теперь вот так-то — придут и едят... Раньше-то к нам только охотники и заглядывали, и то больше весной да под осень, к первой пороше, а теперь...— Старушка громко вздохнула.— Теперь много народу с места стронулось да по лесам бродит, как звери дикие. Война, горькими слезами земля умывается.

— Вы ступайте-ка в клеть, мне со странничками потолковать надо,— сказал лесник женщинам, отделяясь наконец от дверного косяка.

Старуха взглянула в печь, пошевелила кочергой горячую золу и, взяв под руку дочь, вышла с ней из избы.

Лесник достал из-за печи поллитровку с мутной жидкостью, заткнутую зеленой еловой шишкой, вынул из висевшего на стене шкафчика четыре разномастные кружки, все это поставил на стол.

— Ну, открывайтесь, «окруженцы»: кто такие? Этот,— он указал на Толю, который от сытости начал уже дремать,— этот вот гренадер в гвардии, что ль?

На безволосом лице старика появилась косая усмешка.

— А вы что ж, в полиции иль в комендатуре — вам все знать надо? — отозвалась Муся и, будто поправляя гимнастерку, расстегнула кобуру пистолета, висевшего на поясе за спиной.

— Зачем в полиции?.. А если мне знать охота, кто у меня хлеб-соль ест, кого кормлю-пою,— отозвался старик, и выразительные морщины на его лице собрались в пучки насмешливых лучиков.— А ты, милая, пистолетик-то оставь, не пугай: небоязливый я что-то нынче стал. Смерть-то моя давно уж вокруг избы ходит... Парнишка сказал, будто вы от партизан, и оружие у вас подходящее. Вот и пустил я вас. А то бы... Оттуда, что ли? — Он показал на небо.— Может, не там приземлились или ищете кого... Всяко бывает.

Николай собрал со всего стола крохи себе в ладонь, отправил в рот и с удовольствием пососал. Лесник принес еще один каравай, разрезал его на крупные ломти и положил на стол. Со стариковской неторопливостью он ждал ответа. Гости все трое опять принялись за хлеб.

— Видать, наголодались... Чего ищете, что ли? — спросил лесник.

Николай переглянулся с Мусей. Внешность лесника с первого взгляда мало располагала, и все же надо было, по-видимому, действовать начистоту. Окажись лесник

предателем, вряд ли смог бы он вызвать полицию. Да и хозяйки, такие обе разные и такие похожие друг на друга, располагали к себе тихой деликатностью.

— Он,— Николай кивнул в сторону Толи,— он правду сказал. Мы — партизаны. Нам нужно перейти фронт.

Партизан произнес все это, глядя старику прямо в глаза. Так всегда поступал Рудаков, желая узнать, что творится на душе у человека.

Старик тихонько свистнул.

— Фронт?

Морщины хозяина разбежались, на губах мелькнула горькая усмешка.

— Перейти фронт. А до фронта-то сколько идти, знаете?

— А вы знаете? — спросила Муся. Уловив какую-то грустную ноту в голосе лесника, она вся похолодела от страшного предчувствия.— Неужели Москва?..

Старик вздохнул.

— Фашисты вон в листках пишут — не только Москва, а будто и Ленинград взят. Наши будто бы к Уралу отходят. Старостам на сходках велено об этом народу объявлять... Листки по дорогам расклеивают: выходите с повинной, карта ваша бита.

— Врут, подлецы! — вскрикнул Николай и вскочил с такой стремительностью, что стол приподнялся и все, что было на нем,— чугунок, ложки, кружки — покачнулось, а миска упала и хлопнулась об пол.

Разбуженный шумом, Толя схватился за оружие.

— Кто? Где? — тревожно спрашивал он, осматриваясь спросонья.

— И я так полагаю, врут, так что посуду-то громить вроде и незачем,— спокойно ответил лесник. Морщинки опять пучками сбежались к его глазам, и глаза точно сразу помолодели, по-доброму улыбнулись. Собирая с пола черепки, лесник продолжал: — И я так полагаю: не только не взяли, а и не взять им ни в жизнь Москву. Хоть всю свою гитлерию переведи на мясо... Ходит по лесу слушок, будто город Калинин, это верно, взял он, будто и еще к Москве приблизился, а тут ему: «Стой, полно, шабаш!» И к Ленинграду, говорят, будто подошел. И тут ему опять: «Нет тебе дальше ходу...» Будто там фашист-то теперь кровью исходит в затяжных боях.

— Откуда знаете? — быстро спросил Николай.

У хозяина собралась на лбу целая гармошка морщин.

— Сорока на хвосте носит, в лесу ж живу,— сказал хозяин.— Я у вас не интересуюсь, как звать, к кому с чем посланы. Здесь, брат, паспорт не бумага, здесь надо знать, кто ты есть — честный человек ай стрикулист из гестапы... Тебе совет: за спиной у немцев гуляя, эти слова — «кто», да «где», да «сколько» — забудь. А то как раз от честных людей и схлопочешь пулю в затылок. Ты вот слушай. Ходит еще по лесу слушок, будто Красная Армия такую для них мясорубку завертела, что в ней сукин сын фашист весь, со всеми своими железяками, перемелется. Вот какой слушок. Понял?

Ловким ударом по днищу бутылки лесник выбил из горлышка шишку, разлил по кружкам мутную жидкость.

Николай разом осушил свою кружку. Муся хлебнула, подавилась, закашлялась. Толя отодвинул чашку и твердо заявил:

— Не пью.

Лесник повел на него повеселевшими глазами, ткнул пальцем под ребро.

— Сурьезный! А какой же ты партизан, коли не пьешь! Лесному человеку без того нельзя. Уж не агент ли ты из гестапы? А ну, открывайся!

Язык у хозяина заметно развязался. Он кликнул женщин. Они молча вернулись в избу и принялись возиться с новой партией поспевших хлебов. Старшая тонкой лопатой ловко выхватывала из печи караваи, младшая смачивала верхнюю корку водой, а потом, перекидывая с руки на руку, несла к окну, не обращая внимания на гостей. Видно было, что не впервой им печь такую гору хлебов и не впервой видеть в своем доме незнакомых вооруженных людей.

Придя в конце концов в отличное расположение духа, лесник решил:

— Вот что, ребята, что-то вы больно чешетесь. Должно, эсэсов развели тьму, по лесам-то скитаясь, давайте-ка я вам баньку схлопочу.

И пока, разомлев от жары, от сытости, от сухого избяного тепла и жилого уюта, путники дремали, привалясь друг к другу, на скамье, лесник истопил баню, натаскал воды. Николай с Толей были приглашены помыться «по первому парку».

Увидя, что партизаны берут оружие, хозяин пошутил:

— Это что ж, заместо мочалки с веником? — но, заметив, как гости сразу насторожились, поспешил доба-

вить: — Ладно, ладно, это я так, смеху ради! Правильно, парень, среди волков живешь, по-волчьи выть надо. С зубами-то и на ночь не расставайся, а то самого как раз и разорвут.

12

В ожидании своей очереди Муся уснула тут же, на скамье. Словно сквозь теплую мягкую стену сна, глухо доносились женские голоса:

— Молоденькая совсем. Ей бы в куклы играть, а она вон по дебрям с оружием лазит... Мужики уж ладно, а такие-то вот... девчонка ж... Ох, ох, ох, времечко!

Чья-то рука покрыла Мусю шубой. Ей хотелось благодарно пожать эту руку, но не было сил пошевелиться, и она только повела губами, думая, что говорит «спасибо».

— Видать, интеллигентная. Еще школьница, наверно...— отозвался другой голос.— Вон какие воюют, все воюют, народ поднялся, а вы меня не пускаете.

Старческий голос зачастил испуганно и раздраженно:

— Думать не смей... Маленького от груди не отняла, а тоже... Ребенка расти, да хлебы пеки, да белье стирай — вот и вся твоя война. Ей, войне-то, не только пули, ей и хлебушко нужен. Гляди, бедная, все чешется во сне-то. Ты уж, Зоюшка, какую-нибудь старенькую свою станушку для нее захвати. Ей, поди, и переодеться не во что...

Потом голоса удалились, расплылись в пестрой мгле видений, и Муся, наслаждаясь теплом и покоем, заснула так, что через час ее с трудом разбудили вернувшиеся из бани спутники, распаренные, красные, потные и счастливые.

Возле Муси с тазом, со свертком белья, по-деревенски обмотанная платком, в пестром от заплат полушубке стояла дочь лесника Зоя.

— Что ж, пошли, наша очередь. Истосковались, наверно, по бане?

Муся не помнила разговора, слышанного сквозь сон, но в душе осталось безотчетное чувство благодарности к этой тоненькой, хрупкой женщине. Девушка доверчиво прижалась к ней, и они, как старые подружки, весело

побежали по протоптанной меж грядками огорода дорожке в курную баньку.

Все дальнейшее — льдистая прохлада предбанника, жаркая горечь воздуха, упругие облака невидимого пара, рвущегося из каменки, шипение и плеск воды, непередаваемо приятное прикосновение жесткой мочалки,— все это слилось потом в памяти Муси в радостное ощущение уютной домашности, по которой так истосковалась ее душа.

Потрескивая и задыхаясь, коптила в углу керосиновая лампешка. В клубах пара неясно белел силуэт женщины, худенькой и стройной, как подросток. Сквозь плеск воды и сердитое шипение пара на раскаленных камнях слышался ее тихий, печальный голос. Пока Муся ожесточенно терла себя мочалкой, ее новая знакомая, упершись подбородком в острые, девические колени, рассказывала о том, как очутилась она здесь, в избе лесника, у родителей.

Зоя была женой командира-пограничника. Весь гарнизон в первый же день войны оказался отрезанным от своих колоннами вражеских танков. Пограничники сопротивлялись до последнего. На пятый день обороны погиб муж Зои — лейтенант, последний защитник северного блокгауза.

На восьмой день круговой обороны, когда от личного состава гарнизона оставалось всего девять человек, из которых шестеро были ранены, начальник, тоже раненный и продолжавший руководить боем, вызвал женщин, имевших детей, и приказал им ночью уходить через овраг...

— Я спросила его: «А как же раненые?» — звучал из парной мглы печальный женский голос.— А он, капитан, сказал: все здоровые и раненые решили сражаться до конца. Я сказала ему, что у меня еще нет ребенка и поэтому я останусь при раненых, а он ответил: «Ребенок у тебя, Зоя, скоро родится, и ты уйдешь вместе с матерями». Я сказала, что никуда не пойду, что хочу умереть здесь так же, как умер и муж. Капитан в ответ пошутил, что если все солдатские жены будут так рассуждать, то в будущую войну некому будет защищать родину. Я сказала, что все-таки не оставлю раненых, а капитан ответил, что он начальник заставы и я должна выполнять его приказ. Я попросила показать мне могилу мужа. Его ночью закопали рядом с развалинами домика,

где мы жили... А потом начальник прислал за мной бойца. «Идите, пока темно»,— сказал мне боец. И я пошла. Они все могли бы тоже уйти, но они не хотели, они решили сражаться до конца. И сражались. А я добралась сюда, до своих, и вот все жалею, зачем я ушла: ведь лучше бы мы все погибли там вместе и я лежала бы рядом с Колей. Правда? Ведь правда?

Мусе казалось, что голос женщины доносится откуда-то издалека. Ее историю она слушала как бы вполслуха, ожесточенно действуя мочалкой, плеща на себя маслянисто-мутный щелок, обливаясь из шайки водой. Эгоистически наслаждаясь всем этим, она лишь изредка, между делом роняла сочувственно:

— Да, да... Ай-яй-яй...

Но худенькой женщине, должно быть, и не нужны были ее ответы. Просто рвалось наружу то, что все эти месяцы она носила в себе.

— Мне все мерещится он, Коля мой, как перенесли его из блокгауза. Весь в крови, бледный, и только волосы у него мягкие-мягкие, как чесаный ленок, ветер шевелит. Волосы шевелятся, а мне думается, жив он, утомился и спит... А тут мальчишка один, начальника заставы сынишка, теребит его: «Дядя Коля, вставай, дядя Коля, проснись!» И я все теперь думаю: зачем ушла, не надо было уходить! Лежали бы вместе... А сейчас я что? Так, палый лист. Все маме вот говорю: «Пусти к партизанам». А мама: «И думать не смей, у тебя ребенок!» А что ребенок? Победим, без меня хорошим человеком вырастет, а не победим — зачем ему жить? Разве при фашистах жизнь? Правда?.. Ругаю себя, ругаю, что тогда ушла. Но ведь начальник сказал «приказываю», а в пограничных частях, знаете, строго. Дисциплина...

13

Потом Муся, раскрасневшаяся, одетая в старинную, из грубого домотканого полотна, крестиком вышитую хозяйкину кофту и в полушубок, вместе с Зоей вернулась в домик. Толя уже сладко посапывал на лежанке. Николай с лесником сидели за столом перед пустой и початой бутылками. Лесник, весь красный, оживленно размахивал руками, поминутно отирая рукавом пот, тоненьким своим голосом кричал:

— Вот ты, парень, как в баню шли, взял автомат. Почему взял? Не доверяешь? А мне не обидно, нет! Почему не обидно? Потому, что я знаю: значит, парень настороже, значит, парень этот самый фашисту урон дает. Значит, валяй не доверяй. Вот! Я, милый, знаю, мы тут все фашиста щиплем только. Бьют-то его, собаку, там: Красная Армия его лупит. Однако щипки тоже не без пользы. Вот! Спать ему, сукину сыну, не давать, ни днем, ни ночью чтоб он покою не знал. А такого исщипанного, пуганого да невыспавшегося его и там, поди, бить легче. Это, парень, стратегия. Так, что ли, оно у вас по уставу-то называется?

Увидев женщин, вернувшихся из бани, Николай радостно вскочил.

— Муся, ты знаешь, хозяин говорит, что Совинформбюро передавало...— но не докончил, с восхищением уставившись на свою спутницу.

Лицо девушки, отмытое от копоти, полыхало ярким румянцем. Отросшие за дорогу промытые волосы вились теперь тугими кольцами. Даже лесник залюбовался ею.

— А ну, партизаночка, присядь с нами.

Муся сердито покосилась на бутылки.

— Спать надо, вот что! — коротко бросила она, проходя мимо Николая.

— Строга? — спросил лесник и захихикал хмельным смешком.— Эх, парень! Разве ихнему брату можно позволять себе на шею садиться?

Муся сделала вид, что не слышит. Она прошла вслед за Зоей за розовую ситцевую занавеску. Здесь стояла узенькая девичья кровать, а рядом в плетеной корзинке, висевшей на толстой, прилаженной к потолку пружине, раскинув ручки, спал маленький человечек, тот самый, что, еще не родившись, принял участие в бою на границе своей сражающейся родины.

Обе женщины быстро разделись и легли, обнявшись, как сестры. Только сейчас, когда Зоя прижалась к Мусе, спрятала свое лицо у нее на груди, девушка поняла всю горечь того, о чем та рассказывала. Стало жаль эту женщину, похожую на подростка. Муся, как маленькую, стала гладить ее по голове, а Зоя, прильнув к ней, тоскливо, бесшумно заплакала.

Из-за занавески продолжали доноситься возбужденные голоса.

— Фриц — он что? Он привык на танках по Европам раскатывать, а у нас не разгуляешься, нет! — шумел лесник.

Гремели чашки, булькала наливаемая жидкость.

— А что, хозяин, партизан-то много у вас?

— Опять «сколько» да «где», «кто» да «что». Говорю, не спрашивай. Видишь хлеб на лавке? На два дня не хватит. Понял? Ты вопросов не задавай, ты слушай... Догадка у меня есть: может, и не зря мы их так далеко пустили, а? Может, у командования у нашего есть такой план: дескать, пусть фашист в боях-то истреплется, а тут его как раз по башке и бац... Не слыхал, как у нас весной на медведей на выман охотятся?.. Может, это одни мои глупые слова; допускаю, однако, есть там не такой, так другой какой-нибудь секретный план... Уж это, парень, точно есть. Вот!

— Что там верховное командование думает, это нам неизвестно,— заметил Николай.— А что мы в Берлине войну кончим, вот это я знаю. Уж это обязательно...

— О! Правильно! В Берлине. Нет такой силы, чтобы нас сломать. Вот они сейчас по всем дорогам к себе «нах хауз» сплошняком санитарные машины тянут. И день тянут, и ночь тянут, и конца им нет. Мы, брат, хоть и оккупированные, а знаем: нас большевистская партия не забыла, помнит о нас, не сегодня, так завтра выручит.

— Спать бы шел и гостю б покой дал... агитатор,— донесся с печки тихий голос хозяйки.— Вот беда: как вина хлебнет, так пошел языком воевать... Ложились бы и вы, с дороги-то. Я вам на лавке постелила.

— Постой, мать, постой! Дай потолковать с неоккупированным человеком... А ты, парень, слушай, ты молодой, а я две войны воевал и за две войны два раза немецкую задницу битую видел. А тогда какие мы были, кто мы были? Ну? А сейчас какие стали, а? То-то и есть!..

...За занавеской под стеганым, из лоскутов сшитым одеялом шел другой разговор.

— Я не знаю, кто вы, и не спрашиваю. Тут приходят из лесу, забирают хлеб, привозят белье стирать, я тоже ничего не спрашиваю — пеку, стираю. Наши — и все. Но я прошу вас, очень прошу: возьмите меня с собой. Я не трусливая, нет. Там, на границе, я сидела в блокгаузе вместе с Колей, диски ему заряжала, а потом,

когда второму номеру голову осколком снесло, за второго номера легла... Возьмите. Ну хоть сестрой милосердия или кухаркой. Не могу я тут. Сюда ж немцы заезжают, а я жена... вдова командира. Если я отсюда к вам не уйду, наверно, сделаю какую-нибудь глупость и погибну без пользы... Возьмите, а? Возьмите!

Худенькое тело женщины сотрясалось от рыданий. Муся, которая была значительно моложе, чувствовала себя рядом с ней пожилой, умудренной. Она тихо гладила Зою по голове.

— Зачем же плакать? И хлебы печь и белье стирать — дело. Лишь бы сложа руки не сидеть, не ждать... Я бы с радостью осталась в отряде...

Муся закусила губу. Собеседница сразу от нее отодвинулась. Она точно вся похолодела. Мокрое лицо ее смотрело теперь на собеседницу холодно, настороженно.

— Если бы мне не поручили другого задания,— поспешила поправиться Муся.— Что это?

В это мгновение загремел цепью, залаял пес. Сквозь лай прорывался отдаленный гул мотора. Зоя разом вскочила и, опустив босые ноги, напряженно вытянула шею. Мотор то стихал, то слышался вновь. С каждой минутой он звучал все слышнее.

— Они! — прошептала Зоя.— Одевайтесь.

Лесник задул лампу, но синий свет фар уже бил в ставни. По избе тревожно метались черные тени. Вся одежда Муси еще выпаривалась в бане. Соскочив с кровати, девушка заметалась, ища впотьмах полушубок или хотя бы кофту. Николай расталкивал Толю, но, разомлев от непривычного домашнего уюта, маленький партизан, обычно такой чуткий в лесу, никак не хотел просыпаться. Он только отмахивался и мычал. Наконец он открыл глаза и, соскочив с лежанки, сразу же схватился за оружие.

А на промерзшем крыльце уже скрипели шаги. Пес захлебывался лаем. Стук в дверь раздавался оглушительно, как канонада.

— На чердак!— шепнул старик, распахивая дверь в сени.

Муся и Толя бросились туда и стали взбираться по приставной лестнице. Николай колебался, видимо не очень доверяя леснику.

— Не сомневайся, не сомневайся,— с отчаянием шептал старик, подталкивая его к лестнице.— Я же связной,

у партизан связной, мне себя выдавать нельзя. Мне с немцами компанию водить велено.

В дверь бухали все нетерпеливее. Чем-то тяжелым колотили в ставень. Лай собаки поднялся до самой высокой ноты, но глухо хлопнуло несколько выстрелов, и он сразу осекся.

— Ой, горе, Дружка застрелили... Да сейчас, сейчас, носит вас по ночам! — громко ворчал лесник, силой толкая Николая к лестнице.

— Смотри, в случае чего, вместе на небо полетим,— шепнул партизан, показывая гранату.

Упругими прыжками гимнаста он поднялся наверх и сейчас же втянул за собой лестницу.

14

Луна просовывала в слуховое окошко холодный толстый луч. Николай, Муся и Толя, тесно прижавшиеся друг к другу, видели в его свете пыльный кирпичный боров, березовые веники, парочками висевшие на шесте. Взволнованное их дыхание морозным облаком срывалось с губ и, переливаясь, уплывало в полутьму.

Партизаны захватили все свое оружие, но одеться никто из них не успел. Николай был одет теплее других: в ватных шароварах, в гимнастерке. На Мусе была всего лишь длинная ночная сорочка. В первые минуты, слишком взволнованные, все трое не замечали холода. Они прислушивались к голосам, просачивающимся сквозь щели потолка, и все гадали: что это — случайный приезд незваных гостей или засада, устроенная им лесником?

Доносившийся до них снизу разговор понемногу убедил, что приезд немцев случаен, что хозяин вовсе не собирается их выдавать. Напряжение схлынуло. Вот тогда-то льдистая стынь крепкого ночного заморозка и впилась в их разгоряченные баней и непривычным избяным теплом тела. Неодолимая зябкая дрожь овладела их мускулами, зубы помимо воли стали выбивать противную дробь. Грея один другого, партизаны все время прислушивались к тому, что происходит внизу.

Судя по голосам и звукам шагов, в избе находилось пять — семь немцев. Часть из них осталась в кухне, за переборкой, а двое, в том числе и человек, говоривший

на ломаном русском языке, прошли в горницу, расположенную как раз под тем местом, где, скорчившись, сидели партизаны. Объяснявшийся по-русски, по-видимому переводчик, говорил с лесником. Партизаны поняли, что машина с солдатами возвращалась из какой-то «особой экспедиции» и озябшие немцы просто зашли погреться. Тот, кто разместился в горнице, по-видимому был начальником. Он говорил в нос, растягивая слова. Переводчик обращался к нему: «мейн офицер». Офицер попросил лесника, как выразился переводчик, «сделать воду теплой». Солдаты, расположась на кухне, стучали консервными банками, резали хлеб да подшучивали над дочерью лесника, которая, судя по стуку ковша, наливала самовар.

Потом от печного борова потянуло вкусным дымком. Кирпич начал чуть нагреваться. Нащупав место, которое теплело быстрее остальных, Николай устроил на нем Мусю и Толю. Натянув рубашку до пят, девушка сжалась в комок и дышала себе в согнутые колени. В темноте чердака, пронзенной ледяным лучом, она напоминала маленький сугроб. Девушка тряслась, ее бил озноб. Толя улегся на потеплевших кирпичах. Николай уселся в углу, там, где боров переходил в трубу.

— Мальчишкой я, елки-палки, мечтал ехать в Арктику. Вот был дурак-то,— стуча зубами, шепнул ему Толя.

— А теперь состарился и решил не ездить. Правильно, ну ее к черту, пусть там белые медведи мерзнут,— усмехнулся Николай, обнимая мальчика.

— Тише вы... Эх, кабы Зоя догадалась печь пожарче растопить! У меня душа в льдышку превращается,— отозвалась Муся. Сорочка не грела. Девушке было хуже всех.

Они шептали все это почти бесшумно. Густые курчавые парки по очереди срывались с их губ, клубясь в холодном синеватом луче.

Перед домом, стуча сапогами по подмерзшей земле, ходил часовой. Лунный свет медленно двигался по чердаку. Веники уже оказались в темноте, и он осветил содержимое большой плетеной корзины, до половины наполненной шариками клюквы. Толя, оторвавшись от теплых кирпичей, стремительно, как синица, порхнул к корзине, вернулся с пригоршней ягод и роздал их товарищам. Партизаны стали жевать клюкву, такую кислую и холодную, что от одного ее вида немел язык. Теперь,

когда нагревающиеся кирпичи уже ощутительно дышали благодатным теплом и удалось победить в себе противную ознобную дрожь, все их внимание сосредоточилось на звуках, доносившихся снизу.

В горнице, судя по звону чашек, офицер пил и закусывал в обществе своего переводчика. В кухне с шутками, со смехом насыщались солдаты.

— Ой, заморозят нас, гады! — шептал Толя, обнимая руками печную трубу.

Разговор в горнице становится все более шумным. Муся со страхом прислушивалась к спору, но все время надрывно плакал ребенок, и слова терялись в его заливистом плаче. Только по тону можно было догадаться, что хриплый голос переводчика уговаривал Зою выпить, а она отказывалась. Но вот наконец ребенок стих.

— Господин офицер заявляет, пусть панна не пьет водка, пусть панна опрокинет, перевернет... ведь так?.. при нас рюмка француживнь коньяк «Мартель»... «Мартель»... о-о-о! Очень великолепный напиток.

— Скажите ему, я не пью коньяка, я ничего не пью, у меня грудной ребенок. Видите? Мне доктор, понимаете вы, доктор, врач запретил,— слышался тоскливый голос Зои.

— Господин офицер просит добрейшую панну хозяйку сажать саму себя за наш стол. Господин офицер имеет желание рыцарски пить здоровье панны. Пожалуйста, просим, убедительно умоляем.

— Ой, мука какая... Да не могу я, понимаете, нельзя мне, видите, у меня ребенок, он болен... Да понимаешь ты, идол: ребенок, сын, зон по-вашему... Вот он.

Послышались звуки падающего стула, звон разбитой тарелки, заливистый плач малыша. Муся догадалась, что захмелевшие гости силой тащат Зою к столу. Чтобы случайно не вскрикнуть, девушка закусила мякоть руки. Смешанное чувство страха, омерзения и беспомощности, какое испытывала она, прячась в домике Митрофана Ильича, чувство, напоминавшее ей переживания героя фантастического романа, снова овладело девушкой. Мусе казалось, что худенькую печальную Зою схватили механические щупальца пришельца иного мира, не понимающего ничего человеческого. Ей почему-то вспомнилось, что там, в этой комнате, висит вырезанная из журнала фотография Матрены Никитичны, и от этого почему-то стало еще страшней.

— Нужно же что-то делать! — тоскливо шептала она.
— Сунуть им туда пару гранат,— возбужденно прошептал Толя посиневшими, дрожащими губами.

Николай наклонился к доскам под ногами и, приставив к уху сложенную раковинкой ладонь, слушал. Он уже не чувствовал холода и все-таки весь дрожал. Иной озноб тряс его. Враги рядом! Мысль лихорадочно работала... Ну, часового под окном, наверно, нетрудно снять сверху удачной очередью. Потолочины не прибиты, их можно поднять. Пары гранат будет довольно. Но как с хозяевами? Ведь и они погибнут. И еще — в последнюю минуту старик шепнул, что он связной от партизан. Можно ли, завязав драку, обрывать партизанскую связь? Можно ли лишать на зиму неведомый отряд хлебопекарни и прачечной?

И он подавил это жгучее желание сейчас же, внезапным ударом, расправиться с непрошеными гостями. Прислушиваясь к звукам, доносившимся снизу, он бросал в рот стылые кислые ягоды и механически с хрустом жевал их.

— Давай бросим, а?.. Давай,— шептал Толя. Он уже вложил запалы и вертел гранаты в руках.— Как старуха с молодой выйдут, так и жахнем! А? Ну что тебе стоит?..

— Дай сюда! — приказал Николай. Отобрав гранаты, осторожно положил их рядом на боров дымохода. Потом, подумав, он пощупал рукой теплый кирпич, сложил их под ноги.

Лунный луч, завершив свой путь, исчез. Только слуховое окно сияло голубовато и холодно, и от этого на чердаке было еще темнее.

Партизаны сидели на остывавшем кирпичном борове, тесно прижавшись друг к другу.

Муся чувствовала, что медленно коченеет. И нельзя было даже согреваться движением.

Четко скрипели на дворе по промерзшей земле шаги часового, внизу гудели голоса солдат, да слышно было, как мерзлая клюква скрипит на зубах Николая.

15

Сколько они так просидели, Муся не знала. Когда же внизу наконец послышалось движение, раздался скрип двери, топот ног в сенях, она не смогла даже выпрямить-

ся и продолжала сидеть скрючившись. Тело не слушалось, руки и ноги неудержимо тряслись.

На дороге зачихал, зафыркал, заревел мотор, зашуршала под шинами замерзшая земля. Несколько раз машина гукнула вдали. Затем все стихло.

Николай помог Мусе подняться. Толя, свешиваясь на руках с края сруба, уже прилаживался спрыгнуть в сени.

— Живы вы там?.. Давай слезай, унесло их,— звал снизу взволнованный голос хозяйки.

Лестница была мгновенно спущена. Пока Муся, еще не оправившись от своего окоченения, неуклюже сходила по ней, Николай спрыгнул вниз и вместе с маленьким партизаном, держа оружие наготове, вошел в избу.

В кухонной половине, еще недавно такой чистенькой, все было разбросано, засорено обрывками бумаги, объедками, пеплом. Густо пахло смесью табака, размокшей искусственной кожи и чего-то еще острого и непонятного,— словом, тем, что Муся с первой встречи с чужими солдатами считала вражеским запахом.

Пока партизаны обшаривали углы, девушка вбежала в горницу. Тут, у стола с остатками еды, опустив руки, сидела Зоя, бледная, неподвижная. Тупой тоской были полны ее большие глаза.

Муся, маленькая, кудрявая, с посиневшими щеками, в длинной белой сорочке, стала возле новой знакомой, боясь ее потревожить. Наконец Зоя подняла голову. Глаза их встретились. Обе бросились друг к другу, обнялись и зарыдали горько и шумно. Появившиеся было в дверях партизаны, увидев их, остановились. Потом Николай тихо попятился, шепнув Толе:

— Дело женское, без нас разберутся.

— Не могу, больше не могу... Вы же видели! Они же часто сюда заезжают,— шептала худенькая женщина, сотрясаемая рыданиями.

Муся пыталась ее утешить, но зябкая дрожь так колотила ее, что она не могла издать ни одного членораздельного звука.

— Они тут сидят, пьют, чавкают, хохочут, а вы там, на морозе, в одной сорочке!.. Я слышала, как вы по потолку ходили, испугалась даже, что они заметят. Потом затихли... Я думала: «Неужели замерзли?» Ужас! Что я пережила!

Молодая хозяйка придвинулась к девушке, ее тоскливые, встревоженные глаза умоляли, просили, требовали.

— Вы меня возьмете с собой? Слышите? Вы не смеете меня тут оставлять. Я вдова пограничника.

Старая хозяйка стояла возле и все пыталась накинуть полушубок на плечи Муси.

— Да наденьте же вы! Такая стужа. Вот ребята самогоночки хлебнули, и вы бы погрелись... Я тут за вас вся измаялась...

Из соседней комнаты донесся встревоженный вопрос:

— Хозяйка, а где старик?

Николай стоял уже одетый, туго перепоясанный, заполняя собою всю дверь. Он строго и испытующе смотрел на старуху. Из-за его спины выглядывал Толя, тоже уже одевшийся по-дорожному.

— А он их, этих, до перекрестка провожать поехал,— просто ответила старуха.

Выйдя из-за занавески, где торопливо одевалась Муся, Зоя пояснила:

— Вы не сомневайтесь, пожалуйста. У отца задание такое, ему приказано с оккупантами поддерживать отношения... Это хуже, чем воевать,— поддерживать с ними отношения. Проклятая работа... Люди о нем что думают? Он как прокаженный какой.

В глазах маленькой женщины, бездонных, черных, светился такой искренний ужас, что напряжение растаяло как-то само собой. Из-за полога вышла Муся. Складная, подтянутая, с густой шапкой русых кудрей, она больше, чем когда-либо, напоминала хорошенького задиристого парнишку.

— Вы меня возьмете с собой, да? — спросила Зоя.

Муся опустила глаза, потом медленно подняла их и, глядя прямо в лицо молодой женщине, с трудом, но твердо выговорила:

— Нет! — Увидя, как слезы мгновенно заволокли страдающие глаза, она добавила мягко: — Не можем, не имеем права — мы выполняем важное задание...

— Муся! — предостерегающе произнес Николай.

— Важное задание,— твердо повторила девушка.— И мы не можем никого брать с собой, даже самых лучших, самых преданных.

Зоя сразу как-то вся поникла. Уйдя за занавеску, она некоторое время возилась там, потом вернулась,

несся старую черную шаль и новенькие головастые валенки.

— Возьмите. У вас нога маленькая — будет как раз,— сказала она, кладя все это перед Мусей, и для матери, которая, строго поджав губы, неодобрительно смотрела на нее, добавила: — Им нужнее. Нужнее, чем мне.

В сенях раздались мягкие шаги. Николай двинулся к двери и застыл у косяка, положив пальцы на рукоять гранаты. Появился лесник. Покосившись на партизана, он усмехнулся невесело, устало:

— Отставить, вольно...

Он бросил рукавицы на лавку, расстегнул полушубок и выпил без передышки ковшик воды. Осмотрев уже одетых гостей, сказал:

— Собрались? И правильно... Этот переводчик — ух, язва! — все про хлебы меня пытал: дескать, зачем столько напекли? Я сказал: торговлю открыл, мол, частная инициатива, и все такое... Они это любят... А уж поверил он, нет ли — не знаю. Ступайте-ка вы от греха. Вот!

Пока старик растолковывал Николаю дорогу, а Толя ходил в лес выкапывать мешок, Муся задумчиво сидела на лавке и все посматривала на портрет Матрены Никитичны. Потом не выдержала, подошла к хозяйке.

— Подарите мне это... пожалуйста. Очень прошу...

— На что ж? — удивилась старшая, но ответа ждать не стала: сняла со стены густо засиженную мухами, пожелтевшую страницу из журнала и протянула девушке.— Возьмите, коль нравится.

Уже в дверях, когда прощались, лесник вдруг снял с головы Николая пилотку и надел на него свой лохматый, из заячьего меха треух. Подумал — и добавил рукавицы, большие, все состоящие из заплаток с торчащими из них клочьями ваты.

— Передайте там: дескать, держимся. Ждем. Часы и минуты считаем. Вот! Поскорей бы уж...

В темных сенях Зоя обняла Мусю, прильнула к ней, шепнула в ухо горячо и взволнованно:

— Я все равно уйду... Вот из леса за хлебами приедут, я с ними и уйду. А? Как?

Девушка молча пожала ее холодные тонкие пальцы. На повороте дороги Муся оглянулась. В тусклом свете малокровного осеннего утра, сковавшего крепким

заморозком посоленную инеем землю, на крыльце лесниковой избы стояла худенькая печальная женщина. Поза у нее была задумчивая. Она рассеянно смотрела куда-то себе под ноги. Потом, точно решив для себя что-то, вдруг выпрямилась, гордо закинула голову.

Муся приветливо помахала ей рукой.

16

Должно быть, у лесника действительно имелись сведения о положении на фронтах. Когда через несколько дней путники миновали нелюдимое урочище заповедника, где на девственной пороше виднелись только волчьи, лисьи да заячьи следы, и вышли в населенную местность, пересеченную проезжими дорогами, они сразу увидели зримое отражение той битвы, которую Красная Армия вела на гигантском фронте.

Иногда, пробравшись по густым кустам и подмерзшим дорогам, они наблюдали издали два встречных грузопотока. Правой стороной шли на восток окрашенные белобурыми пятнами танки, утюгоподобные грузовики, машины всех европейских систем и марок, двигались пехотные части. Навстречу им тянулись машины тех же марок, тех же систем. Но что с ними стало? Огромные тягачи влекли за собой туши подбитых танков. Дизельные грузовики несли на могучих спинах остатки изувеченных бронетранспортеров. Медленно покачиваясь на отвердевших от мороза ухабах, тянулись крытые автофуры... На брезентовых шатрах были кое-как, наспех, намалеваны красные кресты.

Да, все-таки прав был лесник! Где-то шло сражение, и все. что по одной стороне бревенчатых дорог, полное сил, мощи, новенькое, блестящее, самоуверенно рвалось на восток, по другой стороне тех же дорог тянулось обратно избитое, изувеченное, изломанное.

Друзья иногда подолгу следили за этим встречным движением, и им казалось, что это тянутся две ленты какого-то одного гигантского конвейера. И партизанам становилось радостно, и в этой радости они черпали силы и бодрость.

Настоящего снега еще не было. Но первая пороша, покрывшая обледенелую землю, держалась стойко и не стаивала уже и днем. Чернотроп кончился, каждый шаг четко отпечатывался ясно различимым следом. Партиза-

ны уже убедились, что в лесистой местности немцы не отклоняются в сторону от дорог. Чтобы двигаться быстрей и не пробираться чащей, Николай предложил идти вдоль вражеских коммуникаций, держась от них на расстоянии, достаточном, чтобы не быть замеченными. Это было выгодно еще и потому, что на следы, случайно обнаруженные поблизости от дороги, не обратили бы особого внимания. На ночлег, чтобы можно было жечь костер, друзья уходили от дороги в сторону километра на три, на четыре и располагались где-нибудь в овраге или забирались в густые заросли.

Теперь приходилось быть настороже. Ложась спать, они оставляли дежурного. Дежурный поддерживал огонь, следил за тем, чтобы костер не горел слишком ярко, заставлял спящих поворачиваться с боку на бок, оберегал от искр их одежду. Вахту несли по очереди по два часа.

Муся полюбила эти дежурства. Где-то далеко выли машины. Их белесые огни иногда отсвечивали на низко висевших облаках, выхватывали из тьмы вершины сосен. Следя издали за холодным мерцанием этих огней, девушка живо представляла себе, как, сжимая в руках сталь, со страхом вглядываясь в лесную темь, трясутся в кабинах чужие солдаты, как в морозной ночи прыгают у костров часовые, выставленные с пулеметами на дорожных перекрестках. Девушка слушала отдаленное завывание моторов и думала о своем народе, который единственный в мире сумел застопорить фашистское нашествие и теперь в гигантской битве перемалывает вот эти гонимые на восток потоки солдат, боевых машин, боеприпасов.

Сидя у костра, Муся не чувствовала себя одинокой, затерянной в бесконечных лесных чащах, как это бывало на первом этапе пути. Нет, теперь, когда они каждый день могли видеть вереницы разбитой техники, эти вещественные результаты единоборства советских войск с силами фашизма, в ней крепло радостное ощущение, что и она как-то участвует в этой богатырской борьбе.

Оставшись один на один с морозной ночью, можно без конца думать о том, как будет житься после победы, об учебе вокальному искусству, о своих отношениях с Николаем, о многих других приятных вещах, которые днем не приходили в голову,— эти часы так нравились Мусе, что она не на шутку сердилась, когда друзья,

чтобы дать ей выспаться, умышленно затягивали свои вахты.

Странные отношения установились у девушки с Николаем с той ночи на острове, когда читал он ей стихи про березу. Днем, на марше или на отдыхе, Муся не делала никакого различия между ним и Толей. Она обижалась, когда он пытался выполнить за нее какую-нибудь работу или взваливал себе на спину и ее мешок. Ночью же, когда партизан засыпал, девушка проникалась к нему нежностью. Она могла часами смотреть на его лицо, на его пухлые губы, в которых было еще так много детского, на белокурый пушок, курчавившийся на щеках и на верхней губе. Она прикрывала спящего своей старушечьей шалью. Когда свет костра беспокоил его и он начинал морщиться во сне, она садилась так, чтобы загородить его лицо, и могла подолгу сидеть неподвижно в неудобной позе. Но стоило Николаю проснуться, все это как-то само собой пряталось. Перед партизаном был боевой товарищ, и даже самые робкие попытки Николая напомнить о последней ночи на озере этот товарищ безжалостно отражал насмешкой, колючим, едким словцом.

Николай все это понимал по-своему. Сказанное там, на острове, казалось ему теперь капризом своенравной девушки. Да и что особенного она тогда ему сказала? Какую-то глупую примету о пришитом сердце — больше ничего! И, конечно, она права. За что, скажите, пожалуйста, его любить? Ну, что он собой представляет?.. Насмешничает, язвит, ну и пусть, поделом. Не влюбляйся в такую девушку.

И оба они не понимали, что чувство, возникшее у них в трудные дни их жизни, само оберегает их от ложных шагов.

17

Однажды Мусе приснилось: в морозный день бежит она что есть духу на лыжах по залитой солнцем, остро искрящейся снежной равнине. Бежит к горе, с которой она должна съехать. Вот и гора, крутая и гладкая, отполированная ветрами. Лыжи перескочили через гребень и, все убыстряя ход, стремительно понесли ее вниз. Ветер свистит в ушах. От бешеного движения захватывает дух. И вдруг чувствует Муся, что лыжи выскальзы-

вают из-под ее ног. Вот-вот она упадет, стукнется о снег затылком, разобьется. Делая судорожное усилие устоять, она цепенеет от страха. И вдруг крепкая рука поддерживает ее за талию. Муся знает, чья это рука, и ей приятно опираться на нее. Они несутся вместе. Страх исчез. Пусть еще круче обрывается гора, пусть убыстряется бег лыж, пусть свистит в ушах ветер, острая снежная пыль жалит лицо и нечем дышать. Пусть! Рука, на которую девушка опирается, не даст упасть, проведет через все опасности...

Муся проснулась с тревожно бьющимся сердцем, ощущением большой внутренней радости. Костер горит, но пламени не заметно. Кругом необыкновенно светло и необыкновенно тихо. Падает крупный снег, чертя на темном фоне хвои прямые отвесные линии. Он уже покрыл пушистыми подушками все: и горку заготовленного с вечера хвороста, и землю, и ветки деревьев. Точно кусочками белого кроличьего меха, он покрыл и Николая, свернувшегося у костра. Толя, отбывающий дежурство, сосновой веткой деловито сметает снег со своего большого друга.

Радость, оставленная сном, стала еще светлее от этой внезапно открывшейся белизны и тишины, от падающего снега. Муся вскочила на ноги и, осмотрев изменившийся лес, весело воскликнула:

— С зимой, Елочка!

— С праздником двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции! — серьезно отозвался тот.

Нет, как же это Муся сразу не вспомнила о событии, о котором они столько говорили на ночь? На свежей скатерти снега, на кусках бересты Толя уже разложил тремя ровными кусочками завтрак. Ради праздника маленький партизан расщедрился: выдал двойную порцию вяленой зайчатины и разделил остатки последнего из караваев, пожертвованных лесником. Липовый цвет, которым снабдила их на прощание лесничиха, кипел в котелке, распространяя медовый аромат лета.

Умывшись свежим снегом, друзья с удовольствием уничтожили роскошную еду и бодро тронулись в путь.

Немецкие машины, буксуя в мокром снегу, стонали сегодня особенно пронзительно и надрывно. Партизаны двигались параллельно дороге, и отдаленный вой моторов неотвязно сопровождал их.

— Мне кажется, сегодня на фронте произойдет что-нибудь особенное, историческое,— сказала Муся.

— Нужно бы, товарищи, и нам отметить праздник. Давайте сделаем засаду на машины, а? — предложил Николай.

— Точно! — воскликнул Толя, весь загораясь, и даже радостно подпрыгнул, совсем уж по-мальчишески.

Сон, все еще продолжавший неясно жить в памяти Муси, как бы перешел в этот тихий белый день. По-новому, незнакомо билось сердце, когда она украдкой искоса посматривала на плечистого партизана, шагавшего чуть впереди нее. Николай шел размашисто. Старенький лесников треух из заячьего меха был сбит набок, развязанные «уши» его торчали в разные стороны. Русый вихор пошевеливался на ветру.

Все сегодня радовало Николая: и великий праздник, и молодой мягкий снег, и роскошный завтрак, которым накормил их экономный Толя, и то, что Муся как-то по-особенному весела, напевает, ласково на него смотрит. Партизан не замечал, что давно уже настроение спутницы, словно в зеркале, отражалось в его собственной душе.

А день действительно был так хорош, что даже завывание моторов, едва доносившееся с дороги, было бессильно его омрачить. Когда желтое солнце поднялось над деревьями, небо совсем расчистилось. Но легкий морозец не дал снегу стаять, и он лежал белый, нетронутый, ослепительно сверкая в острых лучах. Точно мех, устилал он землю. Мягкими подушечками покрыл он ветки кустов, сучья деревьев, пеньки. Снизу снег чуть подтаял, образовалась ледяная прослойка, и когда Муся смотрела сквозь ветви на солнце, деревья казались сделанными из фарфора и хрусталя.

И тишина кругом стояла такая, какая бывает только при первом снеге. Лишь отдаленные звуки чужих машин призывали быть настороже.

Понимая, что на фоне заснеженного леса их легче заметить, Николай вел сегодня свой маленький отряд подальше от дороги.

Теперь, когда меры безопасности были приняты и можно было об этом больше не думать, Муся постаралась позабыть о близком вражеском соседстве и начала по сохранившимся в памяти отрывкам восстанавливать сон. Понемногу вспомнила его весь и решила, что он как бы перекидывает мостик в будущее. Закончится

война, вернется прежняя жизнь, и можно будет по воскресеньям, надев байковый костюм, на легких, хорошо натертых лыжах бежать за город, вот в такой чудесный лес. Воскресенье, лыжи... Как это далеко! Но ведь это же будет, не может не быть. И вот тогда она, наверно, выйдет замуж за Николая. Ну да, что же в этом особенного? Они будут вместе учиться, вместе проводить вечера за любимыми книгами, спорить о поэзии, ходить в театр, вместе воспитывать ребятишек... Чувствуя, что от мысли этой щекам и ушам стало горячо, девушка смущенно сказала вслух:

— Фу, Муська, совсем с ума спятила! — и боязливо оглянулась. Убедившись, что спутники не слышали ее восклицания, она снова принялась рисовать картины будущего.

Ну и что ж, что они разные люди, не беда! Пусть он себе увлекается переселением всех этих бобров, выдр, ондатр, енотов, пусть, а она будет петь. Вернувшись с какого-нибудь удачного концерта, она станет рассказывать ему, как хорошо ее встретили, как вызывали, какой подарили букет. А потом, когда она все расскажет, он будет говорить не особенно ей понятные и немного, конечно, странные, но все-таки интересные вещи о какой-нибудь своей экспедиции в дальние края... Нет, пусть не экспедиции, экспедиция — это надолго расставаться, а о какой-нибудь обыкновенной экскурсии в заповедники со своими учениками. Нет, лучше даже не с учениками, а со студентами. Ведь он, конечно, не ограничится институтом, он будет учиться дальше, станет доцентом, профессором. Он умный, упорный, талантливый. А как он знает природу! Мусе все время кажется, что у него какое-то свое, дополнительное, зрение, свои, особые, слух и обоняние. В лесу он видит, слышит, чувствует то, чего не замечают другие. Для него лесная чаща как бы прозрачна...

Ну вот и прекрасно: пусть он будет профессором, а она певица, певица-профессорша. Вот потеха-то!.. И почему бы этому всему не быть? Ведь они не какие-нибудь слюнтяи и умеют добиваться своего. Но чтобы могла осуществиться эта мечта, нужно выиграть войну. Да, только выиграть войну, ни больше, ни меньше.

Мусе вдруг вспоминается, как будущие певица и профессор, раздетые, разутые, дрогли на чердаке, слушая, как внизу хозяйничают чужие солдаты. «Фу, куда заплыла. Разве ж можно о чем-нибудь мечтать, пока эти

ходят по нашей земле! — Девушка хмурится.— Как пронести через фронт ценности — вот о чем нужно думать, а не всякие там глупости про концерты».

Хорошо бы, сдав ценности, вместе с Николаем вернуться к Рудакову — и так, не расставаясь, воевать до победы. Или, может быть, вместе попасть в какую-нибудь воинскую часть. Только обязательно вместе: тогда никакая война не страшна, с таким, как Николай, ничего не страшно. Вот он шагает, как какой-нибудь былинный витязь,— огромный, плечистый, небрежно неся на плече мешок, тяжести которого он, похоже, и не замечает. Ишь напевает что-то! Но слух у него, мамочка, какой скверный слух! Ведь угораздит же человека родиться с таким тугим ухом.

— Соло на самоварной трубе исполняет непревзойденный мастер этого жанра Николай Железнов! — объявляет Муся.

— Что? Ты сказала что-то?

Николай шел, обдумывая план. Нужно дождаться сумерек. По руслу какого-нибудь ручья, какие им в этом лесу то и дело приходится пересекать, незаметно подобраться к дороге, разрушить мосток, засесть и ждать в засаде, пока подойдет одинокая легковая машина. Шофер и пассажиры непременно вылезут посмотреть объезд. Вот тут-то и свалить их очередью. Чем не план? А главное — верное дело. Уж кто-кто, а он, Железнов, походил по тылам, знает вражеские повадки. Немец в строю — стойкий солдат, и храбрости ему не занимать. Но накрой его внезапно где-нибудь вне строя, куда все девается!

На совещаниях и командирских разборах Рудаков всегда выставлял внезапность и быстроту как основу партизанской тактики. Вот сегодня Николай и покажет Мусе, что такое рудаковская школа...

Была у Николая и еще одна тайная дума. По опыту он знал, что немецкие офицеры любят передвигаться с комфортом, с запасами продуктов, с вином и закуской. Кто знает, может быть, черт побери, удачный налет позволит сегодня угостить товарищей настоящим праздничным ужином. Было бы здорово! Ведь уже столько дней питаются впроголодь, довольствуясь кусочками вяленой зайчатины, которые с каждым днем становятся все меньше и меньше. «Нет, нет, уж сегодня-то товарищ Железнов покажет себя!»

В этот день им действительно везло. Под вечер дорогу им преградил лесной ручей, тихо журчавший на дне глубокого оврага. Снежные подушки все еще покрывали кусты и деревья, но с земли снег почти стаял. Чистые струи журчали в тонких ледяных закрайках.

Напившись, путники присели отдохнуть. Николай обнародовал свой план. План был хорош, но Муся и Толя единодушно восстали против того, чтобы налет совершал один Николай. Куда это годится? Праздничный подарок они должны сделать сообща, все втроем. Партизан обратился к разуму спутников. Конечно, и он за то, чтобы всем вместе участвовать в вылазке. А золото?

— У золота оставим Елочку и пойдем вдвоем,—заявила Муся.

— А почему такое меня? — возмутился Толя.— Вот новости, нашли дурака.

На это ответить было трудно. Николай решил: на диверсию пойдут двое. Кого ему взять, пусть решит судьба. В шапку Николая были брошены две пустые гильзы от автоматных патронов; одна, зажигательная,— с красной каемкой, другая, бронебойная,— с зеленой. Зажигательная означала: идти. И хотя Толя, тащивший первым, долго звенел гильзами в шапке, ощупывая каждую из них, бронебойная досталась ему. От досады он далеко забросил гильзу и, слушая, как она свистит на лету, с сердцем плюнул ей вслед. Потом ушел в кусты и не вышел оттуда, пока Муся и Николай не скрылись в зарослях ольшаника. Только когда шаги товарищей стихли, он появился из кустов, огляделся и изо всех сил зло пнул ногой тяжелый мешок.

Муся приближалась к дороге без всякого страха. Только как-то по-особому сильно, даже весело пульсировала кровь. Все в этот час — и сумеречная голубизна раннего ноябрьского вечера, и звезды, густо высыпавшие на быстро темневшее небо, и снежные подушки на ветвях,— все это было празднично. Не хотелось думать об опасности.

На подходе к мосту Николай оставил девушку и сам бесшумно скрылся во мгле. Кто знает, может быть, напуганные партизанами оккупанты охраняют даже и такие вот мостишки? Через некоторое время из полутьмы донесся осторожный свист. Муся двинулась по дну

оврага. Мелодично позванивала вода о льдистые закрайки. Сверху слышался топот ног. Это Николай хозяйничал на мосту. Дойдя до осклизлых бревенчатых устоев, девушка вскарабкалась по откосу. Партизан, наклонившись, осматривал бревна. Они были плотно сдвинуты, а сверху прижаты толстым байдаком.

— Добрая работа, черт бы ее побрал! — ворчал Николай. Он исчез в кустах и вернулся с длинной жердью.

Поднять бревна без инструментов было невозможно. Но некоторые из них, расшатанные колесами и гусеницами, лежали уже непрочно и даже «ходили» в гнездах. Вот их-то Николай с Мусей и стали выталкивать с помощью жерди из общего ряда, как карты из колоды. Это отняло порядочно времени. Оба перепачкались в липкой холодной грязи, обломали ногти, исцарапали руки. И все же добились своего: одно бревно с гулким гулом рухнуло в канаву, другое, оказавшееся более упорным, наполовину вышло из ряда. На мосту открылся зияющий провал, через который не могли пройти колеса. Конечно, для верности следовало бы вытащить и еще одно или два бревна, но по вершинам придорожных сосен уже бродили яркие белые отсветы.

Машина! Переглянувшись и безмолвно поняв друг друга, партизаны быстро сбежали в овраг. Они засели метрах в пятидесяти от моста, в чаще ольшаника. С дороги их нельзя было заметить. Им же из тьмы, сгустившейся в овраге, насыпь и мост, освещенные поднявшейся луной, были отлично видны.

Напряженно, надрывно гудел мотор. И по тому, как дрожали отсветы фар, то выхватывая из тьмы верхушки сосен, то зажигая кусты, росшие вдоль дороги, понятно было, что машина идет медленно, трудно, буксуя в глубокой раскисшей колее.

Стоя в засаде, партизаны испытывали не страх, а цепенящее возбуждение, какое ощущает охотник у берлоги крупного и опасного зверя. Пальцы Муси, вцепившиеся в деревянную ложу автомата, онемели от напряжения. Николай, который в таких делах не был новичком, нетерпеливо переступал с ноги на ногу и зябко дул на руки.

По звуку мотора стало ясно: идет грузовик. В нем могло ехать много солдат. «Ну, пусть и много,— прикидывал партизан,— даже и лучше». Муся должна увидеть, на что он способен. Численного превосходства Николай

не боялся. Сколько раз он убеждался, что при таком вот внезапном ночном ударе один хладнокровный, умелый, невидимый врагу боец стоит двух десятков противников, растерявшихся и находящихся у него на виду...

Другое сомнение мучило его теперь все больше и больше. Правильно ли от поступает, устроив эту засаду? Имеет ли он право, выполняя важнейшее задание, идти на риск, пусть даже на самый маленький, на ничтожный? А если в бою его или Мусю убьют, даже пусть только ранят? Н-да, тогда опять задержка.

Что же делать? Отступать? Сейчас, когда дело налажено, бросить его? Что тогда подумает о нем девушка? Как он посмотрит после этого в глаза товарищам?

Боязнь прослыть трусом заглушила голос разума. Так он ничего и не успел решить. А уже не отсветы, а прямые острые огни лизали грязевые волны разбитой колеи. За снопами яркого света двигалось что-то темное и очень большое.

— Грузовик,— шепнула Муся, чувствуя, как всю ее охватывает внутренний холод.

— Восьмитонный «демаг»,— уточнил Николай взволнованным голосом. Отступать было поздно, и он даже радовался, что это избавило его от необходимости принимать решение.— Целься в брезент.— Став на одно колено, он прилаживался стрелять.— Боя не принимать, обстреляем и бежим.

— Почему?

— Гляди, гляди...

И вдруг придорожные кусты, сосны и приближающийся к мосту грузовик осветило сзади белым электрическим светом. Снова зажглись синие холодные огоньки на подушечках снега, лежавших на ветках.

— Что это? — шепотом спросила Муся. Ствол ее автомата так и ходил из стороны в сторону, а она старалась и никак не могла его остановить.

— Еще машины... Колонна,— огорченно отозвался Николай. Он опустил оружие. Запас радостной энергии сразу иссяк.

Как быть? Будь он один, он, конечно, обстрелял бы и колонну, обстрелял и скрылся во мгле. Но он не один. С ним самый дорогой для него человек. И не это главное, не только это. Теперь вылазка была явно рискованной. Было бы преступлением отважиться на нее.

Первая машина остановилась на мосту, словно уткнувшись в невидимую преграду. Все произошло, как Николай и предполагал. Шофер и провожающие вылезли из кабины. Задвигались лучи карманных фонарей. Самая бы пора по ним ударить. Но подошли уже и вторая, третья, пятая машины. Теперь много темных фигур толпилось на мосту, возле провала. До засады отчетливо донеслись восклицания, брань. Среди чужих непонятных слов часто звучало одно знакомое: «партизанен», «партизанен». И хотя солдат на мосту толпилось много, все они с опаской поглядывали на лес. А моторы вдали все выли и выли, бледные всполохи бродили по вершинам сосен. Колонна, должно быть, была большой.

Прильнув к земле, дрожа от страха, холода и волнения, Муся наблюдала за тем, что творилось. И ловко же выбрал Николай позицию для засады! Девушке до того захотелось нажать спусковой крючок и стрелять в эти темные фигуры, что она поспешила опустить автомат. Она понимала, что делать этого сейчас нельзя. Понимала и мучилась. «Ах, который уже раз приходится ради этих противных ценностей поступаться своим личным, подавлять свои самые лучшие желания!»

Муся зябко вздохнула.

— Пошли! — шепотом сказала она, дотягиваясь до руки спутника.

Он легонько пожал ей пальцы, но не двинулся. Должно быть, сам не имел сил оторвать взгляд от скопища людей и машин. Моторы гудели теперь уже вдали. Казалось, что весь лес полон напряженного воя и мерцания фар.

— Да идем же, идем! — шептала Муся, чуть не плача от досады.

Они с трудом оторвались наконец от заманчивой цели и поползли прочь по дну оврага, где во тьме лесной ручей сверкал черным чешуйчатым гребешком. Но не проползли и нескольких метров, как их остановил незнакомый, басовито рокочущий, упругий звук, неизвестно откуда стремительно и властно ворвавшийся в лес. В следующее мгновение они поняли — это самолет. Но по звуку он не походил ни на один из ночных бомбардировщиков, какие им доводилось слышать. Он не подвывал прерывисто, как немецкие «юнкерсы» и «хейнкели», и не звенел на высокой ноте, как советские бомбардировщики, ходившие по ночам на Германию. Кроме того,

звук тех и других плыл обычно сверху, издалека, казалось — от самых звезд. А этот, хриплый и упругий, как рык неведомого огромного и опасного зверя, возник сразу, точно вырвался из-под земли. От него задрожал воздух и снег сыпался с потревоженных ветвей.

Муся и Николай едва успели обменяться недоуменными взглядами.

С дороги донесся дикий, полный животного ужаса вопль:

— Шварцен тодт! [1]

И сразу ночь наполнилась панической суетой, криками, топотом ног. Действительно, в звуке, нараставшем со стремительностью урагана, было что-то неотвратимо страшное. Муся с Николаем, прижавшись друг к другу, окаменели перед неизвестной опасностью. И прежде чем они успели понять, в чем дело, черная тень мелькнула над мостом на фоне яркой звездной россыпи, исторгая два ряда острых красноватых молний. Стремительные рубиновые огни осветили дорогу, лес, колонну крытых брезентом автофургонов, солдат, которые, точно черные тараканы, темнели, прильнув к откосу насыпи. За первой тенью мелькнула вторая, третья и еще сколько-то. Они пронеслись так быстро, что их нельзя было и сосчитать, и каждая исторгала красные стремительные огни.

Партизаны лежали на мокрых палых листьях, стремясь вдавиться в сырую, холодную землю. Неведомые самолеты вызывали какой-то инстинктивный ужас, но война уже научила Николая и Мусю не зажмуриваться при опасности, и они не отрывали взглядов от происходящего. Молнии, извергнутые самолетами, таили в себе и еще какую-то опасность. Звук моторов уже стих, но в буром дыму, окутавшем дорогу, продолжали вспыхивать острые огни, похожие на мерцание электросварки. Потом взвился столб желтого пламени. Послышался раскат дробного недружного взрыва.

Николай сразу узнал этот звук, запомнившийся ему еще с того вечера, когда он принимал боевое крещение у себя на железнодорожном узле: начали рваться боеприпасы, которыми, по-видимому, были нагружены машины.

Партизан вскочил и, позабыв всякую осторожность, захлебываясь от радости, крикнул:

— Наши!

---

[1] Черная смерть! (*нем.*)

Муся дернула его за руку.

— Тише! Сумасшедший.

Страха у девушки как не бывало. На миг почудилось ей, что фронт близко, что они у цели. Ну, пусть даже далеко, пусть, и все же они уже слышат звуки родного оружия. Рука Красной Армии протягивается уже и сюда, в эти леса, в глубокий тыл фашистских войск. И оттого, что тут, рядом, свои самолеты только что нанесли удар, девушка снова ощутила радость, точно не шум удивительных каких-то пушек, изрыгнувших страшные малиновые огни, а могучий, уверенный голос самой Красной Армии подслушала она, сидя в засаде. «Но не терять же из-за этого голову! Ведь вот они, враги, рядом, а Николай кричит, как мальчишка».

— Молчи! — шепчет она.

— Мусенька, родная, милая, ведь это же, это же те самые штурмовики, о которых — помнишь? — рассказывал тогда летчик! Они стреляют реактивными снарядами. И мы с тобой им помогли! Красной Армии помогли!

Мусе вспомнился дикий вопль, раздавшийся на дороге.

— «Шварцен тодт»! Ты знаешь, они там кричали: «Черная смерть»! Как же они боятся!

Все выше вставало зарево. Ночь начала отступать, все окружающее стало вырисовываться из тьмы. Паника на дороге росла. Темные фигуры метались меж горящими машинами. Слышались стоны, ругань, истерический крик какого-то офицера, кто-то в кого-то стрелял. Судорожно, надрывно ревели моторы. Должно быть, шоферы еще пытались выдернуть уцелевшие машины из горящей колонны и вывезти их из зоны огня.

Но опять, теперь уже с другой стороны, возник грозный хрипловатый рев. На этот раз, зная, кто с какой целью летит, Муся с Николаем с интересом наблюдали, как во второй раз над дорогой очень низко проносились штурмовики. В багровых отсветах пожара партизаны даже успели разглядеть темные звезды на крыльях. И опять необычные снаряды оторвались от самолетов, полетели, оставляя дымные хвосты, и начали рваться на земле, зажигая и поражая все вокруг.

Отсветы зарева достигли уже и партизан. Глаза Николая возбужденно горели. По лицу Муси текли крупные слезы. Свои! Ведь это ж подумать только: свои! Могла ли она сегодня даже и мечтать о такой радости?

Юноша и девушка, обменявшись взглядами, без слов друг друга поняли, поднялись и пошли, не маскируясь, зная, что там, на дороге, не до них, что следить за ними некому. Подарок, который они готовили к празднику, блистательно поднесли вместе с ними советские летчики. И партизаны шли не оглядываясь, шли, как хозяева, понимая, что тот, кто мог бы заметить или преследовать их, лежит там, на дорожных откосах, обугленный или разорванный в клочья, а если и уцелел, то не скоро придет в себя.

Да, сон был в руку! Сколько радости принес этот праздничный вечер! И, позабыв о том, что на дороге находится враг, позабыв о сосущей пустоте в желудке, не чувствуя ни острого, беспокойного ветра, ни промозглого холода, они шли рука об руку, прислушиваясь к дробным взрывам, продолжавшим сотрясать ночь.

Было очень хорошо идти вот так, рядом, по темному, тускло мерцавшему лесу, ощущая тепло дружеской руки, задыхаясь от избытка озорной радости, оттого, что можно не прятаться, не озираться, не скрываться, чувствуя себя хозяевами на этой своей земле...

19

Голос Красной Армии, прозвучавший в глухой час праздничной ночи, они с тех пор слышали нередко.

Советские самолеты, теперь появляясь над оккупированной землей, казалось, несли путникам привет далекого родного мира, к которому те стремились день и ночь. Привет и зов.

А продвигаться становилось все труднее. С тех пор как в предпраздничную ночь путники доели остатки вяленой зайчатины, пищей их стала противная жесткая каша из мелко изрубленной коры молодых лип да сладкая мороженая картошка, которую им приходилось выкапывать из-под снега на брошенных полях.

Однажды на перекрестке дорог партизаны увидели большую черную доску, прибитую к столбу. «Мертвая зона» — значилось на ней по-русски, и ниже указывалось, что каждый из «цивильных», кто вступит без специального пропуска на территорию «мертвой зоны», подлежит, по приказу командования, расстрелу без суда и следствия. Николай и Муся равнодушно прошли мимо этого объявления. Толя не удержался и повесил на нем соч-

ный плевок. Путников не испугало ни страшное название, ни угроза. Их ничего уже не могло по-настоящему испугать. Они только поняли, что дальше идти им станет еще труднее.

И действительно, деревни здесь были выжжены. Селения, лежащие у дорог, еще сохранились, но жителей в них не было. Дома занимали оккупанты.

Пробираться через район, где не было гражданского населения, можно было только по ночам, да и то лесами. За сутки в иной день удавалось пройти не больше пятишести километров. Картошку приходилось иногда есть сырой: не всегда можно было разводить костер. Только раз посчастливилось путникам наткнуться на пепелище лесной избушки, принадлежащей, по-видимому, объездчику. Поодаль, на огороде, Толя нашел на грядках окостеневшие от мороза кочаны капусты. Путники набросились на них, выкопали из-под снега и, не имея терпения дождаться, пока закипит вода, ели сырыми. Мороженая капуста скрипела на зубах. Когда капуста наконец сварилась, они съели не только осклизлый лист, но и с наслаждением выпили воду. Она показалась им вкуснейшим из супов.

Мороженая капуста некоторое время поддерживала их. Но силы заметно иссякали. Все трое так ослабли, что каждое движение давалось им теперь с трудом. Мускулы ныли, точно избитые, и когда в сумерки Николай после дневного отдыха поднимал товарищей в путь, они вставали с ворчанием и стоном...

— Вы знаете, ребята, кабы не этот наш груз, ни за что бы не встала. Лежала бы и лежала, смотрела на небо, дремала. Как хорошо никуда не двигаться,— призналась однажды Муся.

Две большие слезы остановились у границ запавших, потемневших глазниц.

Николай бросил на девушку испуганный взгляд. В следующее мгновение она уже деятельно гасила костер, увязывала мешок и даже что-то напевала себе под нос. Но не так легко было обмануть Николая. Он знал, что слова эти вырвались не случайно,— ведь его и самого порой сковывало то же чувство вялого безразличия ко всему. Всю ночь, прокладывая товарищам путь по снежной целине, продираясь сквозь кустарник, перелезая через завалы бурелома, он думал, как ему растормошить друзей, как подбодрить, подстегнуть их,

Когда они остановились на дневку в лесном овражке и весело затрещал костер, Николай, задумчиво сидевший у дерева, вдруг выпрямился.

— Знаете, ребята?

Муся, начавшая было дремать, открыла глаза, с удивлением посмотрела на него, не понимая, что с ним.

— Вы знаете, я вот шел и вспомнил. Читал когда-то, как бывает, когда буря захватит рыбаков на Енисее. Злая, жестокая буря... Одни пугаются, складывают весла, ложатся на дно баркаса: неси, куда вынесет. И их разбивает о скалы...

Николай на минуту смолк. У костра было тихо, только, сочась влагой, сипела в огне сырая ветка.

— А другие — наоборот... как налетел первый шквал, крепче взялись за весла и гребут навстречу ветру, наперекор течению, против бури гребут. Гребут что есть сил... И они побеждают бурю...

Сырая ветка лопнула в огне. Над костром взмыл пучок искр, тотчас же растворившихся в холодной темени.

— Ты это для меня рассказал, да? — с горечью спросила Муся.

— Нет, для всех. Наша буря еще и не начиналась. Только первый шквал на нас идет.

Партизаны задумались. Метель, шурша, перетаскивала полотнища сухого снега. Муся сидела, обхватив колени руками, уткнувшись в них подбородком.

Николай подвинулся к девушке.

— Ты о чем думаешь?

— А вот представляю себе эту бурю. Волны величиной вон с ту сосенку, и крохотные лодчонки прыгают на них, как семена одуванчиков в ручье. И все против них: и волны, и ветер, и ночь, а они плывут и доплывают до цели. Потому что в лодках — люди, а у людей мужественное сердце, воля, вера...

— Воля большевика может преодолеть даже смерть...— сказал Николай задумчиво и убежденно повторил: — Даже смерть.

20

В этот вечер партизаны поднялись в путь раньше обычного и прошли больше, чем в предыдущие ночи.

Но силы таяли с каждым днем, угрожающе таяли.

К удивлению друзей, первым стал сдавать Николай. Он как-то быстро осунулся, лицо потемнело, обтянулось, на заострившемся носу даже обозначилась вдруг неприметная до сих пор железновская горбинка. По утрам он подолгу натирал десны снегом и сплевывал в кусты кровавую слюну. Движения его становились вялыми, тягучими, неточными. Он быстро уставал. Мешок с ценностями, тяжести которого Николай раньше, казалось, вовсе и не замечал, теперь он поднимал с трудом, обливаясь потом, мгновенно выступавшим у него на лбу. Раз Муся видела, как под вечер, когда было еще совсем светло, он почему-то наткнулся на дерево.

Николай по-прежнему вел свой маленький отряд. Дух его был крепок. Партизан никогда не ложился, не убедившись, что товарищи хорошо размещены у костра, сам распределял время дежурства и брался дежурить перед закатом, когда почему-то особенно хочется спать. И все же было заметно, как крупное тело его слабеет.

Толя тоже вымотался. Смуглое личико, и всегда-то остренькое, теперь как бы состояло из уголков, среди которых мерцали строгие, недетские глаза, ставшие несоразмерно большими. Мальчик стал молчаливым.

Муся держалась бодрее. Она еще была легка на ногу, быстра, деятельна, но сильно похудела и больше, чем когда-либо, походила на хорошенького мальчишку, чуть ли не Толиного сверстника. Она уже хорошо разбиралась в лесных тропах, словно выросла не в городе, а где-нибудь в сторожке лесника. Не хуже покойного Митрофана Ильича умела в ненастный день, в туман определить направление, не хуже Николая отыскивала удобные места для дневок, не хуже Толи разводила костры.

Но что особенно было важно для маленького отряда, блуждавшего в лесах меж вражескими постами и засадами,— Муся не теряла бодрости. Хотя и у нее по вечерам, когда приходилось отрываться от живительного тепла костра, кружилась от слабости голова и подламывались колени, она все же находила силы пошутить и посмеяться.

Однажды Муся, видя, как ослабел Николай, взвалила его мешок себе на спину. Юноша не на шутку рассердился. Он почти силой отнял у нее свою кладь и сделал вид, что груз ему нипочем. Но обильный пот разом омыл

его лоб, переносицу, побежал по шее. Партизан зашатался и даже ухватился за дерево, чтобы не упасть. На лице у него появилась растерянность, которую он не сумел скрыть.

«Плохо, очень плохо!» — подумала Муся, следя за его неверным шагом. По вечерам, просыпаясь раньше других, она, с трудом преодолев вяжущую апатию, подбрасывала в костер сушняку и, грея руки с отчетливо обозначившимися синими жилками, ломала голову над тем, как же теперь быть. Вот и запасы капусты иссякли. Дорога опять шла через лесные урочища. Жилые места попадались редко. Немногочисленные деревни, оставленные оккупантами целыми, были так густо забиты войсками, что солдаты размещались даже в сараях, ригах, на скотных дворах, рыли у околиц землянки и жили в них. Путникам нечего было и мечтать не только о ночлеге под крышей, но даже о возможности подобраться к картофельному полю, к брошенным огородам или стогам.

Да и враг стал не тот. Исчезла его прежняя самоуверенная беспечность первых дней. Хотя жители давно были выселены из этих районов и вокруг на десятки километров простирались пространства обезлюдевшей земли, солдаты, становясь на постой, спешили окружить свое жилье секретами и пулеметными гнездами, оплетали подходы колючей проволокой, выставляли часовых. Над уцелевшими деревнями с вечера до утра трепетали зеленоватые ракеты. Они озаряли окрестности мертвым мерцающим светом. Днем по дорогам курсировали взад и вперед броневики. Ночью же все движение прекращалось, дороги словно вымирали. Только у мостов да на больших переездах, где были возведены маленькие кирпичные башенки, враг рисковал оставлять солдат на ночь под открытым небом.

Не раз, подобравшись к картофельному полю, которое и ночью легко было угадать по торчащим из-под снега бурым метелкам вялой ботвы, партизаны, не успев выкопать ни одного клубня, подвергались неожиданному обстрелу вражеского секрета. Приходилось уползать, прятаться. Близость пищи только обостряла голод, и они поняли, что означает: «Видит око, да зуб неймет».

Сначала путники не понимали новой вражеской тактики. Казалось нелепым, что в дни сражений,

ожесточение которых все нарастало, столько сил и боевых средств тратится попусту. Потом Николай определил ее так:

— Научили их уму-разуму. По поговорке действуют. «Пес, чего лаешь? — Волков пугаю.— Чего хвост поджал? — Волков боюсь».

Это было, конечно, наглядным показателем успеха Красной Армии. Но чрезмерная осторожность пуганого врага затрудняла трем друзьям и без того неимоверно тяжелый путь. А тут еще начинались вьюги. За какие-нибудь недели леса завалило пухлыми сугробами. Двигаться по целине уже не было сил.

Николай решил в своих интересах использовать страх оккупантов перед народной местью. Теперь по ночам путники выбирались на малоезжие дороги и шли прямо по ним, шли иной раз всю ночь, ломая по пути указатели, унося или переставляя дорожные знаки. Выбившись из сил, они сворачивали в лес и отдыхали среди сугробов. Надежда набрести на партизан, связаться с каким-нибудь из действовавших здесь отрядов все время не покидала их, и они мечтали об этом, как о высшем благе.

Но и тут им решительно не везло. Изредка то там, то здесь попадались им то взорванный мост, то остов грузовика, валявшегося вверх колесами, то свернутый набок танк с перебитой гусеницей, облупившийся и красный, как панцирь вареного рака. Иногда где-нибудь в укромной балочке у дороги они натыкались на целые кладбища автомобильных скелетов. Все это путники сначала принимали за следы партизанской работы.

Впрочем, они скоро научились отличать партизанскую работу от результатов налета советских штурмовиков, которых немцы звали «черная смерть». Партизаны подстерегали врага обычно в лесу, на поворотах дороги, предварительно взорвав мост или преградив путь поваленной сосной. В этих случаях вокруг разбитых и сожженных машин на снегу видно было много человеческих следов. Самолеты же накрывали колонны чаще всего на открытых местах, в пробках, образовавшихся у переправ, или в траншеях занесенных снегом дорог, в выемках, в лощинах. В этих случаях машины торчали из сугробов там и сям, как разбежавшееся в испуге стадо. И если колонна была разгромлена теми хвостатыми снарядами, что мерцали ночью, как малиновые кометы, снежную белизну покрывала черная гарь.

Зрелище этих кладбищ вражеской техники, все чаще и чаще попадавшихся на пути, вливало в путников силы. На стоянках они подолгу толковали об этих следах жестоких схваток в тылу врага, и все больше крепла в них надежда, что Красная Армия уже перешла в наступление и движется им навстречу.

21

Давно был потерян счет дням. Муся даже перестала заводить свои часики. Знать время не было нужды. Жизнь определялась сменой дня и ночи. Путники привыкли спать днем и просыпались, когда начинало темнеть. Сначала это им давалось с трудом, но постепенно организм приспособился. Днем все трое испытывали острую резь в глазах, освещенная солнцем снежная целина казалась им до боли яркой.

По мере того как слабели силы, к усталости и голоду, никогда не оставлявшим их, прибавилась еще и постоянная сонливость. Муся и тут оказалась крепче других. Она брала на себя самые трудные, утренние часы дежурств, когда спутники ее, утомленные дорогой, засыпали каменным сном. Устроившись поудобней у огня, она старалась не расходовать энергию ни одним лишним движением и как бы замирала в бездейственном созерцании.

Кругом причудливо громоздились сугробы. Метели одевали лес так щедро, что ветви клонились вниз. Снежный груз сгибал тонкие березы до самой земли, и то там, то здесь виднелись тонкие арки, опушенные белыми подушками. Мелкие сосенки и елочки совершенно зарылись в сугробах. Когда холодное солнце пряталось за облака и гасла сверкающая белизна, они походили на солдат в маскхалатах, рассыпавшихся по лесным полянам. Когда же солнце сияло в льдистом, зеленоватом небе и возле деревьев на снегу лежали густо-синие тени, мелколесье, покрытое снегом, походило на сборище фантастических фигур, и усталые глаза Муси ясно видели то свернувшегося медведя, сосущего лапу, то острый профиль Митрофана Ильича, то оленью голову, то флажок комсомольского значка, то арифмометр.

Девушка закрывала глаза, дремала, приходила в себя от острого холода, подкладывала ветки в костер, поправляла брезентовый экран плащ-палатки, заставляла

спящих спутников поворачиваться и снова замирала, озираясь кругом, смотря сквозь решетку ресниц.

Заботы не покидали Мусю. Хватит ли сил подняться, сможет ли Николай тащить свой мешок, удастся ли им пройти те сто километров, что, по их расчетам, отделяли их теперь от фронта? По мере того как расстояние это сокращалось, все трое двигались все труднее, все медленнее. Чуть ли не каждый час приходилось сворачивать в лес, отдыхать. Привалы увеличивались, а отрезок пути, который им удавалось пройти, становился все короче.

«Неужели же не дойдем? Неужели ж придется умереть тут, в снегах, умереть попусту, не выполнив своего задания? А кругом так красиво, и так хорошо жить...— Девушка торопливо гнала от себя мрачные мысли.— Как это вдруг умереть? Быть этого не может! Немного уже осталось. Надо дойти».

Муся чувствовала, как та же, что и у Николая, страшная, неизвестная ей болезнь начинает одолевать и ее. Тягучая вялость точно резиновыми путами стягивает все тело. Голова кружится так, что иной раз приходится хвататься за дерево, чтобы не упасть. В ушах все время звенит. Но что хуже всего — кровоточат десны. Зубы шатаются, ноги пухнут и подламываются в коленях. «Нет, нет, не поддаваться, не поддаваться! Не складывать весла. Грести против ветра, навстречу буре, грести из последних сил»,— убеждала себя девушка, вспоминая енисейских рыбаков.

Но не собственная болезнь пугала ее. У нее еще есть силы. Она еще может идти. А вот Николай, он совсем плох. Иногда вдруг взгляд у него становится равнодушным, отсутствующим. Вчера во сне он снова отморозил уже отмороженную щеку. Заметив белое пятно возле старой, уже посиневшей болячки, Муся схватила ком снега и начала оттирать. Николай проснулся, открыл глаза, и в них не было ни испуга, ни удивления, ни благодарности. Голова его покорно покачивалась, как у куклы. Сердце Муси затосковало: «Что это, неужели все?» Испугавшись, она принялась тормошить и трясти юношу. Николай дергался, как неживой. Но перед сумерками он сам очнулся, поднялся на ноги. По дороге он признался Мусе, что слышал, как она его теребит, но не сумел преодолеть сонливость.

И получилось как-то само собой, что командирские обязанности постепенно начали переходить к девушке.

«Только бы не раскиснуть, не распуститься, не поддаться этой страшной слабости. Ведь скоро же, скоро! Мамочка, милая, что же делать, как сохранить силы на этот теперь уже короткий отрезок пути?»

Но против ее воли все чаще и чаще в часы бессонницы возникала перед девушкой картина: накрытые пуховиками сугробов мелкие сосенки и среди них, у серого пятна погасшего костра, три занесенные снегом фигуры. И в голову приходила мысль: а там, за линией фронта, уже давно ждут партизанских посланцев с их драгоценным грузом, там, заложив назад свою единственную руку, тяжелой походкой расхаживает товарищ Чередников, расхаживает и сердито бубнит: «Митрофан Ильич, да, это был настоящий патриот! Но кому пришло в голову доверить такое важное дело этой пустой девчонке?»

От таких мыслей Мусе становилось жалко себя до слез. Ведь товарищ Чередников и все банковские так никогда и не узнают, сколько жертв принесла, сколько сил положила эта девчонка, чтобы выполнить поручение. Иногда, раздумывая об этом, девушка начинала тихо плакать от обиды, но чаще всего сердилась на себя, на Рудакова, на Чередникова, на всех и, рассердившись, наливалась энергией, начинала безжалостно тормошить спутников, поднимать их:

— Пора, пора, там, у своих, сны досмотрите.

Маленький отряд медленно, но все же двигался на восток.

И вот наступил момент, которого Муся боялась больше всего. На закате, когда лес еще розовел и серые скорые сумерки только вступали в чащу, где путники устроили свою дневку, Муся решила, что пора подниматься. Толя долго не просыпался. Потом, очнувшись, он вскочил, обтер лицо снегом и даже попытался проделать гимнастические упражнения, но потерял равновесие, покачнулся и еле устоял на ногах.

Потом вдвоем они стали поднимать Николая. Партизан был очень тяжел. Тело его покорно моталось из стороны в сторону, но тотчас же, как только они выпускали его из рук, бессильно оседало. Мусе стало страшно. Она умоляла, убеждала, грозила. Ничего не помогало. Только после того как она натерла Николаю грудь снегом, партизан медленно открыл глаза и слабо улыбнулся, увидев перед собой худое девичье лицо. Он задержал руку Муси у себя на груди. Прошла минута, две. Николай сел.

Осмотрелся. Друзья со страхом следили за его медленными, тягучими движениями.

— Буксую,— тихо сказал он, силясь улыбнуться.— Насос сдает, поршни подносились... Не тянут.

Он сидел под деревом большой и беспомощный. Девушка упала на колени, прижала голову Николая к груди, стала гладить ее дрожащими руками.

— Родной, не надо, не надо! Мы дойдем. Слышишь? Дойдем, обязательно дойдем... Мы победим, будем счастливы. Если бы ты только знал, как мы будем счастливы!

Голова партизана лежала, как неживая. На его потемневших, потрескавшихся губах дрожала все та же удивленная и чуть виноватая улыбка.

— Ты слышишь, что я говорю? — спросила Муся и пристально посмотрела в его тоскующие глаза.

Он утвердительно кивнул головой. Мусей овладело отчаяние... Что же делать, как разбудить энергию в этом большом ослабевшем теле, подточенном неведомой болезнью!

Сумерки уже окутывали заснеженный лесок. Одинокая, неправдоподобно яркая звезда зажглась в зеленоватом небе. Пора идти.

— Железнов,— сказала девушка сердито и властно,— ты что ж, хочешь, чтобы ценности попали к фашистам, да? Ты этого хочешь?.. Вставай сейчас же!

Николай открыл глаза. Мальчишеское лицо девушки отражало упрямую, сердитую волю. Ласковая улыбка задрожала на губах партизана.

— Ты хорошая... Муся,— ответил он и, опершись на локоть, стал подниматься. Ноги его скользили, руки дрожали. Он поднимался мучительно медленно. Тяжело было видеть этого богатыря таким немощным. Муся и Толя помогали ему. Но Николай уже преодолел оцепенение. Он сердито отстранил друзей, сам встал на ноги, грузным шагом подошел к сугробу, где был зарыт его мешок, постоял, будто собираясь с силами, сапогом сбил снежный холмик, нащупал лямки, но поднять мешок не смог. Весь напрягаясь, партизан попытался рывком взвалить мешок на плечи — и опять неудачно. Покачнувшись, он чуть не упал, но, постояв, опять взялся за лямки.

— Я запрещаю тебе. Слышишь? Я понесу! — решительно сказала Муся, пытаясь вырвать мешок из его дрожащих рук.

Николай нахмурился.

— Нет! — процедил он сквозь зубы, упрямо покачал головой, и на его широком лице появилось непреклонное выражение.

Поглубже вздохнув, точно перед прыжком, он снова схватил мешок и отчаянным усилием перебросил его за плечи. Спутники помогли ему продеть руки в лямки. Было темно. Отзвуки движения, весь день слышавшиеся с дороги, уже стихли. Муся первой направилась по вчерашнему следу, Толя тронулся за ней.

Сзади скрипнул снег, послышалось падение тяжелого тела. Муся оглянулась. В сугробе темнела неподвижная фигура. Николай лежал навзничь, даже не пытаясь освободиться от лямок.

— Оставьте меня... Идите... Берите это и идите... Идите, приказываю... Слышите! Приказываю! Так надо...— торопливо шептал он.

Бесконечная жалость охватила девушку при виде крупных и, как ей казалось, густых капель, бежавших по его вискам. Но тут же жалость сменилась приступом жаркого гнева.

— Уйти? Бросить тебя?.. Как ты смеешь!..

Она быстро освободила его от лямок.

— Вставай! Вставай сейчас же! Ну!

Николай продолжал лежать в той же позе, втиснутый в сугроб. Девушка рванула его за воротник, но поднять не было сил. Сам он ей не помогал. Мусю охватило бешенство.

— Поднимайся! Да поднимайся же!

Николай лежал бессильный, безучастный. Тогда она стала безжалостно теребить его, дергать, толкать в бок. Наконец в его глазах, печальных и равнодушных, появилось удивление...

— Встанешь ты или нет? Говорил о рыбаках, а сам сложил весла? На все наплевать? Так?.. Не выйдет, не позволю. Не дам. Слышишь ты! Не дам, не дам, назло всему не дам... Вставай.

Николай не ответил, но начал медленно подниматься. Сначала перевернулся на живот, потом встал на четвереньки, поднялся на колени и, разогнув спину, балансируя руками, сделал попытку встать. Друзья подхватили его под мышки. Теперь он стоял. Колебался, покачивался, но стоял.

— Иди! — приказала девушка.

И он покорно, не оглядываясь, пошел по вчерашнему следу.

Потом, движимая все тем же нервным подъемом, девушка схватила мешок и, оторвав его от земли, продела руки в лямки. Она почувствовала тяжесть только тогда, когда груз лежал уже на спине. Толя поднял оба автомата. Догнали Николая. Он шагал, как лунатик, но в движениях уже появилась твердость. Он даже протянул было руку, чтоб освободить Мусю от груза, но та ласково и настойчиво отвела ее.

— Не надо, милый! Иди...

Они выбрались на дорогу. По плотному, вылощенному шинами снегу, громко скрипевшему под каблуками, идти было легче. И странное это было дело: чем дальше уходили они от места ночлега, тем уверенней становился их шаг.

— Ведь тебе лучше, правда? — спросила Муся, с надеждой взглянув на Николая.

— Да, да, лучше,— ответил он хриплым шепотом, не оборачиваясь.

Однако и он заметно приободрился. Только походка была по-прежнему какая-то деревянная. Движения его казались механическими.

Муся, сгибаясь под тяжестью груза, шла впереди. Николай брел следом, глядя ей в затылок, и все старался ступать в такт ее шагам. Тихая улыбка мерцала на его потрескавшихся губах. Чтобы забыть о тягостной боли, о скользкой бесконечной дороге, об остром мерцании холодных звезд, которые, как казалось, светом своим кололи, даже царапали его воспаленные глаза, партизан твердил про себя слова, пришедшие ему на ум при первой встрече с этой девушкой: «Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты».

Воспоминания о том дне наполняли его теплом, заставляли усталое сердце биться энергичней. Они отвлекали мысль от острой боли в ногах, от вялых мускулов, не подчинявшихся велению мозга... Снова молодой и сильный, шел Николай Железнов по залитому солнцем лесу, полному летних ароматов и звонким пением птиц. И было ему хорошо, легко, а Муся, быстрая, как синичка, перепрыгивая с кочки на кочку, точно плыла над изумрудными полями, облаком проносилась сквозь кусты и деревья и звала, звала его за собой... «Тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты...»

Хриплый, страшный голос вдруг раздался в морозной тишине: партизан что-то невнятно пел. Муся не столько услышала, сколько догадалась, что именно он поет.

Девушка испуганно обернулась. Толя бросился к товарищу. Николай шел все тем же деревянным шагом, подволакивая ноги. На его пожелтевшем, худом лице дрожала улыбка.

«Это в забытьи»,— подумала Муся. В невнятном бормотанье, прерывавшем пение, часто повторялось ее имя. Она старалась не слушать. Неужели он умрет и придется бросить его здесь, в снегу, и тело его станет добычей волков и лис? Как те замерзшие изуродованные трупы, что они иногда видели на обочинах... Нет, нет, этого не может, не должно быть! Она не даст, она не позволит...

Толе от этого хриплого пения было страшно, от этой счастливой улыбки на измученном лице друга. Он испуганно теребил партизана за руку.

— Не трогай, пусть,— сказала Муся.

— Что с ним?

— Бредит. Пусть. Ему, наверно, хорошо,— ответила девушка, догадываясь, что болезнь Николая вступает в какую-то новую стадию.

22

Так, с небольшими остановками, они прошли несколько часов. Сколько — никто из них определить бы не мог. Да и зачем было наблюдать за временем сейчас, когда они измеряли свою жизнь не часами, а километрами, приближавшими их к линии фронта?

Девушка уже приноровилась к тяжести мешка, привыкла к боли натруженных плеч. Вся воля ее теперь сосредоточивалась на том, чтобы заставить себя и товарищей двигаться быстрее. Весь окружающий мир исчез. Осталась только эта тускло сверкавшая под луной накатанная дорога и чувство, что необходимо во что бы то ни стало идти по ней.

Но все они были солдатами, и хорошими, опытными солдатами. И как только где-то, еще очень далеко, послышался неровный треск мотора, все трое разом вышли из оцепенелого состояния и насторожились. Счастливая улыбка на лице Николая погасла, в глазах забрезжила настороженная мысль. Точным движением он вырвал у

Толи один из автоматов, метнулся с дороги через кювет в кусты. Спутники бросились за ним. Прячась в снегу, Муся искоса смотрела на Николая. Забытья будто и не бывало, он действовал разумно, отчетливо, точно. Треск мотора нарастал. По его неровному тембру было ясно: это мотоцикл.

Николай почти механически вскинул автомат, спустил предохранитель, перевел бой на беспрерывную стрельбу. То же успел сделать и Толя. Как раз в тот самый миг, когда мотоцикл с коляской, рокоча, как ракета, мелькнул перед ними, две красноватые точки вспыхнули в кустах сердитыми, дрожащими огнями.

Прежде чем мягкое зимнее эхо успело пронестись по лесу, мотоцикл, пролетев по инерции метров двадцать, сорвался в кювет. Две черные фигуры мелькнули в воздухе и исчезли в туче снежной пыли. Толя первым бросился к ним, держа автомат наизготовку и крича что есть мочи:

— Хенде хох!

Но руки поднимать было некому. Водитель, в замасленном меховом комбинезоне, лежал неподвижно ничком у подножия сосны. Черное пятно медленно расплывалось вокруг его вмятой в снег головы. Пассажир, валявшийся чуть подальше, по-видимому без сознания, легонько стонал. Толя склонился над ним.

Девушка, держа в руке свой «вальтер», остановилась над тем, вторым. Это был офицер. Что делать? Оглушенный падением, он, очнувшись, может поднять тревогу, навести погоню на их след. Разве у них, ослабевших, обессиленных, есть хоть какая-нибудь надежда скрыться и спастись, если фашисты их обнаружат и пойдут по пятам?

Муся была озадачена. Офицер лежал в забытьи, но и в этом состоянии с лица его не сходило выражение животного страха. Девушка сняла с его пояса пистолет. Невдалеке торчал из снега тонкий ремешок. Она потянула за него и вытащила планшет, по-видимому выброшенный при падении. В нем были карта и пакет, засургученный по краям зелеными печатями. Может быть, офицер был связным и вез какой-то приказ. Вопреки правилам, заведенным в последние недели на вражеских военных дорогах, он ехал ночью. Стало быть, приказ мог быть срочным и важным. Девушка сунула карту и пакет за пазуху, с сожалением посмотрела на пистолет и, подумав,

забросила его подальше в снег. А как быть с этим? Скверно, что он не погиб вместе с шофером.

Она стала обыскивать офицера. В знаках различия она не разбиралась, но по меховой подкладке шинели и по тонкой материи кителя она догадалась: штабник. Ей хотелось найти документы. Вдруг рука ее нащупала в кармане небольшой узелок с чем-то твердым, крепко приколотый к сукну английской булавкой. В свертке оказалось двое женских часиков на поношенных кожаных браслетках, пять золотых сережек самой незатейливой работы, два обручальных кольца с надписями: «Вера» и «Степа», выгравированными на внутренней стороне, и, наконец, какие-то блестящие странной формы комочки. Только рассмотрев при свете луны, она поняла, что это коронки с зубов. Несколько секунд она остолбенело смотрела на кусочки золота, дрожавшие у нее на ладони, все еще не понимая, откуда они могли взяться.

И вдруг до ее сознания дошло, что лежавший перед ней гитлеровец, наверно, содрал все это с живых людей, ограбил каких-то Веру и Степу, быть может, вырвал эти серьги прямо из чьих-то ушей. А коронки... Это было слишком омерзительно.

Размахнувшись, Муся бросила золото в бесчувственное лицо офицера. Оно передернулось, но он не пришел в себя. Так чего же она колеблется? Разве можно позволить этому извергу подняться, вылечиться, чтобы опять рвать серьги из чьих-то ушей, грабить неизвестных Вер и Степанов, выдирать золотые коронки из чьих-то ртов?

Девушка решительно выхватила из-за голенища трофейный тесак, которым они на дневках рубили хворост для костра...

Откуда-то — как показалось Мусе, очень издалека — донесся радостный голос Толи.

— Ребя, ребя, сюда! — звал он.

Стоя у опрокинутого мотоциклета, он торжественно потрясал чем-то над головой. Муся подошла к нему.

В руках у Толи были какие-то свертки. От них слабо тянуло запахом хлеба. В глубине прицепной галоши Толя отыскал сумку с едой: буханку, флягу с какой-то жидкостью, котелок, прикрытый герметически прилегающей крышкой, и банку консервов. Не утерпев, он сорвал с буханки целлофановую обертку, и сразу, как подумалось Мусе, на много километров вокруг разнесся буйный запах черного заварного хлеба.

У девушки закружилась голова. Пришлось схватиться за дерево, чтобы не упасть. Но и острые спазмы в желудке не заставили ее забыть об опасности. Нужно уходить, заметать следы. Ведь в случае даже самой пустой погони они не сумеют скрыться.

Но что делать с Николаем? После нервной вспышки, вызванной встречей с противником, им овладела еще более тяжелая апатия. Он сидел в сугробе, привалившись к дереву, хрипло дышал и не проявлял ни малейшего интереса ни к результатам операции, ни к продуктовым трофеям.

Муся быстро свинтила пробку с фляги и попробовала содержимое. Она сейчас же сплюнула и, гадливо передернувшись, схватилась за рот. «Спирт»,— догадалась она.

Переглянувшись с Толей, она поднесла флягу к губам Николая. Тот покорно глотнул, поперхнулся, закашлялся. Жидкость, точно кипяток, ошпарила ему пищевод. Она вызвала в желудке острую резь, и все же странное тепло хлынуло по всем мускулам. В глазах партизана появилось осмысленное выражение. Точно испугавшись, Николай торопливо бросил в рот комок снега, потом сплюнул и стал подниматься, хватаясь за дерево.

Муся приказала Толе отрезать всем по куску хлеба. Тот проворно разделил буханку на три ломтя. Девушка велела уменьшить порции вдвое. При виде хлеба в ней самой проснулся звериный аппетит. Захотелось набить рот и есть, ни о чем не думая, съесть все, до последней крошки. Но она твердо сказала:

— Этого хватит!

И снова потянулась дорога, накатанная, прямая, точно ударом сабли просеченная в густом лесу. Деревья мрачно молчали, тяжело обремененные снежным убранством. Заснеженные кусты, как лазутчики в маскхалатах, подползали к самой колее. Небо точно лихорадило от далекого мерцания осветительных ракет, то и дело вспыхивавших за лесом. Эхо далеко несло скрип шагов, и Мусе время от времени начинало казаться, что впереди них кто-то идет, кого они никак не могут догнать.

Однажды на дорогу вылетел заяц. Поднявшись столбиком, он застыл, навострив уши, и долго с удивлением смотрел на странные существа, медленно приближавшиеся к нему. Потом, поняв, что это люди, он сделал резкий скачок, перемахнул за придорожную канаву и начал петлять по залитой луной поляне, оставляя на снегу

замысловатые вздвойки и сложные сметки. Чудак! Что они могли ему сделать? Где-то вдали все время лениво подвывали сытые волки.

Так прошли еще несколько километров до перекрестка.

Девушка понимала, что с зарей, как только двинутся в путь первые автоколонны, трупы мотоциклистов будут найдены и, вероятно, вдоль дороги организуют облаву. Поэтому, когда показался перекресток, она приказала свернуть на юг, на малоезжий, местами совсем перекрытый снежными переметами проселок, с тем чтобы, по возможности, подальше уйти от основной магистрали.

Так они и сделали. Прошли по проселку километра два-три и тут расположились на дневку. Местом стоянки был выбран скат глубокого, поросшего лесом оврага, на дне которого под пухлявыми сугробами угадывался бойкий ручеек. Кое-где он прорывался сквозь лед наружу и словно подмигивал струями, задорно сверкавшими в льдистых промоинах. Промоины густо курились, и все вокруг них обросло пышными снежными кристаллами.

Путники расположились под большим сосновым выворотнем. Здесь было тихо. Можно было разложить костер, не опасаясь, что его заметят с дороги. Натянув брезентовый экран, набрали изрядный запас сушняка. Потом Муся разрешила Толе выдать еще по куску хлеба.

23

В это ясное утро все трое, в том числе и Николай, чувствовали себя значительно бодрее. Голубые глаза партизана следили за девушкой с ласковым одобрением.

— Эх, была не была, давай, Елочка, что у них там, в котелке-то, есть! — сказала вдруг Муся.

С помощью тесака мальчик быстро открыл прочно присосавшуюся крышку и просиял от удовольствия. Там оказался рис, сваренный со свежим салом. Котелок поставили на угли, и все трое стали с нетерпением следить, как, отогреваясь, начинает маслянисто мерцать крупный разваренный рис, напоминавший цветы персидской сирени.

Наконец Толя прямо руками выхватил котелок из костра и, вывалив содержимое на плащпалатку, разделил рис на три кучки. По обычаю, заведенному еще

в отряде, он заставил Мусю отвернуться и, показывая на кучки, спрашивал: «Кому?» Рис исчез мгновенно, и еще долго после этого Толя очищал пальцами котелок, подносил его к лицу, наслаждаясь ароматом пищи.

Охмелев от еды, партизаны заснули, убаюканные шелестом поземки, и проспали весь день и половину ночи. Сквозь сон чудился им то нараставший, то затихавший, то близкий, то далекий грохот, будто бы прерываемый порой знакомым хриплым ревом моторов. Но не грохот этот разбудил их. Они проснулись от холода. Луна обливала все льдистым светом, снег кругом фиолетово сверкал, промоины на ручье курились густыми клубами пара. Этот пар, вершины сосен, росших по обочинам оврага, озябшие облачка, торопливо пробегающие мимо луны,— все было озарено багряными отсветами.

Партизаны молча смотрели на это необыкновенное явление.

— Зарево,— сказала наконец Муся.

— Неужели, елки-палки, лес подожгли?

— Зимой лес не горит,— хрипло отозвался Николай. Поднявшись на локоть, он тоже смотрел на небо.— И чего им под боком у себя лес жечь? А может, наши? А?

— Мальчики, неужели наши? Мамочка! А мне все во сне чудилось, будто слышу канонаду.

— И тебе? — обрадованно встрепенулся Николай.— Я тоже слышал, и самолеты слышал. Наши!

Николай, упираясь рукой в землю, приподнялся и сел. Толя бросился к нему на шею и, широко раскрыв рот, приглушенно закричал:

— Ура-а-а!

Тяжелое малиновое мерцание становилось заметней, по мере того как темнела ночь. Теперь оно не казалось зловещим. Чудилось, будто огромная дружеская рука, поднявшись над лесом, махала партизанам красным платком, сулила выручку. Мусю охватила жажда деятельности. Теперь надо беречь силы. Подбросив в костер сушняка, она разделила остатки хлеба. И хотя глаза спутников молили о добавке, она спрятала банку консервов — последнее из захваченных запасов — в мешок. Подумав, она отвинтила пробку с фляги и дала друзьям хлебнуть по глотку спирта, который Толя уже разбавил снегом...

— И вы, и вы! — настаивал маленький партизан.

— Вот еще... Ну ладно, праздник так праздник! — Преодолев отвращение, Муся приложила флягу к губам.— Этак я с вами пьянчужкой стану...

Она сделала маленький глоток и вся передернулась. Спирт был ей противен, но теперь она не считала себя вправе отказываться от своей доли. Нужно любыми средствами поддерживать силы.

Поспешно уложившись, они тронулись в путь, радуясь, что чувствуют себя крепче. Толя, первым вскарабкавшийся наверх, застыл на гребне оврага. Там, где за лесом была дорога, он увидел меж деревьями далекое мерцание электрических фар. Голубоватые огни отчетливо просвечивали, и лес будто сам двигался в этих вздрагивающих, перемежающихся огнях.

Происходило что-то новое: немецкие машины шли ночью. Стало быть, по дороге идти было уже нельзя, а о том, чтобы двигаться целиной, по глубоким сугробам, нечего было и думать. Путникам ничего не оставалось, как спуститься обратно в овраг, запалить костер и, свернувшись, уснуть подле него под защитой огромного выворотня.

Содержимое консервной банки поддерживало силы партизан еще сутки. Но пища разбудила аппетит. На следующее утро все трое почувствовали такой голод, что не могли уснуть, а в сумерки Муся проснулась с острой резью в пустом желудке, с ощущением слабости во всем теле.

Открыв глаза, она сделала попытку подняться и почувствовала, что тело ее словно примерзло к земле. Упираясь о снег руками, она наконец села. Костер давно догорел, было темно, косая сетка пухлых, неторопливо пролетавших снежинок скрывала все окружающее. Не сумев встать, девушка на четвереньках подползла к своим друзьям. Они лежали обнявшись. Слой сыроватого снега уже покрыл их ровной белой пеленой, виднелись только лица с запушенными бровями и ресницами. «Мамочка! Неужели замерзли? — испугалась Муся и начала будить.— Нет, живы, живы!»

Партизаны, не открывая глаз, сонно мычали, но не просыпались. Тогда, собравшись с силами, девушка подняла и усадила Толю. Недоуменно осмотревшись, он снова закрыл глаза и повалился на прежнее место. Мусе стало жутко. Она опять начала теребить его, терла ему уши, дергала за нос, за руки.

Наконец Толя очнулся. Он долго смотрел на нее, потом спросил:

— Что с вами?

У девушки было заплаканное лицо.

— Я думала, что вы оба...

Толя потянулся и сладко зевнул:

— Ой, и спать же хочется, елки-палки! — и опять было стал клониться к земле.

Муся сильно встряхнула его за плечи и крикнула сердито и повелительно:

— Не сметь!

Вдвоем они разбудили Николая. Тот долго сидел, болезненно потирая лоб, потом сделал резкое движение, словно стремясь вскочить, и бессильно растянулся на снегу.

— Мне... больше... не подняться,— с трудом выговорил он.

Слова прозвучали так тихо, что их почти и не было слышно.

— Ничего, ничего, пойдешь, теперь близко, немного осталось,— зашептала Муся, дрожащими пальцами свинчивая пробку с заветной фляги.

— Ребята, ребята! — взволнованно позвал Толя.

Прислонившись щекой к сосне, он сквозь редкий тюль летящего снега смотрел на восток. Красное зарево качалось над лесом еще более мощное, чем в прошлую ночь. А с дороги сквозь приглушенный свист ветра, шум сосен и шелест метели по-прежнему слышалось тягучее завывание моторов.

— Слышите, слышите? — шептал маленький партизан.

— Едут. Ночью едут,— тихо отозвался Николай.

Всем было ясно: на фронте происходит что-то такое, что заставило фашистов позабыть страх перед партизанами. Позабыв слабость, острую резь в пустых желудках, все трое смотрели в сторону дороги.

— Куда идут машины? — прошептал Николай.

Муся тоже старалась это угадать. А между тем забытая фляга лежала опрокинутая, и жидкость, на которую девушка возлагала столько надежд, медленно выливалась в снег. Этого так никто и не заметил...

За сеткой падающего снега трудно было что-нибудь рассмотреть. Но Мусе казалось, что белые сполохи, вспыхивавшие иногда на вершинах деревьев, подсвечи-

вают их слева. «Машины идут на запад? От линии фронта? Что же это значит?.. Может быть, отступают! Конечно же, отступают!» Радость слишком велика. Прежде чем сообщить друзьям догадку, девушка долго проверяла себя. Разочарование было бы страшно. Но деревья действительно снова и снова подсвечивались слева.

Наконец Муся оторвалась от созерцания сполохов, наклонилась к спутникам, которых опять запорошило снежком. Она хотела сказать им: машины движутся на запад, что они идут сплошным потоком, что, наверно, Красная Армия разбила немцев и гонит их, но теплый комок подкатил к самому горлу, она без сил упала возле товарищей и, зарыв лицо на груди у Николая, заплакала. Слезы ее сказали им все.

И опять, всячески умеряя свои голоса, почти беззвучно все трое закричали:

— У-р-а-а!

А потом, обнадеженные, приободренные, они сидели, тесно прижавшись друг к другу, смотрели на электрические сполохи, которые становились все виднее, по мере того как редела сетка снежинок. Стало быть, не приснилась им в прошлую ночь канонада. Недаром полыхало на востоке зарево. Все это было так хорошо, что даже мысль, что спасение придет слишком поздно, которая уже жила в каждом из них и которую они тщательно скрывали друг от друга, отступала на второй план. Но именно сейчас Муся, чувствовавшая теперь себя вожаком, решилась заговорить об этом:

— Ребята, а вдруг не дождемся?.. Мы несли... несли честно, ведь да?.. Ведь нам не стыдно?.. Так давайте на случай... если не сможем идти... Давайте напишем им, кто сюда придет... Пусть знают, мы свое сделали... Сделали все, что могли...

— Зачем? — одними губами спросил Николай.

— Повесим записку на видное место...

— Не надо. Прочтут записку — найдут мешок, перепрячут или прикарманят что-нибудь,— с сомнением сказал Толя.

— Это кто ж прикарманит? Фрицы? Да они сюда ни в жизнь не сунутся! Они вон как от Красной Армии удирают. А свои — что ж? Им и напишем. Это государственное. Кто ж возьмет? — тихо сказал Николай.

Он неподвижно лежал на спине, голос его доносился точно из-за стены. Было видно, что лежать ему неудобно,

но у него, должно быть, не было даже сил повернуться, устроиться получше.

— Эх, елки-палки, далеко от дороги! Наши тоже стороной пройдут.

— Не сейчас — так после, не зимой — так летом, не этим летом — так через год. Когда-нибудь. Золото не заржавеет,— вздохнула Муся.

Слезы показались у нее на глазах. Ей вдруг живо представилось: ясный летний день, потоки солнца, пронизывающие зеленую хвою, веселая птичья щебетня, голубое небо, мягкие облака, пушистые, легкие, позолоченные...— и три скелета в лохмотьях здесь, под этим выворотнем. Девушке стало жаль себя, друзей, и, чтобы не раскисать, она сердито решила:

— Хватит болтать.

Достала из кармана гимнастерки старенькую записную книжечку и, повернувшись спиной к холодной луне, вовсю сиявшей на очистившемся небе, спросила:

— Ну, что писать?

Рука у нее мелко-мелко дрожала. Карандаш вываливался из пальцев. Спутники не отозвались.

— «Товарищ, нашедший эту книжку! — не раздумывая, вывела девушка непослушной рукой, подчеркнула написанное двойной жирной чертой и продолжала, бормоча вслух: — К тебе обращаемся мы, три советских партизана...— Подумав, она зачеркнула слово «партизана» и написала «человека», потом вывела: — Когда ты это найдешь, нас не будет в живых...»

— Перечисли фамилии,— прошептал Николай.

— И адреса... Маме пусть сообщат, родным сообщат,— добавил Толя.

— Правильно.

— «Мы все трое — Николай Железнов, комсомолец со станции Узловая, Мария Волкова, комсомолка, работавшая в отделении Госбанка...— тихо шептала Муся, по мере того как карандаш с мучительной медлительностью нетвердо выводил на бумаге буквы,— в отделении Госбанка, и...» Елочка, как твоя фамилия?

— Анатолий Николаевич Златоустов, комсомолец, из школы ФЗО при машиностроительном заводе имени Орджоникидзе,— подсказал Толя с обидой, и Муся сама удивилась, как это она по сей день, и, может быть, по самый последний день своей жизни, не удосужилась даже узнать фамилии своего маленького друга.— Обязательно

«Николаевич» напиши, у нас в поселке еще один Толька Златоустов есть, рыжий. Так чтобы не перепутали.

— «...при машиностроительном заводе имени Орджоникидзе,— дописала Муся,— обращаемся к тебе, товарищ, и просим тебя известить наши организации, что мы...— Муся поискала слова и после некоторого колебания написала: — ...что мы до последней своей минуты выполняли боевое задание по доставке государственных ценностей через линию фронта».

— Не об этом, не о себе бы сначала-то...

— Ты напиши ему, пусть он, елки-палки, затылок не чешет, а сразу ноги в руки да несет мешок куда надо.

— «Мы просим тебя, товарищ, взять спрятанный...— здесь я потом поставлю, где именно,— мешок с ценностями, принадлежащими государству, и доставить его...» Куда доставить? — спросила Муся.

Голова у нее кружилась, буквы ложились вкривь и вкось, точно их несло порывами ветра.

— Доставить в ближайшую партийную организацию. Пиши. Пусть отнесет в парторганизацию.

— «...в ближайшую партийную организацию». Написала.

Поставив точку, Муся подумала, разберет ли неизвестный адресат это их послание, и вдруг с безжалостной отчетливостью поняла, что на этом клочке бумаги они, вероятно, в последний раз говорят с теми, кто там, за линией фронта,— с матерью, с отцом, с подругами и товарищами, со всеми знакомыми и незнакомыми людьми, населяющими родную страну. Теплый комок снова начал подниматься к горлу. Девушка, стараясь сосредоточиться на письме, с быстротой, на которую были способны ее огрубевшие, дрожащие пальцы, стала класть строку за строкой:

«И мы, комсомольцы, просим тебя, товарищ, передать наш последний привет нашим родителям, и доблестной Красной Армии, и нашему Ленинскому комсомолу, и большевистской партии. Передай им, что мы сделали все, что могли. И не выполнили задания только потому, что заболели, ослабли и не было уже сил. И передай, что в последнюю минуту мы думали о нашей милой Родине, знали, что Красная Армия придет и выручит нас, но не смогли этого дождаться».

Муся перечитала конец записки. Слова «не смогли дождаться» она зачеркнула. Затем девушка прочитала все

вслух. Спутники одобрили. Каждый подписался внизу, причем когда расписывался Николай, карандаш выскользнул у него из рук и пришлось долго искать его в снегу. Решено было в самую последнюю минуту, когда станет ясно, что идти больше уже нельзя, указать в письме местонахождение мешка и положить книжку на видное место. Потом Николай и Толя задремали, а Муся стала следить за дорогой: не иссякнет ли поток машин, нельзя ли двинуться в путь?

Но до зари движение не прекращалось, а когда над лесом поднялось желтое, прозрачное, как янтарь, утро и от мороза стали громко трещать старые деревья, скрежещущие звуки машин слились в сплошной, непрерывный гул.

Мороз крепчал. Спать становилось опасно. Муся разбудила спутников. Экономя угасающие силы, они сидели неподвижно, грея друг друга. Когда кто-нибудь начинал дремать, Муся будила его самым безжалостным образом. Ее самое все время клонило в сон, но она помнила: уснуть на морозе — это смерть всем троим. И она поддерживала огонь в костре и всеми средствами, вплоть до щипков и колотушек, отгоняла сон от товарищей.

Мысль о том, что их жизнь теперь в ее руках, ни на минуту не оставляла девушку. Веки слипались. Она то и дело терла глаза снегом, жевала ветку сосны и принимала самые неудобные позы, а когда сон все-таки начинал одолевать, до крови кусала себе руку.

Но силы заметно иссякали. Сон отгонять еще удавалось, но сознание работало уже нечетко. Все в голове путалось. Иногда, точно очнувшись, Муся делала попытку встать, размяться, но ноги уже не держали. Под вечер ей показалось, что сквозь отдаленный вой моторов она опять слышит канонаду. Ясность мысли вернулась к ней. «Чудится? Или вправду глухо гремит там, за лесом?» Решив, что, наверное, это стучит кровь в ушах, Муся опять погрузилась в полусон.

Мысли текли лениво. Снова и снова почему-то возникала в памяти фраза, сказанная однажды Рудаковым тяжело раненному партизану: «Большевик, брат, помирать не имеет права, пока не сделал все, что мог, что было в его силах». Когда Муся слышала это в госпитале, ей показалось, командир шутит, чтобы подбодрить больного. Теперь эта фраза была полна глубокого смысла. Разве Муся и ее товарищи имели сейчас право умирать?

Но что же делать, что? Ведь человек не властен над смертью, а проклятые машины все тянутся, все идут, а по целине, по глубокому снегу не сделаешь и двух шагов.

Оставалось одно — ждать. Но с дороги все несся шум движения, и тяжелая дрема, точно мягким, теплым пуховиком, снова начинала закрывать от Муси окружающий мир.

Ее вывело из полузабытья смутное ощущение близкой опасности. Какие-то фосфорические огоньки, то исчезая, то появляясь вновь, маячили в полутьме. «Опять чудится?.. Да нет же, это волки, вон они! Самые обыкновенные волки, только и всего»,— подумала девушка и даже успокоилась от этой своей догадки.

Сколько раз, идя ночью, видела она эти парные зеленоватые точки, то мерцавшие издалека из-за кустов, то звездочками метавшиеся в лесной чаще. Путники обычно не обращали на них внимания. В эту зиму лесные хищники были сыты. Вороны с трудом, тяжело, как гуси, снимались с полей сражений. Вероятно, только любопытство заставляло разжиревших волков выходить иногда из чащ на звуки шагов.

Все же зеленые огоньки, неясно мерцавшие по скатам оврага, отогнали тяжелую дрему. Ухо уже различало хриплое дыхание зверей, глухое, угрожающее ворчание. Тихо поскрипывал снег под осторожными мягкими лапами. Неясные тени все время перемещались, как болотные огни в сырую ночь.

Волки не уходили. Их становилось все больше. Опасность окончательно взбодрила Мусю. Головы друзей лежали у нее на коленях. Луна закрыта облаками, но голубоватое мерцание сугробов позволяет разглядеть, что снежинки тают в потемневших глазницах Николая, па заострившемся носу Толи. Они живы. Опасность угрожает им, беспомощным и неподвижным. Муся перепробовала все способы, стараясь разбудить спутников. Они не просыпались, даже не открывали глаз. Тогда она решила прибегнуть к самому верному средству и стала искать флягу.

Пустая фляга с незавинченной пробкой валялась в снегу.

Вот тут-то девушка почувствовала настоящий страх. Вместе со страхом пришла слабость. Девушка поудобнее прижалась спиной к сосне и закрыла глаза. Снег поскрипывал уже близко. И снова в ушах девушки прозвучала

фраза: «Большевик не смеет умирать, не сделав все, что мог».

— «Разве ты, Муська, сделала все?»

Успокоив себя, девушка оттолкнулась от дерева, подняла автомат. Он показался ей необыкновенно тяжелым, будто весь был отлит из свинца. Она положила оружие себе на колени, отвела предохранитель. От сухого металлического щелчка тени в овраге метнулись прочь, зеленоватые огоньки на мгновение погасли и снова возникли уже гораздо дальше, внизу, у курящихся промоин ручья. Послышалось глухое, свирепое рычанье. Волки опять стали приближаться. Зеленых точек было много. Вздрагивая во тьме, они широким, почти правильным полукругом охватывали, точно осмысленно оцепляли, выворотень, прикрывавший партизан. Середина этого полукруга шевелилась на дне оврага, концы поднимались до самого гребня ската.

«Вот чепуха!.. Преодолеть столько настоящих опасностей и где-то у самой цели погибнуть от волков, как глупым, беспомощным телятам!.. Нет, нет!.. Это просто нелепо!»

Муся снова принялась изо всех сил трясти спутников. Головы их безжизненно мотались, глаза были закрыты, даже дыхание не чувствовалось. Девушке пришло в голову: не старается ли она оживить мертвых? Но нет, снежинки же тают на лицах. Она расстегнула куртку Николая. Рука ощутила живое тепло. Прижалась губами к виску Толи. Под холодной кожей ритмично пульсировала какая-то жилка.

Живы! Но эти, в полутьме, они наглеют, они приближаются. Огненно-зеленые глаза не отрываясь следят за ней, как прожекторы, поймавшие в ночном небе самолет.

Девушке кажется, что она начинает физически ощущать на своем лице эти жадные взгляды. С каким бы удовольствием влепила она в эту хищную, трусливую, но с каждой минутой наглеющую свору очередь, другую, третью. Но машины, машины гудят на дороге. Выстрелы привлекут зверей куда более страшных. Нет, лучше волки! Ждать до последнего. Может быть, рассветет.

«Ну что ты боишься, чудачка? — убеждала себя девушка успокаивающими интонациями Митрофана Ильича.— Что такое волк? Большая собака, он боится человека. Он отваживается нападать на людей только стаями». Стаями! А сколько их там, в кустах? Черные

тени все подвигаются, все отчетливее их очертания. Глаза погасли, но Муся видит уже осторожные силуэты зверей, слышит хруст наста под сильной лапой, тяжелое дыхание, сухое клацанье зубов. А что, если они бросятся на нее все сразу?

«Пора. Может быть, это и есть последние минуты. Но почему напряженным громом, точно летом в грозу, раскатисто гудит лес? Это кажется? А почему молодой снег тихо падает с вершин сосен?» В ушах от слабости такой звон, что трудно, невозможно разобрать, что явь, а что мерещится.

«Пора!» Муся дрожащей рукой достает записную книжку и карандаш. Она вписывает в завещание пропущенную строку, потом вытаскивает из-за голенища тесак. Волки, угрожающе заворчав, отскакивают вниз. «Еще боятся!»

— Киш, фашисты проклятые! — кричит девушка и замахивается на них автоматом.

Не выпуская оружия, она медленно подползает к сосне. Цепляясь за шероховатую кору, поднимается на колени. Пробует встать и не может, нет сил. Тогда она вытягивает руки как можно выше, расмахивается и ударом тесака пригвождает к дереву раскрытую записную книжку.

Больше сил уже нет. Руки сорвались. Она упала лицом в снег. И все-таки дело сделано. Теперь книжка будет обязательно замечена, когда обнаружат их тела. Тела? Как странно это звучит. Нет, еще не тела. Еще бьется сердце. Плохо, но еще слушаются руки. «Большевик не смеет умирать, не сделав всего, что он может сделать». Ну, а что можно сделать еще? Блокнот далеко виден на бурой шершавой коре. Но еще не все сделано, нет, еще бьется сердце, а раз бьется, надо бороться за себя, за товарищей. «Да что же это так бухает? Неужели чудится? И опять снег сыплется с веток. А вдруг действительно близко стреляют?.. А сердце еще бьется. Нет, нет, еще не все сделано... Вот».

Муся садится на прежнее место, под защиту выворотня, кладет неподвижные головы спутников к себе на колени. Ей кажется, что так они больше защищены. Теперь с тыла они прикрыты не только от ветра и метели. На все это уходят остатки энергии. Но ночь уже побледнела. Ближайшие деревья вышли из полутьмы.

«Рассвет! — догадывается Муся.— Может быть, солнце спугнет, прогонит их, этих...» Нет, злые морды маячат в сугробах совсем близко. Оскаленные рты. Кристаллики инея осели на редких жестких волосках. Желтые клыки порывисто цедят взволнованный парок. Большой лобастый зверь с белесой лоснящейся шерстью, нервно поводя широкими боками, осторожно выступает вперед. Он уже совсем рядом. Вот он, не сходя с места, как-то весь подобрался, точно в снегу утонул, и глаза у него сощуренные, будто целятся. Вся стая теснится теперь чуть позади матерого волка, не выходя из кустов, ворча, огрызаясь. Утренний ветерок доносит до Муси резкий запах псины.

Вдруг снег скрипнул под лапами лобастого. Усилием указательных пальцев обеих рук Муся нажимает спусковой крючок. Резкий слитный треск длинной очереди гремит в овраге, эхо гулко раскатывается по лесу, и с вершины сосны неслышно сыплется сухой колючий снежок, розовато искрящийся в робких лучах позднего декабрьского восхода...

24

Была на исходе уже третья неделя с того дня, когда Красная Армия, перейдя в контрнаступление, обрушилась на основные ударные силы, стянутые фашистами в район Москвы, разгромила их и, принудив их остатки к беспорядочному отходу, начала двигаться вперед, нанося врагу новые и новые удары нарастающей силы.

Дивизия генерала Теплова, находившаяся в авангарде одной из армий Калининского фронта, успешно прорвала вражеские укрепления, перешла замерзшую реку и одной из первых на этом участке ринулась преследовать противника. Ни временные оборонительные рубежи, наспех воздвигаемые врагом на пути наступления, ни арьергардные бои, которые немцы то и дело затевали на лесных опушках, у придорожных высоток, возле балок, ручьев, у околиц деревень, ни танковые засады, ни постоянные контратаки с земли и с воздуха не могли ее остановить.

Все воины дивизии, начиная от самого генерала Теплова, широкоплечего седеющего человека, с большими руками молотобойца, с просторным лбом ученого, до

телефонистов, не устававших передавать в батальоны приказы об ускорении движения, до ротных поваров, научившихся готовить пищу на марше, до письмоносцев полевой почты, сгибавшихся в эти дни под тяжестью наспех нацарапанных солдатских «треугольничков», заключавших в себе хорошие вести,— все были кровно озабочены развертыванием этого трудного наступления.

Да, это были славные дни! Дивизии двигались по дорогам, прокопанным в сугробах, как траншеи, и вехами на них служили полузанесенные снегом трупы, брошенные противником пушки, повозки, сожженные машины. Войска шли по деревням, которые можно было угадать лишь по надписям на дорожных указателях. В редкую свободную минуту варили пищу из концентратов в печах, стоявших, как казалось, среди чистого поля; пили воду из колодцев, журавли которых говорили солдатам о том, что здесь, где сейчас ветер беспрепятственно гоняет снежные вихри, издавна были селения, разрушенные, сожженные...

Самый вид этих мертвых мест поднимал в солдатах яростную неутомимость, и генерал Теплов — старый солдат, воевавший еще в гражданскую, отличившийся на Халхин-Голе, зная цену того, что в армии зовется боевым порывом, торопил наступающие полки, требовал до предела сократить ночевки, раздавать солдатам пищу на марше.

Так почти с непрерывными боями дивизия генерала Теплова прошла на запад немало километров. Сам генерал за это время ни разу как следует не отдохнул. Ел кое-как. Спал не раздеваясь, менял свои командные пункты по нескольку раз в неделю и так измотался, что стал засыпать на ходу.

25

В этот день, вернее, в эту ночь, передав в армию донесение о форсировании очередного водного рубежа и об успешном продвижении полков за рекой, в глубь лесистого края, подписав донесение о трофеях, взятых на береговых укреплениях, и отдав последние распоряжения, генерал Теплов прилег отдохнуть.

Командный пункт его расположился на этот раз в просторных блиндажах, где до того жили немецкие офицеры. Лесу они для себя не пожалели. Вокруг блиндажей

были устроены кокетливые палисаднички, скамеечки, затейливые крылечки, галерейки. Все это было сколочено из молодых березок с белой неободранной корой. На козырьке того блиндажа, где разместился генерал и где до него жило, по-видимому, немецкое начальство, из осколков разбитого зеркала была выложена сверкающая надпись «Сансуси». Блиндаж был просторен, удобен. Из чьих-то квартир натаскали сюда разнокалиберную мебель: жесткий диван с прямой спинкой, креслица, даже старый умывальник с овальным зеркалом, вделанным в серую мраморную доску.

И хотя вся эта мебель была своя, советского производства, хотя ординарец начисто ободрал со стен открытки и литографии из немецких журналов, собственноручно выковырял тесаком надпись «Сансуси» и даже место, где она была, затер снегом, а полы и стены блиндажа были вымыты и продезинфицированы карболкой, генералу Теплову все время казалось, что в его жилье все еще держится какой-то особый, неуловимый враждебный запах.

Генерал ворочался с боку на бок, закрывая глаза, начинал ровно дышать, но и сквозь сомкнутые веки виделось ему движение колонн, артиллерийских упряжек, машин. Усталый мозг никак не мог успокоиться. Сон все не шел, и виной этому, как казалось генералу, был необъяснимый чужой запах, который, казалось, источали сами стены подземного жилья.

А спать было нужно, нужно во что бы то ни стало.

Генерал вздохнул, слез с нар, сунул ноги в бурки и, не одеваясь, только накинув на плечи бекешу, вышел из земляного ходка. Часовой у входя вытянулся, мягко стукнув валенком о валенок. Метель улеглась, сугробы, вылизанные морозным ветром, источали тихое фосфоресцирующее сияние. Над кромкой крутогорья, развороченного снарядами и напоминавшего каменоломню, остро посверкивали холодные звезды. Генерал жадно вдохнул чистый воздух.

— А заснуть все-таки надо,— сказал он вслух.

— Так точно, товарищ генерал,— подтвердил из тьмы голос часового.

— Аль самого в сон тянет?

— Никак нет. Ночь очень хороша, товарищ генерал...

Голос солдата звучал весело. «О наступлении думает»,— решил Теплов.

Спустившись в блиндаж, генерал зашел в отсек, где помещался его повар — старый усатый солдат. Тот спал, лежа навзничь, тяжело всхрапывая и что-то невнятно бормоча. Опасливо покосившись на повара, генерал наклонился, пошарил у него под койкой, достал из ящика бутылку коньяку. Долго возился, выковыривая вилкой пробку, наполнил первый попавшийся под руку стакан и, резко откинув голову, как это делают непьющие люди, плеснул в рот острую, припахивающую дубовой клепкой жидкость.

В это мгновение он почувствовал на себе удивленный взгляд. Повар проснулся и, протирая глаза, с недоверчивым недоумением смотрел на своего генерала. Они вместе воевали от самой границы, и повар успел усвоить, что начальство его не склонно к хмельному. Коньяк же, присланный шефами дивизии еще на Октябрьские праздники, свято хранился поваром для всяких почетных гостей.

Генерал гадливо передернул плечами, сплюнул, сунул бутылку повару и, ничего не сказав, скрылся за брезентовым пологом.

Он забрался на нары и закрыл глаза. Теперь, когда тепло разлилось по телу, чужой запах как бы отступил, потерял свою беспокоящую силу. Чувствуя приближение желанного сна, генерал лег поудобней, натянул на голову одеяло и только тут по-настоящему и почувствовал, как он устал. «А все-таки здорово их под Москвой рубанули!» — подумал он напоследок — и точно бы погрузился в теплую воду...

За занавеской отгораживающей койку порученца, будто летящий жук, зуммерил телефон. Требовательный, упрямый звук, раздаваясь ночью, приносил чаще всего тревожное и неприятное. Он сразу отогнал сон. Только усилием воли генерал заставил себя остаться в постели. «Кому там не терпится? Просил же телефониста соединять только в случае крайней необходимости и всех, кто будет требовать комдива, подключать к начальнику штаба». Телефон зуммерил напористо, настойчиво. Никто не брал трубку. «Ну и спит! Вот скверный парень,— подумал генерал про порученца.— Эх, молодость, молодость!» Он уже хотел было сам идти к телефону, но послышался зловеще приглушенный шепот порученца:

— Кто, кто?.. Не могу, товарищ Двенадцатый, Первый отдыхает, звоните Третьему... Я вам говорю, товарищ

Первый трое суток даже не прилег. Не просите, не могу, товарищ Двенадцатый. Не приказано.

Двенадцатым по дивизионной телефонной номенклатуре значился тот самый боевой майор, которого генерал направил с авангардным отрядом лыжников-сибиряков на лесную дорогу для параллельного преследования отступавших вражеских частей.

— Соединяйтесь с Третьим, товарищ Двенадцатый... Не могу...— упорствовал порученец.— Не просите...

Шепот его снизился до зловещего шипения.

Сон уже совсем отлетел. Сбросив одеяло, генерал сел на нарах, нащупывая ногами бурки. Майор был опытный, дисциплинированный офицер. Он не стал бы настаивать по пустякам. Подходя к телефону, генерал удивился, увидев, что обледеневшая стенка земляного колодца, в который выходило единственное окошко блиндажа, ярко освещена оранжевым светом. Значит, все-таки он успел изрядно соснуть.

— Первый слушает,— сказал генерал, отбирая у порученца телефонную трубку.

— Докладывает Двенадцатый,— заклекотал напористый, энергичный голос.— Простите, товарищ Первый, я бы не стал вас беспокоить, но у меня ЧП. Очень важное... Совершенно особого свойства.

— Чрезвычайное происшествие? В батальоне? Нет?.. Напоролись на засаду? Застряли?

— Никак нет, наступление развивается нормально. Основные силы, двигаясь по дороге, вышли на рубеж сторожки. Мои лыжники, ведя целиной параллельное преследование, на пять часов пятьдесят минут достигли высоты «пятьдесят восемь» южнее топографической вышки «сорок два». Сейчас они значительно западнее.

— Молодцы! — крикнул в трубку командир дивизии.

Следя по карте, генерал уже отмечал красным карандашом район сторожки и вышки. Ясно! Сбитый с укреплений резервного оборонительного рубежа враг снова принужден был начать беспорядочный отход.

— Молодцы,— повторил генерал, удлиняя красным карандашом стрелу, врезавшуюся в расположение вражеских частей.— Продолжайте преследование. К двенадцати ноль-ноль выйти основными силами в район... вот сюда, в район переезда через железную дорогу. Авангарду лыжников направиться в обгон немецких колонн и занять «Бол. Самарино»... Нашли «Бол. Самарино» на

своей карте?.. Вот его. Дайте ему там бой. Пусть свертывают в снег. Понятно? Исполняйте... Да, вы сказали — ЧП. В чем дело?

Бодрый, уверенный даже в минуты боевых неудач, голос майора дрогнул. В нем зазвенели азартные мальчишеские нотки.

— Ой, товарищ Первый, ЧП совершенно особенное. Мои лыжники, двигаясь параллельно дороге, в двух километрах севернее топзнака «сорок два» взяли целый мешок золота...

— Что? Повторите — что взяли? Не понимаю. Передайте по буквам.

— Золото... Зинаида, Ольга, Лена, вторая Ольга, Тарас, третья Ольга. Поняли? Вот-вот, именно золото, много золота, товарищ Первый.

— Слушайте, вы, третья Ольга, ни черта я у вас не понимаю.

Генерал начал сердиться. Еще в дни обороны, когда части дивизии отбивали атаки врага, закопавшись на левом берегу Волги за городом Калинином, как-то сам собой возник в них этакий самодельный внутренний и довольно неуклюжий шифр для телефонных переговоров. По шифру этому звались: танки — лапти, пушки — гавкалки, снаряды — огурцы, самолеты — птички, и так далее. Конечно, все понимали, что такая фраза, как: «У немцев на левом фланге лапотки завелись», или запрос прислать для гавкалок семидесятишестимиллиметровых огурчиков звучали не бог весть как конспиративно. Однако и сам генерал, посмеивавшийся над этим шифром, порой прибегал к нему при переговорах. Приняв теперь по буквам слово «золото», он никак не мог вспомнить, что же, собственно, оно могло означать.

— Пшеница, что ли? — предположил он.

— Никак нет, именно золото, товарищ Первый,— ответил ему бодрый голос.

— К черту эти ваши дурацкие выдумки, мы не в обороне, докладывайте по-русски, чего вы там захватили.

— Виноват, товарищ генерал, именно золото, самое настоящее золото, благородный металл, а также брильянты и еще какие-то камни. Много золота, целый мешок.

— У немцев захватили?

— Нет, его несли партизаны, их нашли в лесу. Из их письма явствует...

— Какого письма, откуда письмо?

— Оно было написано в записной книжке, приколото тесаком к дереву. Их письмо, товарищ Первый, партизан этих...

Происшествие действительно было не из обычных. Генерал забыл, что стоит в одном белье в блиндаже, из которого за ночь выдуло все тепло. Он машинально запахнул бекешу, накинутую ему на плечи порученцем, присел на стол.

— Читайте письмо. Постойте, там сказано, откуда взялись эти ценности?

— Так точно, товарищ Первый.— Майор назвал город и отделение Госбанка.

Этот город был хорошо известен генералу. Полк, которым он командовал в начале войны, отступая с боями от границы, вместе с другими частями занял оборону как раз на рубеже этого города, недалеко от вокзала, и почти четыре дня упорно сдерживал наступающих немцев, пока вражеские танки, прорвавшись севернее, не зашли ему в тыл.

— Этот город был взят в конце июня, а сейчас декабрь. Это же почти в шестистах километрах отсюда,— с сомнением произнес генерал, перед которым все это пространство вставало как бесконечная гряда тяжелых арьергардных боев его полка, а затем дивизии.— Как же ценности попали сюда?.. Тут что-то не так... Кто из вас путает?

— Никак нет, все правильно. Вот в письме прямо сказано, что они несли их оттуда.

— Шестьсот километров по немецким тылам?

— Так точно.

— Да читайте же письмо, какого черта!

Где-то на другом конце провода сквозь звон и потрескивание звучал голос майора:

— «Товарищ, который найдет эту книжку, к тебе обращаемся мы, три советских человека... Когда ты найдешь эту книжку, нас не будет в живых...»

— Они погибли?

— Никак нет, живы, товарищ генерал! — Голос майора опять сорвался на мальчишеский тембр.— В том и штука, живы! Все живы.

— Где они?

— Направил на медпункт. Находятся в очень тяжелом состоянии.

— А кто такие?

— Два парня и девушка. Один парень — совсем мальчишка. Дивчина тоже вроде подростка. Она в сознании. Рассказывала, что несет ценности от самого того города. Такая чудесная девушка, товарищ Первый... у нее глаза...

— Ладно, читайте записку.

— Слушаюсь... Ну, тут они перечисляют свои имена и адреса. Вот. «Мы просим тебя, товарищ,— это они обращаются к тому, кто их найдет,— взять спрятанный под корневищем мешок с ценностями, принадлежащими государству, и доставить его...» — Голос майора сорвался.

— Ну, ну, «и доставить его»... Что вы, не разберете, что ли?

— Никак нет, разбираю: «...доставить его в ближайшую партийную организацию». И еще они тут в письме просят передать последний привет доблестной Красной Армии, Ленинскому комсомолу, большевистской партии. Они просят сказать... Вот это замечательное место я вам прочту: «Мы сделали все, что могли, и не выполнили задание потому, что заболели, ослабли... ослабли...»

Трубка смолкла. В ней слышался сухой шорох взволнованного дыхания.

Генералу почудилось, будто холодная пластмасса жжет ему ухо. Бурые доски блиндажа, обмерзшая стенка земляного колодца, позолоченная солнечными лучами, померкшая кисточка ацетиленового пламени, бесполезно дрожавшего над настольной лампой, стол, точно скатертью, накрытый исчерченной рабочей картой,— все это смазалось в теплом тумане. Рядом неясно маячила фигура порученца. Генерал резко отвернулся.

— Чего стоите, погасите лампу! — сердито буркнул он. Только после этого ворчливо, но каким-то новым голосом он сказал в трубку: — Довольно. Немедленно под надежным конвоем направьте ценности сюда, ко мне на КП. Ну да, пункт пока прежний. С ценностями направьте подробное донесение об обстоятельствах дела, приложите эту записную книжку. Людей немедленно перевести в медсанбат при враче, беречь как зеницу ока, головой отвечаете. Стойте, насчет людей отставить. Я пошлю за ними свою машину с подполковником медслужбы.

Генерал отдал адъютанту соответствующие распоряжения и, когда тот исчез, снова прильнул к трубке.

— Слушайте! Это опять я, Первый, а какие они, эти люди, опишите.

— Девушка очень молоденькая, очень милая, прямо мальчишка... кудрявая... прекрасные серые глаза... Вы знаете, товарищ Первый, такие глаза...

— Тьфу! Вам сколько лет, майор?

— Двадцать пятый, товарищ генерал.

— Вот и видно, что двадцать пятый. Глаза! Я разве о глазах спрашиваю? Как эти люди выглядят?

— Очень истощены, ослабли, парни почти не говорят, а девушка...

— Опять девушка.

— Виноват, я только хочу сказать, что девушка рассказывает, что они шли до самого позавчерашнего утра, шли будто бы по ночам, а потом, когда на дорогах началось ночное движение, взяли в лес. Трудно поверить, но, кажется, это так. Девушка передала мне карту с дислокацией войск противника в этом районе, теперь устаревшую, и секретный пакет из штаба «Центр» командиру группы неприятельских войск.

— Так какого же черта вы молчите? Какой пакет? С чем пакет?

— Срочный пакет, товарищ Первый. В нем командующий группой «Центр» передает категорический приказ ставки Гитлера остановить наше наступление. Решительно. Немедленно. Любой ценой...

— Дата приказа?

— Он передан пять дней назад.

— Ну, цену он уже заплатил хорошую,— усмехнулся генерал.— Пакет и карту ко мне.

— Выслал два часа назад, товарищ Первый... Сейчас получите.

— Так, значит, «решительно, немедленно, любой ценой»? Круто, баском командует... Да, кстати, откуда у партизан этот пакет?

— Девушка рассказывает, что они четыре дня назад убили на дороге немецкого офицера связи.

— Истощенные? Еле живые?

— Так точно, товарищ Первый.

— Гм... Где же вы их нашли?

— Нашли случайно. Капитан Сурков двигался в обход параллельно дороге. Вдруг в лесу автоматная очередь. Одна, другая, третья. Думали — засада, осторожно обошли. Видят, лежат в снегу неподвижно трое, их совсем уже замело, товарищ Первый. У девушки на коленях автомат. Над головой к дереву пригвождена тесаком

эта самая записная книжка. Девушка сначала и говорить ничего не могла... Только плакала да трогала у бойцов полушубки, винтовки... Ей казалось, что она нас во сне или в бреду видит... Честное слово! Потом рассказала, что о нашем наступлении они только догадывались, но думали, что до фронта остается еще километров сто. Она в волков стреляла, товарищ Первый, вот так... Худенькая, лицо точно из слоновой кости выточено, и глаза огромные, серые, как две фары, сияют...

— А врач, что врач говорит?

— Врач, товарищ Первый, ничего не говорит. Врач удивляется. Он не верит, что можно идти в цинге, в такой степени истощения, да еще нести тяжести... А девушка, ее звать Муся...

— Эх, майор, майор, шпалы-то вам рано дали, думаете вы, как младший лейтенант. Чепуха у вас в голове,— проворчал генерал.— Неужели, кроме серых глаз, вы ничего в этом так и не увидели... Ну ладно, хватит болтовни. Высылайте ценности, донесение. И чтобы у меня в двенадцать ноль-ноль выйти к указанному пункту. Понятно? Исполняйте. Мы им покажем «решительно, немедленно, любой ценой».

Генерал положил трубку и несколько мгновений, улыбаясь, смотрел в угол блиндажа. Потом, точно встряхнувшись, вскочил и бросил ввалившемуся в блиндаж розовому с мороза порученцу, у которого брови и ворс шинели уже успели покрыться утренней изморозью:

— Вот что, немедленно ко мне комиссара. Скажите: прошу его срочно, очень важное дело... Потом соедините с командующим армией и с членом Военного совета фронта... Постойте. И еще вызвать сюда начсандива... Чтобы перед тем, как явиться, приказал приготовить вот здесь, в моем блиндаже, три госпитальные койки со всем оборудованием. Быстро!

Генерал пощурился на желтовато-лимонный свет зимнего утра, потоками стекавший в обледеневший земляной колодец за окошком, крепко, с удовольствием потер руки. Его усталые глаза сверкнули радостно и хитровато. И он сказал, обращаясь к золотым солнечным лучам:

— Так, стало быть, «решительно, немедленно, любой ценой...». Неплохо начался у нас с вами денек, очень неплохо.

А через день к подземному поселку из блиндажей, украшенных ходами, переходами и террасками из юных березок с неободранной белой корой, прибыли три машины.

Первой пришла уютная «эмочка», расписанная, как арбуз, косыми зелеными и черными полосами. Она прикатила из-за реки, с запада, откуда теперь были еле-еле слышны звуки далекой уже канонады. Из нее вылез генерал Теплов, который еще вчера на заре перенес свой командный пункт на другой берег, вперед, в лесную сторожку.

— Ну, как у вас тут? Как они? — спросил он у пожилого часового, который при виде своего генерала браво вытянулся у входа в землянку и взял автоматом на караул.

— Порядок полный, товарищ генерал. Отдыхают.

— Никто из начальства не приезжал?

— Никак нет, вы первый.

Генерал сошел в свое недавнее жилье, и почти тотчас же с востока по снежной дороге, утрамбованной до фарфоровой крепости и блеска подметками и колесами прошедших здесь полков, подкатили к блиндажу два сильных длинных штабных вездехода, покрытых серебристой алюминиевой эмалью.

Из переднего легко выскочил маленький, щуплый, но крепко сбитый и весь какой-то пружинистый человек в защитного цвета бекеше и генеральской папахе, стоявшей на нем трубой. Из другого неторопливо выбрался плотный человек в бурках, в черном пальто с поднятым меховым воротником. «Уши» пыжиковой шапки были опущены, и из рамки рыжего пушистого меха глядело широкое немолодое полное лицо, разрумяненное морозом. Глубокие складки пересекали пухлые щеки.

Командир дивизии, вышедший на звук моторов, встретил приехавших у входа в блиндаж.

— Здравия желаю, товарищ член Военного совета! — молодцевато приветствовал он человека в бекеше.

— Здравствуйте, генерал!.. Знакомьтесь. Секретарь обкома партии,— представил тот штатского.— Ну, где они у вас?

— Разместили пока здесь, в блиндаже,— ответил комдив.

В присутствии начальства он как-то помолодел, точно сразу скинул с плеч годков пятнадцать.

— Ну и как они, как со здоровьем? — спросил секретарь обкома и удивил комдива своим не по фигуре звонким голосом, своими молодыми, очень живыми глазами, которые так и бегали, так и шарили кругом, должно быть все, все замечая.

— Не жалуются. Ваш приказ, товарищ член Военного совета, выполнен. Начсандив, подполковник медицинской службы, находится неотлучно при них. Самолет со спецмедикаментами вчера прибыл и был принят.

— А ценности? — спросил секретарь обкома.

— С самолетом, привезшим медикаменты, прилетел ваш человек из банка, такой безрукий... Они там вместе с моим начфином и особистом колдовали всю ночь... Утром докладывали: по предварительным данным, колоссальные ценности. Я-то здесь со вчерашнего дня не был... Ведь наступаем, товарищ член Военного совета, некогда, сутки коротковаты стали.

— Ну что ж, пошли в блиндаж? — спросил приезжий генерал и гостеприимно уступил дорогу секретарю обкома.

Сойдя вниз, они поначалу ничего не могли разглядеть, кроме каких-то неясных фигур, вскочивших и вытянувшихся при их появлении. Потом, приглядевшись, различили в полутьме у стола, освещенного затененной карбидной лампой, двух офицеров и третьего — пожилого штатского человека с сухим, морщинистым лицом. Пустой рукав темной полувоенной гимнастерки был у него засунут за ремень.

На столе, перед которым те стояли, тускловато сверкала груда драгоценных вещей.

— Ну, показывайте ваши сокровища, товарищ комдив,— сказал член Военного совета, снимая папаху и приглаживая ладонью серебристый бобрик, придававший его небольшой голове угловатую, квадратную форму.

Генерал Теплов молча повел рукой в сторону драгоценностей.

— Не туда смотрите, товарищи генералы! — звонким голосом сказал секретарь обкома.

Он лишь мельком скользнул взглядом по груде золота, подошел к двухэтажным нарам, и молодые, цепкие глаза его так и впились в полутьму. На широком,

полном, но очень подвижном лице его были и забота, и любопытство, и уважение.

— Эй, кто тут живой, откликайся! Дайте хоть посмотреть на вас, что ли!

Верхние нары занимала девушка. На белом фоне свежей, еще не обмятой наволочки худенькое лицо четко вырисовывалось такими тонкими линиями, будто действительно было вырезано из старой слоновой кости. Девушка спала, но веки ее нервно вздрагивали, на бледных, увеличенных общей худобой губах дрожала тень покойной улыбки.

На просторных нижних нарах рядом, обнявшись, как братья, лежали очень крупный человек, до того худой и истощенный, что возраст его трудно было определить, и подросток, почти мальчик, с угловатым смуглым лицом... И было похоже, что этот худой, крепко спавший богатырь прикрывает младшего собой от опасности или непогоды.

Все трое дышали ровно. Секретарь обкома долго стоял над ними. Из-под одеяла высовывалась нога меньшего, такая худая, что по ней можно было видеть ее костное строение. Секретарь обкома прикрыл ногу одеялом.

— Поднимете их? — спросил он у немолодой строгой женщины в военном, в петлицах которой рядом с тремя шпалами золотели медицинские эмблемы.

— Состояние тяжелое, но пульс налаживается. Сделали две инъекции. Вчера вечером и утром давали им куриный бульон. Девушка эта у меня совсем молодец, даже пробует подниматься. Все пытается говорить... Вот только что перед вашим приходом уснула.

— Ну, что тут медицина предсказывает? — спросил член Военного совета.

Уже без папахи и бекеши, в простом кителе с тусклыми звездами защитного цвета на полевых петлицах, этот маленький человечек пружинисто переваливался с каблуков на носки, и его до блеска начищенные сапожки при этом легонько поскрипывали.

— Медицина надеется, товарищ генерал-лейтенант. Молодость все побеждает, — по-штатски ответила женщина-врач. Поправив строгую прическу, она взглянула на спящих.— Было бы слишком несправедливо: преодолеть такие невероятные, просто нечеловеческие трудности, выполнить долг — и умереть.

— Бывает. На войне, к сожалению, случается и так,— сказал член Военного совета. Резко повернувшись на каблуках, он пошел было к столу, но с полдороги вернулся.— Товарищ подполковник медслужбы, командующий фронтом геренал Конев просил вам передать: сделайте все возможное для их спасения. Если возможного мало, сделайте невозможное. Ведите сражение за их жизнь всем оружием медицины. Ничего не жалеть.— Он подошел к столу.— Ну как, учитываете?

— Тут нечего учитывать, тут все учтено. Просто принимаем по инвентарной описи,— отозвался штатский с пустым рукавом.— Вот документ, составленный по всем правилам. Мы только сверили с наличностью и сейчас вот актируем государственный прием.

— Сошлось?

— Грамм в грамм, камешек в камешек,— не без самодовольства ответил человек с пустым рукавом.— Иначе и быть не могло — ее составлял старый, опытный банковский работник. Прекрасный служащий, я его знал...

— Почему «знал», а не «знаю»?

— Он умер, товарищ генерал, умер в дороге... Он и вынес все это из оккупированного города вдвоем вон с той девицей, с Марией Волковой.

— Ты ее знаешь? Это тоже твоя? — живо обернулся секретарь обкома, отрываясь от описи, составленной Митрофаном Ильичом, которую он внимательно рассматривал со всех сторон.— Ну и что она, товарищ Чередников?

Штатский сделал своей единственной рукой смущенный жест.

— Вот то-то, что ничего особенного! Машинисткой работала. Хорошая машинистка, обыкновенная девица. Ежиком ее у нас звали.

— Обыкновенная девушка. Так, так, так... Ничего особенного,— задумчиво протянул секретарь обкома и, обернувшись к генералам, улыбнулся белозубой улыбкой.— Вот в том-то и необыкновенность, что все обыкновенное. Обыкновенная, ничем не примечательная девушка, обыкновенные парни, обычный случай... Вот, товарищи генералы, полюбуйтесь-ка на этот документ. Тоже обычный документ, и по форме, вероятно, составленный. Но на чем? На «листках ударника», на «похвальных грамотах». Где? Во вражеском тылу, в лесной глуши.

У человека капитализма в таких условиях, наверно бы, клыки и хвост выросли... А они опекали ценности, которые им никто не поручал... Погодите, станем богаче, восстановим областной музей — я прикажу этот обычный документ на самую видную витрину положить... Под стекло. Интереснейший документ.

— А вы о их завещании не слышали? — спросил комдив, вытаскивая из планшета старую записную книжку с продолговатой дыркой, проколотой тесаком.— Тоже вот возьмите для вашего музея.

В записную книжку был вложен засиженный мухами портрет колхозницы, прижимавшей к себе телячьи мордочки. Член Военного совета на миг по-мужски залюбовался красивым женским лицом, ласковым и строгим.

— Кто это?

— Девушка говорит, какая-то колхозница. Она тоже будто несла ценности, а приняли их вот эти партизаны,— пояснил командир дивизии, указав на людей, спавших на нижних нарах...

— Эстафета,— усмехнулся секретарь, разбирая каракули в блокноте.

Один из офицеров придвинул ему карбидную лампу.

— Молодцы! Аж в слезу шибает,— сказал секретарь.

С верхней полки раздался вздох, послышалось шуршание простынь. Тихий голосок спросил:

— Доктор, вы здесь?.. Как они?..

— Спят, спят, моя хорошая, спят. И вы спите, не разговаривайте,— ответил звучный альт врача.— Не думайте о них, им уже лучше.

— Нет, вы правду говорите? Ой, кто это там?

Находившиеся в блиндаже, как по команде, обернулись на голос. Член Военного совета, сверкающий серебряным, аккуратно подстриженным бобриком, и полный секретарь обкома, и высокий комдив, и банковский работник с пустым рукавом, и офицеры, и часовой — все бывалые, много видавшие, много пережившие люди смотрели туда, где над бортиком нар медленно поднялось худое девичье лицо, где в полутьме из-за длинных с загнутыми концами ресниц светились большие круглые девичьи глаза.

Секретарь обкома и генералы двинулись было к нарам, но были остановлены строгим взглядом врача.

— Эти товарищи приехали по поводу ценностей. Не беспокойтесь, спите себе... Ваши друзья вне опас-

ности,— сказала подполковник медслужбы и, как ребенка, погладила девушку по голове.

— Эх, не восстановили мы еще электросвет и водопровод. Придется, пожалуй, отослать их в Москву для дальнейшего лечения,— задумчиво сказал секретарь обкома.

— Что вы, и слышать не хотят,— усмехнулся комдив.— Я говорил с ними, когда их сюда привезли. Предлагал сразу отправить на аэродром, прямо с колес — на крылья, туда. Где там! Все трое в один голос: «Никуда с фронта не поедем!» Просят сразу же, как поправятся, забросить их обратно в лес к партизанам, в их отряд... И все просят радировать их командиру, что задание его они выполнили.

— Ух народ! Эти жить будут! — громко произнес член Военного совета, но, боязливо оглянувшись на нары, снизил голос до шепота.— А из какого они отряда? Где этот отряд дислоцируется и действует, не узнали?

— Ну как же, вот, разрешите доложить,— тем же больничным, осторожным шепотом ответил комдив.— Я тут отметил на карте. Это за разгранлинией нашей армии, на пути у правого соседа... Говорят, сосед за эти дни здорово рванул на запад?

Стараясь действовать как можно тише, он стал развертывать необжитую, новую часть карты, сухо хрустевшую жесткой глянцевитой бумагой.

— Тут вот, в лесу, у этой балки. Здесь близко гурты какого-то колхоза будто бы спрятались и зимовали. Так вот они рассказывают: когда отряд, действовавший вот здесь, в районе Узловой, был оттеснен от своих баз пожаром, зажженным гитлеровцами, командир взял направление вот сюда, за реку, к колхозным гуртам. Та красавица, что на снимке,— она оттуда...

— Позвольте, какие гурты? О чьих гуртах речь? Не о «Красном пахаре»? — спросил секретарь обкома, заглядывая в карту через плечи военных.

— Возможно, возможно, названия не помню,— ответил комдив, очерчивая на карте лесную балку.— Вот здесь разместилось стадо, и сюда направлялся партизанский отряд. Это последнее, что они могли о нем сообщить.

— А отряд не железнодорожников? Не Рудакова с Узловой, не помните? — допрашивал секретарь обкома, все более и более оживляясь.

— Вот это помню. Точно — железнодорожников, точно — Рудакова! — обрадовался комдив.— Этот высокий-то — партизан Железнов — как раз и сам железнодорожник.

— Так этот район еще третьего дня освобожден частями нашего соседа,— сказал член Военного совета, задумчиво разглядывая карту.

— Правильно,— подтвердит секретарь обкома.— И мы уже получили со связным через фронт от Игната Рубцова — председателя того колхоза, что гурты в лесу спрятал,— сообщение, что знаменитое стадо цело... Это у нас один из лучших колхозных вожаков, замечательный мужик, балтиец, старый большевик. Кронштадт штурмовал!..

Девушка, приподнявшись на локте, все еще всматривалась в незнакомые лица. Казалось, она все еще старается решить: действительно или в хорошем сне видит этих людей, слышит разговор, звучание знакомых имен?

Ну да, это была действительность! Полного, широкоплечего человека девушка даже смутно помнила. Она видела его однажды в первом ряду кресел во время итогового смотра самодеятельности, проходившего в областном городе. Вот у кого надо попросить, чтобы всех их никуда не отправляли, а дали бы им возможность поправиться здесь и потом отослали назад к Рудакову, чтобы с его людьми воевать до победы. Опасливо оглядываясь на строгого врача, девушка стала сбивчиво излагать секретарю обкома общую просьбу троих друзей.

Секретарь, улыбаясь, слушал ее и все время довольно, даже хвастливо оглядывался на члена Военного совета, гордясь перед этим седым, бывалым генералом людьми своей области. Когда девушка кончила, он заговорщицки подмигнул:

— Слышали? Ой, народ! Ну народ!.. Милая девушка, куда же вас забрасывать, когда весь рудаковский отряд уже вышел из леса? Узловую не сегодня-завтра возьмут. Вашего Рудакова, между нами говоря, хотим туда секретарем горкома послать. Надоело ему небось все взрывать да разрушать. Пусть строит да восстанавливает.

Девушка встрепенулась.

— Он жив?..— И прошептала: — Ой, как хорошо!..

Голова ее упала на подушку, улыбающиеся губы поджались, подбородок съежился. Послышался тонкий, точно детский плач.

— Вот тебе и раз! — растерялся секретарь обкома.— Ну, полно в блиндаже сырость разводить. У меня к тебе дело. Обком решил представить вас за спасение государственных ценностей к правительственной награде.— Секретарь достал из бокового кармана гимнастерки записную книжку и карандаш.— Сообщи о себе некоторые данные, я запишу... Имя, фамилия, отчество?

Девушка медленно приподнялась и села на нарах. В глазах ее стояли слезы, но сами глаза счастливо сияли.

— Запишите, пожалуйста... Корецкий Митрофан Ильич.

— Это старый кассир?

— Да, да! Это все он. Если бы не он, я бы ничего не сумела... Запишите теперь еще одну замечательную женщину — она этот мешок дважды, рискуя головой, спасала.— Рубцова Матрена Никитична.

— Какая Рубцова? Животноводка?

— Да, да... Вот у того товарища ее портрет в руках... Потом — Рубцова Игната Савельевича, он нам все организовал. Потом одну колхозницу из деревни Ветлино... Ах, беда, не знаю фамилии! И еще — сынишку ее Костю...

— Разрешите обратиться,— донесся с нижних нар слабый мужской голос.

Все наклонились. Рослый партизан, не поднимая с подушки головы, смотрел на секретаря обкома огромными голубыми глазами.

— Надо отметить Кулакова Василия Кузьмича, стрелочника с Узловой, и Черного Мирко Осиповича, оттуда же... помощника машиниста... Они, может быть, жизнь свою отдали...

— Кабы не они, нам бы этот мешок, елки-палки, ни в жизнь не унести,— донесся из глубины нар ломкий мальчишеский басок.

Секретарь обкома рассмеялся.

— Что-то больно много получается! И себя вы еще не назвали...

— Вот что, прекратим этот разговор, им нужно отдыхать,— решительно заявила женщина-врач и, выдвинувшись вперед, загородила собой нары.

Наступила тишина. Член Военного совета, поскрипывая сапогами, ходил по блиндажу. Вдруг он резко повернулся на каблуках и, остановившись перед секретарем, сообщил ему, как какую-то новость:

— С таким народом войну выиграем. Не только эту, любую.

Все вновь оглянулись на партизан, но те, утомленные разговором, уже спали. Вскоре послышалось и ровное дыхание девушки.

— Эх, юность, юность... Хорошая это штука, товарищи полководцы,— сказал секретарь обкома.— А ведь и я когда-то «Сергей — поп» певал, и с чоновцами белобандитов по лесам гонял, и галстуки с трибуны осуждал, и по ночам электростанцию восстанавливал... Все было.

— А я, думаете, нет? — спросил член Военного совета и провел рукой по серебряному бобрику.— Даже самому не верится, что меня когда-то всей ячейкой с завода в «комсомольский набор» до военкомата провожали.

Наш паровоз, вперед лети,
В коммуне — остановка...

Помните, ребята? — Он подмигнул секретарю обкома и комдиву.

Иного нет у нас пути,
В руках у нас винтовка...—

приятным голосом подхватил генерал Теплов, и по лихому тону, каким он это пропел, стало ясно, что и этот солидный и, казалось, уже пожилой человек успел побывать в комсомоле.

— Великое дело — юность,— повторил секретарь обкома.— А помните...

Он не успел договорить. Дверь блиндажа вдруг распахнулась. В клубах морозного пара предстал молодой офицер. Ушанка, полушубок, юношеский пух на лице и маленькие усики, подкрученные шильцем,— все было покрыто налетом инея. Вбежав в блиндаж, он вытянулся и замер, приложив руку к козырьку.

— Разрешите обратиться, товарищ генерал. Офицер связи лейтенант Васильев со срочным пакетом к члену Военного совета.

Он вынул из планшета пакет и протянул генерал-лейтенанту. Тот сорвал печати. Минуту колючие глаза его бегали по строчкам телеграммы. Потом он поднял лицо:

— Из Москвы. Самый верх запрашивает об их здоровье.

1949—1950

КОММЕНТАРИИ

«Золото». Роман (стр. 7).— Впервые — в журн. «Знамя», 1949, № 11—12; 1950, № 1—2. Первое отдельное издание — М., «Советский писатель», 1950; одновременно — Л., Лениздат; одновременно — Рига, Латгосиздат.

Импульсом для написания романа послужили подлинные события. Зимой 1942 года на Калининском фронте во время одной из корреспондентских командировок в соединение партизанских отрядов, находящихся в верхневолжских лесах, Борис Полевой узнал о людях, которые от самой границы, из оккупированного врагом города, вынесли и пронесли на себе более 500 км значительные государственные ценности.

В книге Полевого «Эти четыре года. Записки военного корреспондента», в главе «Что есть золото?» читаем: «Вчера, наступая, боевое охранение батальона лыжников на склоне глубокого лесного оврага натолкнулось на трех партизан: парня, оказавшегося железнодорожником, девушку лет восемнадцати, машинистку, ...и подростка — ученика школы ФЗО. Они были без сознания, почти занесенные снегом... Рядом с девушкой лежал немецкий «шмайсер». Оказывается, она стреляла в волков... Первое, что спросила девушка, когда ее привели в сознание: где здесь ближайшее отделение Государственного банка?» (М., «Молодая гвардия», 1978, т. I, с. 130). (См. наст. Собр. соч., т. 7.) Такова первая документальная встреча с героями будущего романа.

Здесь же и конспект сюжета: «Собственно, несла она, Мария Медведева. Сначала со старым кассиром, принявшим эти ценности. Но он умер в дороге. Потом ей помогала какая-то колхозница из Пушкиногорского района, а затем вот эти два парня из партизанского отряда железнодорожников» (там же).

В записках военкора содержатся не только факты, но и эмоциональный комментарий журналиста: «Поразительная история! Узнать бы подробности... Мне сообщения мало... А как об этом можно было бы написать!..

Сколько, начиная с античных времен, написано в мировой

литературе о роковой роли золота!.. Убийства, измены, подлые сделки с совестью и кровь, кровь... И вот, какие-то обычные люди получают сказочную возможность обогатиться. Ведь они на земле, где хозяйничают фашисты, где парализованы советские законы... В этом мире золото мерило всего — и совести, и чести, и доблести... И вот среди людей того мира движутся на восток несколько советских, чтобы вернуть своей стране, своему народу то, что ему принадлежит... О таком, наверное, еще ни одному корреспонденту писать не приходилось...» (там же, с. 130—131).

Ни корреспонденции, ни очерка Борис Полевой не написал: «Так до места, куда партизаны вынесли свое золото, добраться мне и не удалось... Впрочем, их я бы там уже и не застал. Всех троих на самолете эвакуировали в тыловой госпиталь» (там же, с. 144). Верный своему принципу не основываться на информации из «вторых рук», Полевой переписал и сохранил подлинный текст письма из записной книжки, которую неизвестные ему герои прикололи тесаком к дереву: «Товарищ, который найдет эту книжку! К тебе обращаемся мы, три советских человека... Когда вы найдете эту книжку, нас, может быть, не будет в живых... Мы просим тебя, товарищ, взять спрятанный под корнем у нас за спиной мешок с ценностями, принадлежащими государству, и доставить его в ближайшую партийную организацию... Мы сделали все, что могли...» (там же, с. 145).

Эта история легла в основу романа. К созданию произведения Полевой обратился уже после окончания войны. Работа над романом продолжалась более трех лет.

Сопоставление текста записок военного корреспондента с текстом произведения дает представление о творческой лаборатории писателя, о сложном пути превращения фактического материала в художественную прозу.

В романе настоящая фамилия главной героини — Медведева — заменена на Волкову, но точно переданы основные события ее необычного путешествия, строго и целенаправленно отобран материал, введены несколько дополнительных сюжетных потоков — для создания единой художественной картины и выдвижения на первый план наиболее важной для писателя мысли: «Главное богатство Советской державы — золотые советские люди» (Б. Галанов. Борис Полевой. М., «Советский писатель», 1957, с. 73).

Литературная общественность и критика с интересом встретили появление романа Б. Полевого, оценив «Золото» в целом как книгу, сыгравшую значительную роль в эволюции творчества писателя.

Анализируя с разных точек зрения образ главной героини романа, рецензенты (Г. Ленобль — «Литературная газета», 1950,

24 мая; В. Селиванов — «Труд», 1950, 11 июня; А. Шилов, Б. Лукашин, Д. Чмыхало — «Новый мир», 1951, № 4) отмечали, что писателю удалось раздвинуть рамки портрета «идеального героя» войны, уже утверждавшегося в литературе первых послевоенных лет, сделав главным действующим лицом книги восемнадцатилетнюю девушку, «просто машинистку, да еще смешливую, да легкомысленную» (Б. Полевой. Современники.— Журн. «Студенческий меридиан», 1975, № 8, с. 11).

По мнению критики, роман «Золото» подтвердил верность писателя художественно-документальному принципу изображения, особенно ярко проявившемуся в «Повести о настоящем человеке» и в цикле военных рассказов — «Мы — советские люди», а также активную заинтересованность Полевого в создании характера, не смиряющегося с обстоятельствами, но решительно ими управляющего.

Полевой писал: «Испытания, жизненный конфликт проявляют человека. Вот... роман «Золото». Ни строчки мной не выдумано, книга выросла из жизни. События произошли на территории Калининской области в дни наступления наших войск на Ржев. Девушка тащила на себе мешок золота больше пуда весом... пятьсот километров и все по немецким тылам... А кем она была до войны? Машинисткой в банке, просто машинисткой... И вдруг свалилась на нее большая общественная ответственность, и она выросла в настоящую героиню. В сущности, в каждом человеке... заложено такое зерно, прорастающее в благоприятных условиях» (там же).

«Ну а когда роман вышел... один критик заявил, что «Золото» — сплошной вымысел, очень далекий от жизни» (там же).

Зоя Кедрина, например, отметив такие особенности дарования Полевого, как «умение видеть и обобщать черты героического в повседневном, высокого в среднем, прекрасного в обыкновенном» (журн. «Новый мир», 1950, № 7, с. 247), а также то, что в «Золоте» «идея животворного советского патриотизма раскрыта... не только через подвиг основных его героев, но и через множество жизненно правдивых случаев, характеров и деталей», в то же время сделала вывод, что «...в этом романе Борис Полевой совершил серьезную ошибку. Он попытался уложить свои богатые жизненно правдивые обобщения в рамки канонической литературной формы приключенческого романа» (там же, с. 248) («Канонический детектив должен быть построен на тайнах и недоразумениях — и вот автор стремится создать как можно больше тайн и недоразумений...» (там же, с. 247); «...канонический детектив требует сюжета сложно-закрученного со множеством перипетий — и Борис Полевой закручивает сюжет до отказа» (там же, с. 248).

В заключение критик пишет: «Попытавшись совместить несовместимое — полноценные, реалистически мотивированные характеры, обоснованные пространными семейными предысториями... с канонически детективным сюжетом, Борис Полевой построил произведение громоздкое, к концу утомляющее читателя» (там же).

По поводу этого необходимо привести здесь мнение самого автора романа.

«Книга выросла из жизни»,— подчеркивал Полевой, неоднократно рассказывавший на страницах печати историю создания «Золота» — его «самого любимого литературного детища». «Когда заходит разговор о «правде жизни», вымысле и домысле в образах реальных героев, я всегда выкладываю на стол как главный аргумент — одно письмо. От моей отчаянно-дерзкой Муси Волковой — героини «Золота»... После выхода этой книги получил я журнал с... рецензией весьма сурового критика, попрекавшего Бориса Полевого аналогиями с Брет-Гартом и Фенимором Купером за отрыв от жизни, «погоню за занимательностью», «приключенческие сюжеты» и пр. А рядом на столе поджидал конверт с письмом, где Муся... крыла автора «Золота» на чем свет стоит: зачем опустил самые удивительные, самые невероятные эпизоды ее тяжкого перехода?! Честно признаюсь, боялся: читатель не поверит. При всей несомненной документальности отдельных «приключений» героев книги мне они казались слишком уж фантастическими...» (Б. Полевой. Горизонты реальной фантазии.— Журн. «Литературное обозрение», 1974, № 5, с. 104).

И в другой статье автора находим продолжение той же мысли: «...я не все описал, упустил... многое. Ну, например... когда девушка, совершенно изголодавшись, ослабев, устроилась работать у немцев столовщицей. Немцам нужна была рабочая сила — они формировали запасный полк. Так вот, работая в столовой, она мешок с золотом прятала в подполе, там же, где хранились продукты. Напиши такую штуку, весь роман обрушишь. Невероятно... Но ведь было» (Б. Полевой. Убежденные побеждают.— Газета «Советская молодежь», Рига, 1975, 8 июля).

«...Литература — особый организм, и литературный герой живет по своим особым законам,— говорил Полевой.— И когда ты связан рамками реально существующей судьбы, то встречаешься с трудностями особого рода: как, не нарушая сути факта, тактично и верно раскрыть этот образ, типичный в типичных обстоятельствах» (см. подробнее об этом в книге Н. Железновой «Настоящие люди Бориса Полевого». М., «Советский писатель», 1978, с. 130—131). Следует добавить, что невымышленная героиня «Зо-

лота» Мария Медведева осуществила свою мечту — стала актрисой.

Роман «Золото» выдержал более десяти изданий на русском языке и языках народов СССР.

В день празднования 30-летия Победы над фашизмом — 9 мая 1975 года — в Калининском драматическом театре состоялась премьера спектакля по роману Бориса Полевого «Золото» (инсценировка Веры Ефремовой).

Н. Железнова

СОДЕРЖАНИЕ

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
ПОЛЕВОЙ

Собрание сочинений

Том 3

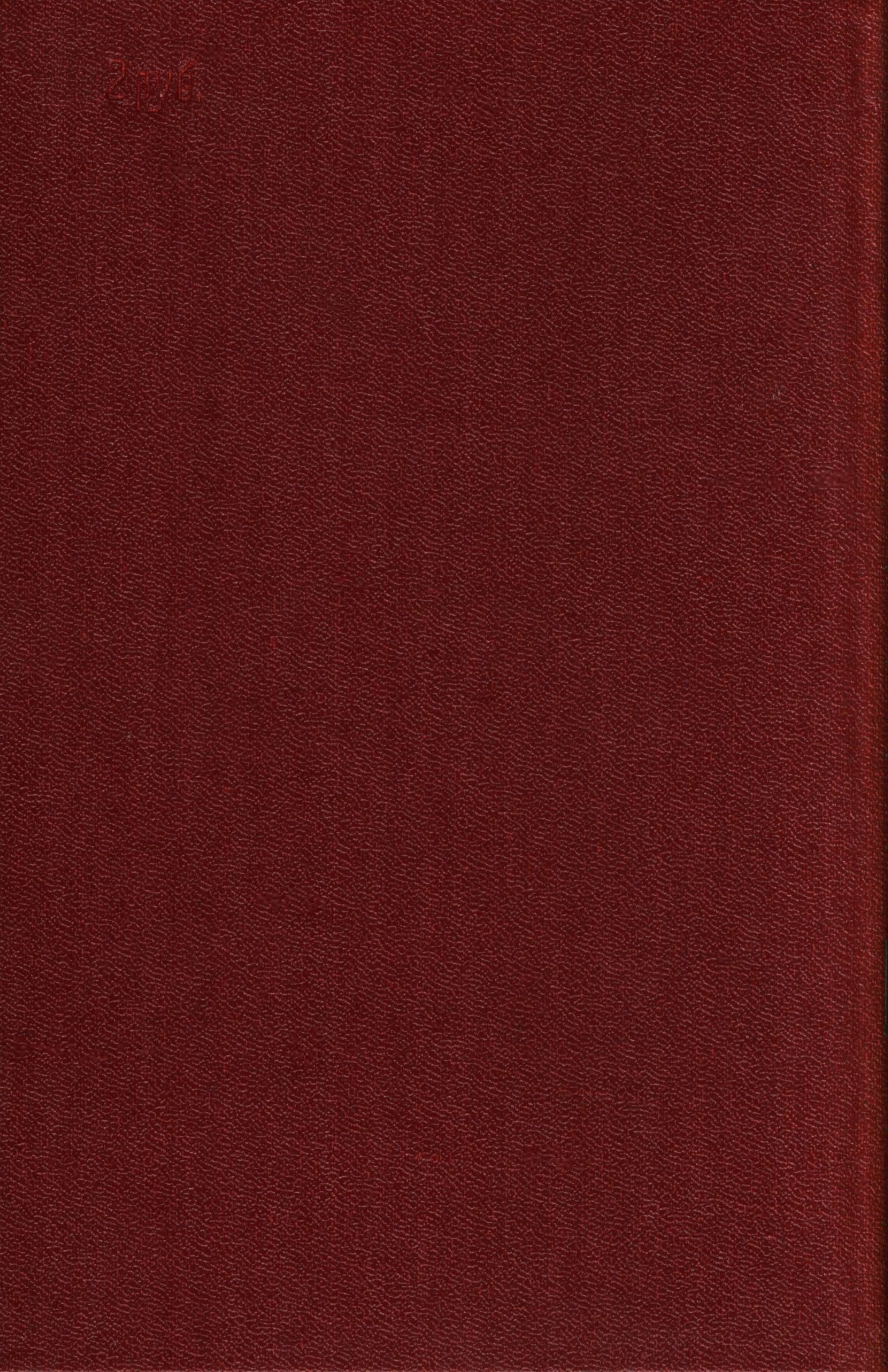
Редактор **З. Батурина.** Художественный редактор **Е. Ененко**
Технические редакторы **Е. Полонская, Т. Фатюхина**
Корректоры **М. Макарова, Т. Герасимова**

ИБ № 2177

Сдано в набор 29.06.81. Подписано к печати А04035 11.02.82. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага кн. журн. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 24,78. Усл. кр.-отт. 24,78. Уч.-изд. л. 26,62. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-83. Заказ № 1194. Цена 2 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.


2 руб.

БОРИС
ПОЛЕВОЙ
3